



Сборник
научно-
фантастических
повестей
и рассказов

Орзюон



ОРИОН

Сборник
научно-
фантастических
повестей
и рассказов



Московский рабочий
1985

P2
O-63

Составитель Н. М. БЕРКОВА

O^{4702010200—220}
M172(03)—85 195—85

P2

© Издательство «Московский рабочий», 1985 г.

П О В Е С Т И

Кир Булычев

ЧУЖАЯ ПАМЯТЬ

1

За долгие годы Сергей Андреевич Ржевский привык не замечать института и окружавших его домов. Но в тот понедельник машина за ним не пришла, Ржевский добирался до работы автобусом и увидел, что начали ломать барачный поселок, тянувшийся от автобусной остановки до самого института.

Поселку было лет пятьдесят, его построили в тридцатые годы. Между двухэтажными желтыми бараками выросли высокие тополя. Сергей Андреевич понял, что бараки ломают, когда вместо первого из них оказался светлый проем в деревьях, за ним, как в раме, из которой вытащили привычную картину, тянулся еще не застроенный пустырь до самого горизонта, до белых зубцов нового района.

У следующего барака стоял экскаватор с чугунным шаром вместо ковша. Железо с крыши сняли, и оно лежало сбоку неровной кипой листов тускло-зеленого цвета.

У третьего барака Ржевский остановился. Когда-то, на последнем курсе института, он прожил здесь полгода. Снимал комнату на втором этаже.

Барак был пуст, входная дверь приоткрыта, можно войти, но Сергей Андреевич отогнал внезапное желание оказаться в той комнате, подойти к окну на улицу и постоять у него, как стоял и ждал когда-то.

Ржевский посмотрел на часы, словно искал оправдания поспешному уходу. Часы показывали десять минут десятого. Сергей Андреевич прошел еще сотню метров и увидел свой институт — серое четырехэтажное здание с большими квадратными окнами и несоразмерно маленькой дверью. Когда институт построили, Москва еще не добралась до этих мест. А потом город обошел его языками домов, институт вошел в пределы Москвы, но вместе

с барачным поселком остался заводью в высоких берегах новостроек.

«Надо делать ремонт, — подумал Ржевский, глядя на осыпавшуюся на втором этаже штукатурку. — Сейчас вызову Алевича. Неужели ему самому не стыдно?»

2

В коридоре было пусто, все уже разошлось по отделам и лабораториям. В узком предбаннике перед кабинетом Ржевского тоже пусто. На столе секретарши записка:

«СА! Я в месткоме. Обсуждаем итоги пионерлагеря. Лена».

Рядом несколько конвертов официального вида — приглашения. Новый английский журнал. Автореферат из Ленинграда.

Настроение было испорчено. Ржевский искал причину, не желая признаться себе, что виноваты бараки. Что он хотел сделать? Вызвать Алевича? Нет, сначала надо просмотреть почту...

За приоткрытой дверью, в кабинете, послышался шорох. Потом легкий скрип. Кто-то открывал средний ящик его письменного стола. Этого еще не хватало!

Ржевский сделал шаг к кабинету. И вдруг остановился. Ему стало страшно.

Страх был иррационален. Директор института боялся войти в собственный кабинет. Ржевский стоял и слушал. И ему хотелось, чтобы из кабинета вышла Лена и сказала: «А я у вас на столе прибирала». Но в кабинете было темно, шторы задвинуты. Лена первым делом открыла бы шторы.

— Кто здесь? — спросил Ржевский от двери. Голос сорвался. Пришлось откашляться.

Тот, кто таился в полутьме, не хотел отвечать. Молчал, затаился.

Надо войти и зажечь свет. Но свет в кабинете зажигается очень неудобно. Надо сделать два шага в сторону, по правой стене. Там выключатель. От двери не дотянешься. Зачем повесили такие плотные шторы? Кино, что ли, здесь показывать?

В кабинете не совсем темно. Глаза различили стол буквой Т. Шкафы по стенам... Ржевский шагнул в кабинет и, прижимаясь спиной к стене, двинулся к выключателю. Уже протягивая к нему руку, разглядел за письменным столом темную фигуру. И понял, что у фигуры нет лица. То есть лицо было темным, как туловище, как руки... Темная голова шевельнулась, следя за Ржевским, и отраженным от двери светом блеснули маленькие глаза.

И тут громадное темное тело, словно подброшенное пружиной, взлетело в воздух и метнулось к Ржевскому.

Он не сообразил, некогда было соображать, что тело несется к двери. И сам бросился туда же.

Успел к двери в тот момент, когда ее достигло и черное существо. Отлетел в сторону, ударился о стол, все закружилось, обрушилось в пропасть... на несколько секунд он потерял сознание. Очнулся от боли в спине и в ноге.

И от страшного вопля, визга в коридоре.

От топота. От криков.

Он понял, что сидит на полу, прислонившись спиной к столу секретарши.

3

Алевич прибежал первым, помог директору подняться, хотел вызвать «скорую помощь», но Ржевский велел отвести его в кабинет.

Алевич открыл шторы, поднял опрокинутое кресло. Он сокрушенно качал головой и повторял:

— Надо же! Вы только подумайте.

Сергей Андреевич молчал.

Он сел в кресло, заглянул в полуоткрытый ящик стола, вытащил оттуда смятую красную бумажку, расправил, положил на стол. И вдруг улыбнулся. Улыбка получилась растерянной, даже глупой.

— Клетка оказалась легкомысленно открытой,— объяснил Алевич, сидя на корточках и собирая бумаги, улетевшие со стола.— Может, дефект замка? Гурина клянется, что вчера запирала.

— А сегодня утром она заходила в виварий? — Ржевский сложил красную бумажку вдвое, потом вчетверо, провел ногтем по сгибу, подкинул фантик ладонью.

— Сегодня утром?.. Мы ее сейчас вызовем.

— Не надо. Я сам туда спущусь.

— Может, все-таки вызовем врача?

— Ничего не случилось,— сказал Ржевский.— Немного ушибся. И все. Надо было мне раньше догадаться. Струсил.

— Бывает,— сказал Алевич,— даже с директорами.

Он подошел к двери на два шага сзади Ржевского, в дверях обернулся, глазом смерил расстояние до письменного стола, покачал головой:

— Надо же так сигануть!

Оба шимпанзе жили на первом этаже, в большой комнате, разделенной пополам толстой редкой решеткой, отдельно от собак, которые ютились в подвале и устраивали иногда шумные концерты, будто оплакивали свою подопытную судьбу.

Глаза у Гуриной были мокрыми.

— Я запирала,— сказала она.— Я проверила, перед уходом проверила.

Шимпанзе были очень похожи. Только у Джона, матерого самца, морда уже потеряла лукавство и озорную подвижность. Он спокойно чесал живот, чуть прищулив глаза, кивнул солидно Ржевскому и ничего просить не стал: знал, что у этого человека не допросишься. Захочет, сам даст. Лев — живее. Лев сморщил лицо, удивительно похожее на отцовское, — у обезьян разные лица, как у людей, — если общаться с ними, никогда не спутаешь. Лев вытянул губы вперед. Лев был собой доволен.

— Ну как же ты, чуть директора не убил, — сказал ему укоризненно Алевич.

— Это чья клетка? — спросил Ржевский.

— Как так чья? — не поняла Гурина.

— Лев сидит в своей клетке?

— Конечно, в своей, — сказала Гурина.

— Ошибка, — поправил ее Алевич. — Мы его сюда только на той неделе перевели. Поменяли клетки.

— Правильно, — сказал Ржевский. — Тогда все понятно.

— Что? — Гурина была очень хороша непрочной, розовой красотой с какой-то немецкой рождественской открытки. Только вот глаза мокрые.

Ржевский подошел к клетке и сунул руку внутрь. Лев протянул лапу и дотронулся указательным пальцем до руки Ржевского.

— Осторожнее, — прошептала Гурина.

— Не беспокойтесь, Светлана, — ответил Ржевский. — Мы с ним давно знакомы. Уже пятый год.

Гурина не стала спорить. Не посмела. Лев появился в виварии три недели назад. До этого Ржевский видеть его не мог. Но возражать было бессмысленно: директор знал, что говорил. Если, конечно, не произошло мозговой травмы.

— Покажи-ка, Лев, — велел Ржевский, — как открывается этот замок.

Джон заволновался в своей клетке, заворчал, был недоволен.

— Ну, чего же, — настаивал Ржевский. — Мы же знаем этот маленький секрет.

Лев склонил голову набок. Он все понимал. Потом знакомым, джоновским движением почесал себе живот.

— Ты уже съел, — сказал Ржевский. — Нечестно дважды получать награду. Ты съел без разрешения.

Он вынул из кармана красный фантик, показал Льву. Джона это привело в ярость. Он тряс решетку, пытался добраться до сына, чтобы наказать его за самовольство.

Лев лениво протянул лапу, длинными пальцами пошевелил замок, чуть приподнял его. Замок щелкнул и открылся.

— Вот и весь секрет, — сказал Ржевский. — Спасибо за демонстрацию, Лев.

— Даже я не знала, честное слово, не знала, — сказала Гурина.

— Правильно. Не знали. Знали только Джон и я. Но Джон не пользовался знанием без нужды. Он у нас солидный мужчина.

Солидный мужчина продолжал сердиться. У него были желтые страшные клыки, и в гневе он закатывал глаза, так что видны были только белки.

— Замок сменим, — заверил Ржевского Алевич. — Я сейчас же слесаря позову. Но какой мерзавец, а? Найти дорогу к вам в кабинет. Какая сообразительность.

— Спасибо, Лев, — сказал Ржевский, — спасибо, молодец.

5

В кабинете Ржевский подошел к окну. Из окна были видны купы деревьев, и среди них равномерный пунктир темно-зеленых крыш бараков. В конце этой плотной зеленой полосы, у шоссе, вместо последних крыш был провал.

Тогда было трудно с деньгами, вернее, денег у них совсем не было. А соседка Эльзы уезжала куда-то, кажется в Саранск. Она продала им тахту за сто рублей старыми деньгами. Это было дешево. Они тащили тахту через полгорода, Виктор все чаще останавливался, чтобы отдохнуть, сиделся на тахту прямо на тротуаре, люди проходили мимо, оглядывались, некоторые шутили. Виктору это нравилось. Лиза стеснялась, отходила в сторонку, Эльза топталась над Виктором, требовала, чтобы вставал, шел, — всего этого Виктор не терпел, он ласково улыбался, мягко двигал руками, стряхивал со лба капли пота. Он всегда быстро уставал, физически и умственно. «Еще минутку, — говорил он, — одну сигарету — и в путь». Ножек у тахты не было, на свалке рядом с баракom нашли кирпичи и подложили. Поэтому тахту звали печкой. Лиза была счастлива. Она воспринимала тахту как символ будущего дома, хозяйства, даже вечности.

Шаги Эльзы нервно и даже возмущенно простучали сквозь предбанник, выбили короткую дробь в кабинете. Замерли. Ржевский не обманулся.

— Сергей! Что это значит?

— Ничего не значит.

Он отошел к столу. Эльза, на удивление, молодо выглядит. В плотно лежащих, прижатых к вискам черных волосах, разделенных на прямой пробор, совсем нет седины. Вот он, Ржевский, уже стал пегим, а ее на первый взгляд можно принять за девушку. Если бы она не прыгала на вечеринках, задирая короткие ноги, не бросалась бы к пианино, чтобы бурно, ученически сыграть Шопена, соскользнуть с Шопена на популярный шлягер, если бы она не старалась так казаться молодой, было бы лучше.

— Сережа, скажи честно, ты пострадал?

«Господи,— подумал Ржевский,— я все равно остаюсь ее собственностью. Она весь мир делит на собственных и чужих. Собственным хуже. К ним требования выше. Надо соответствовать ожиданиям. И не дай бог покинуть свою полочку и нарушить законы Эльзиной любви. Лучше быть чужим». Эльза была из того прошлого, о котором Ржевский не любил вспоминать, о котором он забыл. И вот надо же было ей отыскать его через столько лет. И все время чего-то просить. По-приятельски. По старой памяти.

— Спасибо за заботу, Эльза,— сказал Ржевский.— Все хорошо.

— Как может быть хорошо, если по институту бегают звери? Ты от меня что-то скрываешь?

— Ничего не случилось,— повторил Ржевский. Он подошел к письменному столу и наклонился, разглядывая ящик. Никаких следов ногтей, никаких царапин. Шимпанзе знал, как открывать стол.— Кстати, ты не помнишь, в каком бараке мы с Лизой жили, в третьем или в четвертом?

— В бараке?

— Ну тогда, двадцать пять лет назад. Мы же снимали там комнату. Теперь их начали сносить.

— Не помню,— быстро ответила Эльза.— Это было давно. Может, вызвать врача?

— А ты всегда хвасталась фотографической памятью,— сказал Ржевский.— Мне бы твою память, я бы давно стал академиком.

— Ты и так станешь,— сказала Эльза уверенно.— Если тебя в следующий раз не сожрет тигр. Все-таки расскажи мне, как это произошло.

Ржевскому почему-то не хотелось рассказывать Эльзе об утреннем переполохе. К тому же заведующей институтской библиотекой совсем необязательно знать обо всем.

— Как у тебя дома? — спросил он.— Как Виктор?

Эльза отмахнулась.

— Мама как? Ниночка?

— Да, кстати, я еще вчера хотела к тебе зайти по этому поводу. Ниночке поступать в институт.

— Да, знаю,— сказал Ржевский. Летом Нина поступала на биофак и безуспешно. Ни пробивная сила Эльзы, ни помощь Ржевского, которого конечно же заставили звонить на самый верх, не помогли. Теперь Нина пережидала год, работала в библиотеке у матери.

— Я хотела тебя попросить — переведи ее в какую-нибудь лабораторию. Ей будет легче поступить. Ты же обещал, когда освободится место. Кадровик сказал, мы набираем лаборантов.

— Хорошо,— сказал Ржевский, подвигая к себе папку с почтой. Может, Эльза догадается, уйдет?

Эльза подошла к окну.

— В самом деле, сносят бараки,— сказала она. — Я и не заметила. Быстро идет время. Ты совсем седой. Тебе надо отдохнуть.

Ржевский поднял голову, встретился с ее взглядом. Взгляд и голос требовали ответной теплоты. Но ее не было. Что будешь делать?

6

Эльза открыла поцарапанную бурую дверь, ступила в полутьму коридора,— давно надо бы повесить новую лампу, на той неделе чуть не купила, но сумка была тяжелая, отложила до лучших времен. Паркетины знакомо заскрипели, когда Эльза вешала плащ. Виктора, конечно, нет дома, придет навеселе.

Эльза прошла на кухню, бросила сумку с продуктами на стол рядом с посудой, оставшейся после завтрака,— Виктор обещал помыть. Конечно, никто не почесался, чтобы привести кухню в порядок. Хлеб засох, ломтики сыра свернулись, оцетинились сухими краями. Ну ломают бараки, и бог с ними, почему она должна думать об этих бараках? Эльза зажгла газ, налила в кастрюлю воды, достала вермишель.

— Кисочка,— раздался голос сзади,— я без тебя изголодался.

— Ты дома? — Эльза не обернулась.— Я думала, на футболе.

— Хлеб я купил. Два батона. Один я съел, кисочка.

За последние годы Виктор расползся и размяк. Эльзе казалось, что стулья начинают скрипеть за секунду до того, как он на них садится.

— На Сергея обезьяна напала,— сказала Эльза.

— Они у вас бегают по институту? — спросил Виктор, придерживая открытую дверцу холодильника, чтобы посмотреть, нет ли еще чего-нибудь съедобного.— Ты за Ниночку не боишься?

— Молодой шимпанзе вышел из клетки, пробрался в кабинет Сергея и стал шуровать в его письменном столе.

— Не может быть! — Виктор отыскал в холодильнике кусок колбасы и быстро сунул в рот. «Как ребенок, толстый, избалованный, неумный», — подумала Эльза.

— Этой обезьяне всего две недели от роду, — сказала Эльза. — Ты все забыл.

— А, опять его опыты... Я сегодня жутко проголодался. В буфете у нас ничего сытного.

— Теперь его не остановить, — сказала Эльза. — Он примется за людей.

— Ты в самом деле хочешь его остановить? — спросил Виктор.

— Он изменился к худшему, — сказала Эльза. — Ради своего тщеславия он ни перед чем не остановится.

— Ты преувеличиваешь, кисочка, — вздохнул Виктор. — У нас не осталось выпить чего-нибудь?

— Не осталось. Человечество еще не готово к такому шагу.

— Не готово? — повторил Виктор. — Значит, надо написать куда следует. Написать, что не готово.

— Нельзя, — сказала Эльза. — Уже писали. Он всех обаял.

— Надо было побольше писать, — убежденно сказал Виктор. — Тогда на всякий случай прислали бы комиссию.

Хлопнула дверь, прибежала Нина. Нина всегда бегала, так и не научилась за восемнадцать лет ходить, как все люди.

— Я сыта, — сказала она от дверей кухни, не здороваясь.

Нина не любила есть дома. Она вообще старалась не есть, она боялась растолстеть.

— Я все устроила, — сказала Эльза. — С понедельника тебя переводят в лабораторию.

7

Ржевский кончил говорить.

Они смотрели на него. Шестнадцать человек, которые имеют право сказать «да». Или отказать в деньгах. Или отложить исследования. Остапенко убежден, что все обойдется. Из окна кабинета отличный вид. Москва-река, трамплин на Ленинских горах, дальше — стадион. Вечернее солнце золотит лысины и серебристый пух над ушами. Чего же они молчат?

Остапенко постучал по столу концом карандаша.

— Вопросы? — сказал он.

— А как дела у наших коллег? — спросил крепкий широкий мужчина в цветном галстуке. Он буквально убивал себя этим

галстуком — остальное пропадало в тени. — Что делают в Штатах, в Японии?

Ржевский вновь поднялся. Этот вопрос полезен.

— Мы полагаем, — сказал он, — что японцы уже близки к успеху. С американцами сложнее. В прошлом году была публикация — с собаками им удалось.

— Джексон? — спросил Семанский с далекого конца стола.

— Джексон и Хеджес, — ответил Ржевский.

Потом все замолчали.

— Ясно, — сказал мужчина в ярком галстуке. Почему-то Ржевский никогда раньше его не видел. — Значит, на пороге?

— Сегодня трудно допустить, чтобы целое направление в биологии было монополией одной страны. Мы все едем по параллельным рельсам.

— Голубчик, — раздался голос сбоку. Ржевский обернулся и не сразу разглядел говорившего — солнце било в глаза. Голос был скрипучим, древним. — Значит, вы предлагаете заменить собой господ бога?

Ага, это Челоуеков, бывший директор ИГК. Великий консультант и знаменитый тамада на докторских банкетах.

— Если нам выделяют средства, то мы постараемся выступить коллективным богом.

Не этих вопросов он опасался.

— Удивительно, — сказал Челоуеков. — И во сколько нам обойдется ваш гомункулус?

— Ржевский знакомил нас с цифрами, — сказал Остапенко. — Хотя, разумеется, он в них не уложится.

Кто-то засмеялся.

— Перспективы соблазнительны, — сказал секретарь отделения. — Именно перспективы. Когда-нибудь мы научимся делать это в массовом порядке.

— Не думаю, что в ближайшем будущем, — сказал Ржевский.

— Первая атомная бомба тоже дорого стоила, — сказал Сидоров. Сидоров был против методики Ржевского. Его фирма работала над близкими проблемами, но, насколько Сергей знал, они зашли в тупик. — Меня смущает другое — неоправданный риск. Кто-то здесь произнес слово «гомункулус». И хоть литературные аналогии могут показаться поверхностными, я бы сказал больше — чудовище Франкенштейна. Где гарантия, что вы не создадите дебила? Монстра?

— Методика отработана, — сказал Ржевский.

— Я вас не перебивал, Сергей Андреевич. Между опытами над животными и экспериментами над человеком лежит пропасть, и каждый из нас об этом отлично знает.

— Что предлагаете? — спросил Остапенко.

— Создать комиссию, авторитетную, которая ознакомится с результатами работы института...

— В январе я уже возглавлял такую комиссию, — сказал Семанский.

— Тогда вопрос об опыте над человеком не ставился.

— Ставился. Это было конечной целью.

— Считайте меня скептиком.

«Началось», — подумал Ржевский.

— Что касается меня, то я, — вмешался Айрапетян, отчеканивая слова, словно заворачивая каждое в хрустящую бумажку, — понял профессора Ржевского иначе. Мне показалось, что наиболее интересный аспект его работы — в ином.

Остапенко кивнул. Ржевский подумал, что они с Айрапетяном обсуждали все это раньше.

— Клонирование — давно не секрет, — сказал Айрапетян. — Опыты проводились и проводятся.

— Но вырастить в колбе взрослого человека, сразу... — сказал Человеков.

— И это не новость, — возразил Сидоров.

— Не новость, — согласился Айрапетян. — Удавалось. С одним минусом. Особь, выращенная ин витро, была «маугли».

Остапенко снова кивнул.

— Маугли? — человек в ярком галстуке нахмурился.

— В истории человечества, — начал Айрапетян размеренно, как учитель, — бывали случаи, когда детей подбирали и выращивали звери. Если ребенка находили, то он уже не возвращался в люди. Он оставался неполноценным. Мы — общественные животные. Взрослая особь, выращенная ин витро, — младенец. Мозг его пуст. И учить его поздно.

— Вот именно, — сказал Сидоров. — И нет доказательств...

— Простите, — сказал Айрапетян. — Я закончу. Достижение Сергея Андреевича и его сотрудников в том, что они могут передать клону память генетического отца. Поэтому мы здесь и собрались.

«Они же все это слышали, — подумал Ржевский. — Но существуют какие-то шторки в мозгу. Сито, которое пропустило самое главное».

— Подтвердите, Сергей Андреевич, — попросил Айрапетян.

Ржевский поднялся. Река казалась золотой. По ней полз розовый речной трамвайчик.

— На опытах с животными мы убедились, — сказал Ржевский, — что новая особь наследует не только физические характеристики донора, но и его память, его жизненный опыт.

— К какому моменту? — спросил Человеков.

— К моменту, когда клетка экстрагирована из организма донора.

— Конкретнее, — попросил Остапенко.

— Мы выращиваем особь до завершения физического развития организма. Для человека этот возраст — примерно двадцать лет. Если донору, скажем, было пятьдесят лет, то все знания, весь жизненный опыт, который он накопил за эти годы, переходят к его «сыну». Я думал, это понятно из моего сообщения.

— Понятно, — сказал Семаянский. — Понятно, но невероятно.

— Ничего невероятного, — возразил Айрапетян.

— Все без исключения животные, выращенные по нашей методике, — сказал Ржевский, — унаследовали память своих доноров. Кстати, три дня назад ко мне забрался шимпанзе, которому от роду две недели. Но он не только знал, как открыть замок клетки, но и помнил путь по институту до моего кабинета и даже знал, стервец, где у меня в письменном столе лежат конфеты. На самом же деле знал не он, а его генетический отец.

— Он ничего не поломал? — спросил Сидоров.

«Наверняка у него свой человек в моем институте, — подумал Ржевский. — Донесли, как я опозорился».

— Ничего, — ответил он. — Испугался я, правда, до смерти. Вхожу в кабинет, думаю, кто же это сидит за моим столом?

Остапенко постучал карандашом по столу, усмиряя смех.

— Если ваш гомункулус решит погулять по институту, это может кончиться совсем не так смешно.

— Надеюсь с ним договориться, — сказал Ржевский.

— Нет никаких гарантий, — настаивал Сидоров, — что разум гомункулуса будет человеческим, нормальным.

— Пока что с животными все было нормально.

— Да погодите вы! — вдруг закричал Человеков. Острый кадык ходил под дряблой кожей. — Нам предлагать новый шаг в эволюции человека, а мы спорим по пустякам. Неужели непонятно, что в случае удачи человечество станет бессмертным? Мы все можем стать бессмертными — и я, и вы, и любой... Индивидуальная смерть, смерть тела перестанет быть смертью духа, смертью идеи, смертью личности! Если понадобится, я отдам вам, Ржевский, мою пенсию. Я не шучу, не улыбайтесь.

Ржевский знал Человекова давно: не близко, но знал. И даже знал обоих его сыновей — Человеков запихивал их в институты, спасал, отводил от этих пожилых балбесов дамкловы мечи и справедливые молнии...

— Спасибо, — сказал Ржевский без улыбки.

— Всю жизнь я накапливал в себе знания, как скупой рыцарь, набивал свою черепушку фактами и теориями, наблюдениями и

сомнительными гипотезами. И знал, что с моей смертью пойдет прахом, сгорит этот большой и бестолковый склад, к которому я даже описи не имею... — Человеков постучал себя по виску согнутым пальцем. — И вот сейчас пришел человек, вроде бы не шарлатан, который говорит, что ключи от моего склада можно передать другому, который пойдет дальше, когда я остановлюсь. Вы не шарлатан, Ржевский?

— В этом меня пока что никто не обвинял, — сказал Ржевский и заметил, как шевельнулись губы Сидорова, но Сидоров промолчал. Сидоров не верил, но уже понимал, что пожилые люди, собравшиеся в этом кабинете, согласятся выделить Ржевскому тринадцать миллионов и еще миллион в валюте.

«А вдруг я шарлатан? — подумал Ржевский. — Вдруг то, что получалось с собаками и шимпанзе, не получится с человеком? Ладно, не получится у меня, получится у кого-то потом, завтра».

— Я не предлагаю своей клетки, — сказал Человеков, — особенно сейчас, когда столь многое зависит от первого опыта. От первого гомо футуриса. Мой мозг уже сильно изъеден склерозом. А жаль, что я не услышал вас, Ржевский, хотя бы десять лет назад. Я бы настоял, чтобы мне сделали сына, действительно похожего на меня. Мы бы славно поработали вместе...

— Кстати, — сказал Семанский, когда Человеков устало опустил в кресло свое громоздкое обвисшее тело. — Вы задумывались о первом доноре?

— Да, — ответил Ржевский. — Клетку возьмем у меня.

— Почему? — воскликнул вдруг человек в ярком галстуке. — Какие у вас основания? Этот вопрос следует решать на ином уровне.

— Не надо его решать, — сказал Айрапетян. — По-моему, все ясно. Кто, как не руководитель эксперимента, может лучше проводить наблюдения над самим собой... когда тебе двадцать лет?

8

С понедельника Ниночка была в лаборатории, но совсем не на той роли, к которой себя готовила. Она ездила. Каждый день куда-то ездила, с бумагами или без бумаг. С Алевичем или без него, на машине или на автобусе. Получала, оформляла и тащила в институт, будто Ржевский готовился к осаде и запасался всем, что может пригодиться.

Директорская лаборатория занимала половину первого этажа и выходила окнами в небольшой парк. Деревья еще были зелены-

ми, но листья начали падать. В парке жила пара ручных белок. Во внутренних помещениях лаборатории, за металлической толстой дверью с иллюминатором, Нина была только один раз, на субботнике, когда они скребли стены и пол без того чистых, хоть и загроможденных аппаратурой комнат. Даже электрик Гриша входил туда только в халате и пластиковых бахилах. Ничего там интересного не было, первая комната с приборами, вторая от нее направо — инкубатор, там ванны с биологическим раствором. Одна чуть поменьше, в ней выращивали шимпанзе, и вторая — новая; ее еще не кончили монтировать, когда в третью комнату, лазарет, перешел сам Ржевский.

Ржевским занимались два врача: один — свой, Волков, рыжий, маленький, с большими губами, всегда улыбается и лезет со своими шоколадками; второй — незнакомый, из института Циннельмана.

Какое-то нервное поле окутало институт. Даже техники и слесари, которые раньше часто сидели за кустами в парке и подолгу курили и обсуждали свои вопросы, перестали бубнить под окном. Навесили на себя серьезные физиономии, двигались деловито и даже сердито.

Мать раза два забегала вниз, будто бы повидать Ниночку. Косилась на металлическую дверь и говорила громким шепотом, а Нине было неловко перед другими лаборантками. Мать здесь была лишней, ее присутствие сразу отделяло Ниночку от остальных и превращало в ребенка, устроенного по знакомству.

Вечером дома шли бесконечные разговоры о Ржевском и его работе. Они шли кругами, с малыми вариациями, Ниночка заранее знала все, что будет сказано, она пряталась в своей комнате и старалась заниматься. Но было слышно.

Хлопает дверь холодильника — отец что-то достает оттуда.

— Что ты делаешь! — возмущается мама. — Через полчаса будем ужинать.

— Я поужинаю еще раз, — отвечает отец. — Так будешь оставливать Ржевского?

— Если у него получится, он наверняка схлопочет Государственную премию. Почти гарантия. Мне Алевич говорил, — слышен голос матери.

— Лучше бы уж он на тебе женился, и дело с концом, — говорил отец.

— Я этого не хотела!

— Правильно, кисочка, я всегда был твоим идеалом.

— Ах, оставь свои глупости.

Тут Нина поднимается с дивана, откладывает математику и идет поближе к двери. Она так и не знает толком, что же произош-

ло много лет назад. Что-то произошло, связывающее и по сей день всех этих людей. Она знает, что Ржевский «предал маму и убил бедную Лизу». Ниночка привыкла за много лет к тому, что Ржевский предатель и неблагодарный человек. Раньше это ее не касалось. Ржевский никогда не приходил к ним домой. И в то же время знакомство с ним позволяет не без гордыни говорить знакомым: «Сережка Ржевский, наш старый друг...» А потом мама пристроила ее в библиотеку, и она увидела Ржевского, который оказался совсем не похож на предателя — образ предателя складывался у нее под влиянием телевизора, а там предателей обычно играют одни и те же актеры. Ржевский был сухим, подтянутым, стройным человеком с красным лицом, голубыми глазами и пегими, плохо подстриженными волосами. На круглом подбородке был белый шрам, а руки оказались маленькими. Ржевский здоровался с ней рассеянно, словно каждый раз с трудом вспоминал, где он с ней встречался. Потом он улыбался, почти робко, наверное, помня, как много плохого Ниночка должна о нем знать. Ниночка была готова влюбиться в Ржевского, в злодея, который нес в себе тайну. Правда, Ржевский был очень старым. За сорок.

А из-за двери льются голоса родителей.

— Знаешь, а бараки сносят, — говорит мать.

— Какие бараки?

— Где он с Лизеттой жил.

9

Ржевский вывел очередную комиссию из лаборатории. Посидели еще немного в кабинете. Леночка принесла кофе с коржиками. Говорили о каких-то пустяках — Струмилов обратил внимание, что на первом этаже нет решеток. Алевич воспользовался случаем и стал просить денег на ремонт, фасад никуда не годится, паркет буквально рассыпается. А если иностранные делегации? «Не спешите с иностранными делегациями», — сказал Остапенко. Дольский спросил о конгрессе в Брно, кого бы послать. Ржевский пил кофе, разговаривал с начальством, делая вид, что принадлежит к той же категории людей, а мысленно представлял, как идет деление первых клеток. Прямо видел, словно в поле микроскопа, как шевелятся, переливаются клетки. Главное, чтобы успели подготовить перенос...

Потом сидел допоздна во внутренней лаборатории. Внизу лаяли собаки, потом раздался звон. Ржевский понял, что обезьяны скукают, зовут людей — кружкой о прутья клетки.

Во внутренней лаборатории было хирургически светло. Дежурный, Коля Миленков, чтобы не мешать директору, делал вид, что читает английский детектив. Он считал директора гением и потому был счастлив.

Ржевский пошел домой пешком. Он остановился возле барака, дверь была открыта. Ржевский вошел внутрь. Пахло пылью и давнишним человеческим жильем. Света не было, свет давно отключили. Ржевский зажег было спичку и понял, что это лишнее — он отлично помнил, сколько ступенек на лестнице. Он поднялся на второй этаж, и было странное ощущение, что поднимается не в пустоту заброшенного барака, а к себе, где за дверью должна стоять, прислушиваясь к его шагам, Лиза. Откроет, смотрит и молчит. Он устало протянет ей сумку с продуктами или портфель, чтобы поставила на столик в маленькой прихожей, и скажет: «Не сердись, Лиз, сидел в библиотеке, опоздал на электричку». Катька, спящая за столом на топчанчике, который он сколотил сам, не очень красиво, но крепко, застонет во сне, и Лиза скажет с виноватой улыбкой: «Котлеты совсем остыли, я их два раза подогрела».

Дверь была не заперта. За окном висела луна, на полу валялись старые журналы. Больше ничего. Ни одной вещи из прошлого. И обои другие.

Ржевский подошел к окну. Если ночью не спалось, он вылезал из-под одеяла и шел к окну, открывал его и курил, глядя на пустырь. Там, где теперь белые дома нового района, была черная зелень. В ней скрывалась деревня — в ту деревню Лиза бегала за молоком, когда Катька простудилась. Он вдруг насторожился. Он понял, что вот сейчас Лиза проснется — она всегда просыпалась, если он вставал ночью. «Что с тобой? Ты себя плохо чувствуешь?» — «Просто не спится». — «Просто не бывает. Ты расстроен? Тебе плохо?» — «Нет, мне хорошо. Я думаю». Он бывал с ней невежлив, он уставал от ее забот, вспышек ревности и мягких, почти робких прикосновений. «Может, тебе дать валерьянки?» — «Еще чего не хватало!»

Скрипнула ступенька на лестнице. Потом удар. Шум. Словно тот, кто поднимается сюда, неуверенно и медленно ощупывая стенку рукой, ударился об угол.

«Надо бы испугаться,— сказал себе Ржевский.— Кто может подниматься в полночь по лестнице пустого барака?»

Дверь медленно начала отворяться, словно тот, кто шел сюда, не был уверен, эта ли дверь ему нужна.

Ржевский сделал шаг в сторону, чтобы не стоять на фоне окна.

Человек, вошедший в комнату, неуверенно остановился на пороге. Глаза Ржевского уже привыкли к темноте, к тому же в комнату глядела луна — он увидел, как человек шарит рукой справа по стенке, и понял, что много раз он сам так же протягивал туда руку и зажигал свет. Раздался щелчок.

— Ах, черт! — прошептал человек.

— Послушай, свет все равно отключен, — сказал Ржевский. — Эти бараки выселены, ты забыл, что ли?

Человек замер, прижался к стене, он не узнал голоса Ржевского и испугался так, что его рыхлое тело размазалось по стене.

— Испугался, что ли? — Ржевский пошел к Виктору, врезался ногой в кучу журналов, чуть не упал. — Это я, Сергей.

— Ты? Ты зачем здесь? — сказал Виктор хрипло. — Испугался. Никак не думал кого-нибудь встретить.

Они замолчали.

— Курить будешь? — спросил Ржевский.

— Давай закурим.

Ржевский достал сигареты. Когда Виктор прикуривал, он наклонил голову, и Ржевский увидел лысину, прикрытую зачесанными набок редкими волосами.

— Я давно тебя не видел, — сказал Ржевский.

— Ну, я пошел, — сказал Виктор.

Ржевский кивнул. Ему тоже бы уйти, но не хотелось идти по ночной улице с Виктором. Ботинки Виктора тяжело давили на ступеньки. Лестница ухала. Потом все смолкло.

«Наверное, Эльза сказала ему, что бараки сносят, — подумал Ржевский. — А может быть, Виктор приходил сюда и раньше?» Его, Ржевского, тянет прошлое, как убийцу, который приходит на место преступления. Тут его и ловят. И Виктор его ловил? Нет. Он сам пришел. Ржевский закрыл глаза и постарался представить себе комнату, какой она была тогда. Он заставлял себя расставить мебель, даже положил мысленно на стол свои книги и даже вспомнил, что настольную лампу накрывали старым платком, чтобы свет не мешал спать Катьке. А Лиза лежала в полутьме и смотрела ему в спину. Он знал, что она смотрит ему в спину, стараясь не кашлять и не ворочаться. А ему этот взгляд мешал работать. И он тихо говорил: «Спи, тебе завтра вставать рано». — «Хорошо, — отвечала Лиза, — конечно. Сейчас засну».

В то последнее утро они заснули часов в пять, на рассвете, прошептавшись всю ночь, а потом он открыл глаза и как в продолжение кошмара увидел, что она стоит в дверях, держа за руку

тепло одетую Катю, с чемоданом в другой руке. Он тогда еще не осознал, что Лиза уходит навсегда, но в том, что она уходит, было облегчение, выход из тупика. И он заснул...

Ржевский открыл глаза. Свежий ночной ветер вбежал в окно через разбитую створку и зашуршал бумагой на полу.

Ржевский выкинул сигарету в окно и спустился вниз. Его одолела смертельная, глубокая, безнадежная тоска. Вдруг он увидел: неподалеку, за деревом, стоит и ждет Виктор. Ржевский замер, не выходя наружу, а потом дождался, когда Виктор зажжет спичку, снова закуривая, выскочил из подъезда и скользнул вдоль стены за угол, в кусты.

11

Нине очень хотелось заглянуть во внутреннюю лабораторию — центр, вокруг которого уже шестую неделю концентрировалась жизнь института. Но никак не получалось. Туда имели доступ только пять или шесть человек, не считая Ржевского и Остапенко из президиума. Правда, раза три приезжали какие-то друзья Ржевского, седые, солидные. Коля Миленков их, конечно, всех знал — академик такой-то, академик такой-то... Этих Ржевский сам заводил внутрь, и они застревали там надолго.

— Понимаешь, Миленков, — сказала Ниночка, которая к Коле привыкла и уже совсем не боялась. — Это для меня — как дверь в замке Синей Бороды. Помнишь?

— Помню. Тебе хочется бесславно завершить молодую жизнь. Ты понимаешь, что Синяя Борода нас обоих тут же вышвырнет из института. А у меня докторская в перспективе.

Самого Ржевского, хоть и видела его теперь каждый день и он уже привык считать ее своей, не дочкой Эльзы, а своей сотрудницей, даже как-то прикрикнул на нее, — понимаете разницу? — Ниночка попросить не осмеливалась. Он был злой, дерганый, нападал на людей почему зря, но на него не обижались, сочувствовали: ведь это у них в институте, а не где-нибудь в Швейцарии рос в биоанне первый искусственный человек.

В конце концов Ниночка проникла в лабораторию.

Был вечер, уже темно и как-то тягостно. Деревья за окнами почти облетели, один желтый кленовый лист прилип к стеклу, и это было красиво. Коля вышел из внутренней лаборатории, увидел Ниночку, которая сидела за своим столом с книжкой в руках, и спросил:

— Ты чего не ушла?

— Я Юлю подменяю. Мне все равно домой не хочется. Я занимаюсь.

— Я до магазина добегу, а то закроется. На углу. Минералочки куплю. Ты сиди, поглядывай на пульт. Ничего случиться не должно.

Ниночка кивнула. Внешний контрольный пульт занимал полстены. Ржевский еще давно, в сентябре, заставил всех лаборантов разобраться в этих шкалах и циферблатах. На всякий случай.

— Главное, — сказал Коля, — температура бульона, ну и конечно...

— Я знаю, — сказала Ниночка и почувствовала, что краснеет. У нее была тонкая, очень белая, легко краснеющая кожа.

— Я не закрываю, — сказал Коля. — Одна нога здесь, другая там. Но ты туда не суйся... — И, выходя уже, добавил: — ...Восьмая жена Синей Бороды.

Ниночка встала и подошла к пульту. Там, внутри, ничего неожиданного не происходило. А если произойдет, такой трезвон пойдет по институту! Так было на прошлой неделе, когда повысилась кислотность. К счастью, Ржевского в институте не было, а когда он приехал, все уже обошлось.

Ниночка прошла по комнате. В институте было очень тихо. Желтый лист на стекле вздрагивал и, видно, собирался улететь.

— Если улетит, — сказала Ниночка, — я загляну. Краем глаза.

Конец листа оторвался от стекла, Ниночка напряглась, испугалась, что он улетит и придется заглядывать. Но капли дождя прибили лист к стеклу снова. Он замер.

Тогда Ниночка подумала, что скоро вернется Коля. Она подошла к двери и легонько тронула ее. Может, дверь и не откроется. Дверь открылась. Легко, беззвучно.

Переходник был ярко освещен, дверь направо, в инкубатор, чуть приоткрыта. Каблуки Ниночки быстро простучали по плиткам пола. В шкафу висели халаты. Из рукомойника капала вода. Ниночка замерла перед дверью, прислушалась. Тихо. Даже слишком.

Только жужжали какие-то приборы. Из-за двери пробивался мягкий свет.

Нина приоткрыла дверь и скользнула внутрь.

Почему-то сначала она увидела мягкий черный диван и на нем открытую книгу и половинку яблока. Там должен был сидеть Коля Миленков. У дивана на столике стояла обыкновенная настольная лампа. Одна ванна была пустая, большая, как египетский саркофаг с выставки. Или как подводная лодка. Все таинство происходило во второй ванне, поменьше, утопленной в полу и, к сожалению, совершенно непрозрачной. То есть крышка была прозрачной, но внутри — желтоватая мутная жидкость. Ниночка наклонилась к ванне, но все равно ничего не смогла различить, и тогда она

потрогала ее стеклянный гладкий бок. Бок был теплым. Ее прикосновение вызвало реакцию приборов. Они перемигнулись, гудение усилилось, словно шмель подлетел поближе, к самому уху. Ниночка отдернула руку, и тут дверь отворилась и вошел Ржевский. Ниночка думала, что это Коля, и даже успела сказать:

— Коля, не сердись...

И замолчала, прижав к груди руку, как будто на ней отпечатался след прикосновения к ванне.

— Ты что тут делаешь? — Ржевский сначала даже не удивился, прошел к приборам, повернулся к Нине спиной, и она стала продвигаться к двери, понимая, что это глупо.

— Меня Коля попросил побыть, пока он за водой сходит, — сказала Нина.

— Попросил? Побыть? — Ржевский резко обернулся. — Как он посмел? Оставить все на девчонку! Несмысленыша! Ты чего трогала?

И Ниночке показалось, что он ее сейчас убьет.

— Не трогала.

— Почему улыбаешься?

— Я не улыбаюсь, барон.

— Кто?

— Синяя Борода. Или он был герцог?

Ржевский прислушался к жужжанию шмеля, потом ладонью рубанул по кнопке, и жужжание уменьшилось.

Видно, понял, в чем дело, и сам улыбнулся.

— Мне было очень интересно, — сказала Ниночка. — Простите, Сергей Андреевич. Я все понимаю, но обидно, когда я каждый день сижу там, за стенкой, а сюда нельзя.

— Это не прихоть, — сказал Ржевский. — Как ребенок... Синяя Борода. Чепуха какая-то.

— Чепуха, — быстро согласилась Ниночка. — Это очень похоже на саркофаг. Только фараона не видно.

— Даже если бы ты и увидела, ничего бы не поняла, — сказал Ржевский. — Процесс строительства тела идет иначе, чем в природе. Совсем иначе. Куда приятнее увидеть младенца, чем то, что лежит здесь. Послезавтра будет большое переселение. — Ржевский постучал костяшками пальцев по большому пустому саркофагу. — И попрошу больше сюда не соваться. Ты вошла сюда в обычном халате — не человек, а скопище бактерий.

Нет, он не сердился. Какое счастье, что он не сердился.

— Но тут все закрыто герметически, я же знаю, — сказала Ниночка.

— А я не могу рисковать. Я двадцать лет шел к этому. Неудачи мне не простят.

— К вам так хорошо относятся в президиуме.

— Нахватались институтских сплетен — «хорошо относятся». Хорошо относятся к победителям. Остапенко тоже рискует, что подерживает нас. Ты знаешь, как принято говорить? Поработайте еще лет пять с крысами... ну, если хотите, с обезьянами, удивительные эксперименты... великий шаг вперед! Но опасно! Рискованно! Триумф геной инженерии, создали гомункулуса! Ты знаешь, кто такой Франкенштейн?

Ржевский сел на Колин диван, повернул книгу обложкой к себе, рассеянно полистал.

— Да, я слышала, — сказала Ниночка голосом отличницы. — Он шил из трупов человека, а тот потом нападал на женщин. Но ведь вы же выращиваете своего по биологическим законам...

— Супротив законов... — Ржевский отложил книжку. — Супротив всех законов. Неужели ты этого не знаешь? А лезешь сюда с немтыми руками.

— Я больше не буду.

Нина понимала, что надо уйти. Но уйти было жалко. И жалко было Ржевского — он побледнел, осунулся, ему все это дорого обходится.

— У вас еще не было детей, — сказала Ниночка непроизвольно, сама удивилась, услышав свой голос. — Теперь будет.

— Ты о нем?

— Разумеется. Конечно, лучше, если бы у вас уже были свои дети, но для начала можно и так.

— С ума сойти, — удивился Ржевский. — А ну, марш отсюда!

12

Иван родился 21 ноября в шесть часов вечера.

Никто не уходил из института, хоть и не объявляли о конце эксперимента. Ждали. Ржевский три дня буквально не выходил из внутренней лаборатории, а Ниночка по очереди с другими девушками купала и готовила тем, кто был внутри, еду. Они выбегали на несколько минут, что-то перехватывали и исчезали вновь за дверью переходника.

С утра в тот день в институте появились новые люди — медики. Потом два раза приезжал Остапенко и один из тех, старых академиков. В кабинете директора все время звонил телефон, но Леночка имела жесткие инструкции Ржевского не звать, ничего ему не передавать, даже если начнется землетрясение.

Ниночка сама не пошла обедать, какой уж там обед. Мысли ее были внутри, за дверьми. А вдруг этот мальчик, гомункулус — на

самом деле чудовище Франкенштейна... вот он повернулся, вот он старается открыть глаза, и слабый хриплый стон вырывается между синих губ. Или сейчас прервалось дыхание — Ржевский начинает массировать сердце... Она недостаточно разбиралась в вынесенных на пульт во внешней лаборатории показаниях приборов. У пульта толпились биологи из других лабораторий и вели себя так, словно смотрели футбол.

В шесть часов с минутами кто-то из молодых талантов, глядя на мельтешию зеленых кривых на экранах, сказал: «Вот и ладушки» — и хлопнул в ладоши. Они все заговорили, заспорили, стали глядеть на дверь, и Ниночке почему-то показалось, что Ржевский должен выйти с Ним.

Ржевский долго не выходил, а вышел вместе с одним из медиков. И все. Ниночка не могла разглядеть Ржевского за спинами высоких молодых талантов — в этой толпе его и унесло в коридор, и лишь раз его усталый голос поднялся над другими голосами: «У кого-нибудь есть сигареты без фильтра?» Ниночка почувствовала, что смертельно устала, но не могла не смотреть на дверь во внутреннюю лабораторию, потому что Он мог выйти сам по себе, забытый и неконтролируемый. А когда вышел покурить и Коля Миленков, она не выдержала и спросила его, тихо, чтобы не услышали и не засмеялись:

— Он ходит? Он говорит?

— Будет ходить, — сказал Коля самодовольно.

Потом вернулся Ржевский и потребовал у Фалеевой графики дежурств лаборанток. Он сидел за столом, Ниночка подошла к нему поближе, и ей казалось очень трогательным, что волосы на затылке у Ржевского редкие, мягкие и хочется их погладить.

— В ближайшие недели, — сказал Ржевский Фалеевой, но слышали все, — с ним должны дежурить сиделки. Я договорился с Циннельманом, но у них плохо с младшим персоналом. Сестры будут, а вот в помощь им хотелось бы позвать кого-нибудь из наших. Есть добровольцы?

Ржевский оглянулся.

— Конечно, есть, — сказала Фалеева. Но никто не отозвался, потому что девушки вдруг испугались.

Оробел даже Юра, лаборант, который занимается штангой. И больше всех испугалась Ниночка. И потому сказала тонким голосом:

— Можно, я?

— Конечно, — сказал Ржевский, который, видно, совсем не боялся за судьбу Ниночки. — А еще кто?

Вызвались Юра и сама Фалеева.

Вокруг темнота и глухота, темнота и глухота, но темнота бесконечна, только нужно из нее выкарабкаться и знать, куда ползти сквозь нее, а никто не может сказать, куда надо ползти, и если поползешь не туда, то попадешь в колодец; это еще не колодец, а понятие, для которого нет слова, место, куда падают, падают, падают, и тело становится громоздким, и все растет, оно больше, чем пределы колодца, но этих пределов не касается, они отодвигаются быстрее, чтобы пропустить его в бездну.

И он не знает, что это значит, хотя должен знать, иначе не выбраться из темноты...

Ниночка пришла домой в девятом часу.

Родители были на кухне. Отец читал «Советский спорт». Мать рубила капусту.

— Что так поздно? — спросил отец мирно, как будто с облегчением.

— Мы так устали... — и Ниночка замолчала. Когда она шла домой, то не знала, что сделает, вбежит ли с криком: «Он родился!» — или просто ляжет спать.

— Наверно, устала, — сказал отец, чуть раскачиваясь... — Каждый день приходила чуть ли не ночью... Теперь хоть будешь дома сидеть.

— Нет, — сказала Ниночка. — Теперь будет еще больше работы. Меня назначили дежурить с ним.

— С кем? — спросила мать, нож повис в воздухе.

— С Иваном. Его зовут Иваном, ты знаешь?

— Я ничего не знаю, — сказала мать. — Я ушла раньше. Иван — это его детище?

В слове «детище» было отношение к новорожденному. Плохое.

— Я буду дежурить у него.

— Господи, — сказала мать. — Возле этого чудовища? Одна?

— Он не чудовище. Это сын Ржевского. Понимаешь, биологически он сын Ржевского, он выращен из его клетки.

Мать бросила нож, он отскочил от доски и упал на пол. Никто не стал поднимать.

— Он убийца! — закричала мать. — Он убил Лизу! Он убивает все, к чему прикасается. Он затеял всю эту историю из патологического желания — доказать мне, что у него может быть ребенок.

Ниночке бы уйти, она всегда уходила от таких сцен, но теперь все, относившееся к Ржевскому, слишком ее интересовало.

— Какая Лиза? — спросила Ниночка.

Мать подобрала нож и сказала, будто не услышала:

— Я категорически, — она подчеркнула свои слова ножом, — против того, чтобы Нина приближалась к этому ублюдку. Если нужно, я дойду до самого верха. Я не оставляю камня на камне.

И тогда Ниночка убежала из дому. Было темно и зябко. У нее был домашний телефон Ржевского, она списала его дома, из телефонной книжки. Она зашла в будку автомата, еще не думая, что будет звонить, — просто освещенная изнутри желтой лампой будка была теплым и уютным местом, чтобы спрятаться. А потом она набрала номер Ржевского.

Поняв по голосу, что разбудила директора института, Нина хотела было уже бросить трубку, но не успела.

Он строго спросил:

— Кто говорит?

И она не посмела скрыться:

— Простите, я не хотела вас будить. Это Нина Гулинская.

— Что-нибудь случилось? Ты из института?

— Нет, я пошла домой, а потом поругалась с мамой, то есть не поругалась, а просто ушла от них.

— Тогда не плачь, — сказал Ржевский. — Ничего особенного не произошло.

— Она мне не разрешает, а я хочу. Я уйду от них, если она не разрешит...

— Ты из автомата?

— Да.

— Тогда приезжай ко мне. Адрес запомнишь?

— У меня есть. Я давно еще списала... Но уже поздно, и вам надо спать.

— Если не ко мне, то куда пойдешь?

— Не знаю.

— Вытри глаза и приезжай, — в голосе Ржевского ей послышалась насмешка, и она сухо сказала:

— Нет, спасибо.

Не поедет она за сочувствием...

Потом прошла еще две или три улицы, позвонила подруге Симочке, сообщила, что приедет к ней ночевать, и поехала к Ржевскому.

15

Квартира Ржевского разочаровала Ниночку. Она часто представляла, как он живет, совсем один, и ей казалось, что его мир — завал книг, рукописи горой на столе, обязательно большое черное

кожаное кресло, картина Левитана на стене — неустроенный уют великого человека. А квартира оказалась маленькой, двухкомнатной, аккуратной и скучной.

— Я кофе собирался выпить, — сказал Ржевский. Он был в джинсах и свитере. — Будешь?

— Спасибо.

Он пошел на кухню, а Ниночка осталась стоять возле чистого письменного стола, огляделась, увидела широкий диван и подумала: «К нему, наверное, приходят женщины. Приходят, а он им делает кофе и потом достает вот оттуда, из бара в стенке, коньяк. А вдруг он смотрит на меня как на женщину?» Ниночка испугалась собственной мысли, которая происходила оттого, что в глубине души ей хотелось, чтобы он видел в ней женщину.

— Сосиски сварить? — спросил Ржевский из кухни.

Ниночка подошла к двери на кухню, заглянула. Кухня была в меру чиста и небогата посудой.

— Спасибо, я не хочу есть. А вам кто-нибудь помогает убирать?

— Вызываю молодницу из фирмы «Заря» окна мыть. Держи печенье и конфеты. Поставь на столик у дивана.

«Он совершенно не видит во мне женщины», — поняла Ниночка. Это было обидно. Кофе был очень ароматный и крепкий — такой умеют делать только взрослые мужчины.

— Давай поговорим, — сказал Ржевский.

Ниночка устроилась удобнее на диване. Она поняла, что они коллеги и они обсуждают эксперимент. К тому же они знакомы домами. Видела бы мама, что она пьет кофе с директором института. А какое бы лицо было у Фалеевой? Правда, репутация директора погибла бы безвозвратно. Ниночка хотела было сказать Ржевскому, что никому не скажет о своем ночном визите, но он ее опередил:

— Рассказывай, что дома приключилось.

— Они все взбунтовались. Мать не разрешает мне с Иваном работать. Говорит, что он убудок. Вы не обижайтесь.

— Я твою маму знаю много лет и знаю, какой она бывает в гнев.

— Она отойдет, вы же знаете, она быстро отходит.

— Не совсем так. Она мирится внешне, а так, без Каноссы, прощения не добьется.

— Без Каноссы?

— Вас, голубушка, плохо учат в школе.

Ниночка заметила, что в углу стоят горные лыжи, очень хорошие иностранные горные лыжи, им не место в комнате, но кто скажет Ржевскому, что можно ставить в комнату, а что нет.

Ниночка кивнула, согласившись, что ее плохо учили в школе.

— Что же теперь будем делать? Перевести тебя в другую лабораторию? — спросил он.

— Что вы! — испугалась Ниночка. — Разве я плохо работала?

— Я к тебе не имею претензий. Но может, ты и сама его боишься?

Ниночка отрицательно покачала головой. Сказать, что совсем не боится, было бы неправдой.

Ржевский поднялся с кресла, подошел к окну, приоткрыл его — оттуда донесся неровный, прерывистый вечерний шум большой улицы.

— Тебе не холодно?

— Нет. Вы не думайте, что я боюсь. Но ведь это первый... первый такой человек.

— Но не последний, — сказал Ржевский. — Твоя мама выражает мнение весьма существенной части человечества... Есть какие-то вещи, которые человеку делать положено, а какие-то — нет. Например, положено создавать себе подобных ортодоксальным путем.

«Зачем он говорит со мной, как с девочкой? — подумала Нина. — Как будто тайны жизни для меня закрыты на замок».

Тот поглядел на нее внимательно, улыбнулся уголками губ.

Ниночка увидела, что у Ржевского оторвана пуговица на рубашке.

Никогда Ниночке не приходило в голову смотреть на пуговицы своих сверстников.

Она отлично умеет пришивать пуговицы.

Но нельзя же сказать ему: я хочу пришить вам пуговицу, дядя Сережа.

— Лет двадцать пять назад... — вдруг Ржевский замолчал. И Ниночка поняла, что он вспомнил о «той Лизе, которую убил». Именно тогда. Они дружили — мать, отец и Ржевский. Ржевский хотел жениться на матери, а она предпочла ему отца — об этом Ниночка знала давно, из шумных сцен на кухне, когда мать кричала отцу: «Если бы я тогда вышла за Ржевского, я бы не прозябала!»

Ржевский нахмурился, будто с трудом вспомнил, на чем остановился.

— Тебе не пора домой?

— Нет, я часто от них убегаю. Они думают, что я ночую у Симы Мирославской.

— Может, позвонишь?

Ниночка отрицательно покачала головой.

— Двадцать пять лет. Ты думаешь, это много? Оказывается, я помню, сколько там ступенек, и помню слова, которые там говорились. Как вчера. А память у меня совсем не фотографическая. Просто все это было недавно... Двадцать пять лет назад я резал планарий, глядел в микроскоп и читал. И обо мне говорили, что я перспективен, говорили без зависти, потому что я казался фантазером. Даже когда американцы активно занялись тем же. Наверное, моих друзей и оппонентов сдерживал религиозный запрет «богу — богово», хотя они были убежденными атеистами. А теперь клонирование стало обыденностью. Родились первые настоящие здоровые младенцы, весь генетический материал которых — искусственно выращенная клетка отца. Старшему в Японии сейчас...

— Три года, — сказала Ниночка.

— Спасибо. Три года. А он и не подозревает, что чудовище. Растет, пьет молочко, говорит свои первые слова... Никогда не доверяй банальным истинам... Сделали самого обыкновенного человека. Самого обыкновенного, просто нестандартным способом. А теперь сделали еще шаг дальше и получили человека сразу взрослым. Избавили Ивана от долгих и непроизводительных лет детства. Ты еще кофе будешь?

— Нет, спасибо.

— А я себе сделаю.

Ржевский пошел на кухню, поставил кофе. Ниночка поднялась с дивана, подошла к окну — видно, прошел дождь, она не заметила, когда он был, и машины отражались огоньками в черном мокром асфальте.

— Почему ты мне не возражаешь? — спросил Ржевский громко из кухни. — Мне все возражают.

— Вы думаете, хорошо, что у него не было детства?

— А что хорошего в детстве? Учеба, учеба... все тебе приказывают, все тебе запрещают. Хотела бы ты снова прожить детство?

— Не знаю. Наверное, нет. Но я его уже прожила.

Ржевский маленькими глотками отхлебывал кофе, Ниночка молчала. Что-то было неправильно. По отношению к Ивану. Но она не могла сформулировать свое сомнение.

— Вы уверены? — спросила она.

— В чем?

— В том, что он нас поймет?

— Если он будет спорить со мной, я это буду приветствовать. Знаешь почему?

— Нет.

— Да потому, что я сам все с собой спорю. Нет бóльших оппонентов, чем самые близкие люди. А он не только близок мне, он — продолжение меня. Я дошел до своей вершины, и теперь, хочу того или нет, пришло время идти вниз. Я постараюсь сделать это как можно медленнее, но процесс остановить невозможно... Невозможно? А вот возможно! Возможно, понимаешь, девочка?

— Поэтому вы выбрали себя в отцы?

— Чувствую, что об этом тоже говорили у Эльзы на кухне — в центре Вселенной. И меня там осудили за это тоже.

Ниночка не ответила.

— Кого бы ты предложила на мое место? Алевича? Остапенко? Безымянного добровольца? Ну?

— Нет, я понимаю... — сказала Ниночка виновато, словно это она, а не мать осуждала Ржевского.

— Ни черта ты не понимаешь. Ты думаешь, потому что я считаю себя умнее и талантливее их? Нет, просто я знаю об эксперименте больше остальных. Значит, в общих интересах, чтобы сын, как и я, был в курсе всех дел. Какого черта я буду тратить время на то, чтобы понять не только искусственного сына товарища Остапенко, но и самого товарища Остапенко. А если я их обоих не понимаю, то могу проглядеть что-то очень важное для эксперимента.

— А себя вы понимаете? — осмелилась спросить Ниночка. Она вдруг догадалась, что Ржевский оправдывается. Перед ней и перед собой.

— Я? — Ржевский вдруг засмеялся. — Я тебя заговорил. Прости. Сколько времени? Двенадцатый час? Пошли, я тебя провожу. Мне тоже полезно вдохнуть свежего воздуха.

16

Я ощущаю одиночество, в котором оживает мое тело.

У меня есть руки, они растут из плеч, они длинные и на концах имеют тонкие отростки, которые растут из воздуха, а как называются отростки, мы еще не знаем. У меня есть ноги, у них тоже отростки на концах. Лиза их называла, но неизвестно, что такое Лиза... Если бы еще знать, как забывают вещи... они забывают, а нам нельзя. И снова падение вниз, в колодец, хотя теперь в нем есть смысл — смысл в осознании того, что отростки называются пальцами. Но как трудно дышать, а сквозь стену, вместо того чтобы показать путь наружу, говорят о содержании адреналина... великан Адреналин придет, когда мама будет купать тебя в тазике... Что такое мама? Это теплота и тишина...

На улице было свежо и приятно. Ржевский поддержал Ниночку под локоть, когда они переходили улицу, и Ниночка с трудом удержалась, чтоб не прижать локтем его руку. Еле-еле удержалась. Он бы засмеялся. И это было бы невыносимо.

Они подошли к остановке — Ниночка отказалась взять у Ржевского деньги на такси. Автобуса долго не было. Ржевский закурил и заговорил снова, не глядя на Ниночку:

— Что такое смерть? Это не только прекращение функционирования тела. Люди всегда, в любой религии, мирились с гибелью тела. Но никак не могли примириться, что с каждым человеком умирает мир мыслей, памяти, чувств. Поэтому одни люди придумали бессмертную душу. Другие придумали перевоплощение, возрождение этой же самой сущности, сотканной из мыслей и памяти, в ином существе. Так вот я-то со временем помру. А в том, молодом человеке, который сейчас медленно входит в жизнь, мои мысли уже оживают. А пройдет еще тридцать лет, и он, Иван, создаст таким же образом своего сына, своего духовного наследника и передаст ему не только свои, но и мои мысли. Накопленные почти за столетие. Ты представляешь, что через двести, триста лет на земле будет несколько сот тысяч, не знаю сколько, гениев, вобравших в себя опыты и мысли нескольких поколений, людей с пятью, шестью, десятью душами...

— Души будут одинаковые, — сказала Ниночка. — Это страшно.

— А мне — нет, — сказал Ржевский буднично. И выбросил сигарету. Она красной звездочкой долетела до лужи у тротуара, пшикнула и исчезла.

— И чувства? — спросила Ниночка. — Чувства нескольких поколений?

Ржевский не ответил. Он увидел свободное такси и поднял руку.

— Нина, заглянем на пять минут в институт? Посмотрим, как идут там дела, а? И потом я отвезу тебя к подруге Симочке.

— Конечно, — сказала Нина и вся сжалась, будто ей неожиданно и раньше времени предложили пойти к зубному врачу.

Ржевский сел в машине подальше от нее, и она вдруг поняла почему — он стеснялся шофера. Он не хотел, чтобы тот подумал: такой пожилой человек, а держит в любовницах этакое юное создание.

Они ехали минут пять молча. Потом Ржевский сказал:

— Я благодарен тебе, что пришла. Мне надо было перед кем-то излиться. Перед кем-то, кто ближе мне, чем просто коллеги.

— Ну что ж, — сказала Ниночка и стала думать, почему он выделяет ее из других. Из-за бывшей дружбы с ее родителями? Или из-за нее самой?

Со стороны фасада в институте горели лишь два окна — в дежурке. Окна лаборатории выходили в сад. Сторож долго не хотел открывать дверь, но, открыв, не удивился — только начал ворчать, что теперь все с ума посходили, превратили день в ночь, и никому от этого не лучше.

Они прошли слабо освещенным коридором до лаборатории. Во внешнем зале сидел лаборант Юра и крутил ручки приемника.

— Потихе, — сказал ему Ржевский.

— Там не слышно, — сказал Юрочка, но сделал музыку почти неслышной. Он глядел на Ниночку. Почему она пришла ночью?

Ржевский подтолкнул Ниночку в переходник. Там заставил вымыть руки гадко пахнущей жидкостью, помог надеть халат, протянул маску. Делал все это быстро, нервно, спешил.

Потом позвонил в дверь внутренней лаборатории. Откинулся глазок. Дверь открылась.

Внутри все изменилось. Пропали саркофаги. Ниночка не заметила почему-то, как их демонтировали и выносили. Зато туда внесли кровать. Почти обыкновенную кровать. Больничную. Рядом стояли капельница и небольшой пульт. Человек на кровати спал. Его лицо Ниночку разочаровало. Оно было гладким, бледным. Пшеничные волосы росли короткой щетиной. Руки безвольно лежали вдоль тела на простыне. Человек, дежуривший у пульта, встал и что-то начал шептать Ржевскому. Ржевский слушал его внимательно, но глядел на Ивана. Медсестра, сидевшая по ту сторону кровати, на черном диване, который остался еще с тех времен, когда никакого Ивана здесь не было, щурилась спросонья.

Ниночка искала в лице молодого человека сходство со Ржевским. Конечно, это сходство было. Такой же нос, форма подбородка... Интересно, а какие у него глаза?

Молодой человек словно услышал ее вопрос.

Руки его шевельнулись. Он медленно открыл глаза. Глаза Ржевского. Он посмотрел на Нину, но как-то лениво, вяло, словно и не хотел смотреть. Он ее не узнал.

Одним из первых, если не первым, собственным, настоящим воспоминанием Ивана было такое.

Он просыпается ночью. После очень долгого сна. Сон еще не ушел, он лишь на мгновение отпустил его... И видит, что над его кроватью в полутьме стоит тонкая глазастая девушка с пышными

темными волосами и испуганно смотрит на него, будто он привиделся ей в кошмаре. Лицо девушки ему знакомо, но очень трудно сосредоточиться и вспомнить, откуда он ее знает; потом девушка отступает куда-то, и в этот момент он понимает, что приходила Нина, Ниночка, Эльзина дочь, хоть он совершенно не представляет, что значит этот набор букв — Эль-за...

Потом Иван очнулся снова, было утро, и в щель задернутой шторы пробивалось солнце, совсем такое же, как когда они с Лизой и Катей жили под Каунасом, в деревне, и он не спешил просыпаться, он ждал, пока Лиза первой вскочит с кровати, побежит, стуча босыми пятками по блестящим доскам пола, к окну и одним резким движением раздвинет шторы, словно разорвет их, и горячий куб солнечного света, заполненный, как аквариум рыбками, ажурной тенью листвы, ввалится в комнату...

В лаборатории была Ниночка. Она сидела в уголке и переписывала какую-то бумагу, склонив голову, иногда высовывая острый розовый язычок — быстро, по-змеиному, чтобы убрать им прядь волос. Странно, что он никогда раньше не замечал Нину. Она уже полгода в институте и с ним почти не встречается, а, впрочем, зачем? И если он перевел ее в лабораторию, то только по просьбе Эльзы, которой было неприятно его просить, но просить приходилось потому, что матерям положено заботиться о своих детях и страдать из-за них. Но почему Ниночка здесь?

Вслед за тем пришло понимание, что он болен. Он не знал, когда и чем заболел, но заболел серьезно, иначе бы его не поместили в эту палату. Тут же возникло новое воспоминание, воспоминания проявлялись как изображение на фотобумаге, в бачке: в красном неверном свете неизвестно было, какой образ следующим возникнет на белом листе.

Воспоминание было неприятным и тревожащим — с ним надо было разобраться, понять, а понять его было нельзя, ибо оно заключалось в том, что он, Сергей Ржевский, лежащий здесь в своей собственной внутренней лаборатории, вовсе не Сергей Ржевский, а кто-то другой, еще не имеющий имени, а потому неправильный, несуществующий человек, которого можно прекратить так же, как его начали, и невозможность осознать все это таилась в том, что начал его тот же Сергей Ржевский, то есть он сам, который существует сейчас вне его..

Тут же эти мысли прервались — он услышал взволнованные голоса, полная женщина в белом халате, которую он не знал, быстро заговорила о стрессе, молодой человек — знакомое лицо, он у нас работает техником? — что-то начал делать с приборами. Тут же был укол, короткая боль и скольжение на санках в небытие.

В это небытие проникали голоса извне. И он узнал, что о нем

говорят как о Иване, и ему все время, без возмущения, без тревоги, тупо и спокойно хотелось поправить говоривших и сказать, что они ошибаются, что он — Сергей Ржевский, хотя он и сам знает, что называться Сергеем Ржевским не имеет никакого права, потому что Сергей Ржевский его придумал и сделал.

И когда он очнулся вновь, на следующее утро, он уже осознал и пережил свое отделение от Ржевского, свою самобытность и ничуть не удивился, когда Сергей Ржевский, сидевший у его кровати и следивший по приборам за моментом его пробуждения, сказал:

— Доброе утро, Иван. Мне хочется с тобой поговорить.

Иван прикрыл глаза, открыл их снова, показал, что согласен слушать.

19

— Здравствуй, Иван,— сказала Ниночка, как всегда вбежав в лабораторию, и, как всегда, Ивану показалось, что ее принесло свежим ветром.— Ты уже обедал? А я не успела — заскочила в буфет, а там дикая очередь, представляешь?

Иван кивнул. Он сразу вспомнил, какие очереди бывают в буфете, и ему захотелось сейчас же позвать Алевича и напомнить ему, что старик уже трижды обещал отдать буфету соседнюю комнату.

Иван встряхнул головой, как всегда, когда отгонял лишние, чужие мысли,— этого жеста у его отца не было.

— Съешь курицу,— сказал он.— Я все равно не хочу.

Мария Степановна, медсестра, укоризненно вздохнула. Она не терпела фамильярностей пациентов с персоналом. Ниночка была персоналом, а Иван — пациентом. От этого никуда не денешься — в этом заключается порядок, единственное, за что можно ухватиться в этом сумасшедшем доме.

— Правильно,— сказала Ниночка.— а ты в самом деле сыт?

— Меня кормят, словно я член олимпийской сборной по тяжелой атлетике,— сказал Иван.

Нина принялась за курицу. Иван смотрел в окно. В этом году снег выпал рано, может быть, он еще растает, но лучше бы уж улегся и кончились эти дожди. Иван подумал, как давно не вставал на лыжи, и, подумав, тряхнул головой, а Нина, заметив этот жест, хмыкнула и сказала:

— Я знаю, о чем ты подумал. Ты подумал: как хорошо бы показаться на лыжах.

— Как ты догадалась?

— Я телепатка. А в самом деле, я сегодня так подумала — почему бы не подумать тебе? Ты умееешь на лыжах кататься?

— Умел, — сказал Иван.

— Я отлучусь, — сказала Мария Степановна. — Через полчаса приду.

— А вы совсем идите домой, — сказал Иван. — Чего меня беспокоит? Я здоров как бык.

— Многие люди кажутся здоровыми. Производят такое впечатление, — в голосе Марии Степановны было осуждение, разоблачение жалкой хитрости пациента.

Иван смотрел на свои руки. Руки как руки. Очень похожие на руки Сергея Ржевского. Только у того пальцы расширились в суставах, стали толще, а по тыльной стороне ладони пошли веснушками.

Иван смотрел на свои руки с удивлением, как на чужие. Ниночка шустро обгладывала ножку курицы и искоса поглядывала на него. Она всегда старалась угадать его мысли и часто угадывала. Ниночка за эти дни поняла, как Иван старается познать мир своими глазами, своими ощущениями, как он старается вычлениваться из старшего Ржевского, отделить всю массу опыта и памяти отца от микроскопического, ограниченного стенами внутренней лаборатории и несколькими лицами собственного опыта. «Он так ждет меня и так любит со мной говорить, — думала Ниночка, — потому что я несу ему крошки его собственной жизни. Они обязательно будут ссориться с Сергеем. Представляю, что бы я сказала маме, если бы узнала, что она за меня ходила в школу».

Звякнул зуммер, оборвался. Техник включил селектор.

Ржевский просил Нину Гулинскую заглянуть к нему.

— Сейчас, — сказала Ниночка, вытирая губы. — Сейчас приду.

Иван посмотрел ей вслед. С ревностью? Как смешно.

Ниночка бежала по коридору и рассуждала: почему она больше не робеет перед Сергеем Ржевским? Такая разница в возрасте и во всем. Просто пропасть. Алевич и тот робеет перед Ржевским. Даже Остапенко иногда. Когда исчезла робость? После ночного разговора в его квартире? И в институте Ниночка уже не была мелким человечком, бегающим по коридорам, — она была причастна к эксперименту, на нее падал ответ тайны и величия того, что случилось. Ведь величие, правда?

Мать стояла в коридоре, курила с незнакомым мужчиной, смеялась сдержанно, но нервно. Мать любила, когда мужчины обращали на нее внимание, вообще говорила, что мужчины куда интереснее женщин, но настоящих поклонников у мамы не было, то ли потому, что она в самом деле не нуждалась в них, то ли потому, что они боялись ее всеобъемлющего чувства собственности. Ниночке иногда жалко было, что она родилась именно у своей мамы. Мать в суматохе гостей, в тщетном стремлении к постоянным, хоть и не

очень экстравагантным развлечениям — поехать к кому-то на дачу и там увидеть кого-то, а потом сказать, что она знакома с ним самим и его женой, которая ее разочаровала, что-то купить, выразить шумное сочувствие чужой беде, — в такой суматохе мать надолго забывала о Нине, сдавала ее отцовской бабушке, которая уже умерла. Но потом у матери словно прорывало плотину — недели на две хватало безмерной любви, когда от нее продохнуть было невозможно. Уж лучше бы, как у других, — без особенных эмоций.

Мать, завидев Ниночку, бросила собеседника, близоруко сощурилась:

— Нина, ты что здесь делаешь?

Нина сразу догадалась, что мать подстерегала ее, поэтому и выбрала место в коридоре первого этажа.

— Меня Сергей Андреевич вызывал, — сказала Ниночка. — А ты?

— Я? Курю.

— Обычно ты куришь на третьем этаже.

— Я тебя не спрашиваю, где мне курить. Ты удивительно распустилась. Зачем ты понадобилась Сереже?

Ага, этим словом мать отнимает у нее Ржевского, ставит Ниночку на место. А мы его не отдадим...

— Мамочка, пойми, — Нина старалась быть ласковой, не хуже мамы, — у нас со Ржевским эксперимент.

— Ах, — сказала мама с иронией и пустила дым. Она никогда не затягивалась. Курение для нее было одним из проявлений светской деятельности. — Ребенок без высшего образования — незаменимая помощница великого Ржевского. У тебя с ним роман?

— Мама! — Ниночка трагически покраснела. У нее был роман с Сергеем Ржевским, хотя он этого не замечал, и у нее начинался роман с Иваном Ржевским, чего она еще не замечала. То есть она была вдвойне виновата, поймана на месте, разоблачена, отчего страшно рассердилась.

Ниночка бросилась бежать по коридору, мама тихо рассмеялась вслед.

Потом Эльза бросила недокуренную сигарету в форточку. Она не хотела ссориться с дочкой, она хотела попроситься в лабораторию, поглядеть на этого Ивана. Иван был, по слухам, точной копией Ржевского в молодости. Но никто, кроме нее, Эльзы, не мог подтвердить этого — она единственная в институте знала Ржевского в молодости.

Еще не все потеряно. Эльза оглянулась. Коридор пуст. Она дошла до торцевой двери. «Лаборатории № 1», скромная черная дощечка. Ничего страшного — все знают, что у нее там работает дочь. Может быть, Эльзе Александровне, директору библиотеки, надо сказать кое-что дочери.

Эльза подошла к двери, замерла возле нее, чтобы собраться с духом и открыть дверь простым и уверенным движением, как это делает человек, пришедший по делу. Толкнула.

Фалеева подняла голову и сказала:

— Здравствуйте, Эльза Александровна. А Ниночка убежала к директору. Что-нибудь передать?

— Спасибо, не надо,— сказала Эльза. Надо уйти. Но она не сводит глаз с белой двери в дальней стене.

— Скоро ваш пациент начнет ходить? — спросила Эльза, входя и закрывая за собой дверь.

— Он уже встает, но Сергей Андреевич ему еще не разрешает выходить.

— И правильно, это не зоопарк. А вы его не боитесь?

— Кого? — удивилась Фалеева. — Ваню?

«Как нелепо,— подумала Эльза. — Называть искусственного человека Ваней. Как ручного медведя».

Белая дверь изнутри резко отворилась. Оттуда быстро вышел Сережа в тренировочном синем костюме с белой полосой по рукавам и штанинам. За ним выскочила полная женщина в белом халате.

— Ты с ума сошел! — кричала она на Сережу. — Что я Ржевскому скажу?

Эльзу вдруг начало тошнить — подкатило к горлу. От страха. И в самом деле, она была единственным человеком в институте, который мог узнать молодого Ржевского. А он взглянул на нее, поздоровался кивком, словно виделся с ней только вчера. Она ощутила какую-то неправильность в его облике. И только когда Ржевский прошел мимо, в коридор, медсестра за ним, Эльза, поняла, что Сережа был неправильно подстрижен, он никогда не стригся под бобрик.

20

— Мне интересны твои впечатления,— сказал Ржевский. — Они могут быть, в силу вашей близости в возрасте, уникальны.

— Я старше его,— сказала Ниночка. — На восемнадцать лет.

— Конечно, конечно,— Ржевский усмехнулся одними губами. — Но и он старше тебя на четверть века.

— Конечно. Старше. И никак не разберется в самом себе.

— Пытается разобраться?

— Пытается. У него два мира,— сказала Ниночка. — Один — в комнате. В нем есть я, сестра Мария Степановна — маленький мир. А ваш мир его гнетет.

— Насколько мой мир реален для него? Со мной он настороже.

— Я не знаю. Он еще не совсем проснулся. — Ниночка нахму-

рила тонкие брови, ей очень хотелось соответствовать моменту.

— Ты слышишь в нем меня?

— Ой, не знаю! Он мне сегодня курицу отдал.

— Чего?

— Я голодная была, а он мне курицу свою отдал.

— Я бы тоже так сделал. Тридцать лет назад. Правда, тогда с курицами было сложнее.

Ржевский открыл папку у себя на столе, в ней были фотографии. Фотографии старые, любительские.

— Видишь, справа — я, в десятом классе. Похож?

— На кого? — спросила Ниночка.

— Значит, не разглядела... ага, вот уже в институте.

— Да, это он, — сказала Ниночка, как у следователя, который попросил ее опознать преступника. Она взяла еще одну фотографию. На ней стояли сразу несколько знакомых людей. Молодые папа с мамой, Иван и еще одна девушка. У девушки была толстая коса. Но больше всего удивилась Ниночка тому, что мама держала на руках девочку лет трех.

— Это ее дочка, — Ржевский показал на круглолицую с толстой косой.

Он взял фотографию, хотел спрятать, потом взглянул еще раз и спросил:

— А маму ты сразу узнала?

— Она мало изменилась, — сказала Ниночка. — Она любит тискать чужих детей. Если знает, что скоро их отдаст владельцам.

— Ну и язык у тебя.

Телефон на столе взорвался пискom — это был зеленый, внутренний телефон. Ржевский схватил трубку.

— Почему сразу не сообщили? Иди.

Он бросил трубку. Злой, губы сжаты.

— Иван ушел. Недосмотрели.

— Куда ушел?

— А черт его знает. За ним Мария Степановна побежала. Ну как же так! Я же ему говорил. Не на ключ же его запирать!

21

Отыскивали Ивана в виварии. Он стоял перед клеткой со Львом. Лев внимательно разглядывал посетителя, словно встречал его раньше. Джон, на которого не обращали внимания, суеуился в своей клетке, ворчал, а Мария Степановна отрешенно застыла у двери.

— Тебе еще рано выходить, — сказал Ржевский с порога.

— Здравствуй,— сказал Иван.

— Почему ты меня не предупредил?

— Я знаю в институте все ходы и выходы,— сказал Иван. — Не хуже тебя.

Ниночка стояла на шаг сзади, поворачивала голову, отмечая различия между ними. Например, чуть более высокий и резкий голос Ивана.

— погоди,— сказал вдруг Ржевский,— дай-ка руку, пульс дай, тебе говорят!

Иван протянул руку. Лев, который увидел это, протянул свою лапу сквозь решетку, ему тоже захотелось, чтобы у него проверили пульс.

— Почему такой пульс? — спросил Сергей Андреевич.

— Ты прав,— сказал Иван.— Давай вернемся. Голова кружится. Делали меня не из качественных материалов. Черт знает что совали.

— Что и во всех,— ответил Сергей.— По рецептам живой природы.

В коридоре встретили нескольких сотрудников. Мало кто в институте уже видел Ивана. Люди останавливались и смотрели вслед. Кто-то крикнул, приоткрыв дверь:

— Семенихин, да иди ты сюда! Скорей!

Ниночка почувствовала, как Ивану неприятно. Он даже ускорил шаги и вырвал руку у отца.

22

Ему снился длинный сон. В этом сне он был мал, совсем мал. Шел по поляне, на которой покачивались цветы с него ростом, и между цветами слепило солнце. Рядом шла мать, он ее не видел, видел только пальцы, за которые цепко держался, потому что боялся шмеля. Вот прилетит и его заберет. Он знал, что дело происходит в Тарусе и ему четыре года, что это одно из его первых воспоминаний, но в то же время это был сон, потому что само воспоминание уже выветрилось из памяти Сергея Ржевского, оно стало семейным фольклором — как Сережа боялся шмеля. Но почему-то в сознании не было картинки шмеля, а лишь звуковой образ Ш-Ш-Ш-мель! Неопределенность угрозы заставляла ждать ее отовсюду, она могла даже превратиться в руку матери, и он начал вырываться, но мать держала крепко, он поднял глаза и увидел, что это не мать, а Лиза, которая плачет, потому что знает — сейчас прилетит шмель и унесет его...

Он проснулся и лежал, не открывая глаз. Он хитрил. Он знал,

что люди при нем перестают разговаривать об обычных вещах — словно ему нельзя о них знать. Он понимал, что его притворство скоро будет разоблачено — приборы всегда предавали его.

На этот раз, видно, никто не поглядел на приборы, может, не ждали его пробуждения. Говорили шепотом. Мария Степановна и другая, незнакомая сестра.

— Глаза у него неживые, старые глаза, — шептала Мария Степановна. — Сколько у меня было пациентов — миллион, никогда таких глаз не видела.

— Откуда же он все знает? Это правда, что он скопированный?

— Не скажу, — ответила Мария Степановна. — Когда меня сюда перевели, он уже готовый был.

— И рассуждает?

— Рассуждает. Иногда заговаривается, конечно. На первых порах себя директором воображал.

Иван осторожно приоткрыл глаза — в комнате горела только настольная лампа, техник дремал в кресле, две медсестры сидели рядышком на диване. Было тихо, мирно, и разговор вроде бы и не касался его.

— А ты не боишься его? — спросила незнакомая сестра.

— Да нет, он добрый, я агрессивность в людях чувствую, большой послеоперационный опыт. Агрессивности в нем нет. Но глаза плохие. Боюсь, что не жилец он. Нет, не жилец...

«Это я не жилец? Почему? Неужели в самом деле во мне есть что-то ненастоящее, недоделанное, слишком хрупкие сосуды или не той формы эритроциты?»

Иван невольно прислушался, как бьется сердце. Сердце пропустило удар... По крайней мере нервы у него есть.

23

Снова Иван проснулся под утро. Что-то было не так... Снег стегал по закрытым окнам, ветер такой, что дрожали стекла. Почему-то показалось, что рядом лежит Лиза и спит — беззвучно, неслышно, чтобы не помешать ему, даже во сне боится ему помешать... он протянул руку, чтобы дотронуться до ее плеча, которое так точно вписывается в чашку согнутой ладони. И понял, что это не его память! Тряхнул головой, сбил подушку. Мария Степановна, прилежшая на диванчик, заворочалась, забормотала во сне, но не проснулась.

И тогда, уже бодрствуя, Иван начал прислушиваться к звукам ночного института, в которых что-то было неправильно.

Осторожно опустил ноги на пол, босиком, в пижаме прошел к двери. Повернул ручку. Щелкнул замок.

В переходнике было темно. Иван прикрыл за собой дверь, во внешней лаборатории отыскал выключатель. Вспыхнули лампы, он даже зажмурился на мгновение. Тоже тихо — лишь через несколько стен доносится шум, глухой и неразборчивый. По коридору побежал. Подошвы туло стучали по половицам. За одной из дверей — здесь живут шимпанзе — слышно было ворчание, стук. Он повернул ручку двери. Заперта. Иван наклонился, заглянул в замочную скважину. Была видна часть клетки, скупо освещенная маленькой лампочкой под потолком. Джон метался по клетке, тряс прутья, потом понял, что за дверью кто-то есть, и принялся ухать, верещать, словно никак не мог вспомнить нужные слова.

— Что у вас там? — спросил Иван тихо. — Что случилось?

Джон услышал, принялся бить ладонями по полу, отдергивая их, словно обжигался.

— Внизу? — спросил Иван.

Джон подпрыгнул и заревел.

Иван наклонился, попробовал ладонью пол. Может, ему показалось, но пол здесь был теплее. Подошвы ног этого не чувствовали, а ладонь ощутила.

И тут он услышал вой собак. Собаки часто выли ночами, но сейчас вой был совсем другим.

Иван пробежал еще несколько шагов, растворил дверь, ведущую в подвал, и, когда спускался по лестнице вниз, почувствовал, что воздух стал теплее, словно кто-то неподалеку открыл дверь в прачечную.

Дверь в виварий была не заперта. Иван потянул ее на себя, и в лицо ударил горячий сгусток пара. Вниз вело еще ступенек пять, нижние были покрыты водой, а лампы под потолком чуть светили сквозь белую вату. Жуткий собачий вой перекрывал шипение и журчание горячей воды.

Иван ступил вниз, в воду — она была горячей. Дальше, в середине длинного подвала с клетками вдоль стены пар был гуще, и там из лопнувшей трубы била вода.

Надо было ее закрыть. Но как доберешься до трубы и чем ее закроешь? Бежать наверх, звать на помощь? Иван даже полуобернулся было к двери, но тут скулеж собак усилился — собаки плакали, визжали, боялись, что Иван сейчас уйдет, и Иван понял, что сначала надо выпустить животных, это можно сделать быстро, в несколько минут. А то, пока придет аварийка, собаки могут свариться.

Он наступал ногой еще одну ступеньку, потом еще одну...

В два шага, пробиваясь сквозь воду — словно вошел в море и оно придерживает, не дает ступать быстро, — добрался до

первой клетки. Пес там стоял на задних лапах — псы во всех клетках стояли на задних лапах — это была крупная собака. Откинул засов, рванул дверцу на себя — собака чуть не сшибла его и бросилась к выходу, попыталась бежать, не получилось, стала добираться к ступенькам вплавь...

Клеток оказалось много. Он не мог спешить, вода становилась все горячее, и ноги начали неметь от боли. У каждой клетки надо было на две секунды остановиться, чтобы откинуть засов и медленно — так лучше, вернее — потянуть, преодолевая сопротивление воды, дверцу на себя. Из пятой клетки никто не вылез — там была маленькая собачонка, она еле держала голову над водой, — пришлось протянуть руку в клетку и тащить собаку наружу, теряя драгоценные секунды, а та, обезумев от боли и страха, старалась укусь его, и это ей удалось. Он бросил ее по направлению к двери и поспешил дальше. Ему казалось, что у него с ног уже слезла кожа и он никогда не сможет выйти отсюда — откажут ноги и придется упасть в воду. А он все брел, как в замедленном фильме, от клетки к клетке, боясь отпустить решетки, чтобы не потеряться в пару, нагибаясь, открывая засовы и выпуская или вытаскивая псов. И только когда увидел, что следующая клетка пуста, повернул обратно, хватаясь за горячие прутья решеток, мучаясь, что за той пустой клеткой, наверное, была еще одна, до которой он не добрался, но даже его упрямства не хватило, чтобы пойти назад...

Он успел заметить, что из одной из клеток собака не вышла — плавает на поверхности воды серой подушкой, но он прошел мимо, считая шаги, чтобы не упасть. И уже у порога, увидев, как пытается из последних сил плыть какой-то песик, подобрал его и вынес наружу, переступив через тело собаки, выбравшейся из воды, но не одолевшей ступенек. Иван на секунду остановился, вдохнув холодный воздух. Надо позвонить в аварийку. Или дойти до Марии Степановны, чтобы смазала ему ожоги? Он поднялся по лестнице, к кабинету Ржевского, хотя ближе было дойти до вахтера. Ноги слушались его, но их начинало терзать болью и почему-то руки тоже, но он не смел поглядеть на свои руки. Он миновал стол Леночки, кабинет был заперт, он вышиб дверь плечом — с одного удара.

Прошел к столу Сергея, нажал кнопку настольной лампы и с трудом подтащил к себе телефон. И только тогда увидел свою руку — красную и распухшую. Но как звонить в аварийку, он не знал. А куда звонить? Ржевскому? Нет. Он не поможет. Кто-то должен отвечать за такие вещи. Иван набрал номер телефона Алехича. Долго не подходили.

— Я слушаю, — послышался сонный голос.

— Дмитрий Борисович, — сказал Иван. — Простите, что разбудил. Это Ржевский.

Алевич сразу понял — что-то случилось. Голос директора звучал натужно. И было четыре часа утра.

— Я слушаю. Что случилось? Что-нибудь с Иваном?

— Вы не можете... вызвать аварийную? Прорвало трубу горячей воды... затопило виварий...

— Господи,— вздохнул с облегчением Алевич.— А я-то думал...

— Погодите,— сказал Иван.— Я совсем забыл номер... вызовите и «скорую помощь».

— Ветеринарную? — Алевич все еще не мог скрыть облегчения.

— Нет, для меня,— сказал Иван и уронил трубку.

В коридоре топали шаги — Мария Степановна носилась по этажам, искала пациента...

24

— Теперь ты еще больше отличаешься от Сергея Андреевича,— сказала Ниночка.— И моя кровь в тебе есть.

— Спасибо,— сказал Иван. Они сидели на лавочке в зимнем саду института.— Хотя мне иногда хотелось, чтобы меня не спасали.

— Так было больно?

— Нет.

Они помолчали. Иван поправил костыли, чтобы не упали со скамейки, достал сигареты.

— Почему он тебе разрешил курить?

— Наверное, потому, что курит сам,— сказал Иван.— Во мне есть память о курении, есть память, и ничего с ней не поделать...

— Ну ладно, кури,— снисходительно сказала Ниночка.— Значит, ты унаследовал его плохие привычки.

— А что у тебя дома сказали? — спросил вдруг Иван.

— Мать сказала, что этого от тебя не ожидала. Что ты всегда себя берег.

— Неправда,— обиделся Иван за Ржевского.— Она же знает, что это неправда...

— Иван, а почему ты побежал? То есть я понимаю, я бы струсила, но все говорят, что разумнее было вызвать аварийку.

— Конечно, разумнее. Но я ведь тоже подопытная собака. Своих надо выручать...

— Глупости,— сказала Ниночка.— Теперь к тебе никто так не относится. Особенно те, кто тебе свою кровь давал.

— И потом... Виноват Сергей. Во мне сидело ощущение, что

это мой институт, мои собаки... без него я бы даже не нашел дороги в подвал.

— Замечательно, — сказала Ниночка. — Ты обварился за него, а он спокойно спал дома.

25

Иван отложил «Сайентифик Американ» — на столике у кровати кипа журналов, отец приносит их каждое утро, будто, если Иван читает их, какая-то часть знаний переходит к отцу. Любопытно наблюдать, как читает Ржевский. Как будто бы видишь себя со стороны. Хочется делать иначе. Отец, беря ручку, оставляет мизинец — ни в коем случае не оставлять мизинца, всегда помнить о том, что нельзя оставлять мизинец. Отец, задумавшись, почесывает висок. Ивану тоже хочется почесать висок, но надо сдерживаться...

Журнал скользнул на пол. Повязки с рук сняли — руки в розовых пятнах. И это радовало — отличало от отца. Отец никогда не совершал этого поступка — это его, собственный, поступок.

Его организм оказался слабее, чем рассчитывали, — никто в этом при нем не признавался, но проскальзывали фразы вроде «для нормального человека такой ожог не потребовал бы реанимации»... А он — не нормальный?

Его сны, длинные и подробные кошмары были скорее формой воспоминания. Чужая память тщательно выбирала стрессовые моменты прошлого, то, что резче отпечаталось в мозгу Сергея Ржевского. Иван предположил, что получил как бы два набора воспоминаний: трезвые, будничные и сонные, неподконтрольные. Сергей, как и любой человек, стрессовые воспоминания прятал далеко в мозгу, чтобы не терзали память. Мозг Ивана воспринимал эти воспоминания как чуждое. Но когда дневной контроль пропал, сны обрушивали на мозг Ивана подробные картины чужого прошлого, где каждая деталь была высвечена, торчала наружу — не обойти, не закрыть глаз, не зажмуриться.

Ожидая, когда придет сестра и сделает обезболивающий укол, Иван прокручивал как в кино — Сергею это в голову не приходило — мелочи прошлого. Он восстанавливал, выкладывал в хронологическом порядке то, что сохранилось в его памяти от чужого детства. Начало войны, ему семь лет, отец ушел на фронт. Они ехали из Курска в эвакуацию, эшелон шел долго, целый месяц. Это живет в памяти Сергея как набор фактов, из которых складывается формальная сторона биографии: «Перед войной мы жили в Курске, а потом нас эвакуировали, и мы провели год под Казанью». В мозгу

Ивана нашлись лишь отрывочные картинки, и не было никакой гарантии, что там они лежали в таком же порядке, как в мозгу отца. Иван старался вспомнить: как же мы уезжали из Курска? Это было летом. Летом? Да. А вагон был пассажирский или теплушка? Конечно, теплушка, потому что память показала картинку — длинный состав теплушек стоит на высокой насыпи в степи, и они, кажется, с матерью и еще одной девочкой отошли далеко от состава, собирая цветы. Состав стоит давно и должен стоять еще долго, но вдруг вагоны, такие небольшие издали, начинают медленно двигаться, и далекий, страшный в своей отстраненности гудок паровоза, незаметно подкатившегося к составу, доносится сквозь густой жаркий воздух, и вот они бегут к составу, а состав все еще далеко, и кажется, что уже не добежать... Потом кто-то бежит навстречу от состава... Потом они в составе. Больше Иван не может ничего вспомнить.

Ночью — Иван уже готов к этому, как готов к неизбежности уколов и перевязок, — воспоминание, выпестованное днем, возвратится в виде кошмара, полного подробностей того, что случилось когда-то и забыто. Он снова будет бежать к маленькому поезду, протянувшемуся вдоль горизонта, но на этот раз увидит, как мама возьмет на руки чужую девочку, потому что та плачет и отстает. Ему, Сергею, станет страшно, что отстанет, и он будет дергать девочку за край платья, чтобы мать бросила ее, — ведь это его мать, она должна спасать его, — и он бежит за матерью и кричит ей: «Брось, брось!», а мать не оборачивается, на матери голубое платье, а девочка молчит, потому что ей тоже страшно, и бег к поезду, столь короткий в действительности, в кошмаре превращается в вечность, так что он может разглядеть мать, вспоминает, что у нее коротко, почти в скобку, остриженные светлые волосы, видит ее полные икры, узкие щиколотки, стоптанные сандалеты. Без помощи этого сна ему бы никогда не увидеть мать молодой — мать отпечаталась в дневной памяти лишь полной, разговорчивой и неумной женщиной, с завитыми, крашеными, седыми у корней волосами. А потом, очнувшись и веря тому, что кошмар был, как и все его кошмары, правдив, он оценит поступок матери, которая, страшась отстать от эшелона где-то в приволжской степи, помнила, что ее семилетний сын может бежать, а вот чужая девочка добежать не сможет... Но мать уже шесть лет как умерла, а он, Сергей, успел только на похороны... У него, Ивана, никогда не было матери, и признательность он испытывает к чужой маме, которая никогда не бегала с ним за уходящим поездом и никогда не отгоняла от него страшного шмеля. И в то же время Иван понимает, что сейчас он ближе к этой женщине, чем Сергей, потому что Сергей никогда не видел этого кошмара, спрятанного глубоко в мозгу.

— У тебя с ним роман, и меня это тревожит, — сказала мать.

Они смотрели по телевизору скучный детектив. Ниночка так устала за день, что у нее не было сил воевать с матерью.

— Ты сначала говорила, что у меня роман с Сергеем Андреевичем, — сказала Ниночка. — а теперь навязываешь мне его сына.

«Надо идти спать, — подумала Ниночка, — завтра рано вставать, в темноте по морозу бежать в институт. Мария Степановна заболела, Фалеева тоже в гриппе, а она обещала перепечатать годовой отчет. Сумасшедшая работа».

— Роман с искусственным человеком еще хуже, — сказала мать. — Он ненормальный.

— Опять, мама!

— И эта попытка самоубийства в кипятке! Разве ты не видишь, что в нем сидит деструктивное начало...

Пришлось вставать, идти в свою комнату. «Останусь без чая, не в первый раз». Она вымылась, легла.

Стенка тонкая, Ниночке слышен разговор из большой комнаты

— Я его любила, — говорит мать.

— Не верю. Не мешай смотреть.

— Но сама не понимала.

— У тебя была мама. А Сергей был вчерашний студент, без жилплощади, без денег, без перспектив. Ты оказалась в положении буриданова осла. Одна охалка сена — Сережа, вторая — мамино воспитание. Вот и проморгала. Пришлось сожрать меня.

— Мерзавец! Подлец!

— Тише, ребенку рано вставать...

Сергей заглянул утром, спросил, как дела, напомнил, что завтра на комиссию. Оставил новые журналы. Сказал, что зайдет попозже. Взгляд у него был вопрошающий, он говорил с Иваном иначе, чем с остальными. «Как будто он передо мной виноват, — подумал Иван. — Я знаю его мысли, его надежды на бессмертие, его рассуждения о научной эстафете — все это в моей памяти. А сегодняшнего Ржевского в ней нет. Мы как бы начали в одной точке и разбегаемся поездами, по рельсам, в разные стороны».

Он открыл книгу, но читать не стал. Сейчас выйдет во внешнюю лабораторию, там сидит Ниночка, которая при виде его вскочит, лицо вздрогнет радостной улыбкой — смешной котенок. У Эльзы — и вдруг такая взрослая дочь. Дома у них стояло пианино,

и Эльза бравурно играла на нем. «О чем я думал? Потрепанная книга Шепмана, милого классика, догадавшегося отделить эктодерму от зародыша саламандры, — зародыш выздоровел и вырос в саламандру без нервной системы. Оказывается, мезодерма контролирует дифференциацию нервной ткани. Так и меня делали — от Шепмана через Голтфретера и Стюарда к Ржевскому». Иван постарался усилием воли отогнать головную боль — он и так уже перегружен медикаментами, принялся листать страницы книги, загнутые кое-где отцом, и понял, что ему хочется загибать те же страницы, но он не может этого сделать, потому что они уже загнуты Сергеем, и тот снова его опередил. Обедать Иван пошел в институтскую столовую. Это право он себе выторговал с большими боями. «Нельзя мне жить на сбалансированной диете. Если ты, отец, одарил меня своим мозгом, то должен допустить, что я буду претендовать на место в человеческом обществе...»

Эльза Александровна сидела за соседним столиком и старалась не смотреть на Ивана. В столовой было мало народу — оба они пришли раньше, чем основная масса сотрудников.

Эльза отворачивается. Ревнует его к собственной молодости. А ну-ка, мы просверлим тебя взглядом! Это неэтично — гордость института, первый в мире искусственный человек жует институтский гуляш и сверлит взглядом директора библиотеки. Эльза на взгляд не реагировала, но нервно двигала пальцами, постукивала по стакану с чаем, начала что-то быстро и очень весело рассказывать сидевшей спиной к Ивану женщине, потом неожиданно вскочила и выбежала из столовой.

Когда через несколько минут Иван вышел, Эльза стояла на лестничной площадке, нервно курила, встретила взгляд и спросила: — Вы хотите что-то сказать?

Иван тоже достал сигареты, закурил и не ответил. Тогда Эльза заговорила быстро, высоким, звонким голосом:

— Вы меня не знаете. Мы с вами не встречались. Я не верю Ржевскому. Вы всех ввели в заблуждение. И не понимаю, почему вы меня преследуете.

— Я не преследую вас, Эльза, — сказал молодой человек голосом Ржевского. — Мы с вами так давно знакомы, что можно не притворяться.

— Я все равно не верю, — сказала Эльза. — Вам всего несколько месяцев, Ржевский рассказывал вам обо мне, потому что вы ему нужны для удовлетворения его дикого тщеславия. Может быть, ваша игра пройдет для академического начальства, но меня вам не убедить.

— А это совсем нетрудно, — сказал Иван. — Можете меня проверить.

— Как?

— Спросите меня о чем-то, чего никто, кроме вас и Ржевского, не может помнить.

— И окажется, что он вам об этом рассказал. И это гадко, понимаете, гадко — человек может распоряжаться лишь воспоминаниями о самом себе. Но когда это касается других людей, это предательство. Сплетня.

— И все же спросите.

Эльза поморщилась. Но не ушла. Вдруг спросила:

— Мы катались на речном трамвайчике. Летом. Было холодно, и ты дал мне свой пиджак... Помнишь?.. Помните?

Воспоминание лежало где-то внутри. До этого мгновения Иван не знал, что когда-то катались на речном трамвайчике с Эльзой, не было нужды вспоминать.

— Вы были в синем сарафане с такими тонкими плечиками. Вы сказали мне, что хотите шампанского с семечками, а я ответил, что это — винницкий вариант красивой жизни.

— Не помню. И это все?

— Все.

— Лжешь! — Эльза бросилась вверх по лестнице.

Она не хотела, чтобы он вспомнил, — и боялась. А он вспомнил. Тогда на трамвайчике Эльза доказывала, что Лиза его недостойна. Что он никогда не почувствует с ней духовной близости, что Лизетта даже не смогла кончить десятый класс — надо понимать разницу между романом и семейной жизнью. «Ты никогда не сможешь полюбить ее ребенка, я говорю тебе как друг, ей всегда будет ближе отец ребенка. Ты еще мальчик, Сережа, ты не знаешь женщин. Ей нужно устроиться замуж, ради этого она пойдет на все. Пойми меня правильно, я люблю Лизетту. Лизетта — добрая душа. Но тебя она погубит, опустошит... Беги от нее, спасайся, пока не затянуло мещанское болото...»

— Вот где я тебя нашел, — сказал Ржевский. — Я так и подумал, что ты пошел в столовую. У меня кофе растворимый в кабинете, хочешь чашечку?

Они молча поднялись по лестнице, и встречающие сотрудники института останавливались, потому что Сергей и Иван были больше чем отец и сын, они были половинками одного человека, разделенными временем.

— Меня смущает, — сказал Ржевский, — что наши отношения складываются иначе, чем мне бы хотелось.

— Чего бы тебе хотелось? Чтобы я замещал тебя в этом кабинете?

— Со временем я рассчитывал и на это.

— Я могу замещать тебя и сегодня. Вопрос о жизненном опыте для меня не стоит.

Они одинаково держали чашки и одинаково прихлебывали кофе. И наверное, одинаково ощущали его вкус. Он прижал мизинец, и Сергей не заметил этого движения.

— Ты должен идти дальше, вперед, от той точки, в которой я тебя оставил. В этом смысл тебя, меня, нашего с тобой эксперимента.

— А прошлое? Его во мне больше, чем в тебе.

— Почему?

— Ответь мне, как была одета мать, твоя мать, когда вы отстали от поезда в сорок первом году?

— Мы отстали от поезда... Это было в степи. Поезд стоял на насыпи... нет, не помню.

— И еще там была девочка, маленькая девочка. Когда мать побежала, она подхватила эту девочку, потому что та не могла быстро бежать. А ты злился на мать и кричал ей: «Брось!»

— Не кричал я этого!

— Кричал, кричал. Как была одета мать?

— Не помню. Понимаешь, это трудно вспомнить через сорок с лишним лет.

— А я помню. Понимаешь, я помню. Почему?

— Почему? — повторил вопрос Ржевский.

— Да потому, что я — это не ты. Потому, что я знаю: эти воспоминания моими никогда не были! Я могу в них копать, я могу в них смотреть. Мать была тогда в голубом сарафане и сандалетах. Тебе кажется, что ты забыл. А ты не забыл! Просто вспомнить это могу только я, потому что я хочу вспомнить. Ты думаешь, это единственное различие между нами?

— Я забыл и другое? — Ржевский пытался улыбнуться.

— Ты забыл многое — я еще не знаю всего...

— Вместо того чтобы искать точки сближения, ты стараешься от меня удалиться.

— А ты подумал о том, что я — единственный человек на Земле, у которого не было детства? Я помню, как мальчиком иду с матерью по лугу, и в то же время знаю, что никогда не ходил с матерью по лугу, — это ты ходил, ты украл у меня детство, понимаешь, ты обокрал меня и теперь сидишь вот здесь довольный собой — у тебя есть духовный преемник, замечательный сын, хорош собой и во всем похож на человека.

— Ты и есть человек. Самый обыкновенный человек.

— Врешь! Я не человек и не буду им, потому что у меня нет своей жизни. Я — твоя плохая копия, я вынужден вести твои дела, за тебя выяснять отношения с Эльзой, которая боится, как бы я не запомнил из прошлого больше, чем ты. Ты этого не понимаешь и еще не боишься, а она уже испугалась. Видно, инстинкт самосохранения развит у нее сильнее, чем у тебя.

— Чего ей бояться? — Ржевский поднялся, налил себе кипятку из термоса, принесенного Леночкой. — Хочешь еще кофе, сын?

— Замолчи, Ржевский! Сына надо вырастить, вставать к нему по ночам и вытирать ему сопли. Ты создавал не сына, а себя самого. Сын — это продолжение, а ты стремился к повторению. Если тебя тяготила бездетность, почему ты не удочерил Катеньку? У вас с Лизой были бы и другие дети... Или Эльза была права, когда вы катались на речном трамвайчике и она уверяла, что Лизочка тебе не пара?

— Какой еще трамвайчик?

— Ты меня наградил этой памятью, а теперь недоволен? Ты разве не знал, на что шел? Тебя не научили шимпанзе? Или ты хотел, чтобы я унаследовал только твою страсть к науке?

Ржевский взял себя в руки:

— В чем-то ты, наверное, прав... Но и мне нелегко. У меня такое чувство, будто я прозрачен, будто в меня можно заглянуть и увидеть то, чего я сам не хочу видеть.

— Я не хочу никуда заглядывать. Мне это не дает спокойно жить. Тебе хотелось бы, чтобы я опроверг эффект Гордона и всерьез занялся математикой? А я думаю о Лизе.

— Я думал, что после окончания работы комиссии ты переедешь ко мне. Я живу один, две комнаты, мы бы друг другу не мешали...

— А теперь уже сомневаешься. И ты прав. Нельзя жить вместе с самим собой. Дай нам разойтись... подальше. Я не могу чувствовать себя твоим сыном, потому что я старше тебя. Дав мне свою память, ты позволил мне судить тебя.

— Мы еще вернемся к этому разговору, — Ржевский сказал это сухо, словно отпуская провинившегося сотрудника, и, когда Иван хмыкнул, узнав эту интонацию, он вдруг стукнул кулаком по столу: — Иди ты к черту!

Иван расхохотался, вытянул ноги, развалился в кресле, и Алевич, который сунулся в кабинет, потому что надо было решать со Ржевским хозяйственные дела, замер на пороге, не входил. Подопытный молодой человек вел себя уж слишком нахально. Сергей Андреевич никому этого не позволял.

Ниночка сидела у Ивана, он гонял ее по химии — зима на исходе, пора думать о том, как поступать в институт. Потом обнаружилось, что у Ивана кончились сигареты, и Ниночка сказала, что сбегает. Иван поднялся:

— Мне тоже не мешает подышать сухим воздухом.

Мороз на улице был сухой, несильный, снег скрипел под ногами звонко и даже весело.

— Мы так и не собрались на лыжах, — сказал Иван. — Зима уже на исходе, а мы с тобой...

— Я принесу лыжи из дому, — сказала Ниночка. — Они лет десять стоят у нас без движения.

Баракы уже снесли. Но отсутствие их не так чувствовалось зимой, когда деревья прозрачны и дыры, оставшиеся от бывших строений, не так видны.

— Ты знаешь, что он здесь когда-то жил? — спросил Иван.

— Да, очень давно.

— В третьем бараке от угла. Жаль, что я не успел туда сходить.

— Почему? Ты же борешься со Ржевским. Даже до смешного.

— Мне не все ясно. И я начинаю терзаться.

— Ох и чудной же ты человек, — сказала Ниночка. — Ясности тебе подавай. Даже я уже догадалась, что без ясности иногда проще. Ведь это замечательно, что еще остались какие-то тайны. Раньше вот ты был тайной, а теперь ты...

— Кто я теперь?

— Сотрудник института.

— Со мной нельзя дружить, — сказал Иван, усмехнувшись. — Я потенциально опасен. Все неизвестное опасно. А вдруг у меня завтра кончится завод?

— А вот и неправда. Не кончится, — сказала Нина. — Целая комиссия тебя на той неделе разбирала по косточкам.

Ниночка разбежалась и поехала по ледяной дорожке, раскатанной на тротуаре. Иван, мгновение поколебавшись, — за ней. Он часто колебался, прежде чем сделать что-нибудь, вполне соответствующее его двадцатилетнему телу. Будто Ржевский, сидевший в нем, стеснялся кататься по ледяным дорожкам или прыгать через лужи и немолодыми костями и мышцами соизмерял препятствия.

Они зашли в магазин у автобусной остановки. Иван купил блок сигарет. Ему не хватило тридцати копеек, и Ниночка дала их.

По договоренности с академией с первого числа Ивана зачислили в институт на ставку лаборанта: не сидеть же здоровому

молодому парню в подопытных кроликах. Конечно, он мог бы и руководить лабораторией. Но и Ржевский, и сам Иван понимали, что рассчитывать на такую милость академии не приходится. Пока что Иван оставался экспериментальным существом, и даже в поведении мудрых членов последней комиссии Иван отметил некоторую робость и настороженность. Но он уже привыкал на это не обижаться.

— Рассказывай дальше, — сказала Ниночка, когда они вышли из магазина и повернули к институту.

— Эльза их познакомила. Сергей жил в общежитии, а Лиза — в одной комнате с матерью, братом и, главное, с Катей. Катя — это ее дочка от того актера. У актера была первая семья, он к той семье вернулся.

— А сколько было девочке?

— Кате? По-моему, годика три, совсем маленькая. Лиза и Сергей полюбили друг друга.

Ниночка вдруг начала ревновать Ивана к той далекой Лизе, что было бессмысленно, но ведь Иван помнил, как ее целовал. И может, даже лучше бы он и не рассказывал об этой Лизе, но останавливать его нельзя...

— А потом... Пока Лиза была бедной и легкомысленной подругой, твоя мама ее опекала и обожала. Ах, эти исповеди на Эльзиной кухне!

— Стой, — сказала Ниночка мрачно. — Этого вы со Ржевским помнить не можете...

— Нам... То есть ему рассказывали. И у моей памяти перед памятью Ржевского есть преимущество — я всегда могу спохватиться и сказать себе: это не моя любовь! Это не моя боль! Ты, отец, ошибаешься, потому что участвовал. Я вижу больше, потому что наблюдаю. И сужу.

Иван разбежался, первым прокатился по ледяной дорожке, развернулся, протянул руки Ниночке, но она не стала кататься, а оббежала дорожку сбоку.

— Рассказывай, — сказала она. — Что дальше было. И оставайся на почве фактов, как говорил комиссар Мегрэ.

— Они с Лизой сняли комнату в одном из этих барачков, купили топчан, сколотили кроватку для Кати и стали жить. Они любили друг друга... А потом в воспоминаниях начинаются сбои.

— Почему?

— Я думаю, что наш дорогой Сергей Андреевич переоценил свои силы и свою любовь, но признаться в этом не может даже себе.

— Он ее разлюбил?!

— Все сложнее. Во-первых, разрушился союз друзей...

— Почему?

— Представь себя на месте мамы. У тебя есть младшая подруга, непутевая и еще с ребенком на руках, рядом — талантливый Ржевский и обыкновенный Виктор... И вдруг оказывается, что Ржевский серьезно намерен жить с Лизой, жениться на ней... И тогда твоя мама, прости, возненавидела Лизу, отвергла от своего сердца эту предательницу...

— Неправда!

— Я на днях разговаривал с твоей матерью. Она хотела узнать, не забыл ли я одного разговора о Лизе.

— Она надеялась, что ты забыл?

— А я запомнил. Лучше Ржевского.

Они вошли в институт, в коридоре встретили Гурину, которая вела за руку шимпанзе Льва, и тот сморщил рожу, узнав Ивана.

В лаборатории Ниночка осталась во внешней комнате. Иван, чувствуя неловкость, что наговорил лишнего, прошел к себе.

Но через пять минут Ниночка ворвалась к нему:

— Почему ты не рассказал, чем все кончилось? Жалеешь меня?

— Нет.

— Рассказывай.

— Ладно. Подошло время поступать в аспирантуру. Они с Лизой прожили к тому времени больше полугода. Ржевский стоял за молоком для Катеньки и работал ночами, когда ребенок засыпал. Лиза готовила еду, стирала белье и была счастлива, совершенно не видя, что Ржевский смертельно устал — последний курс, диплом, а он — мальчишка, на которого свалились заботы о семье.

Ниночка кивнула. Достала из пачки сигарету, хотела закурить, Иван отобрал у нее сигарету.

— В общем, Ржевский устал. Ему уже не нравился суп, который Лиза готовила без мяса, потому что на мясо не было денег. Она сама работала через день на фабрике — без этого не прожить, а каждый второй день Ржевский оставался с девочкой, и ничего нельзя было поделать: тогда в детский сад устроиться было очень трудно, середина пятидесятых годов. Ржевскому страшно хотелось остаться одному — без Лизы, без Кати, без людей. Он чувствовал себя пещерным человеком, у которого жизнь кончилась, не начавшись. И он уже никогда не будет ученым. Он был раздражен и несправедлив к Лизе.

— Я могу его понять, — сказала Ниночка. — Лиза тоже должна была понимать, на что она его обрекла.

— Ни черта ты не понимаешь, — сказал Иван. — Что могла Лиза сделать? Она старалась, чтобы Катя не плакала, когда папа Сережа работает. И надеялась: Сережа поступит в аспирантуру, им дадут квартиру в институте, все образуется. Как-то он встре-

тился с твоей мамой и не сказал об этом Лизе. Эльза обволакивала его сочувствием. Она его понимала!

— Можно без комментариев? — попросила Ниночка.

— Можно. Потом в один прекрасный день твой дорогой Ржевский сообщил Лизе, что они с Катей погубили ему жизнь.

— Просто так, на пустом месте?

— Нет, ему сказали, что его моральный облик, в смысле связь с Лизой, закрывает ему путь в аспирантуру. В те времена к этому относились строго. А она не была разведена с тем актером.

— Кто ему сказал про аспирантуру? Он сам догадался?

— Неважно.

— Важно. Моя мама, да?

Ниночка уже верила в это и потому стала агрессивной и готова была защищать Эльзу.

— Нет, — ответил Иван, не глядя ей в глаза.

Он не думал об этом раньше, а тут сразу вспомнил. Об этом сказала не Эльза. Виктор тогда стажировался в институте, всех знал и был не то в местке, не то ведал кассой взаимопомощи. Они курили в коридоре, у окна, а Виктор смотрел грустно и рассуждал вслух: «В дирекции недовольны. Наверняка отдадут место Кругликову. Я слышал, краем уха. Старичок, надо выбирать. Или любовь, или долг перед наукой. Сам понимаешь...» Иван забыл об этом разговоре. Виктор мог рассуждать сколько угодно, если бы Ржевский сам для себя не готовил к расставанию.

— А чем кончилось? — спросила Ниночка.

— Лиза ушла от него. И уехала из Москвы.

— И он ее не нашел? Или не искал?!

— Сначала он почувствовал облегчение. А через некоторое время затосковал. Пошел к Лизиной матери. Но та отказалась помочь. Эльза сказала ему, правда она ошиблась, что Лиза нашла себе дипломата.

— Ошиблась? Или нарочно?

— Не знаю. Через несколько лет он узнал, что Лиза уехала в Вологду. А там попала под поезд или как-то еще умерла.

— Она бросилась под поезд. Как Анна Каренина! Он ее убил!

— Может, случайность. С тех пор Ржевский уверен, что виноват в ее смерти.

— Виноват, — подтвердила Ниночка. — И мама в этом убеждена.

— Главное, что он виноват для самого себя. А когда он планировал меня, то, разумеется, не учел, что я буду помнить все о Лизе. Не только о генах и мутациях, но и о Лизе.

— А что стало с девочкой... с Катей?

— Милая, прошло много лет. Она сейчас старше нас с тобой. Живет, наверное, в Вологде, нарожала детей...

— Не хотела бы я быть на месте Ржевского.
— Прости, что я тебе все это рассказал.
— Кому-то надо было рассказать. Ты же ревнуешь к отцу.
— Ревную?
— Конечно. Тебе кажется, что он у тебя отнял и любовь. Он ее целовал, а ты об этом помнишь, как будто подглядывал. Это ужасно!

— Эдипов комплекс, Фрейд в квадрате. Не усложняй.
— Куда уж там... — Ниночка положила ладонь на руку Ивану, и тот накрыл ее другой рукой.

Ниночка замерла, как будто была птенцом, которого всего Иван накрыл ладонью.

— А я? — сказала она не сразу. — Меня ведь там не было. Я только сегодня.

— Тебя я ни с кем не делю, — согласился Иван.

— Ты думаешь о другом?

— Нет, что ты...

Ниночка вырвала ладонь, вскочила, отбежала к двери.

— Мне тебя жалко! — крикнула она от двери. — До слез.

— Извини, — сказал Иван. — Я думал о другом.

— Знаю, знаю, знаю!

Ниночка хлопнула дверью. Тут же открыла ее вновь и заявила:

— Когда сам влюбишься, тогда поймешь.

— Мне трудно рассчитывать на взаимность, — улыбнулся Иван. — При такой-то биографии. У меня даже паспорта нет.

— Дурак!

На этот раз Ниночка так хлопнула дверью, что зазвенели склянки в белом шкафчике у окна.

30

В конце февраля вдруг совсем потеплело. Ивану было жалко, что снег съезживается, темнеет. Теплая зима неопрытна. И обидно, если это твоя первая зима.

Иван не собирался в Исторический музей. Он был в ГУМе, купил венгерские ботинки и галстук. Пробелы в гардеробе были катастрофическими, у отца брать вещи не хотелось, да и небогат был Сергей по этой части. Иван обнаружил тут некоторое кокетство великого человека, который тщательно выбирает перед зеркалом потерянный пиджак, чтобы все видели, насколько он выше подобных вещей. Отец, конечно, не отдавал себе отчета в кокетстве — только со стороны было видно. Со стороны и изнутри.

Низкие облака тянулись над Красной площадью, задевая за

звезду Спасской башни. Собирался снег. Или дождь. Исторический музей казался неприступным замком. Иван решил, что он закрыт. Но перед тяжелой старой дверью стояли скучные экскурсанты. У них был вид людей, которые уже раскаивались в том, что поддались культуре, когда другие заботятся о материальном благополучии.

Иван купил билет. Он даже вспомнил запах этого музея. Запах громадного замка, наполненного старыми вещами. К нему надо привыкнуть, не замечать его, забыть и вспомнить снова через много лет. Когда он первый раз пришел туда? Ему было лет пятнадцать, в коробке у бабушки оказалась античная монета, будто оплавленная от патины, невероятно древняя и невероятно ценная. Он тогда вошел с проезда у кремлевской стены в служебный вход, позвонил снизу в отдел нумизматики, кажется, номер 19. Он держал монету в кулаке. Прибежала девушка, оказалось, что ее зовут Галей. Почему-то потом они сидели в комнате на втором этаже, которой можно было достигнуть, лишь пройдя путаными узкими коридорами. Стены комнаты были заставлены стеллажами с книгами. Другая женщина, постарше, вынесла толстый каталог в темном кожаном переплете. Он даже запомнил, как она сказала: «Варварское подражание». Ему эти слова показались смешными.

Иван покачал головой, словно хотел вылить воду из уха. Он никогда раньше не был в Историческом музее и не знал, как пахнет замок, полный старинными вещами.

Иван стоял в зале каменного века. На большой картине первобытные охотники добивали мамонта. Под стеклом лежали рядом наконечники стрел, оббитые ловко и точно, чуть зазубренные по краям.

Это было приятное узнавание. Кое-что изменилось. Но не так много, чтобы удивить. Впрочем, мало что изменяется в первобытно-общинном строе.

Надо было зайти в следующий зал. Но там, как назло, половина помещения была отрезана веревочкой, на которой, чтобы посетители не налетели на нее, были развешаны зеленые бумажки, словно для волков-дальтоники. На полу стояло несколько греческих ваз. Рядом сидел Пашка Дубов с кипой ведомостей на коленях. Пашка сильно постарел, раздался, но в общем изменился мало. Иван сказал:

— Пашка!

И тут же спохватился. Он же не знаком с Пашкой.

Иван отвернулся к витрине, уставился в разноцветную карту греческих поселений Причерноморья. В стекле отразилось удивленное лицо Дубова — усики и острый носик. Хотя тогда усики еще только пробивались. Дубов говорил, что настоящий

археолог не должен бриться — это экономия усилий и времени. Усики у него уже пробивались, а бороды еще не было. Они сидели на берегу Волхова, недалеко от моста. Был прохладный серебряный летний вечер. Давно ушедшее солнце умудрялось еще подсвечивать купола Софии. Сергей тогда сказал Пашке, что таких вот, как он, и бросали с моста в Волхов, устанавливая торжество новгородской демократии. Пашке хотелось скорее отрастить усы и бороду, потому что он был смертельно влюблен в аспирантку Нильскую. Разница между ними была необъятная — минимум шесть лет. К тому же Нильская сохла по Коле Ванину, который был талантлив, как Шлиман. Потом пришел сам Коля Ванин и сказал, что береста, которую нашли утром, пустая. Без надписи. Пашка смотрел на мост и, видно было, хотел сбросить талантливого соперника в Волхов. А Коля не подозревал об угрожавшей ему участи и рассказывал, что печать Даниила Матвеевича надо датировать самым началом пятнадцатого века. Сергей глядел на молодого Шлимана влюбленными глазами. Он разделял чувства аспирантки Нильской. Коля Ванин разговаривал со школьниками, приехавшими на каникулы в новгородскую экспедицию, точно так же, как с академиками. Ему важны были единомышленники и умные люди. Должность — дело наживное.

Пашка Дубов снова обратился к ведомости. Интересно, он счастлив? Прошло три десятка лет с тех пор, как они сидели на берегу Волхова. Коля Ванин теперь член-корр. Грамот, которые в те годы только начали находить, набралось уже несколько сотен, а пожилой Пашка Дубов, оказывается, работает в Историческом музее и считает черепки.

Дубов почувствовал взгляд и вновь обернулся. Что он видит сейчас? Просто молодого человека, забредшего сюда в пасмурный день?

Дубов привстал, положил на стул ведомости, улыбнулся криво и несмело, он всегда так улыбался.

— Простите, — сказал он. — Простите...

— Вы обознались, — ответил Иван. — Хотя я очень похож на Ржевского в молодости.

И он быстро ушел из зала, почти выбежал из музея, чуть не забыл в гардеробе ботинки: ему было неловко, что он себя вел, как мальчишка. Совсем как мальчишка.

31

Вечером он сам зашел к отцу. Без предупреждения.

У отца сидел громоздкий обвисший старик, академик Человечков. Отец удивился и обрадовался.

— Вот вы какой,— гудел Чело­веков.— Завидую, завидую отцу вашему. Молодец вымахал. Что беспокоит?

Они пили чай с вафлями. Два солидных человека, настоящий академик и будущий академик. Ржевскому неловко было спросить, зачем Иван пришел. Он делал вид, что Иван здесь днюет и ночует.

— Чай пить будешь? — спросил отец.

— Нет, спасибо. Я на антресоли залезу, хорошо?

— Что тебе понадобилось?

— Книжки,— сказал Иван.

Чело­веков, видно, решил, что Иван здесь живет, и продолжал разговор, не стесняясь постороннего. Впрочем, какой он посторонний?

Иван подставил стремянку. Антресоли были широкие, снаружи лежали старые ботинки, связки журналов. Иван бросал их на пол.

— Осторожнее,— сказал Ржевский.— Внизу люди живут.

— Ассигнования я гарантирую,— гудел Чело­веков.— Я бы не пришел к вам с пустыми руками. И лимит на японскую аппаратуру. Ведь нуждаетесь, а?

Книги, заткнутые внутрь, пахли пылью. Когда он их туда положил? Лет шесть назад, когда был ремонт. Спрятал подальше, чтобы не вспоминать. Иван вытащил сборник по дендрохронологии в белой бумажной обложке. Срезы стволов, из которых сложены новгородские мостовые, были прорисованы тонко и точно.

— В любом случае,— рокотал Чело­веков,— вы не остановитесь на первом экземпляре. Не морщитесь. Экземпляр — это не оскорбление. Правда, молодой человек?

— Нет,— откликнулся Иван.— Я не обижаюсь.

— Вот видите, он разумнее вас,— сказал Чело­веков.— А денег вам сейчас больше не дадут. Сначала года три помучают комиссиями.

За плотной стенкой книг по археологии нашелся и ящик. Юношеская коллекция. Ящик поддался со скрипом. Он был тяжелый, Иван с трудом спустил его на пол. Сел рядом и вынимал оттуда завернутые в белую бумагу черепки и кремни. Читал округло написанные данные — где, когда найдено.

Он даже не сразу услышал, как Чело­веков начал прощаться.

— Так проходит мирская слава,— сказал академик.— У меня внук собирается в историки. Я отговариваю. Прошлого не существует, пока мы не устроили настоящее.

Иван поднялся, Чело­веков прошел в прихожую и долго одевался. Внимательно разглядывал Ивана, кидал быстрые взгляды на Ржевского, потом снова на его сына.

Когда наконец натянул пальто, вдруг спросил:

— Молодой человек, а хочется ли вам быть продолжением отца?

— Я еще не знаю, — сказал Иван. — Наверное, не во всем.

— Молодец, — обрадовался академик. — Когда мы сделаем моего, я его обязательно уговорю заняться чем-нибудь еще.

— Почему? — спросил Ржевский.

— Какое я имею право навязывать своему сыну перспективу еще пятьдесят лет делать то, что он мысленно проделал со мной вместе? Не обращайтесь внимания, я шучу. У меня тоже бывают сомнения.

Когда академик ушел, Сергей сказал:

— Приходил просить сделать... это. С ним.

— Я понял, — сказал Иван. — Но при виде меня его уверенность уменьшилась?

— Даже с его влиянием денег ему не достать, — сказал Ржевский.

Иван вертел в пальцах половинку синего стеклянного браслета.

— Помнишь, как ты чуть с обрыва не рухнул? — вдруг спросил он.

— Помню. Конечно, помню.

— Я сегодня в Историческом музее был. Знаешь, кого там увидел?

— Не имею представления.

— Пашку Дубова.

— Неужели? А что он там делает?

— Работает. Антикой занимается.

— Молодец, — сказал Ржевский. — А я думал, он сбежит. Знаешь, он страшно комаров боялся.

— Знаю.

— Человеков врет.

— Что? — Иван осторожно завернул обломок браслета в бумагу. Развернул следующий пакетик. Он еще никогда не ощущал такого сладостного узнавания. Даже в желудке что-то сжималось от радости, что он сейчас встретится со старым знакомым. Конечно же ручка от амфоры. Из Крыма.

— Человеков врет, — повторил Ржевский. — Я готов еще пятьдесят, сто лет заниматься тем же, что и сейчас. И ты должен меня понимать лучше любого другого.

— Дубов растолстел, — сказал Иван. — А усики такие же. Сидит в зале, проверяет что-то по ведомостям.

— Значит, недалеко ушел. Младший без степени, — сказал Ржевский. — Потом сложи все это обратно.

В начале марта сдох шимпанзе Лев. От общего истощения нервной системы, как туманно выразились ветеринары. В последние недели он отказывался от пищи, устраивал беспричинные истерики, бросался на решетку, словно хотел пробиться к своему отцу и растерзать его. Джон огрызался, сердился, но тоже был подавлен, словно знал, что Льву не жить на свете.

Ржевского эта смерть очень расстроила. И даже не своим фактом, подопытные животные погибали и раньше. Плохо было, что ни один из медиков не смог определить причину смерти.

Но потом случилось еще одно непредвиденное осложнение. Когда Лев пал, Джон обезумел, рвался к мертвому сыну. Тело Льва унесли. Всю ночь Джон не спал. Гурина не выходила из вивария, но под утро задремала. Джон умудрился, не разбудив ее, выломать замок и сбежать из института. В поисках своего сына он добрался чуть ли не до центра Москвы — время было раннее и машин мало. Но в начале Волгоградского проспекта его сшиб троллейбус. Насмерть. Водитель даже не успел понять, что случилось, увидел только, что кто-то попал под колеса. И решил, что сбил человека. Когда остановил машину и увидел, что это обезьяна, он почувствовал такое облегчение, что ноги отказали, и он сел прямо на асфальт.

Иван с Ниночкой об этом не знали. Они пошли к Эльзе в гости. Эльза сказала Ниночке: «Приходи с ним». Та удивилась и не приняла этих слов всерьез, но с улыбкой передала приглашение Ивану, он сразу согласился идти. И сказал:

— Я там давно не был. Несколько лет.

— Это любопытство? Или раскопки самого себя?

— Археология.

— Так я и знала. Пойду скажу матери, что ты придешь. Она сама не верила. Если не сказать, она не позвонит отцу. Если она не позвонит отцу, некому будет купить жратву на вечер.

Мать тщательно нарядилась, достала сервиз из шкафа, подаренный к свадьбе, поредевший, но ценный. Отец, конечно, запоздал, и гости сначала выслушали гневную речь в его адрес.

Иван ходил по большой комнате, вглядываясь в вещи, многие так и прожили в этой давно не отремонтированной квартире все тридцать лет. Не так давно собрали денег на ремонт, но тут подвернулась горящая путевка в Дом творчества писателей в Коктебеле. Эльза прожила месяц в самом центре культурной жизни, а Виктор снимал койку в поселке и после завтрака волочил в Дом творчества за кисочкой. Иван никак не мог сообразить, что же его так тянуло сюда. Он прошел на кухню. Потолок стал темнее, кле-

енка на столе новая. Сколько раз он сидел на этой кухне за поздними бесконечными разговорами. И сюда он пришел после ухода Лизы... И Эльза, потрясенная предательством Лизы, повторяла, что этого и надо было ждать... Зато перед Сергеем теперь открылась дорога в науку.

Ниночка вбежала на кухню:

— Что ты тут потерял?!

— Прошное, — сказал Иван. — Но не стоило находить.

Эльза тоже пришла на кухню и стала мыть картошку.

— Простите, — сказала она, — но я не смогла отпроситься. Сейчас все будет готово. Десять минут. Ниночка, почисти селедку.

Пришел, волоча ноги, бледный и заморенный Виктор.

— Похож, — сказал он Ивану, здороваясь. — Как две капли.

Он поставил на пол сумки. Потом из одной вытащил бутылку водки и несколько бутылок минеральной воды. И сунул их быстро в холодильник.

— Я тебя просила? — начала Эльза. — Я тебя просила раз в жизни что-то сделать для дома...

— погоди, кисочка, — сказал Виктор, — не сердись! Я такое зрелище сейчас видел, ты не представляешь.

— Масло купил?

— Купил, купил, сейчас достану. Понимаешь, обезьяна под троллейбус попала. Вы можете себе такое представить?

Он шарил глазами по Ивану, будто рассказывал только ему.

— Какая обезьяна? — испугалась Ниночка. Казалось бы, в городе сотни обезьян, да и не знала она, что Джон сбежал. — Черная? Большая?

— Я ее уже мертвую видел. Громадная, — сказал Виктор. — На месте, одним ударом! Это же не чаще, чем драка двух львов на улице Горького, можно подсчитать вероятность. Из зоопарка, наверное, сбежала.

— Его Джоном звали, — сказала Ниночка. — Это он, правда?

Она взяла Ивана за руку. Тот кивнул.

— Что? — спросил Виктор. — Ваша обезьяна, из института? Ну, тем более за это надо выпить. И срочно. Вечная ей память. Наверное, в валюте за нее платили?

— Это какая наша? — удивилась Эльза. — Из вивария?

— Да.

— Искусственная или настоящая?

— Настоящая, — сказала Ниночка зло. — Самая настоящая.

— Шимпанзе-самоубийца! — расхохотался Виктор.

Ниночка увела Ивана в комнату.

— Ты расстроен за Ржевского? — тихо спросила она.

— Ему сейчас плохо.

— Но это же случайность.

— Случайность.

За столом царили улыбки и благодушие. Правда, Иван не пил, совсем не пил, и все согласились, что правильно, молодому человеку лучше не пить.

Виктор быстро захмелел. Последние годы ему достаточно было для этого двух-трех рюмок, а тут он, пользуясь тем, что внимание Эльзы приковано к гостю, опрокинул их штук пять. И сразу стал агрессивен.

Ниночка не любила своего отца в таком состоянии — как будто в нем таился другой человек, совсем не такой деликатный и мягкий, как обычно, человек злой, завистливый и скрывающий свою зависть за умением резать правду-матку.

— Мы с твоим отцом, Ваня,— сказал Виктор,— были друзьями. Веришь?

Иван кивнул. Виктор был близок к истине.

— И остались бы, если бы не бабы и не его карьеризм. Он стремился вверх, любой ценой. Ради славы готов был убить. А я... Я не мог наступать на людей.

Эльза пошла за печеной картошкой, загремела крышкой духовки. Виктор наклонился к Ивану и сказал:

— Я ему завидовал. Всегда. И был не прав. Теперь я ему не завидую, понимаешь? Он довел себя до трагедии одиночества. А ты — его расплата.

Иван послушно кивал, как истукан. Щеки его покраснели. Ниночка не знала, как его увести.

— Ржевский будет беспокоиться,— сказала она.

— Я оставил ему этот телефон,— сказал Иван не двигаясь. Он внимательно смотрел на Виктора, будто приглашая его продолжить.

Эльза принесла блюдо с печеной картошкой. Хрусталинки соли блестели на серой коже. Она грохнула блюдом о стол.

Виктор поднялся, подошел к Ивану, наклонившись, обнял его за плечи.

— Ты мне неприятен,— громко сказал он.— Но это не ты, а он, понимаешь?

— Папа!

— Молчи! Он, может, сам не понимает, он меня ограбил, а через столько лет опять явился. Тебе Эльзы мало? Тебе Лизетты мало? Ты за мою Ниночку взялся? Не дам! Не дам, понимаешь? Ничего тебе не дал и не дам!

— Молчи! — закричала Эльза.

Ниночка вскочила:

— Пошли отсюда, Иван!

Эльза плакала. Виктор пошел за ними в прихожую.

— Ты не понимай меня в прямом смысле, — бормотал он. К счастью, они быстро поймали такси.

В институте Иван сразу лег. Ему было плохо.

33

Четкий кошмар пришел той ночью к Ивану. Из тех кошмаров, что не оставляли не освещенными ни одного уголка памяти Сергея Ржевского, заставляя Ивана знать о нем больше, чем сам Сергей.

Он вошел в комнату в бараке, кипя злостью и обидой, а Лиза, еще ничего не подозревая, бросилась к нему, обняла длинными тонкими руками мокрый от дождя пиджак, быстро и тепло поцеловала мягкими податливыми губами, стала стаскивать пиджак, приговаривая: «Ну снимай же, ты чего сопротивляешься? Я сейчас же его проглажу». Потом с пиджаком в руке замерла: «Что-то случилось? На работе? У тебя неприятности?» Она говорила таким виноватым голосом, будто неприятности на работе бывали только из-за нее. Он смотрел на нее, понимая, что она ни в чем не виновата, но все — и ее близорукий взгляд, и дрогнувшая нижняя губа, и даже движения ее рук, чтобы отвести в сторону прядь волос, отросших и забранных сзади резинкой, — не вызывало обычного умиления.

— Я не хочу есть, — сказал он, проходя в комнату из маленькой прихожей — метр на два, но тут же подался назад — совсем забыл, что Катя болела третий день, даже не спросил, придя, о ней, но это лишь усилило раздражение.

Они стояли в прихожей совсем близко, но не касаясь друг друга. Краем глаза Сергей видел, что на столе, под лампой стоит тарелка, рядом хлеб и масло.

Так они и стояли в прихожей. И не могли никуда уйти. Иван догадался, что в этой неподвижности и таится кошмарность сна. И пока разговор не завершится, они не двинутся из тесной прихожей.

— Расскажи, что случилось.

— Ты мне не сможешь помочь.

— Но я хоть выслушаю. Раньше ты мне все рассказывал.

— Меня не зачисляют в аспирантуру.

— Не может быть!

— Ничего, — сказал Сергей. — Пойду в школу, буду преподавать биологию...

— Почему не берут? Ты же лучше всех. И твой диплом печатать взяли.

Сережа молчал и думал, что у Лизы скошенный лоб и слишком широкие скулы.

— Это из-за меня? — прошептала Лиза. — Ну скажи, скажи.

— Я сам во всем виноват. Сам. Понимаешь, только сам. Не надо было нам встречаться, — сказал он наконец.

А в прихожей — метр на два — тесно и душно, кружится голова, и Иван знает, что сейчас Лиза задохнется. У Лизы плохое сердце, она совсем больная, здесь, в тамбуре, ей не хватит воздуха и она умрет. Тогда все кончится, его возьмут в аспирантуру, только надо еще потерпеть... и потом станет легче.

А ему, Ивану, хоть это не его вина и не его боль, необходимо спасти Лизу, открыть окно, сломать стену, хотя бы распахнуть дверь. И он просыпается. Тихо. Теперь никто не дежурит ночами в этой комнате. И вообще почему человек должен жить в институте? Как в виварии. Вот притащили шкаф, списанный в какой-то лаборатории, белье, лежащее в нем, пропитывается застарелым запахом кислоты. Снять, что ли, комнату? В каком-нибудь бараке?

Иван достал журнал и попытался читать. Журнал был испанским. Испанского языка Ржевский не знал. Испанский язык учил Иван. Это было важно. Он почитал несколько минут, потом его одолела дремота.

34

— Сократите свои штудии, — сказал профессор Володин. — Вы сведете себя с ума. Я серьезно говорю. Раньше это называли мозговой горячкой. Теперь мы придумаем современное название, но помочь вам не сможем. Молодой человек, а давление прыгает, как у старика. Больше свежего воздуха, можете бегать рысцой.

— Я и в молодости не бегал рысцой, — сказал Иван. Тряхнул головой и добавил: — Попробую.

На следующее утро натянул Иван спортивный костюм, белая полоса как лампасы, побежал трусцой сначала по асфальтовой дорожке, потом свернул в проход между бывшими бараками, попал в промоину, промочил ноги, разозлился на себя. В той, первой молодости он был куда подвижнее.

Тут Иван вспомнил, что его ждет Ниночка. Надо заниматься. Раз обещал.

Занятия с Ниночкой выбивали Ивана из колеи, но он не мог признаться ученице, что дело в ней. Он сравнивал себя с шофером-профессионалом, который обучает езде новичка. Ниночка была обыкновенной, в меру способной ученицей. Но не больше. Без искры. Часы, которые он проводил с ней, утомляли — ему доста-

точно было проглядывать страницу, чтобы понять больше, чем имел в виду автор учебника. Но он не мог позволить себе спешить — Ниночка должна была понять то, что было для нее сокровенной тайной, а для него — запятой в уже прочитанной книге. А ощущение времени, ускользающего, дорогого, невозвратимого, у Ивана было чужое — от Ржевского. Казалось бы, он, Иван, должен быть куда ближе к Ниночке, для которой сегодняшний день не имел особой ценности, потому что впереди их было бесконечное множество. А в Иване жила внутренняя спешка, желание успеть... Надо было что-то сделать. Сделать, несмотря на предостережения доброго профессора Володина. Что Володин понимает в монстрах? Он же их раньше не лечил. Докторам важно сохранить в целостности его брненное тело. Отцу важно использовать его голову. Использовать безжалостно, как собственную. А что нужно Ивану? Жизнеспособен ли он? Дурное самочувствие, хандра, вспышки ненависти к журналам, что отец подкладывает к нему на стол, — это свойства его еще нестабилизированного характера или органические пороки, которые свойственны всем подобным монстрам? Лев и Джон умерли — нет их родственников. Эксперименты на людях пока остановлены — научный мир смотрит на Ивана с различной степенью доброжелательности или зависти. Для всех он — колонки цифр, рентгенограммы, строчки в отчетах. А рядом сидит очаровательная Ниночка и старается осознать закон Харди — Вайнберга, и популяционная генетика для нее выражается сейчас в движущейся картинке, на которой население города Балтиморы свертывает языки, — классический пример из учебника, а Ниночке хочется сходить в кино, независимо от того, каков процент аллелей в популяции этой Балтиморы рецессивен. И в этой весьма удручающей жизненной картине у Ивана лишь один просвет — взгляд Пашки Дубова и пыльные пакетики из ящика на антресолях.

— А в «Ударнике» сегодня начинается неделя французского фильма, — сообщила вдруг Ниночка. Не выдержала. Теперь надо сделать так, чтобы она не потащила Ивана за собой в кино, потому что ему хочется просмотреть купленную вчера у букиниста книгу любознательного епископа Евгения о древностях новгородских. На это как раз ушла вся зарплата младшего научного сотрудника, если не считать того, что отложено на сигареты.

35

Мозг — система, которая имеет пределы мощности. Лишь малая часть его клеток работает активно. Это вызвано не недосмотром природы, а ее мудростью. Мозг надо беречь.

При ускоренном создании взрослой особи к ней переходит весь жизненный опыт условного отца. Чем выше организован донор, тем активнее трудится его мозг, тем ближе он к пределу своих возможностей, тем меньше у него резервов. То есть мозг Ивана, его нервная система с первого мгновения жизни были перегружены информацией. Усталость Ржевского, истощение его нервной системы достались Ивану.

Но, «родившись», Иван немедленно начал поглощать информацию. Он не просто продолжал Ржевского, он спешил отделиться от него, утвердиться, наполнить мозг собственной информацией, а не постепенно, годами набирать ее, как все люди. Ощувив перегрузку, осознав опасность, зазвучели в мозгу предупреждающие сигналы, и мозг принялся отчаянно бороться с чужой памятью Сергея Ржевского.

«Господи,— подумал Иван,— сколько хлама накапливается в каждом мозгу за полвека. И каверза на математической контрольной в четвертом классе, и взгляд Зины из соседнего двора, и содержание поданного в октябре прошлого года заявления об улучшении жилищных условий слесаря Синюхина...»

Борьба со Ржевским оборачивалась борьбой с собственным мозгом, и тот выплескивал мысли и образы прошлого — клетки, населенные информацией Ржевского, буквально вопили, что истинные хозяева — они.

«Что же теперь делать? — думал Иван. — Принимать валерьянку? Бросить читать и писать? Не обременять мозг новыми мыслями? Это невозможно. Проще повеситься».

А большая совесть профессора Ржевского, столь легкомысленно переданная его незаконному сыну, жаждет покоя. Может кончиться тем, что Иван рехнется, а Ржевский не перенесет провала. Не только провала эксперимента — провала человеческого. Тут все ясно как день.

Значит, чтобы не погубить Ржевского, надо выжить самому. А чтобы выжить самому, надо избавиться от прошлого Ржевского — заколдованный круг.

Иван подстерег Пашку Дубова у служебного входа. Тот шел с хозяйственной сумкой — из пакетов высовывались горлышки бутылок минеральной воды.

Дубов вовсе не удивился, увидев Ивана.

— Вы чего тогда не подошли? — сказал он. — Я же сразу вычислил. Вы — сын Сергея Ржевского. Точно? Удивительное сходство. Даже в манерах.

Иван не стал спорить. Потом они долго сидели на лавочке в Александровском саду. Дубов послушно отчитывался в экспедициях, в которых работал, даже рассказал о том, почему он женился недавно на студентке и как плохо это отразилось на его положении в музее, потому что его предыдущая жена, даже две предыдущие жены работают там же. Дубов, оказывается, имел плохое обыкновение влюбляться в экспедициях. И всерьез. Это вело к алиментам, что накладно при зарплате младшего научного, который так и не собрался защититься.

— А как Сергей? — спрашивал он время от времени, но Иван умело переводил разговор на дела экспедиционные, и Дубов послушно переходил к продолжению рассказа.

— Хотите летом с нами? — спросил он. — Мы будем недалеко, в Смоленской области. Я бы уехал на Дальний Восток, но Люсенька в положении, она возражает.

— Хочу, — сказал Иван.

— А Сережа, Сережа не соберется? Взял бы отпуск.

— Нет, он занят.

— А вы учитеесь? Я даже не спросил.

— Я биолог, — сказал Иван.

— Я был убежден, что Сергей станет археологом. И выдающимся.

— Я его заменяю, — сказал Иван.

— Хотя бы на месяц, на время отпуска, — согласился Дубов. — Я буду рад. Я очень любил Сережу. Жаль, что наши пути разошлись. А он не будет возражать?

— Наверное, будет.

— Он против того, чтобы вы отвлекались, да?

— Против.

— А вас тянет?

— Я нашел коллекцию отца. И у меня такое чувство, что собирал ее я сам. У меня нет такого чувства по отношению к другим делам отца.

— А мой отец хотел, чтобы я стал юристом, — сказал Дубов. — Но я был упрям. Я сказал ему, что нельзя из сына делать собственное продолжение.

— Почему? — заинтересовался Иван.

— Потому что отец не может знать, какое продолжение правильное. В каждом человеке заложено несколько разных людей. И до самого конца жизни нельзя сказать, кто взял верх. Я убежден, что Сережа мог стать хорошим археологом. Но стал хорошим биологом. Мы с вами не знаем, когда и что случилось в его жизни, что заставило его на очередном жизненном распутье взять вправо, а не влево. А может, ему до сих пор иногда бывает жалко, что он не

забирается утром в пыльный раскоп, не берет кисть и не начинает очищать край глиняного черепка. Кто знает, что за этой плоской глиной? Может, громадный Будда, которого откопал Литвинский? Может, неизвестный слой Трои? Может быть, целая эпоха в жизни человечества, открытие которой сделает нас вдвое богаче... Господи! — Дубов поглядел на часы и расстроился. — Люсенька мне буквально оторвет голову. У нее завтра семинар, а я еще обед не приготовил. Запишите мой телефон.

36

Есть с утра не хотелось. Иван напился прямо из кофейника холодного вчерашнего кофе, с тоской поглядел на стопку новых журналов. Тут его вызвал Ржевский.

Иван подумал, что Ржевский за последние недели заметно осунулся.

— Смотри, — сказал он, подвигая через стол стопку медицинских отчетов. — Это то, о чем пациенту знать не положено. Но ты активно занимаешься самоуничтожением.

В отчетах не было ничего нового. Правда, есть некоторый регресс. Такое впечатление, что он старик, у которого барахлят различные системы.

— Физиологически я тебя обгоняю, — сказал Иван равнодушно:

— Созываем консилиум. Наверное, переведем тебя в клинику.

— Там я точно загнусь, — сказал Иван.

— Но ты сам не хочешь себе помочь.

— В клинике они могут лечить то, что им знакомо. А я только кажусь таким же, как другие люди.

— Ты устроен, как другие люди.

— Не верю. Каждый человек запрограммирован на определенную продолжительность жизни. Хотя бы приблизительно. Возможно, программа эта отрабатывается в утробе матери. Ты тоже не знаешь, как эта система действует. Все эти годы ты гнал себя к практическому результату. На философскую сторону дела взглянуть не удосужился.

— На философскую? — спросил Ржевский раздраженно. — А может, на мистическую?

В кабинет заглянула Гурина, подписать бумаги о питании для новых обезьян. Ржевский подписал не читая.

— О чем мы говорили? — спросил он, когда Гурина ушла.

— О том, что ты, отец, боишься провала эксперимента больше, чем моего разрушения. Не бойся, независимо от конечного результата эксперимент великолепен. Ты все делал точно.

— Балбес! Ты же мой сын.
— Ты давно это понял?
— Помнишь, ты заходил ко мне на днях, копался на антресолях в старых черепках? Я очень не хотел, чтобы ты уходил.
— Я снова видел Дубова. Он обещает меня взять в экспедицию. Тебя тоже звал. Он до сих пор убежден, что ты стал бы великим археологом.

— Может быть. Только это скучно.
— Мне так не кажется.
— В твоём возрасте я ещё жалел иногда, что сижу в лаборатории. Это у нас общее детское увлечение.
— А если для меня это важно и сейчас?
— Не отвлекайся. У нас есть проблемы и поважнее.

Иван пожал плечами. Если в самом деле человек должен всю жизнь выбирать дороги, то отец очень далеко ушел по своей. И уже не может понять, что проблема выбора на распутье, решенная им, может быть, не решена Иваном до конца.

— Ты авторитарнее меня, — сказал Иван. — Перед тобой серия задач. Это и есть твоя жизнь. Решил одну, решаешь другую, и самочувствие подопытных кроликов тебя не волнует.

— Самоуничтожение паче гордыни.
— Я не о себе, отец.

Иван встал, подошел к окну. Снег сохранился только под деревьями и в тени, за домом. Над белыми домами у горизонта шли высокие пушистые облака. Таких зимой не бывает. Если утром лечь в степи и смотреть в небо, то очень интересно следить, как они переливаются, меняя форму, и мысленно угадывать эти изменения, представляя себя небесным скульптором.

— О ком же? — услышал он настойчивый голос отца. — О ком же? Ты меня слышишь?

— О твоём давнем эксперименте. С Лизой. Тогда, тридцать лет назад, Виктор сказал тебе, что ты должен выбирать между Лизой и наукой. А ведь выбирать не надо было. Просто тебе удобнее было выбрать.

— При чем тут Виктор?
— Он очень вовремя пугнул тебя.
— Не помню.

— Я мог бы написать исследование о свойствах человеческой памяти. Как ловко она умеет выбрасывать то, что мешает спокойствию и благополучию ее хозяина. Ты ее мог найти и вернуть.

— Как ее найдешь, если даже адрес... — Вдруг Ржевский замолчал. И Иван понял почему. Он отвечал как бы чужому человеку, а вспомнил, что говорит сам с собой. Облако за окном наконец-то перестало напоминать Алевича, спрятав внутрь его нос. Налетел

ветер, и деревья в парке дружно склонились в одну сторону, помахивая вороньими гнездами на вершинах.

— Не так,— сказал Ржевский.— Конечно, я сначала боялся ее возвращения. А потом смог жить без нее. Если бы я хотел найти, то нашел бы и в Вологде. Но никакого разговора с Виктором я не помню.

— Он в самом деле ничего не решал,— сказал Иван.— Дело только в нас. Ты выбрасываешь что-то из головы, прячешь в подвалах мозга, забрасываешь сверху грудой тряпья... А я не могу спрятать твое добро в свой подвал. Гнет прошлого — для тебя застарелая зубная боль. Не больше. А что, если в каждом человеке, независимо от его восприятия собственной жизни, таится не осознаваемая им некая шкала важности поступков для развития его личности? И на той шкале твой разрыв с Лизой оказался чрезвычайно важен. Тебе ведь хотелось все бросить, бежать к ней... А ты вместо этого мчался на чрезвычайно ответственную конференцию в Душанбе.

— Погоди,— Ржевский тоже поднялся, подошел к окну и встал рядом с сыном, поглядел на облака.— Как они меняют форму! Я раньше любил на них смотреть... О чем я? Да, ты все время стремишься отделиться от меня, стать самостоятельной личностью. Я тебя понимаю. Но ты же сам себе мешаешь! Пока ты копаешься в моем прошлом, ты связан со мной. Так убедись: это не мое прошлое! Это прошлое Сергея.

— Я не могу жить, пока не разгребу твои подвалы.

— Ну почему же?!

— Потому что я твоя генетическая копия. Если ты вор, я должен понять почему, чтобы самому не стать вором. Если ты убийца, предатель, трус, эгоист, я должен понять, унаследовал ли я эти твои качества или смогу от них избавиться.

— И ты тоже думаешь, что я убийца?

— Унаследовав твою память, я ни черта не понял!

— Неужели в моем прошлом нет ничего, что бы тебя радовало? — Ржевский попытался улыбнуться.

— Есть,— сказал Иван, повернувшись к нему и глядя прямо в глаза.— Есть вечер на берегу Волхова, когда рядом сидел Пашка Дубов, а потом пришел Коля с печатью...

— Это чепуха,— уверенно сказал Ржевский. Он не поверил. Он вернулся к письменному столу, полистал зачем-то настольный календарь. Вдохнул.

— Будь другом,— сказал он.— Отдохни сегодня. Завтра консилиум. Хочешь, я попрошу Ниночку с тобой погулять?

— Ей надо заниматься,— ответил Иван.

На месте врачей Иван не стал бы рисковать — загнал бы себя в клинику, и с плеч долой.

Если он начнет доказывать врачам, что дело в чрезмерной нагрузке на мозг, они ему или не поверят, или залечат... Нет, даваться нельзя.

С утра Иван послушно подвергся всем анализам, потом заявил Ниночке, что в ее заботе не нуждается. Ниночка почуяла неладное, но промолчала — верный ребенок. Потом Иван сунул в карман зарплату, институтское удостоверение, оделся потеплее и вышел в сад.

Из сада он знакомой тропинкой, скользя по подтаявшему снегу, прошел к автобусной остановке. Чувствовал он себя погано, но надо было держаться. Вышло солнце. Было тихо, и чирикала какая-то весенняя птаха.

Почему-то он помнил, что Виктор всегда ходит обедать в столовую на углу улицы Чернышевского и Потаповского переулка, там у него все официантки знакомые и пиво оставляют — видно, при какой-то случайной встрече похвастался... К этой столовой Иван и поехал. Там Виктора не было. Тогда Иван вышел на улицу — в столовой было душно, а от запахов, в общем обыкновенных, Ивана мучило — тоже плохой симптом.

Иван стоял у входа в столовую, прислонившись спиной к холодной стене; у него возникла идея, как можно упростить процесс рассечения ДНК, и он мысленно принялся конструировать такое приспособление, но тут увидел, что по улице бредет Виктор. Тот прошел было, но узнал Ивана. Остановился настороженно.

— Здравствуйте, — сказал Иван. — Я вас жду.

— Понимаю, — быстро ответил Виктор. — Разумеется, почему нам не поговорить, а то прошлый раз не получилось, мне самому тоже очень хотелось, здесь скамейки есть во дворе — летом пиво там пью, посидим, а? Нас никто не увидит.

Виктор первым успел к скамейке — стряхнул с нее перчаткой ледышку.

— Не простудитесь?

Иван сел, закурил. Он курил больше Ржевского.

— Поймите меня правильно, — продолжал Виктор. — Я не имею ничего против ваших отношений с Ниночкой. Вы не подумайте.

«Господи, — подумал Иван устало, — он решил, что я собираюсь жениться на Нине, — они это обсуждают на кухне и боятся этого. Тут есть что-то запретное, но почетное».

— Я хотел спросить вас о другом. О том, что случилось двадцать семь лет назад.

— Двадцать семь лет?

— Как вы думаете, почему Ржевский ушел от Лизы?

— Он не уходил, — быстро ответил Виктор. — Она сама ушла. Она была очень гордой женщиной — ее обидели, и она ушла. Это я гарантирую.

— Но как получилось, что Сергей так ее обидел?

— Фактически убил, я не боюсь преувеличений. Ради него она от всего отказалась...

— А вы что тогда делали?

— Я понимал, что Сергей эгоист. Нет, не в плохом смысле, но для него наука — все. Ему казалось, что Лиза ему мешает. Вот он и отстранил ее с пути... Ей ничего не оставалось, как уйти.

Виктор курил жадно, глубоко затягиваясь. «Ого, как он не любит Сергея, — подумал Иван, — и не может ему ничего простить даже теперь, через столько лет. А может, именно за столько лет и накопилась злость».

— Почему вы ему сказали, что его не примут в аспирантуру?

— Я? Никогда не говорил. Не было этого.

Другого ответа Иван не ждал.

— А потом вы еще видели Лизу?

— Это тебе нужно? Или Сергей прислал?

— Он ничего не знает.

— Тебе скажу. Лиза позвонила мне, вся в слезах, голос дрожит. Сережа, говорит, меня бросил. Я с ней встретился. Катька больная, я говорю, ты куда? Но ты же знаешь, если Лиза чего решила, ее танками не остановишь. Я, говорит, помехой ему не буду, ему наука нужнее нас. И я ее проводил...

— Куда проводили?

— Куда? На вокзал, конечно, в Вологду.

— А потом?

— Через несколько месяцев она погибла. Думаю, покончила с собой... После этого я уже не мог дружить с Ржевским. И зачем тебе все это?

— Мне надо узнать правду.

— Правду? — удивился Виктор. — Разве она бывает? Она умирает с людьми. Сколько людей, столько и правд.

— Мне нужна одна правда, — повторил Иван.

— Ищи. Только потом на меня не обижайся.

— Где жила мать Лизы?

— Послушай, прошло почти тридцать лет!

— Вы же там бывали. Вы знаете адрес.

— Забыл. Ей-богу, забыл.

— Подумайте.

— Там никто не живет. Екатерина Георгиевна Максимова, так ее мать звали, умерла лет пятнадцать назад. Никого там нет. И брат куда-то уехал.

— Вы заходили туда?

— Запиши, Арбат, дом...

Виктор смотрел, как Иван записывает адрес. Потом сказал:

— А может, лучше примем по кружке — у меня тут все официантки знакомые...

38

Оказалось, что Виктор был прав. Мать Лизы давно умерла, в квартире жили чужие люди, и никто не мог помочь. Борясь с головной болью и все более проникаясь безнадежностью этого дела, Иван обошел все соседние квартиры, где тоже давно сменились жильцы, сходил в домоуправление, наконец, совсем отчаявшись, остановился посреди двора, возле стола, за которым два старика играли в шахматы, а еще несколько человек внимательно наблюдали за игрой. Один из шахматистов, который давно поглядывал на него, вдруг сказал, приподняв пешку:

— В продовольственный сходи, тридцать второй, до угла дойдешь, направо — голубая вывеска. Спроси там грузчика Валя. Запомнил?

Тут же отвернулся, поставил пешку и сказал противнику:

— Твой ход, Эдик.

Иван так устал, что не стал ничего спрашивать, велели идти — пошел. В магазине он спросил продавщицу: «Грузчик Валя здесь?» Она мотнула головой за прилавок. Иван прошел внутрь, там был темный коридор, дальше — лестница в подвал, где горел свет. В подвале на ящике сидел пожилой мужчина с мятым, когда-то красивым, но незначительным лицом и пил пиво из горлышка.

— Здравствуйте, — сказал Иван. Лицо грузчика было знакомо. Валя был похож и на Лизу и на Екатерину Георгиевну. — Валя, вы меня не знаете...

Брат Лизы поднялся с ящика, протер глаза тыльной стороной ладони и тихо выругался.

— Ну, точная копия, — сказал он. — Абсолютное сходство. Дух подземный, откуда ты приперся?

— Я сын Ржевекого, — сказал Иван.

— Не надо объяснений. Ясное дело, что сын. Как меня нашел?

— Соседи во дворе сказали.

— Повезло. Давно там не живу — следы мои затерялись в людском море. Значит, женился все-таки твой папаша, на своей, наверное, из института? — Валя Максимов нервничал, руки его дрожали. — Ты садись, — сказал он, — сколько лет прошло. Я против твоего отца ничего не имею. Лизетта с ним себя человеком ощущала. Что за дела! Как он? Не болеет? А мать умерла. В семьдесят втором. Не повезло ей с нами.

— Я хочу узнать, что случилось после того, как отец расстался с вашей сестрой, — сказал Иван. — Мне это важно.

— Не присутствовал, — сказал Валя Максимов. — Не берусь определять причины и следствия. Но если сильно интересуешься, поезжай туда, с Катькой поговори. Она меня за человека не считает, но к праздникам поздравления шлет.

— Дочь Лизы?

— Она.

39

В самолете Иван потерял сознание, к счастью, ненадолго. С аэродрома в Вологде он позвонил в Москву, в институт, но не к Ржевскому, а в лабораторию. Подошла Ниночка.

— Скажешь Ржевскому, что у меня все в порядке. Я дышу воздухом.

Было уже темно, девятый час, в голосе Ниночки дрожали слезы — Иван представил, какая паника царит в институте.

— Ты же никому ничего не сказал!

— Дела, Котенок, у каждого мужчины бывают дела. Завтра приду, все расскажу.

Он повесил трубку и пошел на стоянку такси.

Катя была дома. Она жила в маленькой квартирке в новом пятиэтажном доме у реки. Из окна была видна набережная, фонари на той стороне, светлые стены и маковки кокетливых церквей.

— Я вас сразу узнала, — сказала она. — Как вы вошли, так и узнала.

Говорила она медленно, ровно, у нее была длинная коса, редко кто в наши дни носит косу, коса лежала на высокой груди.

— Пойдемте на кухню, — сказала Катя глуховатым голосом. — А то моя Лизочка проснется.

Катя поставила чайник. Ивану стало спокойно. Он с наслаждением предвкушал, что чай будет крепким и душистым. Лиза тоже хорошо заваривала чай. Иван любовался плавными и точными движениями Кати.

— А ваш муж где? — спросил он.

— Нет у меня мужа,— сказала Катя,— ушла я от него. Пьет. Он инженер хороший, способный, только пьет и взялся меня колотить... а меня колотить нельзя.— Она улыбнулась, и ей самой было непонятно, как можно ее бить.— А вы прямо из Москвы приехали?

— Из Москвы.

— Отец прислал? Я его папой Сережей называла. Он добрый был, мне всегда конфеты приносил. Вы не представляете, как я первые дни плакала по нему.

— Он меня не присылал. Я сам.

— Вы где остановились?

— Я потом в гостиницу пойду.

— В гостиницу у нас даже по броне не устроишься,— сказала Катя,— у меня переночуете. Я вам раскладушку сделаю — вы не обидитесь, что на раскладушке?

— Спасибо,— сказал Иван,— а то я замучился сегодня.

— Вы ужасно бледный. Сейчас чаю попьем, отпустит.

От чая, душистого и крепкого, стало полегче. Он чувствовал, что с Катей был знаком давно, тысячу лет.

— Что,— спросила она,— отец все переживает?

— Он считает себя виновным в смерти вашей мамы.

— Ой, ужас-то какой! Если бы я знала, обязательно бы написала ему, как все дело было! Мама на него совсем не сердилась. Ну ни капли. Она со мной всегда разговаривала, как сейчас помню — мне интересно, что со мной, как со взрослой, разговаривают. Мы же целый год вдвоем прожили... У тетки моей, тетка тоже хорошая была, ненавязчивая. Мы неплохо жили, вы не думайте, мать работала, тетка тоже, я в садике была. Конечно, мама тосковала по папе Сереже, очень сильно тосковала, писала ему письма, целую пачку написала, может, сто штук — я их сохранила, показать могу. Даже думала, после маминой смерти, что надо послать. Но потом не послала. Человек забыл, а я ему душу травить буду. Он ведь женился, вас родил, ему получать такие письма было неправильно. И ваша мама бы беспокоилась.

— Сергей Андреевич так и не женился.

— А как же...

— Катюша, придется вам все рассказать. Только сначала расскажите вы. Ведь это я к вам ехал, а не вы ко мне.

— Правильно,— сказала Катя,— а что рассказывать?

— Почему ваша мама... умерла?

— Бывают такие случайности — она улицу переходила, а ее грузовик сшиб, шофер пьяный был, занесло на повороте — вот и сшиб.

— А мне сказали, что она бросилась под поезд... и отец так думает. Он вас искал...

— Видно, не сильно искал. Вы-то нашли. Не обижайтесь. Мама весь тот год ждала. Да и Виктор Семенович адрес знал. Он маме письма писал. А потом моя тетка ему про мамину смерть написала. Вы Виктора Семеновича знаете? Он вашего отца самый близкий друг.

— И письма Виктора Семеновича тоже сохранились?

— Их всего два было. Одно так, записка, другое длинное. Он маме писал, что любит ее и хочет на ней жениться. Но мама ему сразу отказала очень решительно, даже резко. И он понял... Мать папу Сережу любила.

И вдруг Катя заплакала — из серых выпуклых глаз по матовым щекам покатились слезы. Она вскочила, убежала в ванную. Вернулась не сразу, принесла из комнаты шкатулку.

Там лежали поздравительные открытки, какие-то билеты, квитанции и письма. Пачка писем в белых ненадписанных конвертах была перевязана ленточкой.

— Это мамина корреспонденция, — сказала Катя, — все Сергею Андреевичу. Не думайте, она его не упрекала — она себя упрекала, что стала ему помехой.

Из-под пачки тех писем Катя вытащила еще одно.

Почерк на конверте был знаком. Маленький, по-женски округлый почерк Виктора не изменился за тридцать лет.

«Дорогая Лизочка!

В нашем последнем разговоре ты решительно отказала мне во встрече. Права ли ты? Не мне решать. Я ничего не могу сделать с моей любовью к тебе, о которой я всегда молчал, потому что неловко объясняться в любви к женщине, с которой живет твой друг. И для меня это было мучительно вдвойне, так как я видел, что ваша жизнь катится под уклон, что она обречена на гибель. Он же не любил тебя, неужели ты так и не поняла? Ты была ему удобна для уюта, не обижайся, но это так. Связывать свою жизнь с тобой он не собирался. Ты была слепа, но теперь-то хоть твои глаза открылись? И эта история, что его не примут в аспирантуру, — ты пытаешься в ней найти ему оправдание — клянусь тебе здоровьем Кати, что никаких неприятностей у него на работе не было, просто он выбрал удобный момент, чтобы отделаться от тебя. До чего все-таки наивны бывают женщины, даже такие умные, как ты... Последние месяцы у Сережи кипел бурный роман с Эльзой, об этом знал я и страшно переживал за твою честь, и тоже скрывал все от тебя...»

Иван понял, что не хочет дочитывать письмо. Может быть, его дочитает отец. А может быть, ему тоже не надо его видеть. Как скучно и подло...

— Ты знаешь, — сказал он, аккуратно складывая письмо Виктора, — что он потом женился на Эльзе?

— Он хотел, чтобы мама ушла от папы Сережи?
— Если бы не он, со временем все бы обошлось...
— Нет,— сказала Катя.— Не стали бы они жить. Он ее любил, конечно, но не так сильно, как надо. Свою работу он любил больше. И мама это тоже понимала. Может, потому и не сердилась на него. А знаешь, она с благодарностью все вспоминала — как они с ним в Ленинград ездили, как в кино ходили. Он ей книжку Вересаева о Пушкине подарил, ты не читал? Хочешь, покажу? Она эту книгу, как Библию, берегла.

Катя постелила Ивану в кухне на раскладушке. Он долго не мог заснуть. А Катя заснула сразу, и в тишине квартиры ему было слышно ее тихое ровное дыхание. Потом заворочалась, заплакала во сне маленькая Лиза. Иван подумал, что утром увидит ее.

И тут его начало жутко трясти. Даже зубы стучали. Он ворочался, старался сдерживаться, чтобы Катя не проснулась, но потом забылся, и, видно, его стон разбудил Катю. У Ивана начался бред. Катя перепугалась, выбежала на улицу — из автомата вызвала «скорую помощь», и Ивана увезли в больницу.

Катя отвела Лизочку в садик, потом вернулась в больницу.

Когда Иван пришел в себя, он увидел очень близко серые глаза Кати, протянул непослушную руку и дотронулся до конца косы.

— Здравствуй,— сказал он.— Спасибо.

— За что?

Иван хотел объяснить, но объяснить было невозможно, язык не слушался, и он понимал, что скажет все это потом. А сейчас надо не упустить еще одну важную мысль. И он попросил ее срочно позвонить в Москву, Ржевскому.

В тот же день за Иваном прилетели Сергей Андреевич и профессор Володин. Ржевский прошел в палату. У Ивана был жар, но он узнал отца и сказал:

— Познакомься.

— Сергей Андреевич,— протянул Кате руку Ржевский.

Странно, что он ее не узнает, ведь она похожа на Лизу. Но Ржевский думал в этот момент только об Иване. И даже когда Иван сказал: «Катя Максимова», он не сразу сообразил.

— Катя Максимова,— повторила та.

И только тут кусочки мозаики встали на свои места.

— Катя,— сказал он тихо.

— Письма,— сказал Иван.— Не забудьте письма отцу. Ему они очень нужны. А то у нас один шимпанзе умер...

— Они у меня с собой,— сказала Катя.— Не знаю, почему в больницу их взяла.

Когда Иван уже выздоравливал, случилась еще одна встреча, не очень приятная. Утром перед обходом, когда посетителей не пускают, к нему в палату пробрался Виктор — как уж ему удалось это сделать, одному богу известно.

— Только два слова, — сказал он. Он был пьян и жалок. — Я все знаю, мне Нюночка рассказала. Только два слова. У меня дочь, единственное любимое существо, вы этого еще не знаете, но поймете. Если она узнает, мне лучше умереть. Я клянусь вам, что я любил Лизу, честное слово. Но про аспирантуру и то, что вы можете считать клеветой, это очень сложный сплав. Эту идею мне Эльза подсказала. Не хотела она Сергея Лизе отдавать. Она — разрушитель, понимаете. А я к Лизе стремился. И страдал. Тебе не понять, — Виктор говорил быстрым, громким шепотом, клонился к кровати, от него так несло перегаром, что Иван отстранил голову. Но Виктор не замечал, он спешил каяться. — Она бы не уехала, надеялась, но я тогда на следующее утро пришел к ней, к матери ее, как будто от имени Сережи, она этого никому не сказала. И подтвердил, что он не хочет ее больше видеть. Поэтому она уехала. И аминь. Тебя интересует правда? Правда в том, что я Лизе был бы хорошим мужем. Она не поняла. Я угодил в лапки к Эльзе, а она погибла. Молчите, а? Если Нюночка вам дорога. Это для нее будет невыносимая травма.

— Уходите, — сказал Иван. — Никому я ничего не буду говорить.

Тот ушел. И вовремя. Через пять минут прибежала Нюночка, принесла тарелку клубники и массу институтских новостей.

Через два дня Иван начал вставать. Кризис миновал. Володин утверждал, что его организму пришлось преодолевать биологическую несовместимость. Как при пересадке органа. Только здесь речь шла о двух личностях. Теория переполнения мозга информацией у Володина сочувствия не вызвала. «Ничего особенного вы своему мозгу не задали, коллега», — сказал он. Но Иван остался при своем мнении. Чужие сны были теперь не так мучительны. Хотя и не исчезли совсем. Нюночка таяла от чувств, ей очень хотелось кормить Ивана с ложечки, она легко краснела и обижалась по пустякам.

Отец снова предложил переехать к нему.

— Не надо, — сказал Иван, — мы слишком разные люди.

— Чепуха.

— Я вчера целый час решал задачу, которую не смог решить на контрольной в десятом классе. И решил.

— Вот видишь, это же моя задача. И есть еще миллион задач, которые мы решим вместе.

— Ты даже не помнишь, что за задача. Ты умеешь забывать о своих провалах, а мне такой способности не дал.

И тут, когда спор грозил превратиться в ссору, вошел Дубов. Опять с авоськой, полной пакетов и бутылок. Он начал неловко и шумно целовать Ржевского, потом вспомнил, что принес гостинцы, и вывалил из сумки все на стол и принялся делить — что домой Люсеньке, а что больному Ванечке.

— Такое счастье,— повторял он,— что Ваня решил стать археологом. Люся тоже согласна, понимаешь? Он как бы подхватит эстафету, выпавшую из твоей ослабевшей руки. Жалко, что у меня нет такого сына.

— Каким еще археологом! — зарычал Ржевский.

Ниночка впорхнула в комнату, замерла на пороге, сжимая испуганными пальчиками пакет с ягодами,— темно-красные пятна проявлялись на бумаге.

— Я уезжаю в экспедицию. Через две недели,— сказал Иван.— Осенью вернусь.

— Ты с ума сошел! Кто тебя пустит?

— Профессор Володин не возражает. Он даже обрадовался. Утверждает, что свежий воздух и пыль раскопов — лучшее лекарство для гомункулусов,— сказал Иван. Он сейчас был куда сильнее отца и пользовался этой силой.

— Мог бы мне сказать раньше,— произнес Ржевский.

— У нас еще две недели. Завтра принеси мне новые журналы. Я еще ничего не решил. Мне не хочется ошибаться.

— Ладно,— сказал отец,— я пошел.

Он обернулся к Дубову:

— Паш,— сказал он,— зайди потом ко мне, хочешь — домой, хочешь — в институт.

— Конечно,— сказал Дубов.— Нам столько есть чего вспомнить... А хочешь, я сейчас с тобой пойду? Я тебя провожу.

— Отец,— сказал вслед Ржевскому Иван.— Катя не собиралась приехать?

— С чего ты решил? — пришел черед Ржевского взять реванш.

— Так просто подумал...

— Я послал ей телеграмму,— сказал Ржевский.— Если она согласится переехать в Москву...

— Иди,— сказал Иван.— Иди, перечитывай Лизины письма. А ты, Нина, положи наконец пакет на стол, блузку испачкаешь.

3. Юрьев

ТОНКИЙ ГОЛОСОК БЕЗЫМЯННОГО ЦВЕТКА

1

Каждое утро, когда мы встречаемся взглядами, я сухо киваю ему. Он брезгливо наклоняет в ответ голову. Наверное, он бы с удовольствием отвернулся, но я уже держу в руке бритву, и мы начинаем бриться.

Я бы тоже предпочел не рассматривать ежедневно эту унылую физиономию с двумя глубокими бухтами-залысинами, маленькими, чересчур светлыми, почти водянистыми глазами и скошенным подбородком, но не бриться же на ощупь. К тому же моя неприязнь к себе не ограничивается, увы, внешностью. Дело в том, что я тяжелый человек. И не просто тяжелый человек, а тяжелый человек, знающий, что он тяжелый человек.

Я понимаю, эти слова могут показаться кокетливыми, даже исполненными самодовольства. Люди ведь так любят хвастливо раздуть грудь, что, когда хвастаться уж положительно нечем, они готовы гордиться даже тяжелым характером. Если бы так! Истина в том, что я страдаю от себя. Тысячу раз я говорил себе: ты же неглупый человек, ты забрался на довольно высокую и удобную ступеньку социально-бытовой лестницы, тебе даже не приходится дважды в день спрессовываться в общественном транспорте в часы пик. Почему же ты постоянно смотришь на мир сквозь какие-то закопченные стекла, словно каждую минуту должно начаться солнечное затмение? Почему ты выискиваешь в людях их слабости, странности, смешные жесты, фальшь? И почему ты, черт возьми, так беспощаден к себе?

Так я говорил себе тысячу раз и тысячу раз клялся себе, что выкину закопченные стекла, сброшу тяжкий балласт недоброжелательности и воспарю в нормальный мир нормальных человеческих отношений. В мир легкий, теплый, приятный.

Ты же не корова, говорил я себе, не инфузория, почему ты должен быть рабом, приговоренным к пожизненной каторге генной лотереи? Ты же не покупал ее билеты. Ты же не виноват, что в каком-то наследственном тираже тебе выпала такая натура.

Я стискивал зубы и объявлял беспощадную войну своим зловредным генам, завещанным мне предками. Я пытался улыбнуться. Я пригоршнями разбрасывал комплименты, как подгулявший северный отпусник — чаевые в ресторане. Я рвался оказывать всем услуги.

Но крошечные гены были непобедимы. Они издевались надо мной. Улыбки выходили кривыми, искусственными, будто я растягивал мышцы лица руками. Compliments звучали так фальшиво, что и мне, и их адресатам было стыдно. Моя услужливость пугала людей. Зная меня, они видели в ней подвох: что вы, что вы, Геннадий Степанович, не беспокойтесь...

А вы говорите: кокетство! Хорошо кокетство, если от меня бежали две жены. Если я живу на необитаемом острове, лишенный друзей. Если меня тяготит мой собственный характер.

Вот уже пять лет, как я переселился после второго развода в свою нынешнюю однокомнатную кооперативную квартиру. Квартира на последнем, четырнадцатом этаже последнего дома на краю Москвы. Из моего окна видны бензозаправочная станция, железная дорога и старое кладбище.

Сначала я смотрел на станцию, но вскоре понял, что алименты двум детям делают мечту о «Жигулях» совершенно иллюзорной. Тогда я начал смотреть на грациозно изгибающиеся змейки поездов дальнего следования. В детстве, когда я жил в маленьком поселке, мне казалось, что пронсящие поезда таили в себе неизъяснимую прелесть. Они стремились в великолепную, праздничную даль, где не надо таскать воду из колодца, кормить истеричного поросенка и делать никому не нужные уроки. Теперь, в сорок лет, я догадывался, что не уеду от себя ни на одном дальнем экспрессе.

Оставалось кладбище. С каждым годом я все чаще смотрю на него, на старое, чудом еще уцелевшее маленькое кладбище, испуганно притаившееся меж двух вытянутых щупальцев гигантского города...

Я бежал, бежал, продирался сквозь какие-то мрачные заросли, знал, что вот-вот они догонят меня. Я задыхался, я напрягал последние силы, но, чем быстрее я бежал, тем ближе за спиной слышалось их торжествующее дыхание. Я проснулся со стоном. Сердце колотилось. Ночной кошмар мокрым холодным компрессом давил на сердце.

Привычно пересчитал шпалы поезд, и нормальные звуки мира успокоили меня. Сейчас пройдет этот нелепый детский страх, и можно будет снова заснуть.

Но страх не оттаивал. Ушли, растворились заросли, исчезло прерывистое дыхание за спиной, а страх все не уходил. Наоборот, разбуженный, он все рос, пока не превратился в отчаяние.

С трудом я сполз с тахты, доплелся до ванной и долго пил холодную воду. Я понимал, что нужно было бы зажечь свет, вскипятить чайник, что-то делать, двигаться, но вместо этого я снова улег-

ся. На грудь давила многотонная тяжесть. Было бесконечно жаль чего-то, и я чувствовал на глазах давно забытые, невесть откуда вставшиеся слезы.

Что, собственно, случилось, почему так щемит сердце, почему ночная тишина так безнадежно печальна? Почему в грудь под давлением закачана острая тоска?

Как тонущий, я хватался за спасательные круги: я здоров, мне сорок лет, я свободен. Я более или менее преуспевающий сценарист. Разве этого мало?

Но круги выскальзывали из рук, уходили под воду, и я никак не мог уцепиться хоть за один из них. Завтра утром я опять увижу свою хмурую физиономию в зеркале, послезавтра тоже. Мелькание этих лиц сольется в одну серую картину, которая промелькнет незаметно, и все... И ничего не будет, кроме этой скучной галереи.

В дверях стояла Катя, моя первая жена. «Странно, — вяло подумал я, — мы же разошлись одиннадцать лет назад, у нее не может быть ключа от двери, и потом, зачем она зажгла свет?»

Она нисколько не изменилась. Она была в том же лиловом свитере с множеством маленьких перламутровых пуговиц на рукавах, который был на ней в тот вечер. И над лбом была та же челочка.

И выражение лица было тем же, что я помнил: жадное, суетливое любопытство. Когда она входила в новую комнату, она стремительно ощупывала ее взглядом, обегала все углы. Она напоминала мне любопытную собачонку.

Не говоря ни слова, она и сейчас быстро оглядела комнату, хотела было поднять упавшую со стула рубашку, но пожала плечами и оставила ее на полу.

— Ты не изменилась, — с трудом пробормотал я.

Она грустно фыркнула и молча посмотрела на меня.

В тот вечер она не молчала. Она говорила, что жить со мной невозможно, что она из шкуры вылезала, чтобы как-то угождать мне, но, видит бог, это свыше ее сил. У кого-то, может быть, это и получится, но она сдается.

Я не спорил. Похоже было, что она не очень преувеличивала. К тому же мне было тогда двадцать девять лет, жизнь маячила впереди подобно только что начавшемуся отпуску.

Теперь, спустя одиннадцать лет и еще одно бракокрушение, я смотрел на Катю другими глазами. Было жаль ее, она, в сущности, ничем не заслужила такого мужа, как я.

«Что ж я лежу? — вдруг подумал я. — Пришла Катя, а я...»

Катя покачала головой, и легкая ее челочка затрепетала. Она еще раз грустно фыркнула, молча кивнула и исчезла.

Зачем она приходила? Я ведь почти никогда не вспоминал

о ней, разве что в последний год-два, когда стал изредка видиться с Сашей, нашей дочкой. Зачем моя память воссоздала ее?

Заснул я только под утро, но не успел закрыть глаза, как меня разбудил Сурен Аршакович.

— Гена, вы нужны мне, и нужны срочно! — зачем-то кричал он в трубку, хотя слышно было прекрасно.

— Я не могу, — простонал я, — я ужасно себя чувствую.

— Что случилось? Я привезу вам врача. Хотите?

— Нет, просто хандра...

— Вы сможете быть на студии к десяти?

— Я не знаю...

— У нас сегодня павильон, эпизод на почте, и я вдруг подумал, что нужно добавить одну-две реплики Шурочке.

Спорить было бессмысленно. Режиссер-постановщик Сурен Абрамян был не столько материальным телом, сколько сгустком энергии. Мне иногда начинало даже казаться, что, подобно фотону, он не имеет массы покоя. Стоит ему остановиться на мгновение, как он тут же исчезнет, превратившись, скажем, в двух вторых режиссеров или трех ассистентов.

Спорить с ним было бесполезно еще и потому, что все аргументы и доводы проходили сквозь него свободно, ни за что не цепляясь, и не оказывали на него ни малейшего воздействия. К насмешкам и даже оскорблениям он был невосприимчив. Он был доброжелательно жесток и эгоистичен.

— Гена, вы действительно выглядите неважно, — приветствовал он меня на студии.

— Я ж вам сказал, — пожал я плечами.

— Вы ведете противоестественный образ жизни, — решительно сказал Сурен Аршакович, вскочил с креслица и начал метаться по крошечной комнатке нашей съемочной группы. — Человек не может и не должен жить один. Его конструкция на это не рассчитана. Вы следите за моей мыслью?

— За ней трудно не уследить, она у вас одна.

— Это прекрасно, Гена. Никогда не держите больше одной мысли зараз в голове. Они цепляются друг за друга и только мешают. Человек — стадное животное. Все несчастья оттого, что люди, спустившись с деревьев, начали разбредаться. Последняя трагедия — это постепенное исчезновение коммунальных квартир.

— А вы поменяйте свою трехкомнатную квартиру на комнату в коммуналке. И добавьте в объявлении: малонаселенных не предлагать.

— Мне этого не надо, Гена, — с достоинством сказал режис-

сер. — На сорока шести метрах жилой площади у меня жена, две дочери, сын и пудель Гриша.

— Странно, только его вы называете всегда по имени.

— Единственное существо в семье, кто относится ко мне с уважением, — пожал плечами Сурен Аршакович. — Гена, у Гриши скоро будут дети. Мне полагается за это два щенка.

— Я думал, вы эксплуатируете только меня, а вы еще и на собаке зарабатываете.

— Много на вас не заработаешь, — вздохнул режиссер.

— Вы имеете в виду меня или Гришу?

— Обоих. Но собачку вам надо взять. Или жениться.

— Я уже дважды был женат.

— Хотите, выпишем вам армянскую девушку, а? Откуда-нибудь с гор, стройную, смуглую, молчаливую? Неизбалованную и покорную? Ну, что вы молчите? У меня брат живет в Армении, в горах, я сегодня же позвоню ему. Я ее видел, она ткет поразительные ковры. А вы знаете, что такое ручной ковер?

— А просто ковер нельзя? Без горянки?

— Вы циник, Гена. Я понимаю, почему от вас уходят жены. — Сурен Аршакович сокрушенно покачал головой и вдруг деловито сказал: — Хорошо. Берите собаку.

— А сколько раз надо гулять с собакой?

— С взрослой — два раза в день.

— А со щенком?

— Чем чаще — тем лучше.

— А я ведь живу на четырнадцатом этаже, — сказал я. — Для девушки-горянки это, может быть, и не помеха, но для многократных прогулок со щенком...

В комнату заглянула ассистентка режиссера Леночка. Она изъяснялась преимущественно движениями ресниц. Вот и сейчас она поздоровалась, взмахнув ими, как бабочка-махаон крыльями.

— Леночка, вы читали приказ о категорическом запрещении пользоваться на студии электроплитками, электрочайниками и елочными гирляндами? — спросил режиссер.

Леночка утвердительно опустила ресницы.

— Отлично. Вскипятите нам тогда чайку. Или кофе. Я думаю, лучше кофе. Ладно, Гена, не вешайте нос, что-нибудь придумаем. Займитесь пока диалогом. Скоро павильон. Понимаете, когда Шурочка узнает, что одна из ее сотрудниц хандрит, что ее обманул молодой человек, она как-то слишком вяло у вас реагирует. Она же решительная женщина. Бой-баба. Эдакая мать-командирша. Что значит полюбил-разлюбил? Она этого не понимает. Обманул — отвечай. Так? Что вы молчите, Гена? Это же ваш сценарий, ваша, выражаясь возвышенно, нетленка, а вы сидите с постной физионо-

мией, будто вам наплевать на Шурочку и на картину. Все, садитесь и пройдите по эпизоду.

Я сидел и тупо прохаживался по сцене на почте, когда дверь вдруг с грохотом отворилась и в комнатке снова появился режиссер:

— Геночка, я все придумал.

Я с облегчением брезгливо отодвинул от себя сценарий.

— Нет, дорогой, вы меня не поняли. Я говорю не о Шурочке, а о вас. Я вас познакомлю с Александром Васильевичем. С дядей Сашей.

— С кем?

— Вы ж его видели, это наш бутафор.

— Такой порхающий, суетливый старичок?

— Экий у вас язык! Александр Васильевич — кротчайший и нежнейший человек, а вы: суетливый старичок!

— И чем он мне должен помочь?

— Он одинокий человек, в прошлом году у него умерла жена, ему под семьдесят, а вы только взгляните на него: он так и лучится спокойствием, дружелюбием, жизнерадостностью.

— Кто знает, если я доживу до его лет, может, я тоже буду лучиться...

— Если вы доживете до его лет, Геночка, вы будете писать жалобы на соседей в товарищеский суд и пинать ногой котят на лестнице.

— Спасибо, Сурен Аршакович. — Я вдруг поймал себя на том, что обиделся. По многолетней привычке и молчаливому согласию мы пикировались в перчатках, избегая наносить удары в наиболее чувствительные места. Да, собственно говоря, это и не был удар ниже пояса. Наверное, просто тяжкая бессонная ночь натянула мои нервы. Я посмотрел на Сурена Аршаковича. Нет, он явно не хотел по-настоящему уязвить меня. — И чем же должен помочь мне ваш старичок?

— Поговорите с ним, Геночка, поговорите. Не будьте таким самоуверенным, не упивайтесь своим одиночеством: разве он одинок? Вот я одинок так одинок!

Я засмеялся.

— Что, попал? — спросил Сурен Аршакович.

— Десятка.

— Ну и отлично. Вы что-нибудь сделали с эпизодом?

— Не-ет...

— Геночка, если я хожу и думаю, как помочь вам, это не значит, что я готов стать на четвереньки, подвязать на шею седло и попросить вас усесться в него. Мы сделали с вами три фильма, может, не бог знает каких, но и не самых бездарных. У вас тяжелый харак-

тер, но вы меня устраиваете как сценарист. В моем возрасте трудно менять привычки. Тем более сценариста. Я бы хотел, чтобы вы сохранили работоспособность. Остальное меня волнует много меньше. Поэтому я и предложил вам поговорить с моим бутафором. Но это не значит, дорогой мой, что вы можете плевать на мои просьбы. Шурочке нужно добавить несколько реплик. Хорошо?

— Хорошо, — буркнул я. В жизни я никого еще не ненавидел так, как эту тридцатилетнюю самоуверенную особу, эту почтовую диктаторшу. И зачем только я родил ее на свет божий? Но теперь она жила своей свыше утвержденной жизнью, пробралась даже в режиссерский сценарий, и придушить я ее не мог.

2

Я давно уже установил, что пользующееся лифтом человечество делится на две части: одни, услышав звук открываемой входной двери или увидев человека, бегущего к лифту, делают вид, что никого не замечают, и торопятся побыстрее нажать кнопку. Другие ждут. Ждущих, по моим наблюдениям, меньше. Статистических данных у меня не очень много, но вопрос я изучил довольно глубоко. Инстинкты мои постоянно толкают меня побыстрее захлопнуть дверцу лифта. Интеллект же предупреждает: не будь мелким эгоистом. Обычно побеждает интеллект. Уж очень удобно подождать старуху с двумя авоськами несколько секунд и чувствовать себя после этого благодетелем человечества. Почти доктором Швейцером, лечившим всю жизнь больных где-то в Африке.

Я поднимался в лифте вместе со старушкой с двумя авоськами, уютно чувствовал себя доктором Швейцером, и вдруг какой-то вакуум в груди потянул за сердце. Сдернулась тоненькая занавесочка, которой дневные дела кое-как прикрыли кошмары предыдущей ночи, и опять я увидел перед собой в туманном зеркале скорбную процессию лиц с глубокими залысинами и светлыми, почти водянистыми глазами. И ночная тоска вцепилась в меня. На этот раз по-хозяйски, не примериваясь, легко.

Я вспомнил, с каким непристойным нетерпением, с детским зудом ждал, когда Катя уедет с маленькой Сашкой к матери. Как волновался на вокзале, чтобы жена не заметила радостный блеск в глазах. Как отдавал мысленно приказ машинисту: ну, давай, трогай. Ничего тебе не сделают, если ты уедешь на десять минут раньше...

И вот теперь мне не нужно телепатически подбивать машинистов на служебное преступление. Я один. Я живу один. Это прекрасно. Мне не нужно заниматься абсурдными условностями, кото-

рые отнимают столько сил и времени: не нужно застилать утром постель, которую вечером опять придется раскладывать, не нужно мыть тарелку, которой суждено снова стать грязной.

Мне хорошо. Я один. Вольный как птица. Живу как хочу. Захочу — буду сидеть сиднем в своей берлоге. Захочу — назову знакомых.

Это прекрасно. Непонятно только, почему грудь схватили холодные металлические обручи, почему одна лишь мысль о пустой грязной квартирке на четырнадцатом этаже с видом на бензозаправочную станцию, железную дорогу и кладбище наполняет меня ужасом.

Хорошо бы, лифт застрял между этажами. Мы бы разговорились со старушкой, она рассказала бы мне о гипертонии, о том, что в поликлинике ей прописывают гемитон, а в аптеке не всегда его найдешь, о том, что внучка совсем отбилась от рук и потребовала себе джинсы «рэнглер» за сто рублей.

Мы бы сидели на полу и обсуждали неблагодарность детей. Я бы пожаловался на свою Сашку, которая на мои три звонка в год отвечает только двумя. Потом старуха, наверное, заснула бы и тонко хрипела в ожидании спасения, а я думал бы о смысле жизни.

Но лифт, как назло, не застрял, старушка толкнула меня авоськой с твердыми глянцевыми апельсинами и выползла на восьмом этаже, а я — на четырнадцатом.

Я подумал, что так, должно быть, чувствует себя заключенный, когда возвращается после прогулки в одиночную камеру. Мысль эта привела меня в ярость. «Хватит! — крикнул я себе. — Хватит этого отвратительного нытья. Хватит, хватит, хватит! Миллионы людей были бы счастливы хоть на месяц поменяться с тобой местами, а ты, праздный и развращенный, пристаешь к судьбе с бесконечными претензиями».

Я открыл дверь. Боже, что за свинарник, что за запахи! До часа ночи я стирал, мыл полы, смахивал пыль. Я был охвачен азартом образцовой хозяйки.

В час ночи я в изнеможении опустился на тахту. Квартирка моя сияла, но на душе было скверно, муторно, нечисто. Будто весь мусор, что я выгреб из углов, так и остался в моих руках.

Что еще делать? Открыть в полвторого ночи окно и начать его мыть? И отпустить ненароком руку и пролететь все четырнадцать этажей и плюхнуться на крышу какой-нибудь машины, стоящей в очереди на заправку? И мудрые невозмутимые шоферы будут осматривать вмятину, качать головами и бормотать: «Надо же, а...», «Вроде бы чего в человеке есть — всего ничего, а как шмякнулся».

Я почему-то вдруг явственно увидел перед собой деда. Мне лет семь. Я проснулся ночью. Пол в сенях холодил босые ноги. Я выско-

чил на крыльцо и уткнулся в деда. Он стоял в нижнем белье и в валенках. Небо уже посерело, и в этом призрачном свете я заметил на его лице слезы. Я никогда не видел, чтобы дед плакал, и испугался.

— Что ты, деда? — прошептал я.

Дед прерывисто вздохнул.

— Помирать жалко, — сказал он. — Живу, живу, а все еще хочется. Все, кажется, снискал от жизни, денег, правда, не снискал, а так все. И все мало...

Мне кажется, тогда, мальчонкой, я понимал, что теснило грудь тому высохшему старику с огромными, костистыми руками. Теперь я не понимаю. Что за якоря держали его в том маленьком сером домике в маленьком сером поселке? Что еще ждал он от жизни? Почему так страшился разлуки с ней?

Я разделся и лег спать. И тут же заснул. На этот раз никто не гнался за мной. Наоборот, я бежал за кем-то. Я твердо знал, что этот кто-то совсем недалеко, я слышал его шаги, угадывал его близость. Нужно было только сделать еще одно усилие, еще рывок, протянуть руку и схватить того, кто зачем-то был так нужен мне.

Но чем быстрее я бежал, тем неуловимее он казался, и оттого, что я никак не мог догнать его, было бесконечно печально.

Я проснулся с ощущением этой печали. Она была темна, плотна и лежала на мне тяжелым душным одеялом.

Я зажег свет и взял томик Чехова. В десятый, наверное, раз я перечитывал свои любимые рассказы, но сегодня они, как никогда, сжимали сердце, вызывали на глазах слезы. Если бы только рядом был кто-то, кому можно было бы излить душу, с кем можно было бы разделить страх, уменьшив тем самым его, к кому можно было бы прижаться, спасаясь от тяжелой печали...

К утру я понял, что заболел. Врач будет задавать мне дурацкие вопросы, а потом она наклонит голову и будет долго-долго писать что-то в истории болезни. А я буду смотреть на ее рыжие с сединой у корней волосы и ждать приговора. Скорей всего они уложат меня. «Что вы, что вы, это почти как санаторий...»

Мне не хотелось в «почти как санаторий». Я позвонил Сурену Аршаковичу и попросил у него номер телефона счастливого одинокого бутафора.

Бутафор просыпал в трубку дробненький смешок:

— Как же, как же, Геннадий Степанович, Сурен Аршакович говорил мне... М-да... А... вы на бильярде играете?

— Ну, немножко, — сказал я.

— Отличненько, отличненько. Вы что сегодня вечером делаете?

— Да ничего особенного.

— Пре-екрасно! — прокукарекал Александр Васильевич. —

Приходите к восьми в Дом кино, в бильярдную. Вы пройдете?

— Да будет вам известно, почтенный Александр Васильевич, что я имею честь состоять действительным членом Союза кинематографистов.

Убей меня бог, чтобы я мог объяснить себе, почему вдруг ответил бутафору изысканной старомодной формулой, но она его несколько не удивила.

— Конечно же, конечно же, экую глупость я сморозил! Конечно же, такой известный сценарист — и вдруг я задаю смешной вопрос! Совсем старик спятил...

Без четверти восемь я уже был в бильярдной.

— Будете играть? — с привычным отвращением буркнул маркер.

— Жду партнера, — сказал я.

Александр Васильевич появился без пяти восемь. Маленький, сухонький, со светлым пушистым венчиком на детски-розовой лысинке. Увидев меня, он затрепетал, просиял, замахал руками, подлетел ко мне и ласково закудахтал:

— И давно вы ждете, Геннадий Степанович? Ай, яй, яй, я, кажется, опоздал!

— Да несколько вы не опоздали, — сказал я, с трудом сдерживая раздражение. Квохчущая наседка. Впрочем, наседка хоть делом занята.

Тем временем Александр Васильевич уже метнулся к маркеру:

— Голубчик, а я вам столетничка принес. Алоэ, так сказать. Знаете, как его пить? Может, записать вам?

— Не надо, Александр Васильевич, мы на столетнике, можно сказать, только и держимся, — рассудительно сказал маркер. — Отметить вам время?

— О, спасибо, спасибо, у меня сегодня новый партнер. Вот, знакомьтесь, Геннадий Степанович Сеньчаков, наш сценарист известный. Вы в пирамидку играете? — повернулся он ко мне.

— Немножко, — неопределенно пожал я плечами.

— Вот замечательно, вот славненько как, — ласково запел Александр Васильевич. — Давайте первую сыграем пробную, на пару бутылочек пива. А потом посмотрим, может, вы старичку форы дадите, может, я вам — пятачок-другой. Тут ведь дело не в интересе. Просто пирамида — такая игра, где нужна дисциплина. Для того и интерес. Не сядешь ведь, к примеру, за преферанс просто так. Пусть там по доле копеечки, а все тормоз.

Мне захотелось рассмеяться. Вся эта суетящаяся ласковость свелась к двум бутылкам пива, которые бутафор явно намеревался выиграть у меня.

Когда-то я играл сравнительно прилично, по крайней мере по

меркам домов отдыха, но бильярд требует самого серьезного к себе отношения, а я брал в руки кий раз-два в год.

Александр Васильевич, не выбирая, взял кий, и по жесту я понял, что он знает здесь все кии на ощупь. Он посмотрел на меня и смущенно сказал:

— Вы уж простите меня за странности, но вы бы не возражали, если бы я обращался к вам без отчества? А? И был бы вам чрезвычайно признателен, если бы и вы почтили меня просто Сашей.

— Ради бога, пожалуйста.

— Вот и отличненько, Геночка! Разбивайте. Нет-нет, вы гость, вам первый удар.

Я всегда был в левый угол пирамиды, биток отскакивает от короткого и длинного бортов и становится на короткий борт, противоположный пирамиде.

— Геночка, вы же профессионал! — страстно застонал от восторга Александр Васильевич. — Пойдемте лучше в буфет я сразу куплю вам пиво и не буду позориться.

— Александр Васильевич, — сказал я твердо, — сдается мне, что вы зря стали бутафором.

— Почему? — бутафор опустил кий и раскрыл рот. Глаза у него округлились, и он стал похож на старую болонку.

— Потому что вы изумительный артист.

— Какой вы умница, — покатила дробный ласковый смехок Александр Васильевич. — Я действительно играю. Но только за столом. Вы мне всегда были симпатичны, и вам я откроюсь: кладка у меня ныне не бог весть какая, но отыгрыш, дорогой Геночка, остался. И стариковское терпение. И выиграть у меня нелегко.

У него слегка дрожали руки. Но когда он приготавливался нанести удар, он на какую-то неуловимую долю секунды замирал, и удар получался точным. Должно быть, он заметил мой взгляд, потому что кивнул и сказал:

— О, это чепуха. В конце войны оказался я в Омске и захаживал в бильярдную. Одноэтажный длинный такой домик, в котором было столов шесть. В память мою врезались всегда топившаяся печка, запотевшие окна и разбухшая тяжелая дверь. На двери были сильные пружины, и она каждый раз смачно бухала в облачках пара. Как будто рвались снаряды.

Народ заходил туда разный, война и эвакуация перепутали все. Можно было там встретить знаменитого артиста из Театра Вахтангова и сапожника, отпускного лейтенанта и настоящего любителя бильярда. И вот, помню, бывал там некто Володя. Высокий неопрятный человек в рваном пальто. Казалось, он по-

стоянно подключен к вибратору, потому что била его отчаянная трясучка. Когда я первый раз увидел, что он берет в руки кий, я не мог поверить своим глазам. Да он и не мог ударить как следует, положив кий на опорную руку, как мы это делаем с вами. Он бил только тычком, или, как еще говорят, пистолетом или копьем. А это, как вы знаете, необыкновенно трудно.

«А деньги-то у него есть?» — спросил я насмешливо у какого-то потертого человечка, который сидел рядом со мной. «У Володьки-то? Дай бог каждому», — ответил он. «Сыграем? — спросил я Володю. — По сотенке?» — «Сыглаем, сыглаем», — замычал он, оживляясь.

Я выбрал кий. Я чувствовал себя человеком, который собирается обокрасть нищего, но в те годы, Геночка, я относился к таким вещам поощре.

«Во, во!» — снова замычал Володя, вытаскивая из-за пазухи целую кучу мятых купюр. На бильярдном жаргоне это называлось устроить показуху. Так сказать, демонстрация кредитоспособности.

Начали мы играть. Володя прыгал вокруг стола, мычал. Я, разумеется, выигрывал. От моего трясущегося партнера тяжело пахло, и этот запах почему-то облегчал нагрузку на совесть, настраивал меня на беспощадный лад.

Я выиграл, получил свою сотню — тогда это было не так уж много денег — и собрался было положить кий, как вдруг Володя дурашливо закричал «не-е!» и показал два пальца: «По две сосенки, по две сосенки!»

Мы начали играть, и он положил пятнадцатый шар. Он прыгал и скакал как безумный. Полы пальто без пуговиц, которое он так и не снял, развевались, как крылья. Он смеялся, сиял, хлопал себя в грудь и приговаривал: «Ай да Войодька! Ай да Тясучка!»

Я искренне радовался за него. Ну, забил человек случайно крупный шар, пусть повеселится, бедняга. Какие у него еще радрсти? Да и мне было легче. Игра уже не походила на отнятие денег у ребенка или калеки.

Тем временем Трясучка положил еще один шар, тринадцатый, как сейчас помню, и хохотал на всю бильярдную, хлопал себя по голой синеватой груди, которая видна была, когда пальто распахи-валось. Мы играли в так называемую сибирскую пирамидку, при которой нужно набрать не семьдесят одно, а девяносто одно очко. И Володя набрал девяносто одно очко.

Удивительно, как повезло этому калеке, думал я, ставя новую пирамиду. Надо бы, конечно, прибавить, может, он согласился бы играть по три сотни партии, но я удержался. Отпугнешь еще. Соображает ведь он что-то. «По две сосенки!» — передразнил я его. Он кивнул.

Только через две партии я понял, что передо мной великий игрок и великий актер. Я проиграл все деньги и часы, которые были у меня на руке.

Вот так, Геночка, а вы смотрели на мои руки и думали, наверное, то же, что я тогда в Омске много лет назад.

Александр Васильевич почти не бил, разве что верные шары, или бил, когда ничем не рисковал. Я видел и понимал его тактику. Я видел, что он вынуждает меня рисковать, вынуждает ошибаться, но ничего не мог поделать. Биток все время оказывался словно приклеенный к борту, и я бил из неудобного положения.

— Александр Васильевич, могу еще раз повторить,— сказал я,— вы зря стали бутафором.

— Во-первых, Геночка, я был почти всем, от заведующего детским садом до бойца военизированной охраны. А во-вторых, я обожаю свою нынешнюю работу. Я ведь давно мог бы уйти на пенсию. Правда вот, признаюсь вам, фильмы нынче стали по моей части скучноваты. Какая там бутафория! И добывать ничего не надо. Вот, кажется, надумал бы кто снять ленту из жизни Древнего Рима, я бы бесплатно пошел работать. «Так и так, товарищ Хорьков, к завтрашнему дню обеспечьте шесть щитов, восемь туник, ну и все такое в ассортименте!» И достал бы, Геночка, ей-богу, достал!

Александр Васильевич расплылся в широчайшей улыбке:

— Налево в угол щербатенького.

— С богом,— сказал я. Может быть, хоть мечты о древнеримской бутафории заставят его на минуту-другую ослабить бульдозью хватку, которой он зажал меня. Куда там! Восьмой щербатый шар он не забил, но биток словно заговоренный миновал все шары и послушной собачкой вернулся к хозяину.

— Скажите,— со смущенной улыбкой спросил Александр Васильевич,— вы что, гипнотизер?

— Не знаю, не пробовал.

— Вы заставляете меня играть вопреки всем моим принципам. А старики — консерваторы. Они не любят менять принципы. Мне следовало бы отдать вам первую партию, придерживаться игру. А я, выживший из ума старик, рассказываю вам о Володе-Трясучке и из шкуры вон лезу, чтобы не отдать вам лишний шар. Глупо? Глупизна абсолютная. А почему? А потому, Геночка, что вы мне нравитесь, и я павлинюсь перед вами, распустил свой кудцы хвостик.

Я чувствовал себя мухой, которую быстро и аккуратно закатывают в паутину. С улыбочками, с приговорками, склеивая жертву потоком сладких тягучих слов. Вроде бы и должно быть неприятно, понимаешь: тебя пеленают, но самолюбие массируют так ловко, что ты разве что не подхихикиваешь.

Но зачем бы моему старичку-паучку ловить меня в паутину? Выиграть у меня несколько бутылок пива? Или паучок никогда не расстается с паутиной? Или он обещал Сурену вылечить меня от хандры? Может быть, это его метод лечения: поймать человека в паутину и ласково высосать из него соки?

Глупости. Болезненная чушь, которая все чаще лезла мне в голову. Паутина, соки — какая паутина, какие соки? Кому нужны мои соки-воды?

— Геночка, я думаю, мне следовало бы дать вам два креста форы, но я рехнулся. Я дам вам десять очков и пятый шар со стола.

— И на что же мы будем играть? На сосенку?

— Господь с вами, так даже и шутить вредно, может подняться давление. А сыграем мы с вами на три бутылочки пива, и это будет замечательно. Просто прекрасненько. Я выиграю — я вас угощаю. Вы — вы меня. Ловко, а? — Александр Васильевич выпустил по мне очередь мягонького смешка. — Не возражаете, голубчик?

Бутафор быстренько потер ладошкой об ладошку, и жест этот был мне неприятен: то ли предвкушение пива, то ли удовольствие от обыгрыша простачка.

Мы начали вторую пирамидку. И снова незаметно, ласково, неукротимо Александр Васильевич зажимал меня, заставляя ошибаться. «Э, нет, — сказал я себе, — так дело не пойдет. Попробую-ка я бить паучка его же оружием». Я стиснул зубы и начал отыгрываться. Бутафор сразу заметил перемену моей тактики.

— Нет, голубчик, — виновато улыбнулся он, — боюсь, что так у вас совсем ничего не получится.

— Почему? — раздраженно спросил я.

— Разница в возрасте.

— Ну и что?

— Видите ли, вам, наверное, еще и сорока нет, а мне под сemyдeсят.

— А все-таки?

— В моем возрасте меньше интересуешься результатом и больше процессом. В вашем же, милый Геночка, человека волнует результат. Вы стремитесь забить шар, выиграть партию, заработать больше денег, получить премию, поехать на кинофестиваль куда-нибудь в Канны или Ташкент, вскружить голову необыкновенной фемине с зелеными глазами. И, добиваясь этого результата, милый мой дружок, вы торопитесь, вам не терпится, вы подгоняете время. А я никуда не тороплюсь. На могилку мою или нишу в колумбарии никто не зарится. Я дышу — радуюсь. Иду — в восторге. Разговариваю с таким замечательным человеком, как вы, и считаю это подарком судьбы. Держу в руках кий — это праздник. Понимаете мое бормотание, Геночка? — Александр Василье-

вич вдруг рассмеялся смущенно и крепко потер рукой розовую лысину.— Я прямо вам философию какую-то развел. Не сердитесь, милый. Это, наверное, стариковское. А вообще-то стариков жалко.

— Почему?

— А потому, что они стали жертвой... Жертвой прогресса. Раньше старик был нужен. Он знал, где водятся звери, какие травы полезительны, как уберечься от дурного глаза. И учил молодых. А теперь проще купить учебник по сопромату, чем выслушивать стариковское бормотание. Геночка, милый, это какой такой шарик притаился там у лузочки?

— Девятка или шестерка.

— Девятка. Шестерку вы уже прибрали. Ну-с, попробуем-ка мы ее уконтропупить. Смотрите, упала девяточка, мир праху ее...— Александр Васильевич вдруг остренько посмотрел на меня.— Вы верите, что можете еще выиграть партию, а? Только честно, Геночка.

«Поразительно, однако, многогранный старичок,— подумал я.— То и дело поворачивается неожиданным каким-то боком. И зачем это ему?» А действительно, верил ли я, что могу еще выиграть партию?

— Нет, пожалуй.

— Молодец. Я рад, что не ошибся. Вы, голубчик, незаурядный человек.

— Почему?

— А то будто вы не знаете! Человек, умеющий признаться в слабости,— это редкостная птица.

Я фыркнул. Мои доспехи трескали под градом его льстивых ударов. Несколько раз они уже находили щели в панцире и приятно щекотали мое самолюбие. И суетливый старичок начинал уже казаться не лишенным приятности.

— Вы надо мной смеетесь, Геночка?

— Скорее над собой,— вежливо ответил я.

— А не надо. Надо мной — сколько угодно. А над собой — ни в коем разе.

— Это почему же?

— Ну, мне даже и отвечать вам неловко. Волга впадает в Каспийское море, лошади едят овес и сено.

— А все-таки?

— Если человек приучен высмеивать себя, он и других уважать не будет. И для чего убеждения, если все это смешно. Эдакий сатирический нигилизм.

— Гм... интересная точка зрения. Может, вы и правы в каком-то смысле. Спасибо за удовольствие. С меня пиво.

— Спасибо, Геночка. А что вы сегодня делаете? Сейчас только десятый час в начале.

— Да ничего особенного...

Я старался говорить равнодушно, но был готов на все, только бы не идти сейчас домой в свой склеп, где меня, урча от нетерпения, поджидали ночные мои целый день не кормленные звери: страх, тоска, печаль.

— А знаете что, поедem ко мне, а? Поедем, голубчик, я вас своим друзьям представлю. Поехали.

Я захватил свой проигрыш, и мы вышли на Брестскую улицу.

3

Мы поднялись в крохотную квартирку. В узенькой передней стоял рассохшийся шкаф с пирамидой потертых, выцветших чемоданов наверху. Чтобы пройти между шкафом и стеной, нужно было продираться боком.

— А это Геночка, — громко сказал Александр Васильевич, зажигая свет в маленькой комнатке, которая казалась еще меньше от зеленых растений, поднимавшихся из нескольких горшков и вившихся под потолком. — Мой новый друг, прекрасный, незаурядный человек.

Все разом стало на место. В комнате никого не было, и я с трудом удержался от смеха. Вот тебе и многогранный старичок. Вот тебе и какая-то зудящая его неясность. Вот тебе и Волга впадает в Каспийское море. Бутафор, оказывается, с приветом. Я внутренне поморщился от этого дурацкого, пошлого выражения. Я вообще ненавижу идиотские клише, которыми мы пользуемся столь же бездумно, как пяточками при входе в метро. «Будьте у Верочки», «с приветом», «неровно дышит»...

Я не боялся Александра Васильевича и не испытывал брезгливого отвращения. В поселке, где я вырос, через два дома от нашего жил сумасшедший. Кто говорил, что он когда-то был профессором, кто — что генералом. Поэтому звали его иногда Профессором, иногда Генералом. Это был высоченный худой старик, когда-то очевидно, полный, потому что лишняя кожа свисала по обеим сторонам его лица тяжелыми складками. Он жил с дочерью, которая работала на станции. Старик никогда ни с кем не разговаривал. Он ходил мелкими, шаркающими шажочками и глядел прямо перед собой напряженными, немигающими глазами. Не знаю почему, но мы, мальчишки, не смеялись над ним. Он был такой же вечной частью нашего ландшафта, как охристая, в бурых потеках, водочка, как проносящиеся поезда, как испокон века строившийся новый магазин.

Однажды — было мне, наверное, лет семь, а может, чуть больше — я сидел на Заводском пруду и ловил рыбу. Почему пруд назывался Заводским, никто не знал, никакого завода рядом не было, почему по берегам сидели рыболовы — подавно. Редко-редко кто-нибудь вытаскивал карасика величиной с детский палец, и все сбегались смотреть на редкостный трофей.

Я сидел на своем любимом месте рядом с плотиной и без особых ожиданий смотрел на два поплавка, намертво впаянных в темную неподвижную воду. Внезапно послышался чей-то вздох. Я оглянулся. За моей спиной стоял Профессор и смотрел не вдаль, как всегда, а на меня. И глаза были не пустыми, как всегда, когда в них отражалось небо, а стояла в них боль. Мне было семь или восемь лет, и мысли мои, наверное, облекались тогда в другие слова, но я понимал, что такое боль.

В глазах Профессора показались слезинки. Словно замороженный, забыв о поплавках, я смотрел на эти слезинки, блеснувшие в углах глаз. Профессор прерывисто вздохнул, сделал несколько шаркающих шажочков ко мне, поднял руку и неловко погладил меня по голове. Он не сказал ни слова, еще раз вздохнул и медленно поплелся в сторону поселка.

— Это я вас своим дружочкам представляю, — сказал Александр Васильевич. — Вот, знакомьтесь: вот этот красавец — иностранец. Аж с острова Борнео. Сциндапус. Очень веселое и озорное растение. Хитрое до невозможности. А вот этот товарищ с громадными резными листьями — это монстера делициоза. Требователен, как избалованный ребенок.

— В смысле ухода? — спросил я, чтобы поддержать видимость разговора.

— При чем тут уход, Геночка? Уход — само собой. Я говорю об отношении ко мне. Не подойду к нему день, начинает дуться, отворачивается. Что, дружок, скажешь, я преувеличиваю? — спросил Александр Васильевич у резных листьев и весело засмеялся. — Молчит, — объяснил он мне. — Стеснительный в присутствии посторонних, робкий, вы даже себе не представляете, до какой степени.

«Прекрасно, — подумал я, — прекрасное помешательство. Тихое, чистое, прелестное». Мне даже на мгновение стало завидно: уж он-то, милый бутафор Сашенька, одиночества не ощущает, его-то ночные кошмары не толкают к окну, что выходит на бензозаправку.

Александр Васильевич нежно погладил свою монстеру, посмотрел испытующе на меня и вдруг затрепетал, засуетился:

— Да что это я, совсем рехнулся. Вы, наверное, думаете, что старый идиот соскочил с катушек. Ну, признайтесь же!

Что за настырный характер, все-то ему нужны подтверждения.

Но с Наполеонами, насколько я знаю, спорить бесполезно. С ними можно обсуждать характер маршала Нея или общую диспозицию боя у Ватерлоо, но нельзя убеждать Наполеона, что он, в сущности, диспетчер автобазы или технолог завода по производству тюбиков.

— Нет, почему же, — фальшиво улынулся я.

— Жаль, — грустно произнес Александр Васильевич, — жаль, что вы начинаете кривить душой. Хотя я вас понимаю: человек вы деликатный и не хотите обижать чудака...

Деликатный — это было уже слишком. Некоторая приятность, которой меня обволок бутафор, сразу же испарилась с саркастическим шипением. Деликатный! Это — мне! Впрочем, он, может быть, и искренен. Кто разберется в сумеречном мире душевнобольного? Хотя, поправил я себя, почему сумеречном? Скорей всего, он действительно болен, но живет он, похоже, в мире куда более светлом и радостном, чем я.

— Ладно, — вздохнул мой хозяин, — что делать. — Он повернулся к огромным горшкам: — Ребятки, мы с Геннадием Степановичем выпьем по одной рюмочке, если вы, конечно, не возражаете. Ну спасибо. — Он посмотрел на меня: — Нет, не возражают. Когда дома, при них, да еще с хорошим человеком — они никогда не обижаются. Даже монстера. Но тут как-то недавно в группе уговорили мы бутылочку, вы не представляете, что они устроили. Дулись, наверное, не меньше недели. Я уж извинялся, объяснял, что неудобно было отказаться, мол, у ассистента режиссера Леночки был день рождения, сам директор картины — он, кстати, глаз на нее положил — изволил пригубить. Ну, да ладно, чего старое поминать. — Он повернулся к растению, что называл первым, прислушался и молча кивнул. — Геночка, вы как относитесь к маслинам?

— Что? — не понял я. Или он пригласил и баночку маслин поговорить со мной?

— Маслины. У меня, представляете, кроме банки маслин и закусить особенно-то нечем.

— О чем вы говорите, — с облегчением вздохнул я.

Мой хозяин вспорхнул, вылетел на кухню, трепеща крыльшками, вернулся с баночкой маслин и двумя высокими металлическими рюмками, разлил коньяк.

— Восемьсот семьдесят четвертый год, русская работа. Обратите внимание на гравировку. Это же царь-пушка. На этой вот — царь-колокол. Ну, за ваше здоровье. — Александр Васильевич пристально посмотрел на меня, и в его взгляде, второй раз за вечер, вдруг промелькнула какая-то цепкость, какая-то остринка.

Мы выпили.

— Ах, Геночка, как я когда-то любил это занятие! — засмеялся Александр Васильевич. — Садился за стол — душа пела! А теперь вот столько в организме фильтров и клапанов: и гипертония, и сердечная недостаточность, и гастрит — и все караулят, все на чеку, только и ждут, чтобы я позвонил. Тут уж они, голубчики, за меня принимаются разом, хоть неотложку вызывай! Ну что ж, спасибо нашему благодетелю Сурену Аршаковичу, что свел меня с вами.

— Вы это серьезно? — не удержался я и тут же пожалел: забыл, дурак, с кем дело имеешь.

— Совершенно серьезно. Я очень рад, что познакомился с вами.

— Но почему? — опять черт дернул меня за язык.

— Из чисто эгоистических соображений, дорогой Геночка. Из чисто эгоистических. Нет, дело не в выигрыше. Просто сдается мне, что вам нужна помощь, и — кто знает? — может быть, я сумею помочь вам. А это, смею вас уверить, голубчик, очень приятно. Увы, не все это, глупцы, понимают.

В Александре Васильевиче появилась какая-то уверенность, он как будто стал выше, перестал трепетать. Я почувствовал, что потянулся к нему. Сумасшедший не сумасшедший — мне было покойно с ним, и в его присутствии мысли о ночных кошмарах казались далекими и нереальными, как полет на Марс. Но то работали инстинкты. Разум же, натренированный в логических объяснениях, фыркал: как же, поможет он тебе! Поможет, если сплзешь к нему, туда, где беседуют с горшками и извиняются за единственную рюмку перед какими-то растениями.

И опять кухонная свара в душе: инстинкты на разум. Я вздохнул. Бутафор пронизательно посмотрел на меня и вдруг тоненько захихикал.

— Представляю, о чем вы сейчас думаете, — сказал он.

— Это нетрудно, — пожал я плечами.

— Вы не пытаетесь спорить со мной, не высмеиваете мои рассказы о зеленых друзьях, — он кивнул на растения, — а это значит, вы считаете меня ненормальным. — Я промолчал, и Александр Васильевич несколько раз кивнул. — Это и немудрено. Если бы вы умели слышать их голоса, вы бы не были одиноким человеком. А раз вы не знаете, что растения — это живые существа, которые умеют любить, страдать и ненавидеть, то я вам должен казаться выжившим из ума болтуном, сумасшедшей кочерыжкой. Так? — Александр Васильевич метнул в меня лукавый взгляд и чему-то весело кивнул.

Я промолчал. Я стоял на качелях, и линия горизонта то поднималась, то опускалась. Одно мгновение уверенность, что передо мной тихий помешанный, была бетонно-непоколебимой, взмах

качелей — и бетон давал трещины. Это было неприятно, голова шла кругом. Может быть, встать, извиниться и уйти? Наверное, так и нужно было бы сделать, но мысль о пустом моем склепе была еще неприятнее.

— А откуда вы знаете, что я одинокий человек? — угрюмо спросил я.

— Это сразу же видно, милый Геночка. Одинокие люди очень жесткие и почти не светятся. — Александр Васильевич смущенно хихикнул. — Вы меня простите, я объяснить как следует не умею. Знаете, это как музыка. В голове звучит — стройно так, красиво, верно. А захочешь пропеть — и такое мяуканье выходит, что оторопь берет: как можно так испохабить музыку. Вот я сказал: жесткий. А ведь это не то слово. Не жесткий, а... — мой хозяин недовольно потер ладонью лысинку. — Может, сухой, а? Но не в поведении, а в душе.

— И вы эту душу видите? — соскользнул я на привычную ироническую колею.

— А как же, милый Геночка! А как же! Я не знаю, как это выразить понаучнее, может, это надо называть не душой, а как-то иначе, но вы меня понимаете. Душа обязательно светится. У всех по-разному. У добрых людей, я заметил, свет посильнее. Злые еле мерцают. У одиноких душа как бы прикрыта колпаком, и свет, выходит, тоже притушен. Только не все почему-то видят это свечение. Я вот думаю, может, люди просто не присматриваются как следует друг к другу? А? Вы как считаете?

— Насчет свечения душ не знаю. Не замечал. Но присматриваемся мы друг к другу мало. Тут я спорить с вами не буду. Ну и что же, вы, значит, определили, что я одинокий человек?

— Да вы не обижайтесь, Геночка. Я вас, дружочек, ни обидеть, ни уязвить не хочу. Но если разговор этот вам в тягость, молчу. Молчу.

Я ничего не ответил. А действительно, в тягость ли? Я был словно парализован. Я даже не мог ответить себе на этот вопрос. Я вспомнил, как однажды — я еще не был женат тогда — в дверь позвонили, и в квартиру вошли несколько цыганок. Запах давно не мытых тел, шуршание множества длинных замызганных юбок, быстрые, цепкие взгляды черных глаз и жаркий вкрадчивый шепот: миленький... драгоценный... судьба... все узнаешь... ручку... деньги... сколько есть... У меня было всего двадцать пять рублей. Я был молодым человеком с высшим образованием. Я читал «Технику — молодежи» и «Знание — сила». За день до этого я читал популярное изложение специальной теории относительности Эйнштейна. В небе летали спутники. Было до слез жалко четвертого. И тем не менее я покорно отдал деньги, протянул руку и в

тупом каком-то трансе слушал торопливое бормотание цыганки: три раза полюбишь, три раза страдать будешь...

Слабость, слабость, слабость все это, зло сказал я себе.

— Кто знает? — вдруг промолвил Александр Васильевич, и я вздрогнул. Это что, он моим мыслям ответил? — Я вам вот что скажу, Геночка. Не торопитесь. Взгляды — не клей БФ, сразу они не схватываются. Я ведь тоже когда-то шагал по жизни и ни черта не слышал и не видел. А вот когда понял, что еду уже с ярмарки, когда стал приглядываться — а куда, собственно, ведет эта дорога, и в особенности, когда умерла моя Верочка, спутник мой незабвенный, я вдруг стал слышать и замечать то, что раньше не удосуживался услышать и увидеть.

— Голоса растений?

— И их, — мягко ответил Александр Васильевич. — Но не только.

— А что же еще?

— Да как вам сказать, Геночка мой дорогой? Это как та музыка, о которой я вам только что так косноязычно пытался рассказать. Во мне все поет, хочу, чтоб и другие услышали, порадовались, облегчили душу, а как это сделать — не знаю.

— У вас дети есть? — зачем-то спросил я. — Внуки?

— Нет. Не было у нас с Верочкой детей. Не могла она родить. Все говорила: давай возьмем ребеночка. А я только смеялся. Зачем, говорил, мне ребеночек, если ты у меня детка малая? Она и вправду всю жизнь как девочка была. — Александр Васильевич помолчал, вздохнул. — Вот что, Геночка, возьмите вы пару отросточков сциндапсуса, и еще дам я вам растеньице, название которого и сам не знаю. Смотрел, смотрел в книжках, что-то ничего похожего не выискал, так и прозвал ее Безымянкой. Такая она ласковая, такая веселая — не могу без улыбки с ней разговаривать.

— Так зачем же вам ее отдавать? — как-то грубо, некрасиво спросил я и сам устыдился вопроса.

— Так ведь вам нужно, Геночка. Если уж я вас в друзья зачислил... Вы только разрешите, я пойду у нее спрошу. Я думаю, она поймет. Простите, я дверь прикрою, а то я буду Безымянке о вас рассказывать, и, может, вас это смутит.

Бутафор быстро юркнул в смежную комнату, тихонечко прикрыл за собой дверь, а я сидел в странной душевной расслабленности. И не было сил ни посмеяться над тихим психом, ни принять всерьез его нелепое бормотание. Пошел посоветоваться с горшком, хотел было по привычке я мысленно подтрунить, но насмешка тут же лопнула.

— Все в порядке, Геночка! — запел еще за дверью Александр Васильевич и появился с небольшим горшком в руках. Из земли

чуть выпирала светло-коричневая луковица, усеянная множеством длинных тонких листьев, грациозно изгибавшихся султаном.— Она не возражает! Безымянка, вот он, Геннадий Степанович Сеньчаков, человек, который даже не знает, кто он. Помогите ему. Вот, Геночка, держите. А я пока отросточки сциндапсуса вам приготавливаю.

Снова появились те далекие цыганки. И не своей, чужой волей движимый, я протянул руки и взял довольно увесистый горшок. «Хорошо хоть, на этот раз не придется с четвертным расставаться», — вяло подумал я.

— Подкормку, перегной, торф — все это я вам для начала дам, приеду, покажу, вы только поливать их не забывайте. Ну, давайте упакуем ребятнишек; и я выбегу поищу такси...

4

Будь она проклята, эта вздорная баба! Опять позвонил Сурен Аршакович и вопил задуханным голосом, что он не видит Шурочки.

— Позвольте, раньше же вы ее видели, — буркнул я. — Слава богу, съемки уже идут.

— Она исчезла! — панически закричал режиссер. — Все время я ее видел, и вдруг она исчезла. Сделайте же что-нибудь, Гена!

— На стадии съемок...

— Гена, я же прикрепил вас к группе, я плачу вам зарплату...

— Госкино мне платит, а не вы.

— Хорошо, Гена, — свистящим шепотом сказал Сурен Аршакович, — пусть Госкино. В данном случае Госкино и я неразделимы. Но дайте же мне эту женщину, оживите ее! Я хочу видеть ее и, осязая, понимаете? А время идет! Жду вас утром на студии.

Он бросил трубку, и я зачем-то долго слушал короткие торопливые гудки. Что я мог сделать? Когда я вынашивал сценарий, мне представилась эта заведующая почтовым отделением в крошечном городке, вроде, например, Рузы. На почте одни девочки. Те, что не уехали учиться и не вышли еще замуж. Шурочка и любит их, и держит в кулаке. Она просто не представляет, чтобы личная жизнь ее девочек могла не касаться ее. Она одновременно мать, командирша и подруга. Она представлялась мне полноватой, со светлыми волосами, стянутыми в пучок, совершенно не умеющей как-то одеться, подать себя.

А Сурен Аршакович пригласил на эту роль актрису, которая скорей сыграла бы роль его родственницы-горянки, ткущей ковер для жениха.

Я бессмысленно просидел над эпизодом до часа ночи. Я не

знал, что делать. Шурочка была так жива, ярка, выпукла, что у меня просто рука не поднималась калечить молодую тридцатилетнюю труженицу связи. Странно, странно... Совсем недавно я бы сделал это не задумываясь, лишь бы не спорить с режиссером. Неужели я начал всерьез относиться к своему творчеству? Этого еще не хватало...

— Ладно, будет ерундой заниматься,— сказала наконец Шурочка, и я с облегчением захлопнул сценарий.— С утречка поглядишь...

Спасибо, Шурочка. Ложись-ка спать, а то измучил я тебя. Насчет утречка — это она тонко заметила. Прекрасная мысль.

Я развел руки, разминаясь, вздохнул и вспомнил о том, что я теперь не один. Растения я поставил в соответствии с инструкциями Александра Васильевича: не слишком далеко от окна, но и не слишком близко.

— Ну-с, товарищи зеленые насаждения,— сказал я,— что вы имеете мне сказать?

Конечно, я знал, что растения не разговаривают, конечно, я видел, что Александр Васильевич трогательно помешан, конечно, я не ожидал услышать ответа. И конечно, не услышал ни писка, ни шороха. Но почему-то я испытывал разочарование. Ах, задурил мне голову бутафор, смутил.

Постепенно я осыпал от работы, от бутафора, и неудобный озноб квартиры заставлял меня поеживаться. Я залез в постель и долго лежал, глядел перед собой в пустоту. И снова было жаль себя, жаль уходящей жизни, страшила вереница все быстрее мелькавших одинаковых дней.

И в этой стылой темноте увидел я вдруг Александра Васильевича таким, каким он был на самом деле, выбрался из ласковой его паутины: старый жалкий псих, пускающий счастливые слюни. Идиот, цепляющийся за какие-то три стебля. Эдакий бутафорский Лука. Утешитель-общественник. Нет, Геннадий Степанович, не для вас, дорогой, все эти модные утешенья: все эти хатхайоги, медитации, биоритмы и душевительные беседы с лютиками. Не для вашего характера. Барахтайтесь, дорогой Геночка, сами, ни за кого не уцепиться. За Катю не мог уцепиться, за такого даже ласкового и доброго человека, как Ира, не мог, а хочешь на плечах сумасшедшего старика выплыть...

Моя вторая жена, Ира, была врачом-фтизиатром. И прекрасным, как говорили. Она умела вселить уверенность, что все будет хорошо. У нее были удивительные руки: сильные, красивые, уверенные и необыкновенно ласковые. Мне нравились ее прикосновения. Она вообще была ласковой женщиной.

Она водила пальцем по моему носу и называла меня кроликом.

Я понимал, что это очень мило. Я понимал, что быть кроликом вовсе не зазорно. Наверное, многие достойные люди были в интимной жизни не только кроликами, но, скажем, и поросятами. Чехов, например, если память мне не изменяет, подписывал свои письма Книппер-Чеховой «твоя лошадиная собака». А может, это она так подписывалась.

И тем не менее откуда-то из самых дрянных глубин моего «я» подымались неудержимые вопросы:

— Ирочка, любовь моя,— говорил я и чувствовал, что голос мой зачем-то звучит насмешливо, почти издевательски,— Ирочка, объясни мне, почему я кролик? Почему, например, не антилопагну? Или не макака?

— Потому что ты кролик,— отвечала Ира уже менее уверенно.

— Но почему? — не унимался я, подзуживаемый каким-то дурацким зудом.— Может, я предпочел бы быть орангутаном?

— Хорошо, милый,— вздыхала Ира и переставала водить своим ласковым пальцем по моему носу — будь орангутаном. Я не возражаю.— Она хлопнула себя ладонью по груди: — А я буду самкой орангутана.

— Ты путаешь, любовь моя,— сухо говорил я,— по груди себя колотят не орангутаны, что, кстати, в переводе с какого-то там языка значит «лесной человек», а гориллы. Хочешь быть гориллой?

— Я хочу спать,— обиженно говорила Ира и отворачивалась.

«Почему, зачем? — мысленно стонал я.— Что за нелепое занудство? Человек раскрывает навстречу тебе объятия, а ты с сантиметром, ну-ка, измеряю их ширину, и все зудишь: а почему так развела руки, а не эдак?»

Мы прожили меньше трех лет. Когда она уходила, она сказала:

— Я так и не понимаю тебя. Или ты очень хороший человек, притворяющийся зачем-то очень плохим, или очень плохой, притворяющийся еще худшим. И то и другое страшно. Прости, что я так долго не могла этого понять...

Мне вдруг безумно захотелось вскочить с тахты и позвонить Ире. И Кате. И дочке Сашке. И сыну Васе, который не знает, что у него есть отец Геннадий Степанович, а твердо уверен, что он сын какого-то надутого доцента. И матери, которую я не видел уже скоро год, потому что все никак не мог собраться съездить в Узкое и не хотел, чтобы она стесняла меня в Москве. Товарищи, скажу я им, родные и близкие, я страдаю. Я, наверное, душевно болен. Я жажду тепла и общения. Я хочу быть добрым и великодушным. Легким и приятным. Я знаю, я виноват перед вами, но, ей-богу, я...

Ах, Геночка, Геночка, не выйдет. По чекам надо платить.

Как-то раз один мой знакомый, к которому я пришел занять денег, небрежным жестом тщеславного человека вынул из ящика стола длиненькую книжечку и спросил:

— Сколько, друг мой?

— Пятьсот, друг мой,— ответил я.

Он едва заметно поморщился, то ли от суммы, то ли от «друга моего», и написал что-то в книжке.

— Что это? — почтительно спросил я. Надо же было хоть чем-то отплатить за одолжение. Человеку явно хотелось похвастаться.

— Это? — фальшиво переспросил он. — А это чековая книжка. Вот вам чек, получите по нему пятьсот рублей в сберкассе.

По чекам надо платить, дорогой бывший кролик. Или орангутан.

Я лежал в печальной темноте и слушал перестук колес проходившего поезда. Я боялся заснуть. Ночи и сны стали часами работы банка, когда приходится платить по чекам.

Я вдруг понял, что во всём необъятном мире со всеми его миллиардами людей нет ни одной живой души, к кому бы я мог прийти со своей вздорной печалью. И даже из потустороннего мира мне некого было вызвать. По чекам надо платить, ничего не поделаешь. За себялюбие, за равнодушие. За низкий коэффициент полезного действия души, за душевную и профессиональную халтуру, выражаясь современно. Так-то, товарищ бывший кролик.

Я встал, зажег свет и взял сценарий.

— Шурочка,— сказал я,— простите, что бужу вас в такое время, я понимаю, вам утром на работу, но я должен поговорить с вами.

Почтальонная командирша крепко зажмурила глаза, вылезая из сценария, открыла их, потрясла головой, зябко поежилась со сна, запахнула выцветший голубой халатик и подозрительно посмотрела на меня.

— Ну? — как-то грубо, с вызовом сказала она, и мне стало обидно. Мое, черт возьми, все-таки создание, а смотрит на меня, будто я пришел к ней на почту просить подписку на журнал «За рулем». Но мне не хотелось ссориться с ней.

— Понимаете, Шурочка, я хотел вас спросить... — начал было я, но начальница узла связи нетерпеливо перебила:

— Ну?

— Вот я, сорокалетний мужик...

— Я б вам меньше пятидесяти не дала,— безжалостно заметила главная героиня сценария.

— Образ жизни нездоровый,— зачем-то стал оправдываться я.— А залысины у меня в отца. Но бог с ними, с залысинами. Я бы с удовольствием согласился быть лысым, как бильярдный шар, лишь бы не плыть всю жизнь одному...

Бильярдный шар зацепил Александра Васильевича. Больше смотреть на бутафора сверху вниз я не мог. Он беседует с цветочка-

ми, я — с героиней своего сценария. Но в нем хоть светится покой умиротворения, а я выклеываю печень. Не трески, а свою собственную.

Шурочка смотрела на меня без жалости и сострадания.

— Что лысый, что нелысый,— рассудительно сказала она,— все равно один как перст.

— А ведь вы, дорогая моя, в моей власти, так что поразборчивее в выражениях. Между прочим, я могу выдать вас в конце фильма замуж за начальника автоколонны, а могу и не выдать. Мало ли одиноких женщин на свете...

— Ерунду вы порете, Геннадий Степанович,— решительно покачала головой Шурочка.— Во-первых, сценарий-то утвержден. И потом,— она улыбнулась насмешливо и победно,— я ж вижу, что нравлюсь ему. И вообще, чего вы ко мне прицепились? Это ж я ваши слова говорю. Это вы себя не любите и не уважаете.

Я невесело рассмеялся. Поистине неисчерпаемы способы самодетства.

— Наверное, вы правы. Простите, что разбудил вас. Ложитесь-ка спать, товарищ героиня.

Шурочка пожала плечами, зевнула и полезла в сценарий.

Этой ночью мне приснилось, что я смотрю на маленькие сердцобразные листья сциндапсуса, а они на моих глазах съеживаются, отворачиваются от меня, желтеют, сохнут. Я чувствую, как из меня изливается какой-то невидимый яд, злобно впивается в зелень. «Я не хо-очу!» — кричу я и бросаюсь к горшку с безымянным цветком. Длинные его тонкие листья словно пятятся от меня, судорожно стараются спрятаться, но и их я обдаю своим ядом. Безымянка вздрагивает, луковица ее вздувается и лопається.

Я лежу с колотящимся сердцем на своем ложе пыток и смотрю на едва сереющий прямоугольник окна. Я с трудом встаю, зажигаю свет и с замиранием сердца смотрю на листочки двух отростков сциндапсуса. Они маленькие, упругие, сочные, зеленые. И сразу становится легче дышать. Я улыбаюсь, а глаза почему-то влажнеют. Со сна, наверное. А Безымянка? И она здорова.

— Маленькие мои бедные зеленые друзья,— бормочу я.— Спасибо, что вы живы и здоровы. Я постараюсь заботиться о вас. Я не хочу обижать вас.

Я заснул с улыбкой, и больше в ту ночь мне ничего не снилось.

5

Я понимаю, что для скептического ума это покажется неубедительным, но с того самого дня, как в моей квартирке поселились два отростка сциндапсуса и безымянный цветок, мои страхи и

безотчетная тоска пошла на убыль. Я больше не поднимался на свой четырнадцатый этаж, как на Голгофу, тахта не казалась ложем пыток.

И даже пейзаж за окном разительно изменился. На заправочной станции шоферы стали меньше ругаться из-за того, что кто-то пытался заправиться без очереди, и машины подъезжали деловито, почти весело. Поезда бежали энергичнее, и направлялись они в более интересные места, чем раньше. И кладбище казалось уже не столько последним заброшенным приютом, сколько приятным тихим зеленым уголком.

И улица моя каким-то таинственным образом приблизилась к центру города. На счетчиках такси это почему-то не отражалось, но я явственно ощущал движение своей улицы, особенно по ночам. Мысль эта меня не пугала. Передвигают же дома, почему улицы не могут странствовать в зависимости от настроения их обитателей.

Я никого не собирался ни в чем убеждать. Я не собирался писать диссертацию о влиянии комнатных растений на нервную систему сценаристов. Я просто был преисполнен благодарности этим стебелькам и листочкам.

— Вы молодцы, ребята,— говорил я им,— жаль, что мы так поздно познакомились. Были бы вы со мной раньше, я бы и с Катей не расстался. И было бы у нас полно ребятишек, и все бы вас холили и поливали.

Я решил пригласить к себе Александра Васильевича. Он охотно согласился.

— Забрались вы, однако, Геночка,— покачал он головой, когда я открыл ему дверь.

— Что вы, я тут как раз вместе с улицей перебираюсь ближе к центру.

Александр Васильевич не засмеялся. Был он рассеян, и чувствовалось в нем какое-то напряжение. Он снял потертое пальто, долго сматывал с шеи длинный тонкий шарфик и наконец сказал мне почти сурово:

— Ну, показывайте.

— Что? — не понял я.

— Как что? Растения.

Он долго и придирчиво рассматривал заметно вытянувшиеся отростки сциндапсуса, нежно пропустил между пальцев длинные листья Безымянки.

— Ну, слава богу,— вдруг просиял он. И глаза у него сразу залучились, и лысинка порозовела.

— В каком смысле?

— Вы не представляете, Геночка, как я волновался и за них,— он кивнул в сторону растений,— и за вас.

— А почему? Вы боялись, я не буду поливать их?

— Э, милый, это не так просто. Бывает, человек ухаживает за цветком по всем правилам науки, а цветок чахнет. И не потому, что этот человек злой — хотя растения прекрасно это чувствуют, — а потому что как-то они не показались друг другу. Это как любовь. А вы понравились друг другу, и я за вас рад, Геночка. Смотрите, вот и вот еще — это новые отростки. Еще немножко — и вам придется помочь сциндапсусам. Они ведь отчаянные акробаты. Дайте им опору — и они под самым вашим потолком пойдут. И умницы, заметьте. Вот увидите, начнут они выпускать воздушные корни. Дома, у себя на Борнео, эти корни тянутся к земле, укрепляются в ней. А здесь он выпустит корешок, посмотрит-посмотрит сверху, вместо джунглей — московская квартирка, вместо земли — паркет. И что вы думаете? Дальше корешок не растет. Настроение-то у вас как?

— Спасибо, поровнее, поспокойнее.

— Ну и слава богу. Это вы им спасибо скажите. Это они действуют. Тут, надо думать, большую роль сциндапсус на себя берет. Очень спокойный он, веселый, домовитый. Я вот сколько раз замечал: он разговаривает-разговаривает со мной, а потом и не поймешь, то ли он говорит, то ли поет. Вы еще не разговаривали? — деловито спросил он меня.

— Нет.

— Ну, все-таки это дикари маленькие, не забывайте. Они вначале дичатся. Осторожны донельзя. Зато потом... Трещат, как сороки. Я так думаю, это неудивительно. У себя в джунглях они и между собой переговариваются, и с насекомыми могут поболтать, с птицами, с животными. А здесь с кем? Со шкафом?

Странное дело, на этот раз бутафор уже не казался мне таким сумасшедшим, каким представлялся раньше. Конечно, я понимал, что он несет чепуху, но чепуха эта не вызвала активного протеста, над ней не хотелось смеяться. Мною владело благодушие человека, только что узнавшего, что он сдал трудный экзамен.

— Но они заговорят, — убежденно кивнул мне Александр Васильевич, — обязательно заговорят. Вы только чаще с ними беседуйте. Похвалите их, пошутите.

— Да я иногда что-то говорю им...

— Я знаю, — кивнул Александр Васильевич.

— Откуда же вы знаете?

— Как откуда? — изумленно посмотрел он на меня. — Они мне сказали. Безымянке вот особенно нравится ваше обращение «маленькие мои бедные зеленые друзья». Говорите вы так?

Я молча кивнул. Голова начала плавно вращаться, набирая

обороты. Откуда старик мог знать про «маленьких бедных зеленых друзей»? Но с другой стороны, это же чушь собачья!

Мы сели за стол.

— О, вы, я гляжу, прямо кулинар заправский! — почти пропел Александр Васильевич. — Это что, бефстроганов?

— По книжке, — кивнул я.

— Все равно вкусно, — он зажмурил глаза от восторга.

Я улыбнулся:

— Для вас постарался. Себе я почти не готовлю.

— Спасибо, Геночка. Я сразу понял, что вы добрая душа, а теперь и цветочки это подтверждают.

Я неопределенно хмыкнул.

— Да, да, подтверждают. Вы не представляете себе, как они проницательны, эти зеленые ребятишки.

— А вы что сейчас делаете? — спросил Александр Васильевич. — Съёмки, похоже, идут нормально, Сурен Аршакович доволен.

— Да вот все думаю о новом сценарии.

— А о чем, Геночка?

— Да нет пока никаких идей, — пожал я плечами.

— А вы вот про растения напишите, про то, как они разговаривают, помогают людям.

— А что, — улыбнулся я, — это идея. И обязательно предусмотрим в сценарии роль мудрого бутафора-бильярдиста, знатока человеческих и растительных душ.

— И пусть будет недоверчивый сценарист.

— Прекрасно. Представляете, в какой восторг придет мой редактор? «А, Гена, это что у вас, заявка?» — спросит он. «Да вот набросал тут кое-что». — «Это о чем же? Село? Город?» — «Да не совсем. Это, понимаете, о том, как растения и человек находят общий язык». — «Труженики села? Я ж вас спросил. Повышение урожайности?» — «Да нет, это в городской квартире сциндапус беседует с немолодым бильярдистом...» Вы представляете, как он на меня посмотрит? «Отлично, Геннадий Степанович, очень и очень актуальная тема. Страна буквально задыхается без фильма о флирте цветов».

У Александра Васильевича даже выступили слезы от смеха. Он вытащил из кармана несвежий платок, стыдливо скомкал его и промокнул краешком глаза.

Он ушел от меня поздно, оставив мне подробную инструкцию по уходу за растениями и по устройству опор для акробата сциндапуса.

Я засыпал в этот вечер с улыбкой, и непривычное ощущение этой улыбки заставляло меня то погружаться в теплый сон, то

выскакивать, как поплавок, на поверхность бодрствования. Но тут откуда-то мне улыбнулся Александр Васильевич, и я благодарно заснул.

6

Несколько лет назад Сурен Аршакович сделал как-то круглые таинственные глаза, прижал меня к стенке в коридоре и прошептал:

— Геночка, скажите мне спасибо.

— Спасибо, но за что?

— Мы едем с вами на открытие утиной охоты. В одно охотхозяйство. Вы даже не представляете, чего мне это стоило.

Я готов был держать пари, что режиссер мой за меня не хлопотал. Просто кто-то дал ему два пропуска, и Сурен решил взять меня. Наверное, чтобы выглядеть по сравнению со мной великим утиным снайпером. А может, он рассчитывал использовать меня в качестве собаки. Пудель его, по-видимому, к охоте относился отрицательно.

— Спасибо, но у меня даже ружья нет.

— Все, все есть, — успокоил меня режиссер и азартно впечатал меня к списку народного контроля. — Я вам отличное ружьецо дам. Вам и не снилось стрелять из такого.

— Не снилось, — охотно согласился я.

— Телогрейка, резиновые сапоги — это уж ваша забота.

Три дня я обзванивал подряд всех знакомых, пока наконец не экипировался. Приехали мы в охотхозяйство поздно вечером, легли спать, но не успели заснуть, как нас растолкали и начали развозить по номерам. Было совсем еще темно, холодно, я втянул плечи насколько мог в чужую телогрейку и тихо дрожал. Мотор оглушительно гремел, нос лодки разрезал черную воду на две белесые косы, которые со сварливым шипением проносились мимо. Егерь каким-то шестым или седьмым чувством ориентировался в ночи и все время бормотал какие-то заклиния в адрес золотника. От него уютно пахло бензином и выкуренной натошак папирсой.

Меня высадили на крошечную платформочку, не более квадратного метра, замаскированную кустами. Я уселся на деревянный чурбачок, оперся на ружье и попытался заснуть, но городское мое избалованное тело никак не соглашалось на неудобную позу. Я тихо клацал зубами и проклинал свою слабость, которая не позволила мне решительно отказаться от истребления последних уток.

Светало томительно медленно. Света еще не было, но темнота неба не казалась уже безнадежно плотной, она истончалась. Вне-

запно где-то совсем рядом оглушительно хлопнул выстрел, еще один. Уток я не видел. «Может быть, это охотники кончают самоубийством», — с надеждой подумал я, но тут что-то чуть более темное, чем небо, пролетело надо мной, и я понял, что то была утка.

Канонада тем временем усилилась. Я схватил ружье и начал дергать за спусковые крючки. Выстрелов не было. Собственно говоря, выстрелить ружье и не могло, поскольку я забыл зарядить его. Я понял, что это рука судьбы, и опустил свой двенадцатый калибр.

Что бы там ни говорили охотники, а было что-то глубоко непристойное в столь неравном состязании. Над озером метались маленькие утки, и по ним палили из сотен стволов.

Небо тем временем совсем посерело, стало скучным. Стрельба поутихла. Ветерок донес возглас: «Иван Иванович, как у вас...» «Наверное, будет дождик», — подумал я. И не успел я представить себе мокрую телогрейку, как с небом начали происходить чудеса. Оно на глазах стало наливаться розовым, теплеть, светлеть и вдруг вспыхнуло на горизонте солнечным атомным взрывом. Взрыв высветил голубизну неба, и мне уже не было скучно и холодно.

Вскоре подъехал на казанке егерь.

— Сейчас, — сказал он. — Ваши вроде где-то здесь упали.

Я промолчал. Я, конечно, слышал, что надо говорить правду, но не все наделены таким талантом.

Егерь подгрел к кустам, потыкал веслом:

— А, вот один селезнец... Смотри, и второй рядышком. Дуплетом вы их, что ли?

Я промолчал и оттого, что не сказал «да, обязательно», почувствовал себя человеком честным и принципиальным.

Сурен Аршакович подозрительно посмотрел на две тушки, лежавшие у моих ног с неудобно перекрученными шеями, и ничего не сказал. Он засунул в сетку одну утку и нахохлился.

Егерь снял с номеров еще двух охотников, одетых в какие-то немыслимые комбинезоны с множеством карманчиков, ремешков, пряжек, защелок. Оба были хмуры и смотрели на моих селезней с ненавистью. Добычи у них не было. Сейчас один из них укажет на меня пальцем и воскликнет: «А это, товарищ, не ваши утки. Это, товарищ, мои утки». Но они промолчали. Должно быть, от ненависти. Тем более острой, что унижил их, людей в фирменных охотничьих комбинезонах, какой-то тюфяк в телогрейке.

Когда мы вылезали из лодки, егерь встретился со мной взглядом и подмигнул. Хороший человек. Видел, наверное, что я не стрелял, и наградил за скромность. Дай бог этому егерю всегда исправных золотников.

Я вспомнил эту свою первую и последнюю охоту, потому что жизнь моя теперь напоминала то утро на озере. Холодная, серо-враждебная квартирка на четырнадцатом этаже волшебным образом изменилась. Два сциндапсуса и Безымянка с распущенными волосами наполнили ее покоем, неким душевным комфортом. Сравнивая свое жилище с тем озерным небом, я говорил себе, что растения словно принесли солнышко и голубизну. Я понимал, что еще совсем недавно сравнение это вызвало бы у меня яростный приступ самоиронии, но теперь я не стеснялся ни солнышка, ни голубого неба.

На меня снизошел мир. По утрам моя физиономия с глубокими залысинами уже не казалась мне такой несимпатичной. Все-таки была в ней некая благообразность, в глазах читался... ну, ум, чего ж стесняться. Я даже поймал себя на том, что как-то хитро подмигнул своему отображению. Как тогда егеря на озере. Отображение мое страшно удивилось, но делать было нечего, и ему пришлось ответить мне тем же.

Мало того, я стал делать зарядку. Я выудил из-под тахты заросшие пылью гантели, которые показались мне пудовыми.

— Ребята, — сказал я своим растениям, — даю вам слово, что каждое утро буду махать этими штуками не менее десяти минут.

Я не раз, не два и не три начинал делать зарядку, но вскорости наступало утро, когда я опаздывал на студию, когда у меня бывало плохое настроение, когда мне просто было лень преодолевать свою лень.

Теперь все было по-другому. Едва я открывал глаза, я орал:

— Доброе утро, ребята, как дела? Как спали?

Они не отвечали. Старичок-бутафор был, конечно, слегка помешанным. Говорить моей Безымянке и обоим сциндапсусам было нечем, если бы даже они и захотели побеседовать со мной. Но они прямо излучали дружелюбие, веселость, даже смешливость.

— Ну чего, думаете, я сегодня пропущу зарядку? — горделиво говорил я, выкатывая босой ногой холодные черные тушки гантелей и поднимал их. — То-то же, растения.

— Слушайте, Гена, что с вами произошло? — тревожно спрашивал Сурен Аршакович.

— А что? — невинным голосом спрашивал я.

— У вас с лица исчезла повышенная кислотность. Вы даже улыбаетесь, хотя это вам совершенно не идет. Вы почти не спорите со мной. Признайтесь, вы женились? А я ведь написал своему брату. Просил его прислать фотографию племянницы за ковровым станком.

— Нет, дорогой Сурен Аршакович, я не женился. И пусть ваш брат вышлет какой-нибудь образчик работы дочери. Меня устроит два на три метра. Можно чуть побольше.

Сурен Аршакович делал задумчивое лицо:

— Вы циник, Гена, и я очень боюсь за ваш следующий сценарий...

У меня резко возросли расходы. Я так торопился со студии домой, что брал иногда такси. Водители мучительно морщили лбы, вспоминая месторасположение моей далекой улицы, потом смотрели на меня с невольной жалостью: они-то представляли, во что обходится такое путешествие. Они не знали, что моя улица медленно дрейфует к центру.

И вот вчера это произошло. Я ел яичницу и читал в «Футболе — хоккее» о том, как следует организовать учебный процесс и тренировки в детских спортивных школах, и вдруг услышал, как кто-то произнес мое имя. Я поднял голову. В квартире никого не было и быть не могло. «Померещилось, наверное», — подумал я. И снова:

— Гена, Геночка...

Удивительно, однако, устроен наш мозг. Никак не хочет он воспринимать очевидное объяснение, если это объяснение кажется ему странным. Я зашел на кухню, открыл дверь ванной, взглянул даже на лестничную клетку. Я отдавал себе отчет, что движения мои нелепы, что никого в квартире нет и никто имени моего всуе произнести не может. И тем не менее искал, кто бы мог позвать меня.

И в третий раз услышал я свое имя. Голос звучал шаловливо, весело, дразнил меня. И я вдруг понял, что это Безымянка зовет меня.

На мгновение я испугался. Мутным тревожным потоком хлынули мысли: я схожу с ума. Растения не могут разговаривать... Это же нонсенс... Жаль, жаль...

Но тут же меня омыл мощный веселый душ, который вернул мне спокойствие.

— Не волнуйся, Гена, все хорошо, — сказал сциндапсус, что стоял ближе к окну.

— Не нервничай, — добавил его брат.

— Значит, — глупо пробормотал я, — это правда?

— Что? — нежно пропищала Безымянка.

— Что вы умеете разговаривать?

— Только с теми, кто умеет слушать, — многозначительно произнес Приоконный сциндапсус.

— С теми, кто готов слушать, — добавил его брат.

Я вдруг подумал, что все это мне мерещится, и мне снова стало страшно. Я схватил свою «Весну», где-то должен был быть микрофон. Искал я долго, выкидывал все из ящиков письменного стола, пока не нашел его. Вставил штекер в гнездо, включил магнитофон на запись. Какая-то у меня там кассета стоит, неважно.

— Ну, скажите что-нибудь, — взмолился я.

— Ты еще боишься, — печально сказала Безымянка. — Ты не сможешь слышать нас, если будешь бояться...

Я ничего не ответил ей. Я нажал на кнопку «Стоп», перемотал пленку и включил аппарат на полную мощность. «Ес, сэр, уи кэн буги», — загремели лукавые и слегка непристойные женские голоса. Я сидел неподвижно и слушал многозначительные обещания двух девиц, которыми они соблазняли сэра. Внезапно девицы замолкли. Сейчас послышится голос Безымянки. У меня заколотилось сердце. Но магнитофон издавал только громкое шипение. И снова томно и ритмично завздыхали певицы. «Испортил запись зачем-то», — подумал я.

Я долго сидел не двигаясь. В соседней квартире за стеной послышался плач ребенка. Я сообразил, что магнитофон включен на полную мощность, и убавил звук.

Так что же, мне все-таки чудились голоса растений? А почему бы и нет? Почему Александр Васильевич, мой тихий и кроткий друг, может страдать галлюцинациями, а я — нет?

И все-таки эта версия не укладывалась в сознание. Как-то не вязалось холодное, скользкое слово «галлюцинация» с веселым, шаловливым голосом Безымянки, с рассудительными репликами братьев сциндапсусов. Но магнитофон? Я снова перемотал пленку, снова бедного сэра начали соблазнять девчонки, снова их оборвала шипящая тишина. Магнитофон работал, но не записал голоса Безымянки. Может, я плохо включил магнитофон? Может, вообще магнитофон не пишет? Я схватил микрофон, забормотал:

— Раз, два, три, четыре, пять.

— Раз, два, три, четыре, пять, — исправно ответила мне «Весна».

Боже, как мне не хотелось расставаться с уютным душевным покоем! Я так привык к нему... А может, магнитофон и не мог ничего записать? Ну, конечно же не мог, обрадовался я спасительной мысли. Он может записать только звуковые волны, а мои растения ведь не говорят, как мы. У них же нет, черт побери, рта! Да, но как же они тогда говорят?

Я подошел к Безымянке, поднял один из ее длинных листиков и пропустил его между пальцами:

— Ну, скажи же что-нибудь.

Она промолчала.

— Почему ты молчишь?

Собственно, она уже объяснила мне все несколько минут назад. Как она сказала? «Ты еще боишься. Ты не сможешь слышать нас, если будешь бояться...» Но ведь это мистика, это черт знает что! — мысленно застонал я. Слова, только слова. Что такое мисти-

ка? Что за привычка: чуть что — прикрываться щитом привычных слов. Мистика, не мистика — все это пустая шелуха. Чего я боюсь? Ну, столкнулся я с каким-то неизвестным явлением. И пусть в нем разбираются ученые мужи, ежели у них на то появится охота. Мало ли в мире и в науке белых пятен. А мне становится тепло на душе от голосов обоих сциндапсусов и Безымянки. И черт с ней, с мистикой. Смелее, Геночка, смелее надо быть.

На следующий день мы договорились с Александром Васильевичем встретиться в бильярдной. На этот раз он приехал раньше и уже ждал меня у стола с поставленной пирамидкой.

— Пятнадцать очков форы и пятерку со стола, — твердо сказал я.

— Это грабеж, — печально произнес бутафор и обиженно замолчал.

— Это не грабеж, — покачал я головой, — то, что делал Робин Гуд, было не грабежом. Попытка восстановить социальную справедливость.

— Геночка, — жалобно сказал Александр Васильевич и вытащил из кармана грязный платок. — Вы меня разочаровываете. Вы казались мне молодым человеком с благородным смелым характером, а теперь вы базарно выторговываете у бедного старика лишних пять очков. Хотите, я вам дам не три креста, а пятнадцать? И не надо будет играть. Давите пенсионеров, давите, если вам совесть позволяет.

— Дядя Саша, — с достоинством произнес я, — вы пользуетесь запрещенными приемами. Даже если мы сговоримся, я не смогу играть, меня душат слезы.

Мы посмеялись и согласились на прошлую фору.

— В конце концов, — сказал я бутафору, — я буду рассматривать свой неизбежный проигрыш как гонорар исцелителю.

— Ну вот и прекрасненько, — пропел Александр Васильевич. — С вашего разрешения я разбиваю.

На этот раз я действительно набрался терпения и уже не кидался на сомнительные шары. Бутафор ходил вокруг стола, сокрушенно качал головой и подолгу обдумывал варианты.

— Вы изменились, Геночка.

— В какую сторону?

— Вы стали мудрее и терпеливее. Какая ирония судьбы! Я подарил вам два отростка растения с острова Борнео и одну луковичу в горшке, и они делают вас мудрым и терпеливым, и вы раздаете бедного старика.

У бедного старика к этому моменту было уже два партионных шара. Мне было весело и покойно с ним. Господи, да пусть выигрывает у меня всегда, лишь бы я продолжал жить в уютном, легком

мире, о котором мечтал всю жизнь. В мире, в котором неуместны злобная раздражительность и постоянная язвительность.

Один из партийных шаров Александра Васильевича стоял у средней лузы. Если бить его, то надо класть наверняка, потому что иначе дядя Саша добьет его. Но шар был трудный. У меня почему-то появилась твердая уверенность, что я забью этот шар.

— Туза налево в середину, — торжественно сказал я.

— Идущий на казнь приветствует тебя. Правильно я сказал? Не напутал? — наморщил лобик Александр Васильевич. — Это Цезарю говорили? Да?

— Именно, — сказал я и забил шар в лузу.

На лице Александра Васильевича появилось обиженное выражение:

— Это нечестно.

— Что нечестно?

— Вы прятали свою настоящую игру. Вы заманивали старика. Вы, Геночка, злоупотребляете моей доверчивостью.

— Вас, пожалуй, заманишь, — грубо сказал я. — Вы мне лучше вот что скажите: вот вы разговариваете с растениями, а как они говорят?

— Что значит — как?

— Ну, у них же нет рта...

— А я, Геночка, не знаю. И знать не хочу. Я слышу добрый голосок — и хорошо. — Он вдруг внимательно посмотрел на меня: — Что, заговорили ваши?

— Немножко.

— Поздравляю вас. И спасибо вам.

— За что?

— Что дали мне возможность помочь вам. Это, Геночка, очень приятно. Сейчас я положу последний шар.

— Однако вы самоуверенны, дядя Саша.

— А это не я, это мои растения сейчас помогут мне. Налево в угол.

Шар был трудный, но он положил его.

7

— Леночка, — сказал я ассистентке Сурена Аршаковича, — я никогда не видел вас ни в чем, кроме джинсов. Поэтому я считаю вас крупнейшим специалистом по ним. — Леночка снисходительно опустила ресницы. — Не помогли бы вы мне найти джинсы для дочери? Пожалуй, она примерно такого же роста, как вы. — И снова

ресницы утвердительно опустились. Я даже не удивился. Я уже начал привыкать к более благосклонному к себе миру. — У меня даже и деньги с собой есть, — подобострастно продолжал я. — Сколько?

Леночка посмотрела на меня, подумала и взмахнула прекрасными ресницами. Я хотел было мысленно крикнуть: сто рублей за хлопчатобумажные штаны, что ни говори, все-таки дорого-вато, но, к своему удивлению, не крикнул, а торопливо полез в карман.

Мне было немножко тревожно и весело. Я все время находился в компании с человеком, которого почти не знал. Поступки его стали непредсказуемы. Я с поклоном отдал деньги ассистенту режиссера и поцеловал ее в щеку.

Леночка посмотрела на меня взглядом задумчивым и оценивающим. Сегодня этот тип покупает джинсы дочке и легко расстается, да еще авансом, с сотней-другой, а завтра, может быть, начнет раздавать направо и налево золотые цепочки. А что, если сказать ей: Леночка, вы прекрасны, у вас длинные стройные ножки, тонкая талия и серые огромные глаза, я люблю вас. Интересно, промолвит она в ответ хоть словечко или спокойно взмахнет накрашенными ресницами?

И вдруг Леночка открыла рот. Я даже не сразу сообразил, что голос принадлежит ей.

— Вас прямо не узнать, — сказал незнакомый голос.

— В каком смысле?

Она засмеялась и ушла, должно быть утомленная длинной речью.

По пути домой я зашел в сберкассау и заполнил расходный ордер на шестьсот рублей.

— На мотоцикл? — полюбопытствовала молоденькая круглоглазая операторша, вставляя мою сберегательную книжку в автоматическую пишущую машинку. Вопрос меня не изумил потому что я несколько раз видел ее на заднем сиденье «Явы». Она обнимала громадного парня с пышными пшеничными усами и горделиво прижималась к его необъятной спине.

— Хочу сделать подарок, — ответил я. — Двум бывшим женам и матери.

Операторша тихонько засмеялась. Наверное, мой ответ показался ей очень остроумным. Я ее понимал. Мне самому мои поступки казались диковатыми.

— Ребята, — сказал я дома цветам, — вы, конечно, молодцы, спасибо вам, но эдак мы скоро будем сидеть без копейки. Знаете, сколько у меня осталось?

— Сколько? — спросил Приоконный брат.

— Восемьсот рублей.

— А это много или мало? — спросила Безымянка. — Я совершенно не разбираюсь в деньгах.

— Ах, мои бедные зеленые насаждения, что мне с вами делать?

— Любить, — пискнула Безымянка.

— А жить на что?

— Ге-ена, — укоризненно сказала Безымянка, и мне даже показалось, что она покачала своими тонкими листиками, — вы любите, а остальное приложится.

Я засмеялся.

— А вы не смейтесь, — обиженно пробасил Стенной брат. — Она истинно говорит.

— Так это все знают.

— А истины все знают. Они ведь такие простые и их так немного. Только их не понимают. Странные вы вообще существа, люди. Все знаете и мало что понимаете.

Я более или менее современный человек. Я набит миллионами (или миллиардами?) битов информации. Я знаю, что воскликнул Архимед, говоря о рычагах, и что такое итальянский неореализм. Я в общих чертах представляю себе, как устроен лазер, и знаю, где находится страна под названием Лесото. Я не верю в существование летающих тарелок (хотя с удовольствием посмотрел бы на них) и верю в парапсихологические явления. Мне нравится Чехов, и я люблю стихи Мандельштама.

Я скольжу по этим битам легко и непринужденно, как опытный слаломист по склону горы. Я легко сохраняю равновесие, ловко перенося центр тяжести то направо, то налево. Гора большая, лыжня удобная, смазка на лыжах подобрана правильно, скольжение идеальное, а скорость велика. И я несусь вместе со всеми в легком снежном тумане, все мелькает, сливается, размазывается в поле зрения. Я вижу все, но ничего не вижу.

И вдруг какая-то сила вырывает меня из нескончаемого бессмысленного скольжения, отбрасывает в сторону. Все уносятся с веселым гиканьем вниз по нескончаемому склону, а я медленно вытряхиваю снег, забившийся за шиворот, и осматриваюсь. Тихо. Непривычно. Немножко страшно. Солнце. Изогнутый морщинистый ствол одинокой сосенки.

Подняться и поспешить за всеми? По привычной колее? Или слушать тишину? И чувствовать, как медленно, бесконечно медленно начинаешь понимать, даже не понимать, а прикасаться к тайнам, которые известны всем и которые почти никто не понимает.

Спасибо, мои маленькие друзья.

С этого дня я стал задумываться над новым сценарием. О, это

еще не был сценарий, не было еще ничего, но тишина, переполнявшая меня, и сосна на склоне в мудрых древних морщинах искали выхода.

Если бы только можно было переписать теперь заново все свои сценарии! И жизнь. Сколько мусора выгреб бы я из них!

Я стал больше улыбаться и с удивлением обнаружил, что большинство людей словно только и ждали моей улыбки, чтобы улыбнуться в ответ.

Я поднимался в лифте со старушкой, которая всегда тащила авоську с апельсинами, даже когда их не было у нас в «Овощах», и которая потому, наверное, глядела на всех с настороженным недоверием. На этот раз из сумки у нее торчали толстенные пальцы бананов.

— Здравствуйте, — сказал я старушке и улыбнулся. — Я рад, что вы везете домой бананы. Они снизят вам давление и наладят работу почек.

Старушка вздрогнула, инстинктивно прижала к себе авоську, но тут же несмело улыбнулась в ответ.

— Вы так думаете? — спросила она.

— Абсолютно уверен.

— Спасибо, — прошептала старушка и робко перекрестила меня.

Не знаю почему, но в тот вечер мои растения были особенно разговорчивы, и мне впервые пришла в голову мысль, что, может быть, они любят меня.

8

Позвонил наш оператор Сережа Бухвостов и пригласил на день рождения. Сережа родом из-под Новгорода, но смуглая матовость лица и роскошная с проседью борода делают его похожим на арабского шейха. Правда, запасов нефти у него нет и он вечно занимает до получки, но тем не менее за глаза все его зовут шейхом. К тому же он чудовищно, извращенно жесток, к счастью, теоретически. Если осветители не вовремя поставят свет, он обещает сначала четвертовать их, а потом уже по частям сварить из них студень. Чуть быстрее повезут его ассистенты тележку с камерой, как Сережа тонким задушенным голосом закричит: «Ногти бы вам повытаскивал пассатижами!» Почему ногти — известно только Сереже. Очевидно, в его подсознании движение тележки с камерой как-то связано с ногтями.

При этом наш оператор-постановщик довольно бездарен, кроток и панически боится жены и Сурена Аршаковича. Я часто думал,

почему Сурен упорно не расстается с Бухвостовым. Дело, разумеется, не в лояльности. Если бы ему нужно было, он спокойно отправил бы полгруппы на галеры. Погребите, дорогие мои, это вовсе не так страшно. Почти как круиз, только питание однообразнее. Скорее всего, его устраивали рабская покорность оператора и всеобщее мнение, что режиссер просто мученик, работая с таким человеком. Не раз я со вздохом приходил к убеждению, что и наш союз стоит, по-видимому, на том же фундаменте.

Я поехал к Шейху. Я никогда не бывал у него, ошибся, вылез из автобуса на остановку раньше и шел теперь, поглядывая на номера домов. Сейчас я найду его квартиру, позвоню и окажусь в гареме. Шейх лежит на шелковых подушках, держит в руке длиннющий кальян, а две невольницы с обнаженными торсами медленно покачивают над ним опахалами. Из соседней комнаты раздается пронзительный крик. «А, не обращайтесь внимания, Геннадий Степанович. Это я приказал содрать живьем кожу с Зульфий. Пересолила, негодяйка, щи».

Гарем оказался двухкомнатной квартирой, а сам Шейх был не в халате, а в свитере, и брюки его были обвязаны кухонным полотенцем.

— Заходите, заходите, Геннадий Степанович. Это я дамам своим помогаю. Сюда, налево. Ну зачем вы принесли цветы? — голос его звучал до такой степени фальшиво, что он сам почувствовал это и уполз на кухню. Вместо него оттуда появилась самая высокая и могучая девушка, которую я когда-нибудь видел вблизи. Сейчас она возьмет в правую руку ядро, прижмет кокетливо к подбородку, повернется несколько раз на месте и толкнет снаряд. И установит мировой рекорд.

— Здравствуйте, — низким, чуть хрипловатым голосом сказала толкательница, — это вы Геннадий Степанович?

— Это я, — ответил я смиренно.

Она скептически осмотрела меня, и тут я только заметил, что у нее было изумительное лицо. Я даже не успел мысленно сформулировать, чем оно было изумительно, как сердце мое заколотилось. Наверное, ему не нужны были формулировки.

— Я Нина. Сестра Вари. Жены Сергея. Сюда. Налево. Я вас познакомлю с гостями.

Я пожимал кому-то руки, кивал, пока вдруг не сообразил, что представился Сурену Аршаковичу.

— И вы тоже? — спросил он, довольно кивнул несколько раз и усмехнулся.

— Что тоже?

— В нокдауне.

— В нокдауне?

— Сама ваша чрезмерная тупость, Геночка, уже служит ответом. Я говорю о штангистке.

Плотоядная улыбка старого ловеласа была отвратительной. Какое право имеет этот негодяй говорить в таком неуважительном тоне о богине спорта и красоты?

— Она не штангистка, — твердо сказал я режиссеру. — Она толкательница ядра.

— Тш, — зашипел он, — что вы кричите, вы в своем уме?

Тем временем появились хозяева с чем-то заливным.

Нина сидела напротив меня. Глаза у нее были огромные, фиолетовые, бездонные, насмешливые, и смотрела она сквозь меня, туда, где живут такие же гиганты и красавицы, где с коротким выдохом посылают в небо копыя и ядра, где мужчины играют чудовищными бицепсами и рассказывают о последних соревнованиях на Галапагосских островах.

Я поймал себя на том, что непроизвольно выпячивал грудь и втягивал живот. Мне стало вдруг смешно. Я увидел себя со стороны: сорокалетний человек с глубокими залысинами, выглядящий, по словам моей героини Шурочки, на все пятьдесят, пыжится и распускает опипанный хвост, уязвленный красотой юной метательницы или толкательницы.

Тем временем Сурен Аршакович сказал что-то о глубоком уважении, которое советская кинематография испытывает к Сергею Бухвостову, о новом шедевре «Любовь по протоколу», который он, Сергей Бухвостов, и Сурен Абрамян создают в едином творческом союзе.

Нина продолжала улыбаться своей прозрачной отсутствующей улыбкой, а я постепенно разрешал плечам и животу принять более привычное для них положение.

Вдруг кровь бросилась мне в лицо. Нина вернулась со стадиона и спрашивала меня своим низким, хрипловатым голосом:

— А что значит «Любовь по протоколу»?

Сейчас я отвечу ловко и остроумно. Она увидит, что под невзрачной внешностью сценариста прячется живой, острый ум и бушует вулканический темперамент.

— А... э... — мучительно застонал я. — Видите ли... это... э-э... фигурально...

— Спасибо, Геннадий Степанович, — прозрачно улыбнулась она, — вы изумительно объяснили...

Жизнь, собственно говоря, была уже прожита. Если бы у меня была воля самурая, я бы повернулся к Сурену и сказал холодным, стальным голосом: «Сурен, выберите мне нож поострее и помогите мне сделать сеппуку. Я не хочу жить, опозоренный в глазах толкательницы Нины». Но надо знать этого сального негодяя. «Во-

первых, — скажет он, — не сеппуку, а харакири. Во-вторых, вскрывать живот лучше всего консервным ножом. В-третьих, вы мне нужны как посредственный, но надежный сценарист».

Понимая все это, я не стал делать сеппуку. Вместо этого я позволил своему соседу слева набулькать огромную стопку.

— Скажите, Сурен Аршакович, — сказала Нина, — а почему так много выходит скучных картин?

— Ниночка у нас, так сказать, анфан террибль, — испуганно хихикнул именинник.

— Ужасный ребенок, — басом пояснила его жена.

— Может, я и террибль, — пожалала Нина своими могучими плечами, — но не ребенок. Я аспирантка Московского автодорожного института.

Боже мой, умилился я, как это прекрасно! Если она занимается двигателями внутреннего сгорания, она вынимает и вставляет их голыми руками.

— А какая у вас узкая специальность? — вдруг спросил я.

Нина изумленно посмотрела на меня. Непонятно было, что ее так удивило: что я в состоянии сформулировать вопрос или что кто-то интересуется ее узкой специальностью.

— Двигатели внутреннего сгорания. Процесс горения.

Процесс горения! Какое романтическое занятие!

— Понимаете, — продолжала Нина, — сейчас, в связи с энергетическим кризисом, эффективность двигателей внутреннего сгорания приобретает особое значение. А эффективность двигателя — это, строго говоря, эффективность сгорания топлива в цилиндре.

Нина закончила краткую лекцию и снова посмотрела куда-то сквозь меня.

— Очень хорошо при отравлении выпить стакан марганцовки, — вдруг ни с того ни с сего твердо сказал мой сосед слева.

— Я с вами вполне согласен, — зачем-то полупоклонился я. — Позвольте представиться: Сеньчаков Геннадий Степанович, сценарист.

— Голубев Иван Анатольевич, — наклонил голову мой сосед. — К сожалению, не могу назвать свой род занятий. А вообще она хорошая девочка...

— Кто?

— Нинка. Моя дочка. Метательница копы. В пяти странах была. Мастер спорта. Но избалована — страшное дело. Никакого почтения к отцу. У вас тоже, наверное, взрослые дети...

— Да, — вздохнул я. — Дочери сорок первый год, а сыну скоро пятьдесят.

Он долго и подозрительно смотрел на меня, нахмурил лоб, должно быть что-то считал, потом сказал устало:

— Ладно, давайте выпьем. А работаю я... — он понизил голос, — только прошу вас, никому ни слова...

— Клянусь. Могу дать расписочку.

— Ладно. Работаю я старшим товароведом в комиссионторге. Страшная работа. Ваше здоровье.

— Ваше здоровье, товарищ подполковник.

Внезапно я почувствовал, что моей щиколотки коснулась чья-то нога. Я подвинул ногу, но чужая нога последовала за моей. Нога явно принадлежала кому-то, сидящему напротив. «Странно, — подумал я. — Наверное, это вон та молчаливая особа толкает Ивана Анатольевича, чтоб он меньше пил».

— А чего вы не рядом с женой? — с осуждением спросил я старшего товароведа.

Тот дико посмотрел на меня:

— Она умерла два года назад.

— Простите, я...

Нога под столом явно напрашивалась на знакомство. Она тихонько касалась моей ноги, отступала и снова поглаживала мою ногу. Я почти поджал под себя ноги и вдруг заметил, что Нина чуть съехала вниз на своем стуле. Кровь бросилась мне в голову. Кто-то включил для меня цветомузыку, которая пульсировала в такт колющемуся сердцу.

— ...Сгорела за три месяца...

— Простите, я...

Нина посмотрела на меня и усмехнулась. Фиолетовые глаза смотрели насмешливо. Она встала и вышла из комнаты.

Кто-то взял меня за шиворот, рывком поднял на ноги. Я поднялся в воздух, легко пролетел между спинками стульев и румынской горкой и заложил крутой вираж в коридорчик. Я оглянулся. Никого не было. Нина стояла перед зеркалом, ко мне спиной, и поправляла прическу. Прически, строго говоря, у нее никакой не было, была она подстрижена а ля мальчик, но именно этого мальчика она зачем-то поправляла.

Зачем я вышел? Для чего смотрю с обмиранием сердца на спину в коричневом тонком свитере?

— Проводите меня, — не оглядываясь, лениво сказала Нина.

Мы шли по улице, я старался попасть в шаг Нине и судорожно думал, о чем спросить ее, о процессе ли сгорания, о метании копья или о пяти странах, в которых она побывала.

Ветер гнал по тротуару маленькие снежные смерчки, выносил их на мостовую.

— Где вы живете, Ниночка? — спросил я.

— А? — встрепенулась она. — На Семеновской площади.

Я остановил такси. Я сидел рядом с ней и думал, положить ли руку ей на плечо. Она закрыла глаза, и в полосах света, скользивших по ее лицу, видна была ленивая, загадочная улыбка.

Бедная моя голова кружилась, сердце билось гулко, с натугой, я уже не мог ни о чем думать.

У подъезда она повернулась ко мне и спросила равнодушно:

— Подниметесь ко мне или вам нужно домой? К строгой жене?

— У меня нет жены, — глупо пробормотал я и подумал зачем-то о Нинином отце.

Мы поднимались в лифте, и Нина вдруг провела рукой по моему подбородку. Словно говорила: выше голову, малыш, не бойся. Я хрипло рассмеялся.

— Чему вы смеетесь, Геннадий Степанович? — спросила Нина.

— Я, собственно... — замялся я, но она уже забыла о вопросе, открыла ключом дверь и щелкнула выключателем.

Прямо на меня смотрело огромное лицо бородатого человека с автоматом в руках.

— Мне подарили этот плакат на Кубе... Как бы мне хотелось быть с ним... — сказала Нина.

— В каком смысле?

— Рядом. С автоматом в руках. Стрелять, бежать, любить... — она усмехнулась. — Ну, ничего, процесс сгорания — это тоже интересно. Почему вы стоите в пальто? По-моему, вы очень стеснительный человек. Самолюбивый и стеснительный. Или у вас это возрастное? Я никогда не встречалась с человеком ваших лет.

С противоположной стенки на бородатого смотрела девушка, занесшая над собой руку с копьём. Мне стало грустно. Я влез сюда через окно. Это место не принадлежало мне, человеку с запысинами.

Может быть, если бы в руке у меня был автомат, и я был бы покрыт дорожной горячей пылью, и за мной гнались бы... Я бы схватил ее за руку, властно и не задумываясь, и она пошла бы за мной в сельву...

Но я мог вытащить из кармана только шариковый «паркер» и героически втянуть живот. Боже, есть же на свете счастливые люди, которых природа не приговорила к постоянному самоистязанию. Зачем мне орел, выклеивающий мою деликатесную печень, когда я сам постоянно расклеиваю себя?

— Хотите кофе? — спросила Нина. — По-кубински?

— Не знаю, — печально сказал я. — Обычно я избегаю пить кофе перед сном... — вот тебе, еще раз и еще! Знай, как ухаживать

за юными девушками, специалистками по двигателям внутреннего сгорания!

— Какой вы скучный и рассудительный, — вздохнула Нина и бросила быстрый взгляд на плакат.

Кофе был крепкий и обжигающий, и я пил его маленькими глотками. Почему я не сделал харакири консервным ножом? Нина смотрела на меня, и улыбка ее была ленива и презрительна. Она поставила чашечку на низкий столик, повернулась и положила руки мне на плечи.

«Бежать, бежать пока не поздно», — пронеслось у меня в голове. Но было поздно. Все мои защитные системы выключались одна за другой. Пробки перегорели. Старый — не старый, смешной — не смешной — все уже не имело значения. Губы ее были чуть-чуть шершавы, теплы, и она водила ими по моим щекам.

Потом я спросил, почему она обратила на меня свое божественное внимание.

— Не знаю, — зевнула Нина. — Так просто...

Воздушный шар, который только что плавал в теплом бризе седьмого неба, со зловещим свистом терял высоту.

— Так просто... — повторил я.

— Господи, какой же вы, Геннадий Степанович, ребенок, — Нина сделала неудачную попытку подавить зевок, и я подумал, что даже с перекошенным лицом она противоестественно прекрасна.

9

Когда я поднялся к себе на четырнадцатый этаж, я вдруг сообразил, что ни разу не вспомнил о сциндапсусах и Безымянке. Мне стало стыдно. Стовосьмидесятисантиметровая копьеметательница поманила меня, просто так, и я, как дворняжка, бросился к ней с восторженным вилянием хвоста. И не вспомнил ни разу о тех, кто — я знал — спас меня от безумия, кто нежно и бескорыстно каждодневно награждал меня радостью бытия.

Я открыл дверь и бросился к братьям сциндапсусам. Мне показалось, что сердцееобразные их листочки обиженно съежились и отвернулись.

— Как вы поживаете, мои милые? — спросил я.

— Ничего, спасибо, — сухо ответил Приоконный брат.

— Как обычно, — сказал Стенной брат.

— А ты, моя Безымяночка?

Она не была безразлична, она не заговорила со мной просто так, моя милая Безымяночка. Мне было чего-то стыдно, грустно.

— Ты неспокоен,— сказала Безымяночка.— Тебе нехорошо на душе.

— Почему? Ничего особенного не произошло. Прекрасная девушка наградила меня любовью. Просто так. Жизнь прекрасна, Безымяночка.

— Когда людям грустно,— сказала Безымяночка,— они плачут. Если умеют, конечно. Мы, растения, не умеем плакать. Когда нам грустно, мы съеживаем листья. Мне почему-то грустно.

— Но я же не предал вас! — зачем-то крикнул я.— Я не могу сидеть, вечно привязанный к горшкам! Вы эгоисты!

— Ты ничего не понимаешь,— вздохнул Приоконный брат.

— Нам жаль не себя, а тебя,— пробормотал Стенной брат.

— Что, что? Почему меня нужно жалеть? Вы должны были поздравить меня! Соседи должны были встречать меня на лестничной клетке с цветами! Так же нельзя жить. Человек не может жить, когда каждый его шаг так безжалостно судят!

Я знал, что был не прав, и поэтому сердился на своих друзей.

— Ты ничего не понимаешь,— тоненьким дрожащим голосом прошелестела Безымянка.

— Нам стыдно,— пробасил Стенной брат.

— За тебя,— вздохнул Приоконный.

— Я не хочу с вами разговаривать и не хочу вас видеть,— сказал я.— Я не собираюсь вести из-за вас растительный образ жизни.

Я рухнул на тахту и накрылся одеялом с головой. Ее кожа пахла солнцем, а глаза были непроницаемы. Если бы у меня был автомат, я бы всадил в нее целую очередь, и тогда, может быть, в их равнодушной прекрасной фиолетовости появилось бы человеческое страдание. Пошло и глупо, Геночка. Скоро ты начнешь ревновать ее к бородатому колумбийцу.

Я подремал, наверное, час и проснулся от мысли о сценарии, который я обещал прочесть знакомому. Сценарий был о молодом человеке с мятущейся душой. Он не вынес условностей и фальши большого города, поэтому бежал в маленький северный городок. Там было получше, но и здесь он не нашел себя, поэтому двинулся дальше на север, попал в оленеводческий колхоз и влюбился в зоотехника. Зоотехником была она с большой буквы.

Я вздохнул и начал было писать рецензию, но с ужасом убедился, что с листка бумаги на меня смотрели Нинины равнодушные прекрасные глаза. Этого еще не хватало. Мало мне духовных кризисов, только-только выползаю из последнего, а тут на краю

ямы здоровенная копьеметательница с фиолетовыми глазами и автоматом в руках сталкивает меня с улыбкой обратно на дно. Просто так.

Простите, товарищ аспирант, сосредоточьтесь на процессе горения. Мне сорок лет, я не мальчик и я не буду страдать только от того, что вздорная глупая девица со скуки одарила меня своей спортивной любовью.

Но странное дело, чем больше я себя распалял, тем четче ощущал на щеках легкие дразнящие прикосновения чуть шершавых теплых губ.

Я сопротивлялся сутки. Я узнал ее телефон (Нина Ивановна Голубева, да, да, на Семеновской площади) и позвонил ей.

— Кто, кто? — лениво спросила она. — Кто говорит?

От ненависти к себе у меня колотилось сердце, стучало в висках.

— Это Геннадий Степанович, сценарист. Помните? Мы с вами познакомились у Бухвостова.

— А-а... — неопределенно протянула Нина. — Я вас сразу не узнала. Но вы молодец.

— Почему?

— Целые сутки не звонили. Сопротивлялись? Обычно звонят раньше.

— Знаете, кто вы, Ниночка?

— Знаю.

— Кто?

— Дрянь.

— Ну может, и не столь сильная формулировка, но...

— Геннадий Степанович, все это не имеет ни малейшего значения...

— Почему?

— Потому что я люблю вас.

— Что-о? — заорал я в трубку. Если бы она закукарекала или призналась бы, что она на самом деле царевна-лягушка, я был бы куда менее изумлен. Да что изумлен! Потрясен!

— Почему вы так недоверчивы? Вы очень милый, неуверенный в себе человек. Я чувствую себя с вами как пожившая дама средних лет, соблазненная юношю.

Я молчал. Кровь прилила к моему лицу, в глазах потемнело. Я испытывал пугающую легкость и пустоту в груди. Сейчас у меня будет инфаркт. Его сердце не выдержало, он был посредственный сценарист, вздохнет Сурен Аршакович, но нам так хорошо работалось. Может быть, и она придет на похороны. С копьем в руке. Или с двигателем внутреннего сгорания.

— Почему вы молчите? — спросила Нина.

— Я... я не могу... это...

— Боже, а я думала, что сценаристы умеют говорить красиво и увлекательно. Как-то за мной ухаживал один метатель молота. Бедняга мог только кричать.

Я заскрежетал зубами. Как я ненавижу этого человека-гору, этот набор гипертрофированных мышц! Как он смел любить мое фиолетоглазое божество!

— Нина, вы должны понять меня. Мне хочется лаять и прыгать. И лизать вам руку.

— Я понимаю, — охотно поняла Нина. — Но, честно говоря, я не очень люблю собак.

Я пригласил ее в Дом кино. После фильма мы поужинаем. Она согласилась.

Я бросился гладить брюки. Я брился и смотрел на свое отображение с невольным почтением. Человек, с которым знается моя богиня, не может быть совсем уж никчемным.

Я стоял у входа в Дом кино и боялся даже думать, как смогу жить, если она не придет. Но она пришла. Я увидел ее, наверное, за квартал. Она была выше всех на голову и медленно шла со стороны Большой Грузинской.

— Геннадий Степанович, — сказала она, — я соскучилась по вас.

Она обняла меня и поцеловала. Губы ее были именно такими, какими они запомнились мне: теплыми и чуть шершавыми. Стоявший рядом со мной солидный человек в ондатровой шапке посмотрел на меня с ненавистью.

По сей день я не могу сказать, какой фильм мы смотрели в тот вечер. Я держал ее руку в своих ладонях. Рука была сухая, твердая и теплая. Она вся была теплая. Она излучала тепло, как калорифер.

Время застыло и остановилось. Не было ни прошлого, ни будущего. Было только настоящее, неправдоподобное, растянутое настоящее, которое никак не умещалось ни в моем сознании, ни в груди, выплескивалось из меня, текло по залу, по улице, по городу. Я не мог понять, почему люди не шикают на меня: я ведь светился, я должен был мешать им смотреть кино.

После картины я повел ее в ресторан. Я начал было объяснять, где он находится, но она сказала:

— Я знаю, милый. Я была здесь.

— С кем?

— С разными людьми, — усмехнулась она.

Мы ели миноги, и Нина вдруг сказала:

— Тут у вас на кубометр приходится, наверное, больше фальшивых улыбочек, чем в любом другом месте.

— Может быть,— согласился я.

— Моя бы воля, я б их...

— А для чего?

— Чтоб боялись,— твердо сказала Нина и поджала губы, отчего лицо ее стало злым и мстительным.

— Но зачем бояться?

— Так люди устроены.— Она вдруг бросила на меня быстрый взгляд: — Чего вы так на меня смотрите? Я вас пугаю?

— Немножко.

— А я всех пугаю,— загадочно сказала она.

— Давайте лучше выпьем на брудершафт,— предложил я.— Может быть, на «ты» вы будете меньше пугать меня.

— Нет,— покачала головой Нина,— я не хочу быть с вами на «ты». Вы можете называть меня как угодно, а я вас — на «вы».

— Но почему?

— Не знаю.

После ужина мы приехали ко мне.

— А у вас мило,— сказала Нина.— Вот уж не думала, что у вас цветы есть...

— Почему?

— Не тот вы тип.

Я хотел было рассказать ей про Александра Васильевича, про то, как братья сциндапсусы и Безымянка отхаживали меня, как почтили меня доверием и заговорили со мной, но понял, что это невозможно. Невозможно. Я суетился, приготавливая кофе, Нина молчала, с легкой улыбкой глядела на меня.

— Как ваша диссертация? — спросил я.

— Ну, до защиты еще далеко, я аспирант второго года,— ожилилась Нина,— но пока все идет хорошо. Вы не представляете, сколько загадок скрыто внутри цилиндра. Казалось бы, все давно изучено, а ничего подобного! Взять хотя бы такую вещь, как всасывающая труба. Ну, труба и труба. А оказывается, мельчайшие изменения ее внутренней поверхности как-то влияют на состояние горючей смеси. И представляете, никто в мире не знает, как именно! Эмпирически кое-какой опыт накопили, но теории нет и в помине! — Нина замолчала, посмотрела на меня, улыбнулась: — Вам, наверное, скучно слушать про мои двигатели?

— Что вы! — с жаром воскликнул я.— Наоборот.

— Вы мне напоминаете одного человека, который ухаживал за мной. Он тоже вот так говорил: что вы! Что вы, Ниночка! Мне все интересно слушать, что вы говорите. Забавный такой человек.

— Тоже метатель? — угрюмо спросил я.

— Нет,— улыбнулась Нина,— вы думаете, я кроме спортсме-

нов ни с кем не встречалась? Он историк. Кандидат наук. Тридцать один год, а совершенно лысый.

Так ему и надо. Неплохо бы ему и экзему на лысину.

— Такой забавный человек, — задумчиво повторила Нина. — Он занимается историей средних веков. Представляете? Крестовые походы. Знает латынь, греческий, не говоря уж о всяких там английских и французских. А я пятнадцать лет учу английский и все никак не выучу.

— Ну и что стало с лысым историком?

— Ничего, — Нина пожала плечами. — Он раза три делал мне предложение.

— А почему вы не согласились?

— Не знаю. Может, потому, что не боялась его. Женщина должна немножко бояться мужчину.

Я внутренне застонал. Чем я могу напугать свою копьеметательницу? Абсолютно ничем. Наверное, Нина догадалась, о чем я подумал. Она улыбнулась, положила мне руки на плечи и медленно потянула меня к себе. Если бы я и сопротивлялся; она бы все равно втянула меня в объятия, но я не сопротивлялся. Если бы только понять, что таилось там, в глубине ее фиолетовых глаз...

10

Через две недели я знал уже довольно много о тайнах процесса горения, о послойном зажигании и компьютерном регулировании качества смеси. Я узнал также о ряде ее поклонников: о молодом заместителе начальника главка одного министерства, который готов был поставить из-за нее под угрозу свою карьеру; о летчике-подполковнике; об автогонщике, который уже дважды переворачивался.

Единственно, о ком я ничего не знал — это о самой Нине. Я не понимал ее. То она казалась нежным и чутким существом, то оборачивалась вдруг холодной, равнодушной, даже пугающей. Иногда в ней вспыхивала непонятная злоба.

У меня опять стало смутно на душе. Я считал часы и минуты до очередной встречи, я тысячи раз представлял, как, не мигая, она приближает ко мне лицо, и громадные ее глаза закрывают весь мир, как шершавые и теплые губы касаются моей щеки. Но в подсознании не было ощущения благополучия. В душе не было порядка.

Наверное, это было потому, что растения перестали разговаривать со мной. Я не забыл о них, нет. Я делал все, что положено, уха-

живал за ними, но они молчали. Иногда мне казалось, что молчание это враждебно, иногда — что печально.

Я, конечно, догадывался, что молчание братьев сциндапсусов и Безымянки как-то связано со вторжением в мою жизнь Нины, но почему, почему они так строго судили меня? В конце концов, я не совершал ничего аморального: я ни над кем не издевался, никому не изменял. Никому не изменял... Но если три зеленых стебелька считали, что они могут заполнить всю мою жизнь, они слишком много брали на себя.

И все-таки, наверное, я чувствовал себя почему-то виноватым перед ними. И вина рождала злобу. Да что же это такое, в конце концов? Что я раб, что ли? Кто приковал меня к трем глиняным горшкам? Я за вами ухаживаю? Ухаживаю. Поливаю? Поливаю. Здороваюсь с вами? Здороваюсь. Разговариваю? Разговариваю. Так какого черта вы затаились и самым своим молчанием выражаете неудовольствие? Да кто дал вам право судить меня?

Я начал замечать, что в моей квартирке стало опять как-то промозгло. Мой старинный термометр с делениями по Цельсию и Реомюру исправно отмечал двадцать градусов, но мне казалось, что холодная пронизывающая сырость пробирает меня насквозь.

Ночи опять стали растягиваться, темнота несла тревогу. И сны вернулись страшные, томящие, с бешеным бегом, хриплым дыханием, с обмирающим сердцем, когда просыпался.

Я пошел к Александру Васильевичу и рассказал все. Бутафор суетился, трепетал, заламывал руки.

— Это ужасно, Геночка, — сказал он. Лицо его было бледно от страдания.

Я усмехнулся.

— Дядя Саша, давайте попьем с вами чайку.

— Вот и чудесненько, — просиял Александр Васильевич, и лысина его сразу порозовела от удовольствия. — Чай я умею заваривать божественно. Вы, дружок, наверное, заметили, что хвастовство не очень мне свойственно, но на чае я стою и стоять буду. В Японию пригласят, поучись, мол, товарищ Хорьков, чайной церемонии — откажусь. Простите, скажу, но никто в мире не сможет заварить чай лучше, чем Александр Васильевич Хорьков, бутафор.

— Четко вы, однако, формулируете. Но ведь...

— Все дело в заговоре, — перебил меня бутафор. — Все эти правила о сухом нагретом чайнике, о воде, которая ни в коем случае не должна пузыриться, — все это, слов нет, верно. Но главное, Геночка, не в этом. Главное — в заговоре. Надо заговорить чай.

И когда ты к нему подойдешь по-хорошему, поговоришь с ним, он тебе такой аромат выдаст, что ни одному дегустатору не снился. Ну, посудите, Геночка, сами. Или вы вдруг жестоко ошпариваете ничего не ожидающие спящие чайники, или они добровольно превращаются в цвет и запах. Работа раба и вольного художника.

— И чай тоже беседует с вами?

— А как же. Обязательно. Другое дело, все живое говорит по-разному. Чай, например, говорит не словами. Он... как бы вам сказать... напевает, что ли... Но без слов. И почти неслышно. Но я его голос всегда узнаю.

— Дядя Саша, скажите, а приходилось вам сталкиваться с людьми, которые не только не верили вам, ну, что растения чувствуют и говорят, но которые смеялись над вами?

Александр Васильевич изумленно округлил глаза:

— Приходилось? Да что вы, Геночка, это не то слово. Да меня почти все психом считают, дразнят — страшное дело!

— А вы? Вас это не гнетет?

— Гнетет, конечно, да что сделаешь, — он кротко пожал плечами. — Привык. Да они и не со зла. Так уж люди устроены: что непонятно, непривычно — то смешно. Вы простите, Геночка, я пойду на кухню, чай заговорю.

— А мне нельзя с вами? Посмотреть.

— Лучше не надо. Чай, особенно этот вот, грузинский, очень застенчивый. Какой-то у него комплекс неполноценности. Чуть что не так, прямо немеет. Вы уж простите...

Я не специалист по чаю и различаю преимущественно два его качества: крепкий и жидкий. Но янтарная жидкость, что принес с кухни в двух огромных чашках Александр Васильевич, даже и не походила на чай. У меня нет слов, чтобы описать ее вкус и аромат.

— Ну как? — самодовольно прищурился бутафор.

— Изумительный напиток!

— Тут что еще очень важно — чтобы чай чувствовал атмосферу в доме. Если завариваешь его для людей, которые тебе неприятны, которые к тебе относятся без тепла, заговаривай не заговаривай — чай молчит. Ну а когда он сожмется, тут ничего не выйдет, обычная заварка.

Странно, странно я себя чувствовал, слушая важные речи дяди Саши. Наш мозг разделен на две половины: левую и правую. И функции их, я думаю, не совсем совпадают, и сами они изрядно разнятся. Одна суха, точна и все складывает и суммирует с бухгалтерской точностью. Другая — порывистая, доверчивая и романтическая. Я физически чувствовал, как раздваиваюсь, слушая Алек-

сандра Васильевича. Одна половина мозга внимала жадно, восторженно обнимая мысль о живой душе всего живого. Другая сухо фиксировала: чушь. Какой, к черту, язык может быть у чайнок? Да хоть ты сутки пронизывай чайнку лучами электронного микроскопа, ничего, кроме положенных ей клеточных структур, не найдешь. Так что все это мистические бредни, к тому же не новые. Но ты ведь сам разговаривал и с братьями сциндапусами и с Безымянкой, сам пришел к старичку бутафору, потому что удручен их молчанием? Ну и что? Когда учитель истории вдруг заявляет, что он царь Навуходоносор, это еще не доказательство его помазанности на престол. Хотя у него самого не то что сомнений, секунды свободной нет: и послов прими, и войны веда, и заговоры раскрывай...

— ... И чашечки, обратите внимание, интересные, — говорил Александр Васильевич. — Видите старинный трактор на тонких колесиках? Двадцать третий год. Сейчас этот фарфор очень ценится коллекционерами.

— Так что же мне делать? — тяжело спросил я.

— Я, милый Геночка, вам так скажу. Если эта ваша необыкновенная Нина дорога вам, познакомьте ее с вашими растениями. Они поймут. Они ведь неревнивые. Это только люди бывают ревнивые. От жадности. Растения нежадные. Требовательные бывают — это да. Строгие — сколько угодно. Но жадных, дружок, не встречал. Ни разу. Так-то, Геночка.

Целую неделю я никак не мог решиться. Наконец я устыдился своей трусости, посмотрел на Нину и сказал:

— Нинуль, я хотел сказать тебе кое-что... — голос мой звучал хрипло, каркаяще, как у простуженной вороны.

Нина стояла спиной ко мне и красила ресницы.

— Ты меня слышишь?

— Угу, — промычала Нина с глубочайшим безразличием.

— Это очень важно, — неуверенно пробормотал я.

Нина молчала, огромное ее тело было неподвижно, лишь правое плечо чуть подрагивало. «Боже, — тоскливо подумал я, — ну что у них общего, у поющих чайнок и этого прекрасного чудовища? Да что сциндапусы с острова Борнео, когда я перестаю существовать для нее в торжественные косметические минуты. Если я вообще существую для нее. Что довольно сомнительно».

— Геннадий Степанович, — сухо сказала Нина. — Вы можете поцеловать меня в левый глаз, пока он не накрашен.

Я застонал от брезгливого презрения к себе, завил хвостом и подскочил к специалисту по двигателям внутреннего сгорания.

Чтобы достать губами ее глаз, мне нужно было подняться на цыпочки.

— Знаете, от чего мне приходится удерживаться, когда вы целуете меня? — задумчиво сказала Нина и почесала голой пяткой сорокового размера другую ногу. — Чтоб не поднять вас в воздух, Геннадий Степанович.

М-да, сказал я себе, какая тонкость натуры! Какая чуткость! Я, знаете, девочки, боюсь подбрасывать своего к потолку. Ну его, еще зайкой станет.

Гена, сказал я себе, ты всегда был тяжелым человеком, но ты не был тряпкой. Теперь эта бабища превращает тебя в тяжелую тряпку. Которой подтирают пол.

— Нина, я хотел познакомить тебя со своими растениями... — я всей кожей болезненно чувствовал, как глупо должны звучать мои слова.

— Я же их видела, — сказала Нина, зевнула и принялась за левый глаз.

— Понимаешь, это не простые растения. Они... как бы тебе это выразить... они... все понимают... Они говорят... И я...

Нина повернулась наконец ко мне. В глазах ее сияла материнская нежность. Она шагнула ко мне, провела ладонью по моим волосам и сказала:

— Беденький мой Геннадий Степанович... Когда Федя, это тот автогонщик, о котором я вам рассказывала, перевернулся второй раз, я поняла, что нам нужно расстаться. — Она снова повернулась к зеркалу, критически посмотрела на свое лицо, наморщила лоб: — Почему мужики от меня шалеют?

Я почувствовал, как пол под моими ногами начал опускаться скоростным гостиничным лифтом: а еще у меня был сценарист один, немолодой такой человечек с залысинами. Так представляете, признался, что с цветами беседует. Жалко его, неглупый как будто человек, а оказался с приветом.

— Ты хочешь, чтобы мы расстались? — Вороне как-то бог послал кусочек сыру, сыр отняли, и теперь голос вороны дрожал от еле сдерживаемых слез.

— Что вы, Геннадий Степанович, я никого никогда так не любила, как вас. Мне просто жаль вас. Вы сами говорите, что перестали работать, видите, уже с цветами разговариваете... А человек должен работать...

— Но растения...

Нина положила мне руки на плечи и печально посмотрела на меня. Я почувствовал себя чайнкой, которую заговаривают.

— Растения не могут разговаривать. Милый, дорогой, глупый мой Геннадий Степанович! Вы же интересуетесь научно-популяр-

ной литературой. У вас вполне научный склад ума. Когда я рассказываю вам о двигателях внутреннего сгорания, о роторных двигателях Ванкеля или о двигателе Стирлинга, я по вашим вопросам вижу, что вы легко схватываете суть. Как же вы можете настаивать, что растения чувствуют и разговаривают, когда наука это отрицает?

— Но я слышу их голоса... — пробормотал я.

Она посмотрела на меня с жалостью:

— Вам кажется, Геннадий Степанович. Вам надо отдохнуть, стряхнуть с себя всю эту ерунду, начать опять работать. У меня, например, строжайший график. Это сейчас, когда я уже почти бросила большой спорт. А раньше так по секундам время было расписано. И то из всех наших девочек я одна высшее техническое образование получила. А вы говорите — растения! Знаете что, я позвоню сейчас шефу и скажу, что у меня болит горло. Старикан любит меня, как дочку. И мы поедem к вам. И вы сами увидите, что все это иллюзии.

— Ниночка, — сказал я, когда мы приехали ко мне, — можно попросить вас побыть немножко на кухне?

Я прикрыл дверь, подошел к Приоконному брату и сказал:

— Я не знаю, мне кажется, я люблю эту девушку... Прошу, скажите ей что-нибудь.

Приоконный молчал. Я повернулся к Стенному:

— Я не знал, что вы так жестоки...

— Мы не жестоки, — печально ответил Стенной брат, — просто ты ушел от нас...

— Но я...

— Нет, ты не понимаешь. Ты можешь не просто уйти, ты можешь даже уехать. Не в этом дело. Просто ты... начал думать по-другому... Ушел от нас... Я не умею объяснить тебе...

— Я прошу вас, — взмолился я, — поговорите с ней. Она не верит. Она считает, что я сошел с ума. Скажите ей. Я не хочу, чтобы она рассталась со мной. Я не смогу жить без нее.

— Ты можешь забыть о нас, — слышался тонкий голосок Безмянки. Тончайшая струнка дрожала. — Если мы тебе мешаем, ты можешь вернуть нас обратно Александру Васильевичу.

— Но я не хочу отдавать вас. Скажите ей что-нибудь. Она аспирантка, она понимает.

— Ну что ж, — вздохнул Приоконный брат.

Я открыл дверь:

— Нина, иди сюда. Вот, смотри, этот вот озорник, у окна, зовется Приоконный брат, а это — Стенной.

Нина перевела взгляд со сциндапусов на меня, в огромных ее глазах плавилась жалость.

— Брат? А почему братья?

— Потому что они близнецы. Отростки одного растения. А это моя Безмяночка. У нее нежная душа и тонкий голосок, — я говорил как в бреду, понимая, что говорить так не нужно, но не мог остановиться. — Раньше мы часами болтали без умолку, а теперь... Безмяночка, это Нина. Познакомьтесь!

— Нет! — тонко пискнула Безмянка, и в пiske была боль. — Она не верит!

— Она не услышит, — печально пробасил Приоконный брат.

Я посмотрел на Нину. В глазах ее неподвижно стоял ужас.

— Ниночка, неужели ты не слышишь, что они говорят? — застонал я.

— Бедный мой Геннадий Степанович, — прошептала она и провела ладонью по моему лбу. В голосе ее звучало нежное материнское сострадание. — Бедный мой дурачок. — Она обняла меня и водила по моим щекам теплыми шершавыми губами. Губы дрожали. Она жалела меня и ласкала, потому что верила, наверное, в целительный эффект своих ласк. Что еще она умела, эта огромная красивая дурочка? Спасибо, что она не выскочила с криком на лестничную клетку и не скатилась в каблучном цокоте вниз. Спасибо за беспокойное успокоение, которое она давала мне.

Потом она вдруг сказала:

— Знаете, у меня в затылке все время сидела мысль, что я должна что-то вспомнить. И вспомнила.

— Что? — спросил я, все еще погруженный в сладостное ощущение.

— Когда я училась в девятом классе, у меня был один мальчик, он тогда учился на втором курсе биофака. Недавно он мне звонил, приглашал на защиту диссертаций...

— Бедная девочка, — пробормотал я, — сколько же их у тебя было... Тяжело, наверное, нести такой крест.

— Тяжело, конечно, — согласилась Нина, — но дело не в этом. Он как раз занимается физиологией растений. Хотите, он поговорит с вами?

— Насчет чего?

— Ну, всех этих ваших иллюзий.

— Нет, не хочу — Я ничего не хотел. Я хотел лежать вот так в полудреме, спрятавшись от всех проблем, и слушать медленное и сильное биение Нинино сердца. — Какой у тебя пульс?

— В спокойном состоянии пятьдесят — пятьдесят два, — ска-

зала Нина с гордостью.— У спортсменов бывает пониженный пульс. Геннадий Степанович, милый, я прошу вас...

— Что?

— Чтобы вы поговорили с этим человеком. Прекрасный парень. Он мне, наверное, раз пять делал предложения.

— Чего ж вы за него не пошли? Если он такой чудный парень?

— Я не могу. Когда мама умирала, я дала ей слово, что буду думать о личной жизни, только когда стану на ноги.

— Ну, мне кажется, личная жизнь у вас не такая уж скудная...

— Это не то,— твердо сказала Нина.— Личная жизнь — это когда выходишь замуж. Это когда семья. А это,— она произвольно посмотрела на меня,— так...

— Значит, я так?

— Не знаю, если к тому времени, когда я защищусь, наши чувства не изменятся, тогда...

— А если я вам сейчас сделаю предложение?

— Я откажу вам.

— А я больной. Больного нельзя огорчать.

— Вот чтобы вы не болели и избавились от своих странных заблуждений, я и прошу, чтобы вы сходили к Мише.

— Мише?

— Ну, этому физиологу, о котором я вам рассказывала. Я вас очень прошу, Геннадий Степанович.

Меня не интересовал физиолог растений Миша, меня не интересовали остальные ее поклонники. Ведь они «так». Мне хотелось слушать размеренное биение Нининого спортивного сердца и ждать, пока она защитит диссертацию.

— Хорошо, Ниночка, я съезжу к вашему Мишеньке.

— Он вовсе не Мишенька,— обиделась Нина,— он вольник в тяжелом весе. Первый разряд.

— Вольник?

— Ну, борец вольного стиля.

Я снова задремал, и огромный вольник, колючий, как кактус, отрывал меня от какого-то растения, к которому я судорожно прижимался.

11

— Вы кофе пьете? — спросил вольник Миша.— Тут у нас француз один был в лаборатории, оставил в подарок. Мокона. Гранулированный.

— С удовольствием, — сказал я.

Я никогда не видел таких жгучих курчавых брюнетов. Волосы у Миши были иссиня-черными, борода, такая же юная и курчавая, как шевелюра, еще чернее. А завитки над майкой, что видна была под не очень белым халатом, казались угольными и приклеенными к обширной его борцовской груди. И легчайший акцент шел к этому южному волосяному изобилию.

— Северный Кавказ? — спросил я Мишу и почувствовал себя профессором Хиггинсом из Пигмалиона.

— Что?

— Откуда вы родом?

— Махачкала.

— Так я примерно и думал.

— А как вы догадались, по акценту?

— Не знаю. Может быть, ваша смуглость, цвет волос, маленький акцент и то, что вы — вольник.

— Это вам Нина сказала? Что я боролся раньше?

— Угу.

Нежная и печальная улыбка скользнула по Мишиному лицу:

— Удивительная девушка.

— Пожалуй, — согласился я.

— Вы видели когда-нибудь, как она метает копье?

— Нет.

— Вы многое потеряли. Удивительная координация. И потом взрывная. Если б она не относилась так серьезно к учебе, быть бы ей в сборной. Удивительная девушка, — вздохнул Миша и вдруг улыбнулся.

— Чего вы улыбаетесь?

— У меня раньше мечта такая была. Все представлял, как я приезжаю с Ниной в Махачкалу. И вся улица, весь город сбегается посмотреть на нее. Знаете, наши мужчины умеют ценить видную девушку... Да... Держите кофе. Так чем я могу вам помочь?

Почему-то я не стеснялся Мишу. Может быть, потому, что мы были членами одного клуба, клуба Нининых поклонников. Я рассказал ему о сциндапсусах, о Безымянке, об Александре Васильевиче, о чайниках. Миша долго молчал, прихлебывая кофе, и чашка казалась крошечной в его медвежьей руке.

— Что я вам скажу... Лет, наверное, пять или шесть тому назад — я еще был в университете — попробовали мы экспериментировать.

— Как?

— Ну, самые элементарные биофизические методы: измерение токопроводимости, сопротивления и тому подобные простейшие

вещи. У одного растения, у двух одновременно. Прижигая при этом листья.

Я представил, что кто-то подносит пламя к пышному фонтанчику листьев Безымянки, и содрогнулся.

— Ну и что получилось?

— То, в чем все мы были уверены с самого начала. Что все разговоры о тайной жизни растений — чепуха. Сколько мы ни терзали эти бедные растения, ни одно из них не только ничего не сказало, но не прореагировало на мучения соседа хоть каким-нибудь показателем.

— А вы не допускаете, что растения просто не хотят участвовать в этих опытах? Бывает ведь, что на допросах молчат?

Миша улыбнулся и осторожно поставил чашечку на лабораторный стол с овальным инвентарным номерком.

— Понимаете, это некорректный вопрос. Почему, вы думаете, парапсихология никак не выйдет в respectable большую науку? Да потому, что результаты опытов со всеми этими перцепиентами, рецепиентами, ясновидящими и прочими сомнительными личностями нельзя проверить. Их нельзя повторить. То есть повторять пробуют, с теми же людьми, а результатов нет. Позвольте, как же так, спрашивают у сторонников парапсихологических явлений, вы утверждаете, что у вас получается то-то и то-то. Приходим мы, скептики, и получается совсем другое. То есть ничего вообще не получается. Как же так? А нам объясняют: потому, оказывается, у нас ничего не получается, что мы скептики. Потому что создаем, оказывается, обстановку недоброжелательности. Но наука ведь не может основываться на вере. Она основывается на проверке, на скепсисе. К выключателю может подлететь ангел, а может и черт. И все равно в цепи потекут электроны и ток, раскаляя спираль в вакууме электролампочки, осветит путь равно как ангелу, так и черту. Верующему и атеисту. Человеку и маке, если она, конечно, научилась пользоваться выключателем. Вы согласны?

— Конечно, мне нечего вам возразить...

— А с вашей, простите, точки зрения получается, что лампочка зажжется только для того, у кого особые отношения с электронами. Это, конечно, очень интересно, но не очень удобно. Так, Сережа? — спросил он у худенького веснушчатого молодого человека со смешным светлым хохолком на макушке.

— А о чем разговор? — спросил веснушчатый.

— О том, что растения якобы умеют чувствовать и даже разговаривать.

— А, эти новомещанские штучки! — веснушчатого словно подбросило током на месте, и уже не один хохолок, а все волосы

на голове стали дыбом.— Зажрались! К спиритизму потянуло! «Жигули» загнал в гараж, посмотрел «А ну-ка, девушки», и что осталось? Только столоверчением заняться. Или йогой. Днем подсигивать друг друга на работе, а по вечерам глубокомысленно созерцать свой пуп! Или еще буддизм в моде. Особенно рекомендуется для лиц, связанных с дефицитом. Медитация очень, говорят, успокаивает нервы.

— Сережа у нас воинствующий блюститель материалистических принципов,— улыбнулся вольник Миша.

— Противно,— уже спокойнее сказал веснушчатый.— Стадо баранов. То все бормочут о летающих тарелочках, то об операциях без ножа какого-то там латиноамериканского шарлатана, то о ту-ринской плащанице.

— Это еще что такое? — спросил я.

— Кусок ткани, хранящийся в Турине и якобы дошедший до нас со времен Христа. И якобы передающий его черты лица и контур тела, поскольку он был покрыт этой тканью. И находятся так называемые ученые, которые в погоне за сенсацией фотографируют плащаницу и так и сяк, в ультрафиолетовом спектре и в инфракрасных лучах, и публикуют неясные снимки какого-то бородатого человека. А вы говорите — растения!

Веснушчатый Сережа пожал плечами, и волосы его, кроме хохолка, медленно улеглись, словно он снял напряжение.

— Видите,— улыбнулся Миша,— таким, как наш Сережа, нужны точные факты, а не псевдоинформация, рассчитанная на то, чтобы пощекотать нервы пресыщенного обывателя.

— Ну а все-таки, в чем-то вы, может быть, ошибаетесь? — неуверенно спросил я.— Не хотелось бежать с поля боя, но мое отступление не похоже было на арьергардные бои.— Ведь случилось, что наука ошибалась? Что многое, что высмеивали, оказалось потом не таким уж смешным.

— Например? — строго спросил веснушчатый.

— Ну, скажем, влияние солнца на жизнь на Земле. Или — кибернетика.

— Ерунда! — решительно сказал Сережа, и Миша виновато пожал плечами, словно извиняясь за товарища.— Кибернетику высмеивали не ученые, а неучи, которые называли себя учеными. Влияние солнца на живые организмы на Земле никогда не оспаривалось мало-мальски серьезным человеком. Так что это не примеры. Вы еще один приведите, правда, он до такой степени затаскан, что говорить о нем смешно.

— Это что же?

— Что Французская академия наук постановила в свое время

вопрос о метеоритах не рассматривать, поскольку камни с неба падать не могут.

Они были так уверены в себе, эти молодые люди, так солидно серели экраны осциллографов, так четко отражались блики в стеклянных колпаках аналитических весов, что не оставляли места для сбитого с толку сценариста. И уж подавно нечего здесь было делать Безымянке и обоим братьям сциндапсусам. И поющим чаинкам.

Самое грустное, что мне нечего было возразить им. В конце концов, каких союзников я мог привести? Каких выставить свидетелей? Они мне — показания приборов, змейки осциллографов, а я им — дядю Сашу. Они мне — миллиметровку с каракулями самописцев, а я им — собственные рассказы. Они мне — свои набитые приборами лаборатории, а я им — свою печаль.

Так что же, значит, они правы? Но я же помню! Я слышу в ушах тонкий голос Безымянки, крошечную живую струнку, рассудительные басы братьев. Как же так?

А никак, с садистским спокойствием сказала моя бухгалтерская половина мозга. Если все говорят тебе, что ты пьян, ложись спать, даже если ты уверен, что трезв. Пьяные ведь всегда утверждают, что трезвы. Безумцы всегда уверены в реальности своих заблуждений.

Значит, не тянулась трепещущая невидимая ниточка от зеленых стебельков к моей душе? Значит, дядя Саша — безумец?

Смотря в чем, красиво ухмыльнулся мой внутренний бухгалтер. Выигрывает он у тебя, как здоровый. Сто очков дает тому трясучке, о котором рассказывал.

Я шел по улице и смотрел на лица, проплывающие мимо. Вот же они идут как ни в чем не бывало, небо не рухнуло, дома не встали вверх тормашками, жизнь идет своим чередом. Гони ты от себя сентиментальную печаль! Трагедии, видите ли, ему хочется, тоска, видите ли, у него из-за трех чахлах ростков.

Я поехал на студию. Сурен Аршакович был в павильоне.

— Вот, вот, спросите у него! — заорал он истошным голосом актрисе, которая играла у нас Шурочку. — Пусть автор объяснит вам, что это не московская манекенщица из Дома моделей, а тридцатилетняя баба из города Новая Руза! Что вы идете, вихляя задом и покачиваясь? Вот! Смотрите!

Сурен Аршакович яростно бросился на актрису, и она в ужасе шарахнулась от него.

— Вот смотрите, как вы идете! — Он прошел мимо камеры, непристойно виляя толстым задом. — А надо так!

И о чудо! Он, этот пожилой армянин в кожаном пиджаке, прошел именно так, как должна была пройти Шурочка.

— Не уходите! — закричал мне вдруг режиссер, хотя я и не собирался уходить. — Я плачу вам зарплату, а вы и носа в группу не кажете. — Он тут же забыл обо мне, поднял руки над головой, хлопнул в ладоши и крикнул: — Внимание, репетируем еще раз!

Я тихонько вышел и поехал домой. В лифте я опять поднимался с той же старушкой, с которой недавно там встречался. И в руках у нее были те же две авоськи с глянцевыми апельсинами. Старушка опять смотрела на меня подозрительно, словно боялась, что я попрошу у нее апельсин. От апельсинов веяло спокойствием. Это была четкая система координат. Не всегда имеющаяся в продаже, но четкая. Апельсины, авоськи, старушки — все это было миром настоящим, спокойным, вечным в противовес хрупкому миру моих иллюзий.

Я поймал себя на том, что впервые мысленно назвал Безымянку и братьев иллюзией. Значит, внутренне я уже сдался. Нет, Джордано Бруно из меня не получился. И на костер меня не надо тащить, дорогие мои инквизиторы. Я покладистее этого итальянца. Достаточно было моей копьеметательнице погрозить мне пальчиком, достаточно двум самоуверенным молодым людям в халатах завести меня в лабораторию и кивнуть на приборы, как я торопливо предаю своих зеленых друзей, бескорыстно спасших меня. Ах, эта привычка сценариста кивать головой и записывать в блокнотик взаимоисключающие замечания членов редсовета! Эта отработанная годами покладистость! Эта постоянная готовность к предательству своего замысла!

Я вставил ключ в дверь. Сейчас я подойду к растениям и спрошу их прямо, в упор, живые ли они. Подойду со скептическим настроением настоящего ученого.

Я щелкнул выключателем. Ребята из лаборатории правы. Такое настроение у электронов или другое, а ток-то идет. И в трех из четырех лампочек моей убогой люстрочки зажегся свет.

Не раздеваясь, я подошел к растениям. Мне показалось, что листья братьев как-то съежились при моем приближении, а кивер Безымянки испуганно опустился.

— Ну что, друзья мои? Что скажете?

Они молчали. Я почувствовал, как откуда-то снизу, с самого дна желудка подымается во мне тяжкое раздражение.

— Молчите? — саркастически спросил я. — Ну конечно, у меня не то настроение. Я не так подошел к вам, и вы не удостаиваете меня чести. А может, вы все-таки три полудохлых растения и ничего более? Может, именно из-за вас мои нервы раздерганы и тянутся за мной обнаженными концами? Молчите, зеленые насаждения? — Дрянное мое раздражение торжествующе поднялось на по-

верхность и изошло сварливым монологом. — Я вам ничем не обязан. Я и так всю жизнь состою членом Общества друзей зеленых насаждений. Раз в год приходит активист из жэка и взимает с меня членские взносы. Так что совесть моя чиста. А ваша? Ах, вы так тонко организованы, вы замолкаете в присутствии этого крикливого хама! А что, если я сделаю еще шаг, возьму стебелек в руки и дерну? А? Что тогда, мои маленькие бедные зеленые друзья? Молчите?

Злоба рвалась из меня, как пламя из ацетиленовой горелки. Отличная, первоклассная злоба из отборных ингредиентов: в ней были и рассказы Нины о своих поклонниках, и унижительные ожидания ее звонков, и осознание своего особого места в ее жизни — после лаборатории, тренировок, косметики и стирки, но до телевизора. В ней, этой злобе, угадывались и три фильма по моим сценариям, которыми я не слишком гордился. В ней было недовольство собой, этим хнычущим тяжелым истериком, истязавшим себя в вечном шахсей-вахсее. И — самое главное — в ней было предательство. Предательство верных друзей.

Я уже протянул руку, чтобы схватить горшок с Безымянкой и трахнуть его о пол, но в последнюю долю секунды удержался.

Я плюхнулся в кресло. Все во мне трепетало. Теперь уже от глубочайшего отвращения к себе. Всю жизнь подымалась во мне откуда-то эта дрянь, словно я был подсоединен шлангом к какому-то навозному резервуару. Всю жизнь. Моя первая жена Катя была прекрасной женщиной: скромной, преданной, любящей. Мне казалось, что и я люблю ее. Я и скучал без нее. Даже сейчас, спустя одиннадцать лет, я иногда жалею, что расстался с ней. Но кто, кто заставлял меня с безжалостной сладострастной жестокостью замечать ее подлинные и мнимые слабости, смешные и трогательные маленькие привычки, что свойственны каждому человеку? И любопытна она, видите ли, как сорока, хотя я вовсе не уверен, что она похожа на сороку. И со всеми моими знакомыми, видите ли, она хотела дружить. И свет она забывала гасить за собой в уборной. И в кино ей все нравилось. И перед телевизором она засыпала. И во время сна она посвистывала, тихонько, деликатно, но посвистывала. И мать свою называла «мамочка». И Сашку воспитывала не так. Не то чтобы я знал как, но не так. И все это я ей, бедной, выговаривал. Зачем? Не знаю. Тогда не знал и сейчас не знаю.

А Ира, моя вторая жена? О господи, не дай воспоминаниям мучить меня...

Злоба вышла. Остались усталость, полынная тонкая горечь в сердце, глубокое недовольство собой. Наверное, я все-таки

болен. Не нужно играть с собой в прятки. Я болен. Мои поступки часто нелогичны. Я страдаю. Или надо лечиться, или...

Я подошел к окну и долго смотрел на темное старое кладбище, испуганно нахохлившееся в этот сырой, неудобный день.

12

— Здравствуйте,— сказал я, глядя на рыжие волосы с седыми корнями. Мне казалось, что я уже где-то видел эту склоненную над столом женскую фигуру в белом халате.— Я Сеньчиков. Сурен Аршакович Абрамян должен был...

— Да, да, Сурен Аршакович просил, чтобы я посмотрела вас.— Женщина сняла очки с толстыми стеклами, и близорукие ее глаза сразу стали домашними и беспомощными. Она осторожно помассировала пальцами веки, вздохнула и сказала:— Что же вы стоите, садитесь. Сурен Аршакович сказал мне...

Дверь кабинета приоткрылась, в щели показалась женская голова с унылым синим носом и пробасила:

— Екатерина Тарасовна, там сантехник...

— Вы же видите, Клабочка, я занята,— вздохнула Екатерина Тарасовна и встала из-за стола. Из-под халата видны были коричневые вельветовые джинсы.

— Простите, я сейчас вернусь.

— Ради бога...

Я тоже встал и начал рассматривать содержимое двух стеклянных шкафов. В них лежали аккуратные рукавицы, мужские сатиновые трусы, в каких играли в футбол во времена Бутусова и Селина, салфетки. В другом месте я бы, вероятно, долго думал, что бы эти вещи могли значить, но в кабинете главврача психдиспансера они явно демонстрировали достижения больных. Рукавицы в особенности были хороши. Может, и я научусь шить такие...

— Простите,— сказала Екатерина Тарасовна, входя в кабинет.— Голова просто кругом идет. Не одно, так другое. В подвале труба лопнула, два врача больны, хорошо, хоть с третьим не подтвердилось...

— Что не подтвердилось?

— Понимаете, дважды на одной неделе его видели на улице, когда он шел под руку с нашими больными женского пола.

— Это нельзя?

— Что вы, что вы! — испуганно замахала руками Екатерина Тарасовна.— Это категорически запрещено. Использование служебного положения. Мне рассказали, у меня сердце упало. Осó-

бенно одна из них, необыкновенно интересная девушка, красавица, умненькая... Я вызвала врача к себе, заперла дверь и говорю: «Яков Григорьевич, этого я от вас не ожидала. Вы прекрасный врач, у вас изумительная жена...» Он посмотрел на меня безумными глазами и спросил: «Ну и что? Разве это нельзя совмещать?» Я устаю ужасно, нервы на пределе, сын спутался с какой-то проходимкой без московской прописки, а здесь сидит тридцатипятилетний человек и пытается неуклюже шутить. «Не острийте! — завизжала я. — Я категорически требую, чтобы вы это немедленно прекратили!» — «Что именно? — спрашивает он меня. — Быть прекрасным врачом или иметь изумительную жену?» Я почувствовала, что вот-вот заплачу или тресну его по голове чернильным прибором. «Яков Григорьевич, вы шли под руку с...» И тут он начал смеяться. Какой-то неукротимый смех. Смеется, а на глазах слезы. «Я провожал их в метро, — наконец выдавил он из себя. — Они боятся. Типичная клаустрофобия». Мне стало нестерпимо стыдно. «И вы... — пробормотала я, — вы по своей инициативе тащились с ними в метро, провожали до дому?» Боже, как мы подозрительны друг к другу! Перебирая побудительные мотивы того или иного поступка, мы сразу автоматически отбрасываем благородные объяснения. — Екатерина Тарасовна еще раз громко вздохнула, снова сняла очки и помассировала веки. — Простите за жалобы. Теперь рассказывайте вы.

Я только начал рассказывать, как главврача снова позвали. Теперь шофер не хотел ехать, ссылаясь на севший аккумулятор.

Я даже не мог смеяться. Шоферы и сантехники издевались над моей личной трагедией, главврач рассказывала мне, больному, о своих трудностях. Аккуратные рукавицы призывно смотрели на меня из стеклянного шкафа.

Екатерина Тарасовна вернулась в кабинет, решительно повернула ключ в двери и виновато улыбнулась.

— Все, больше нам никто не помешает. Рассказывайте, что вас беспокоит.

Она слушала меня внимательно, задавала вопросы. Наконец она сняла очки, уже знакомым мне жестом сделала массаж век и сказала:

— Пока я не вижу особых оснований для беспокойства. В основном ваши трудности носят, я бы сказала, личностный характер...

— Но голоса растений, — пробормотал я. — Они тоже носят личностный характер? Или, может быть, вы верите, что я их слышал?

Екатерина Тарасовна мудро пожала плечами:

— Я работаю уже четверть века, и я научилась быть менее категоричной, чем тогда, когда выскочила из института.

— Но растения не могут разговаривать,— застонал я.— Я был в лаборатории, говорил со специалистами...

— А я не утверждаю, что могут. Лично я никогда их голоса не слышала. Но ведь и электронов я тоже не видела...

— Допустим. Но зато мы видим, как они, например, раскаляют нить электролампочки. А голоса цветов...

— Наверное, мы еще плохо понимаем влияние живой природы на нас, нашу психику. И может, проявлений этого влияния больше, чем мы можем сегодня представить себе. И неважно, что свет лампочки заставляет нас щуриться, а влияние живой природы...

— Но голоса...— простонал я.

Екатерина Тарасовна почему-то вздохнула, посмотрела на меня не то с сожалением, не то с жалостью и сказала сухо:

— По-видимому, вы переживаете какой-то духовный кризис. Вы литератор, у вас чрезвычайно развито воображение, мышление носит преимущественно ассоциативный характер. Возможно, вы недовольны собой. Вам нужно как следует отдохнуть. Если бы вы смогли недельку-другую походить где-нибудь за городом на лыжах, вы бы себя не узнали. Попейте валерианочки. Поприимайте тазепам, сейчас я вам выпишу. И главное — не забирайте себе в голову, что вы больны.

Я вышел из диспансера. Было морозно, но мартовское солнце растапливало на асфальте дорожек льдышки, и они лежали, окруженные темными влажными кляксами. Старушка несла две авоськи с глянцевыми яркими апельсинами. У меня похолодело все внутри. Моя старушка не может быть здесь, она на другом конце Москвы, Я подошел поближе. Старушка была не та, и я облегченно сказал ей: «Здравствуйте». «Бонжур»,— сказала старушка и юркнула в подъезд. Право же, не зря они выстроили здесь психдиспансер.

Около магазина «Свет» я увидел автомат. Я опустил две копейки и набрал Нинин номер. Чудеса продолжались. Неожиданно она ответила.

— Ниночка, я хочу тебя видеть,— сказал я.

— У меня сегодня тренировка,— скучным голосом сказала она.

— Ну и черт с ней, с тренировкой, можно хоть раз пропустить ее?

— Что вы, Геннадий Степанович, пропустишь раз, пропустишь два — потом не наверстаешь,— рассудительно сказала она, и мне показалось, что она зевнула.

Все было правильно. Мир был ясен и тверд. Растения, как и предполагалось, не разговаривают. Лыжи полезны для здоровья. В Нининой жизни я занимал место после стирки, но перед уборкой квартиры.

Мир был ясен и тверд, и все должны в нем знать свое место.

Мне стало скучно, как было только что скучно Нине, на другом конце провода, и я зевнул. Скучно и холодно. И ясно. Все было ясно. Но не летней ясностью, а скучной зимней ясностью. Серая прозрачность зимнего дня.

Между двух сугробов буксовал «Запорожец». По обеим сторонам улицы тянулись шеренги людей с глубокими залысинами и светлыми, почти водянистыми глазами. Мне было скучно смотреть на них. И им на меня.

Моя душа была разлинована расписанием. Сегодня то же, что вчера. А завтра такое же, как сегодня.

Домой тащиться мне не хотелось, там меня никто не ждал. Пожалуй, лучше всего сейчас было бы поехать в бильярдную.

И я поехал в бильярдную Дома кино.

— А, Геночка, — расцеловал меня человек, которого я видел раз или два в жизни, — как ты, старичок?

— Ничего, дорогой. Можно сказать, прекрасно.

— Приходи в среду на премьеру моего детективчика. Хвастаться не буду, старичок, но, по-моему, получилось. Придешь?

— Обязательно, — сказал я с убежденностью, которая дается только при сознательном обмане.

— Жду тебя.

— Как там ваша «Любовь по протоколу»? — спросил шустрый седой человечек в кожаном пиджачке. — Говорят, трудности?

— Почему трудности? Все идет хорошо.

— А... — поскучнел человечек и пошел дальше.

Откуда-то снизу начала подниматься беспричинная злоба. Она собиралась кучевыми облаками. Облака крепи, собирались, густели, темнели.

Будьте вы все прокляты! Паршивые стебельки, сбившие меня с панталыку, ласковый ловкий псих Александр-Васильевич. Сколько же партий выиграл он у меня под разговорчики о чайниках и живых душах? И Ниночка моя, копьёметательница. Мало ей физиологов-вольников и гонщиков, задурила голову сорокалетнему дураку. Будьте вы, друзья мои, все прокляты!

Помню, что подходил к каким-то незнакомым людям,

помню, как кто-то твердо стискивал мой локоть и вел меня куда-то, как я вырывался, как кто-то уверял меня, что я талант, а я все пытался вырваться.

Немножко пришел я в себя в лифте. По нескольким привычным надписям, изящно выгравированным гвоздем на стенках, я понял, что подымался к себе домой. Старушки с апельсинами не было.

Не раздеваясь, я прошел в комнату, щелкнул выключателем.

— Ну что, милые братики си... ци... ну, вы понимаете... И ты, луковица лукавая... Думали, будете морочить мне голову, дряни зеленые?

Мне показалось, что я услышал испуганный крик. Я замолчал и стоял покачиваясь. Кровь водопроводно шумела в ушах, сердце колотилось. Было нестерпимо жарко и душно. Я раскрыл дверь на балкон.

— Гена,— слышался испуганный голос Приоконного брата — ты...

— Врешь! — заорал я. — Врешь! Нету вас, нет! Понимаете, сорняки, нет вас! Теперь-то я это точно знаю! Вы га... галлю... вы иллюзии, химеры, фантомы, миражи, фата-морганы. Вы не существуете, и нечего смущать мой покой...

— Гена,— голос Стенного брата дрожал от ужаса,— Гена...

— Хватит! — завизжал я. — Хватит! Будьте вы все прокляты!

Мутная сильная волна подхватила меня, подняла. «Сейчас я сделаю что-то непоправимое», — пронеслось у меня в голове, но волна была неудержимой, и ниточка мысли тут же лопнула. Я перестал сопротивляться. Волна несла меня, и в отрешенном страшном подчинении ей была противоестественная сладость. Я схватил горшок с Приоконным братом и трахнул его о пол. Где-то тонко зазвенела чашка. Глиняные черепки хрустели у меня под ногами.

— Вот вам! Вот вам! — застонал я и наступил ногой на разорванный стебель. — И ты, и ты! — я швырнул на пол горшок со Стенным братом, горшок Безымянки.

Стало тихо. За стеной знакомый женский голос сказал:

— В Москве и Подмоскowie ночью до минус десяти, на востоке области до минус шестнадцати, днем около нуля.

Кто-то медленно двигал ручку реостата, и свет гас плавно, как в театре. И так же томительно плавно я падал, падал на тахту, проваливался в спасительную темноту.

Я проснулся сразу, будто вышвырнутый из сна катапультий. Страшное горе распирало грудь. Дышать было невозможно. Жить было нельзя. Впервые я отчетливо понял, что должны чувствовать люди, кончающие с собой.

И в этот момент в вязкой мертвой тишине я услышал тонкий голосок Безымянного цветка. Я не сразу понял, что шепчет мне Безымянка, но шепот был так полон сострадания, так трепетала в нем любовь, что слезы хлынули у меня из глаз.

Туча, что собиралась годами, пролилась очищающим дождем. Все было проще. Все было неизмеримо проще.

Я стал на колени и благоговейно поднял с пола зеленые стебли...

Георгий Гуревич

ВОСЬМИНУЛЕВЫЕ

...Ць, Цью, Цьялалли, Чачача, Чбебе, Чбуси, Чгдегда...

Гурман, изучающий ресторанное меню, кокетка на выставке мод, книголюб в сокровищнице букиниста, ребенок в магазине игрушек в слабой степени ощущают то, что я чувствовал, пронося эти названия — реестр планет, предложенных мне для посещения. Любая — на выбор.

Так организован туризм у звездожителей, в их шаровом скоплении. И конечно, я там буду первый гость с Земли, первый космический корреспондент. И вот получил разрешение, вожу глазами по прейскуранту планет, а киберсправочник чирикающим своим голоском дает пояснения:

— Шафилэ. Желтое небо. Суши нет. Две разумные расы — подводная и крылатая. Три солнца, два цветных и одно тусклое. Ночи синие, красные и фиолетовые вперемежку. Изредка черные. Шафтхитхи. Зеленое небо. Форма жизни электромагнитная. Миражи, копирующие вашу внешность. Шаххах. Горячие трясины. Ярко-белые камыши...

Все-то он знает, этот кибер. Чирикающая энциклопедия.

...Эав, Эазу, Эалинлин, Эароп...

— Эароп хочу, — сказал я.

Почему я выбрал именно эту планету? Только из-за названия. Я знал, что «роп» означает «четыре», Э-А — просто буквы в алфавите. Эа-роп — четвертая планета невыразительного солнца, обозначенного буквами Э-А. Но все вместе звучало похоже на «Европа». Не мог же я не побывать на той космической Европе, ничего не рассказать о ней землянам-землякам.

— Небо безвоздушное, черно-звездное, — прочирикал мой ки-

бер-эрудит. — Солнце красное, класса М. Температура грунта 20 — 30 градусов выше абсолютного нуля. (Надеюсь, не надо пояснять, что я перевожу тамошние меры на земные.) Залежи германия. Заброшенный завод устаревших машин типа «Дважды два». Персонал эвакуирован. Собственной жизни нет. Интересы для посещения не представляет, опасность представляет. Автоматы-разведчики с планеты не возвращаются по невыясненным причинам. Рекомендую соседнее небесное тело в той же системе — Эалинлин. Небо красное. Гигантские поющие цветы, мелодичными звуками привлекающие птиц-опылителей. Симфонии лугов, баллады лужаек. Все композиторы летают вдохновляться.

Хозяевам виднее. Я не стал спорить.

— Даешь поющие цветы, — сказал я. — Закажи мне рейс.

В учебниках астрономии принято писать, что звезды в шаровом расположении кучно, но «кучность» эта относительная. Все-таки от звезды до звезды не меньше светового года, такие расстояния реактивный двигатель не берет. И хотя тамошние корабли похожи на наши ракеты внешне, летают они на другом принципе. Стартуют, как и наши, вертикально, но потом как-то ввинчиваются в пространство. И ощущение при этом такое, как будто тебя берут за ноги, за шею и выжимают, как мокрое белье, выкручивают, все суставы выворачивают, из каждой клеточки выдавливают сок. Сначала крутят в одну сторону, потом в обратную — вывинчивают. И в результате, выжатый, измочаленный, задыхающийся, ты оказываешься в другой солнечной системе. Вот тебе солнце ЭА спектрального класса М. Вот планеты — певучая Эалинлин рядом, а поодаль — Эароп, нестоящая.

Не завернуть ли туда все-таки? Ведь дома меня обязательно спросят, что это за Европа такая в дальнем космосе.

Сказано — сделано. Даю задание на перерасчет. Идет обычный спуск с перегрузкой. Терплю. Раньше меня выкручивали, теперь сплющивают. Рев. Толчок. И ватная тишина. Я на чужой планете.

Нет, я не пожалел, что завернул на эту Европу, хотя она совсем не была похожа на нашу. Голая, скалистая, совершенно безжизненная планета. Сила тяжести здесь была достаточная, чтобы удержать атмосферу, но далекое солнце ЭА присылало слишком мало тепла, и воздух замерз, превратился в лужи, дымящиеся, как проруби в морозный день. В красном свете ЭА дымка эта казалась красноватой, в лужах играли кровавые блики, скалы переливались всеми оттенками пурпурного, багрового, алого, малинового, кирпичного, вишневого, фиолетового, красно-бурого. Тени были тоже бурые, или шоколадные, или цвета запекшейся крови, а в глубине — бархатно-черные или темно-зеленые почему-то. Дали про-

свечивали сквозь красноватый туман, напоминающий зарево пожара, вершины были как догорающие угли, а утесы, вонзившиеся в небо, — словно замершие языки пламени. И над всем этим окаменевшим пожаром висело слабосильное малиновое солнце, висело на черном небе, не гася звездного бисера, не стирая узоров мелких созвездий шарового.

Наверное, с час я любовался этим этюдом в красных тонах. Искал в почве гранаты, в клюквенных лужах собирал горсти рубинов. Увы, трезвый свет электрического фонаря превращал рубины в обломки кварца. Потом я заметил целый букет каменных цветов. Полез проверять, что это — друза горного хрусталя или нечто неизвестное? И такая неосторожность: нарушил основную заповедь космонавта: «Один на незнакомой планете — не удаляйся от своего корабля!»

Единственное оправдание: планету-то считали безжизненной.

А когда я спрыгнул со скалы с обломком кристалла под мышкой (все-таки это был обычный горный хрусталь), между мной и ракетой стояли три тумбы.

Нет, я не испугался. Это были стандартные рабочие киберы, с ячеистыми фотоглазами под довольно узким лбом-памятью и с четырьмя ногами, прикрепленными на кривошипах на уровне висков. Звездожители считают эту схему наиболее рациональной. С опущенными плечами машины могут ходить, с поднятыми — работать стоя. А на узком лбу я разглядел стандартный знак: квадрат с двумя черточками слева и двумя снизу: дважды два — четыре.

«Ах да, здесь же был завод программных машин марки «Дважды два — четыре». Мне говорили перед отлетом.

— Гвгвгвгвгвгв...

Каждый владелец магнитофона знает этот свистящий щебет, звук разматывающейся ленты, чиликанье проскакивающих слов. Стало быть, машина не только самодвижущаяся, но и разговаривающая. Только разговаривала слишком быстро.

Я провел рукой направо и вниз, показывая, что темп надо снизить. Видимо, машина знала этот жест, потому что щебет прекратился, я услышал членораздельные слова на кодовом языке шарового.

— Он зовет тебя, — сказала машина.

— Кто «он»?

Я не очень надеялся получить осмысленный ответ, потому что на лбах у машин рядом с квадратом были привинчены шесть нулей, то есть у них было шестизначное число элементов — достаточно, чтобы ходить и говорить, но слишком мало, чтобы понимать вопросы. Однако на мой простой вопрос ответ я получил:

- Он всезнающий,— сказала тумба.
- Он вездесущий,— добавила другая.
- Он всемогущий,— объяснила третья.

«Вот тебе на,— подумал я.— Нашелся среди программистов чудака, который сочинил религию для роботов».

- Он зовет тебя.

Но я хорошо помнил, что «автоматы-разведчики с планеты не возвращаются по невыясненным причинам». И «завод остановлен, персонал эвакуирован». Вот почему не вызывал у меня доверия застрявший здесь никому не ведомый программист, упивавшийся поклонением машин. Не разумнее ли уклониться от встречи с маньяком?

— Благодарю за приглашение,— начал я, пятясь к ракете,— в следующий раз я обязательно...

Продолжать не пришлось. Вдруг я взлетел вверх и прежде, чем успел сообразить что-нибудь, очутился на плоском темени одной из машин. Две другие держали меня за плечи справа и слева. И тут же их ноги зашлепали по лужам цвета раздавленной клюквы.

- Стой! Куда? Пустите!
- Он зовет тебя.

Пришлось подчиниться, тем более что машины, шагающие рядом, цепко держали меня. Лапы у них были литые, с острыми краями, и я боялся сопротивляться, опасался, как бы не порвали скафандр.

Ноги машин выбивали дробь по камням, они переступали куда чаще человеческих. Мы мчались по бездорожью со скоростью автобуса. Внутри у меня все дрожало и белело от ударов о жесткую макушку робота, в глазах мелькали мазки кармина, киновари, краплака, сурика. Дорога шла малиновыми холмами, темно-гранатовой ложиной, мы пересекли реку, похожую на вишневый сироп, углубились в ущелье со скалами цвета бордо. Потом ненадолго нырнули в тушь, утонули в темноте, где я ничего не видел, как ни тарашил глаза. Но машины, должно быть, различали инфракрасное сияние, они топали по-прежнему уверенно. И опять из ночи мы вернулись в багровый день. Вдали показались удлинённые корпуса и, в нарушение цветовой гаммы, голубые вспышки сварки.

«А завод-то на ходу,— подумал я.— Ошибся мой всезнающий киберсправочник».

Впрочем, к корпусам мы не пошли, сразу же свернули в сторону и остановились у покатога пандуса, ведущего вглубь. Привычная картина. Передо мной было стандартное противометеоритное укрытие для безвоздушных планет. Все было знакомо: в конце пандуса шлюз, налево баллоны с кислородом, метаном, аммиаком — кому

какой газ требуется для дыхания. Прямо — коридор и комнаты, а в комнате ванна и ратоматор — этот чудесный аппарат звездожителей, расставляющий атомы в заданном порядке, способный изготовить любую пищу по заказу. Когда я болел, он штамповал для меня земные персики. Ленты с программами были у меня в сумке, и, ожидая, когда «Он» позовет меня, я изготовил мои любимые персики, а также спекс жареный, спекс печеный, кардру, ю-ю и соус 17-94. Что это такое, объяснять бесполезно. Блюда эти придуманы звездными химиками, формулы смесей невероятно длинны и ничего вам не скажут. В общем, спекс — это нечто жирно-соленое, кардра — кисло-сладкое, ю-ю пахнет ананасами и селедкой, а соус 17-94 безвкусен, как вода, но возбуждает волчий аппетит. И я возбудил волчий аппетит, поужинал спексом и прочим, закусил персиками, вздыхая о далекой Земле, и, поскольку «Он» все еще не звал меня, завалился спать. День был тяжелый: я ввинчивался в пространство, вывинчивался из пространства, перегружался на спуске, тряся на стальной жесткой макушке, попал не то в гости, не то в плен. И если в таких обстоятельствах вы не спите от волнения, вы не годитесь в космические корреспонденты.

Поутру меня разбудили гости — тоже машины, но куда больше вчерашних, такие громоздкие, что они не могли влезть в комнату, вызвали меня для разговора в просторный пустой зал, вероятно спортивный в прошлом, с сухим бассейном в середине. В этом бассейне они и расположились, уставив на меня свои фотоглаза. У них тоже были ноги на кривошипах, подвешенные к ушам, и лбы с эмблемой «дважды два». Но у вчерашних машин лбы были узкие, плоские физиономии имели вид удивленно-оторопелый. У этих же глаза прятались под монументальным нависающим лбом, и выражение получалось глубокомысленное, серьезное и осуждающее. Вероятно, это и в самом деле были глубокомысленные машины, потому что рядом с квадратиком у них были привинчены пластинки с восьмью нулями. Восьмизначное число элементов — сотни миллионов. Пожалуй, это были вычислительные машины высокого класса.

— Он поручил нам познакомиться с тобой, — объявили они.

Я подумал, что этот «Он» не слишком-то вежлив. Мог бы и сам поговорить со мной, не через посредство придворных машин. Но начинать со споров не хотелось. Я представился, сказал, что я космический путешественник, прибыл с далекой планеты по имени Земля, осматриваю их шаровое скопление.

— Исследователь, — констатировала одна из машин.

— Коллега, — добавила другая. (Я поежился.)

А третья спросила:

— Сколько у тебя нулей?

— Десять, — ответил я, вспомнив, что в мозгу у меня пятнадцать миллиардов нервных клеток, число десятизначное.

— О-о! — протянули все три машины хором. Готов был поручиться, что в голосах у них появилось почтение. — О! Он превосходит нас на два порядка.

— Какой критерий у тебя? — спросила одна из машин.

— Смотря для чего! — Я пожал плечами, не поняв вопроса.

— Ты знаешь, что хорошо и что плохо?

Я подумал, что едва ли им нужно цитировать Маяковского, и предпочел ответить вопросом на вопрос:

— А какой критерий у вас?

И тут все три, подравнявшись, как на параде, и подняв вертикально вверх левую лапу, заговорили торжественно и громко, как первоклассник-пятерочник на сцене:

— Дважды два — четыре. Аксиомы неоспоримы. Только Он знает все (хором).

— Знать — хорошо! (первая машина).

— Узнать — лучше! (вторая).

— Лучше всего — узнавать неведомое! (третья).

— Не знать — плохо! (мрачным хором).

— Помнить — хорошо. Запоминать — лучше. Наилучшее — запомнить неведомое.

— Забывать — плохо! (хором).

— Считать — хорошо. Решать уравнения — лучше. Составлять алгоритмы решений — лучше всего.

— Ошибаться — плохо!

Там были еще какие-то пункты насчет чтения, насчет постановки опытов, насчет наблюдений, я уже позабыл их (забывать — плохо!). А кончалась эта декламация так:

— Кто делает хорошо, тому Он прибавит нули.

— Кто делает плохо, того размонтируют.

— Три больше двух. Дважды два — четыре.

— Ну что ж, этот критерий меня устраивает, — сказал я снисходительно. — Действительно, дважды два — четыре и знать хорошо, а не знать плохо. Поддерживаю.

И тогда мне был задан очередной вопрос коварной анкеты:

— А какая у вас литера, ваше десятинулево превосходительство?

— Нет у меня никаких литер.

— У каждого специалиста должна быть литера. Вот я, например, восьминулевой киберисследователь А — астроном. Мой товарищ В-восьминулевой — биолог, а это восьминулевой С — химик.

— В таком случае я — АВС и многое другое. Я космический

путешественник, это комплексная специальность, она включает астрономию, биологию, химию, физику и прочее.

И зачем только я представился так нескромно? Почтительность машин вскружила мне голову. «Ваше десятинулевое превосходительство!» Я и повел себя как превосходительство. И тут же был наказан.

А-восьминулевой первым кинулся в атаку:

— Какие планеты вы знаете в нашем скоплении?

Я стал припоминать:

— Ць, Цью, Цьялалли, Чачача, Чауф, Чбуси, Чгедегда... Эав, Эазу, Эалинлин, 'Эароп — ваша... Еще Шаххах... ну и прочие.

— Нет, я спрашиваю по порядку. В квадрате А-1, например, мы знаем двадцать семь звезд, — затараторил А. У звезды Хмеас... координаты такие-то, планет столько-то, диаметры орбиты такие-то, эксцентриситеты такие-то... перигелии, прецессии... Выпалив все свои знания о двадцати семи планетных системах. А остановился с разбега.

— И что вы можете добавить, ваше десятинулевое?

— В общем, ничего... Я... хм... я новичок в вашем шаровом. Я не изучал его так подробно...

Затем на меня навалился С-химик:

— Атомы одинаковы на всех планетах. Сколько типов атомов знает ваше десятинулевое?

Сто семь элементов были известны, когда я покидал Землю. Я попробовал перечислить их по порядку: водород, гелий, литий, бериллий, бор, углерод, азот, кислород, фтор, неон, натрий, магний, алюминий... В общем, я благополучно добрался до скандия. И застрял. А вы, читающие и усмехающиеся, знаете и дальше скандия наизусть?

— А изотопы? — настаивал дотошный С. И выложил тут же свой запас знаний: Скандий. Порядковый номер 21. Заряд ядра 21. Атомный вес стабильного изотопа 45, в ядре 21 протон и 24 нейтрона. Нестабильные изотопы 41, 43 и 44. У всех бета-распад с испусканием позитронов. 46, 47, 48 и 49 — бета-распад с испусканием электронов. У изотопа 43 наблюдается К-захват электрона с внутренней орбиты. Периоды полураспада: у изотопа 41 — 0,87 секунды, у изотопа 43...

И закончил sacramентальной фразой:

— Что вы можете добавить?

Я молчал. Ничего я не мог добавить.

И тогда выступил В, чтобы добить меня окончательно:

— Но себя-то вы знаете превосходно, Ваше десятинулевство. Что вы можете сообщить нам о химическом составе вашего тела?

— Очень много. — начал я уверенно. — Тело мое состоит в

основном из различных соединений углерода, находящихся в водном растворе. Важную роль играют в нем углеводы, жиры, еще более важную — белки, строение которых записано на нуклеиновых кислотах. Белки — это гигантские молекулы в форме нитей, перевитых, склеенных или свернутых в клубки. Все они состоят из аминокислот...

— Каких именно?

Я молчал. Понятия не имел. А у вас есть понятие?

— Входят ли в состав ваших белков аланин, аргинин, аспаргин, валин, гистидин, глутамин?.. — он перечислил еще кучу «инов».

— Не знаю.

И, уже не величая меня десятинулевым превосходительством, машины заговорили обо мне без стеснения, как я говорил бы о подопытной собаке:

— Он знает меньше нас. Возможно, он не десятинулевой на самом деле. Надо бы вскрыть его кожных и пересчитать блоки.

— У него темп сигналов медленнее наших, — заметил С. — Ему на каждое вычисление требуется больше элементов.

В уничтожил меня окончательно:

— У них, органогенных, сложный механизм с саморемонтом. Почти все элементы загружены этим саморемонтом. Изучением внешнего мира занята едва ли тысячная часть.

— Значит, он семинулевой практически. Если не шестинулевой.

— Он ниже нас! Ниже!!!

— Доложим! Немедленно доложим!

У всех троих появились над головой чашеобразные антенны, встали торчком, словно уши насторожившейся кошки. На всю планету В объявил о моем позоре:

— Объект, прибывший из космоса, оказался органогенным роботом. Он объявил себя десятинулевым универсалом, но при проверке оказалось, что вычисляет он медлительно, знания его не специфичны, поверхностны и малоценны. Ни в одной области он не является специалистом, даже о своей конструкции осведомлен слабо и нуждается в тщательном исследовании квалифицированными машинами нашей планеты.

Я был так пристыжен и подавлен, что не нашел в себе сил для сопротивления; тут же отдал для лаборатории три капли своей крови, замутненной аланином, аргинином, аспаргином и черт знает еще чем.

Учиться никогда не поздно, и следующие дни мы провели в добром согласии с любознательными А, В и С. В свою очередь и я проявлял любознательность, в результате чего получил немало

сведений о светилах, белках и изотопах. Кроме того, мы совершили несколько занимательных экскурсий. А показал мне астрономическую обсерваторию с великолепнейшим вакуум-телескопом. (В шаровом делают линзы не из прозрачных веществ, а из напряженного вакуума, искривляющего лучи так же, как наше Солнце искривляет лучи, проходящие поблизости.) В продемонстрировал электронный микроскоп величиной с Пизанскую башню, а С возил меня по городку Физики и Химии, окруженному, как крепостной стеной, синхрофазотроном диаметром девять километров. И все трое вместе показывали завод, который я видел издалика в день прибытия: длинное приземистое здание, полыхавшее голубыми огнями. Оказывается, это был завод-колыбель; здесь в массовом порядке с конвейера сходили шести-, семи- и восьминулевые А, В, С, Е, F, G, М, Р и прочие литеры. Занятно было видеть на деловых дворах заготовки: шеренги ног, левых и правых по отдельности, полки с ушами, штабеля глаз, квадратные черепа, еще пустые, не заполненные памятью, и отдельно блоки памяти, серийные, стандартные, без номеров. Тут же рядом за стеной новенькие отполированные восьминулевки проходили первоначальное программирование. Срывающимися, неотшлифованными голосами они галдели вразнобой:

— Дважды два — четыре. Знать — хорошо, узнавать — лучше... Помнить — хорошо, забывать — плохо... Но только Он помнит все!

— Кто же это Он? — допытывался я.

— Вездесущий! Всемогуший! Аксиомы-дающий!

— Он материализованная аксиома, — сказал В.

Любопытное проявление идеализма в машинном сознании.

— Откуда же Он?

— Он был всегда. Он создал мир и аксиомы. И нас, по своему образу и подобию.

Тут уж я расхохотался. Наивное самомнение верующих машин! Если бог, то обязательно по их подобию.

— Разве вы не видели его своими собственными фотоэлементами?

— Он необозрим. Он непостижим для восьминулевых.

Все эти дикие преувеличения разжигали мое любопытство. «Кто же этот таинственный Он? — гадал я. — Маньяк ли с ущемленным самолюбием, который тешится поклонением машин, не добившись уважения у звездожителей? Или фанатик науки, увлеченный самодовлеющим исследованием ради исследования? Или безумец, чей бестолковый лепет машинная логика превращает в аксиомы?» «Непостижим! Необозрим!»

Но с машинами рассуждать было бесполезно. За пределами

собственной специальности мои высокоученные друзья не видели ничего, легко принимали самые нелепые идеи. Впрочем, как я убедился, нелепости у них получались и в их собственной специальности, как только они выходили за круг привычных представлений своей сферы.

Восьминулевому А я рассказывал о Земле. Рассказывал, как вы догадываетесь, с пафосом и пылом влюбленного юноши. Говорил о семи цветах радуги, обо всех оттенках, которые не видели заропяне на своей одноцветной планете, говорил о брize и шторме, о запахе сырой земли и прелых листьев, о винном духе спелой земляники, о наивной нежности незабудок и уверенных толстячках-подосиновиках в туго натянутых рыжих беретах. Говорил, говорил и вдруг услышал свистящее бормотание. Невежливый слушатель стирал мои слова из своей машинной памяти.

— В чем дело, А?

— Хранить недостоверное — плохо! Ты не мог все это увидеть на планете, отстоящей на десять тысяч парсеков.

И он привел расчет, из которого следовало, как дважды два — четыре, что даже в телескоп размером со всю планету Эароп нельзя на таком расстоянии разглядеть землянику и подосиновики.

— Но я же сам был там. Я не в телескоп смотрел.

— Далекие небесные тела достоверно изучаются с помощью телескопа, — сказал А. — Это аксиома астрономии. Почему ты позволяешь себе спорить со мной? Ты же не астроном.

— Но я прилетел оттуда полгода тому назад.

— Нельзя пролететь тридцать тысяч световых лет за полгода. Скорость света — предел скоростей. Это аксиома.

Час спустя аналогичный разговор произошел с химиком С.

— Морей быть не может, — сказал он. — Жидкость из открытых сосудов испаряется. У вас же нет крыши над морем.

Я стал объяснять, что жидкость испаряется без остатка только на безатмосферных планетах. Рассказал про влажность воздуха, про точку росы. С прервал меня:

— Все это умозрительно. Ты не знаешь даже точного строения воды, но берешься выдвигать гипотезы. Почему ты споришь со мной? Ты же не химик.

Но всех превзошел восьминулевой В.

Дело в том, что я простыл немного, разговаривая с ними с утра до ночи в неотапливаемом спортивном зале. Простыл и расчихался. Услышав непонятные звуки, восьминулевые спросили, что я подразумеваю под этими специфическими, носом произносимыми словами.

— Я болен, — сказал я. — Я испортился.

В прокрутил записи об анализах моей крови и объявил:

— Справедливо. Сегодняшний анализ указывает на повышенное содержание карбоксильного радикала в крови. Я закажу фальсификатор, мы выпустим из тебя кровь, отсепарируем радикал...

— Предпочитаю стакан Ла-29 (лекарство звездоджителей, напоминающее по действию водку с перцем): На ночь выпью, лягу, укроюсь, утром буду здоров.

— Не спорь со специалистом, — заявил В заносчиво. — Ты же не биолог.

И тут я им выдал. Тут я рассчитался за все унижения:

— Вы, чугунные лбы, мозги, приваренные намертво, схемы печатные с опечатками, специалистики-специфистики, узколобые флюсы ходячие, не беритесь вы спорить с человеком о человеке. Человек — сложное существо, это величественная неопределенность, не поддающаяся вычислению. Чтобы понять человека, рассуждать надо. Рассуждать! Это похитрее, чем дважды два — четыре, три больше двух.

К удивлению, машины смиренно выслушали меня, не перебивая. И самый любознательный из троих — А-восьминулевой (потом я узнал, что у него было много пустых блоков памяти) сказал вежливо:

— Знать — хорошо, узнавать — лучше. Мы не проходили, что такое «рассуждать». Дай нам алгоритм рассуждения.

Я обещал подумать, сформулировать. И всю ночь после этого, подогретый горячим пойлом, лихорадкой и вдохновением, писал истины, известные на Земле каждому студенту-первокурснику и совершенно неведомые высокоученым железкам с восьминулевой памятью.

Алгоритм рассуждения

1. Дважды два — четыре в математике, но в природе не бывает так просто. В бесконечной природе нет абсолютно одинаковых предметов и абсолютно одинаковых действий. Две супружеские пары — это четыре человека, но не четыре солдата. Две девушки и две старухи — это четыре женщины, но не четыре плясуньи. Поэтому прежде, чем умножать два на два, нужно проверить сначала, можно ли два предмета считать одинаковыми и два раза тождественными. Если же рассчитывается неведомое, безупречные вычисления не достовернее гадания на кофейной гуще.

2. Мир бесконечен, а горизонт всегда ограничен. Мы наблюдаем окрестности и выводы из своих наблюдений считаем законами природы. Но планеты шарообразны, кто уходит на восток, возвращается с запада. «Так» где-то превращается в «иначе», а еще где-то —

в «наоборот». То, что нам кажется аксиомой, на самом деле только правило, местное, временное, непригодное и неверное за горизонтом.

3. Блоху я рассматриваю в лупу, бактерию — с помощью микроскопа. Но и у микроскопа есть свой предел — длина световой волны. Чтобы проникнуть глубже, я применяю иной микроскоп — электронный, потому что электронные волны короче световых. Однако сами электроны не видны и в электронном микроскопе. В результате у специалистов-электронщиков возникает соблазн объявить, что электрон принципиально ненаблюдаем и даже непознаваем.

4. Прибор надо менять своевременно и своевременно менять метод расчета. Мы всегда знаем только часть и не знаем все остальное. Если неизвестное несущественно, мы предсказываем и высчитываем довольно удачно. Но если неизвестное оказывает заметное влияние, формулы и расчеты лопаются как мыльные пузыри. И у специалистов-расчетчиков возникает соблазн объявить, что наука исчерпала себя. Видимо, неудобно признаться, что ты, ученый, зашел в тупик, приятнее утверждать, что дальше нет ничего...

Всю ночь я писал эти прописные истины, а наутро, волнуясь, как начинающая поэтесса, прочел их трем чугунолобым слушателям, в глубине души надеясь, что реабилитирую себя в их фотоэлектронных глазах, услышу слова удивления и восхищения.

И услышал... шипящее бормотание. А, В и С — все трое сразу — решили стереть мои слова из памяти.

— Что такое? Почему? Вы не хотите рассуждать?

— Твой алгоритм неверен, — сказал А. — Если дважды два — не четыре, тогда все наши вычисления ошибочны. Ты подрываешь веру в науку.

— Ты враг истины, — поддержал В, а С заключил:

— Аксиомы дает Аксиом Всезнающий. Если бы мир был бесконечен, Он не мог бы знать все. Значит, ты враг Аксиома. Ты клеветник! Враг! Враг! Враг!

В тот день я почувствовал, что мне надоела эта планета «Дважды два». Я был болен и зол, глаза у меня устали от одноцветности, от малиновых рассветов и багровых вечеров. Мне захотелось на бело-перламутровую Эалинлин с оркестрами поющих лугов, а еще бы лучше на Землю, зелено-голубую, милую, родную, человечную, где по улицам не расхаживает литье с нулями на лбу. И я сказал друзьям-недругам, что намерен покинуть Эароп. Если их Аксиом хочет со мной знакомиться, пора назначать аудиенцию, а если не хочет, пусть остается себе в приятном обществе бродячих комодов.

А, В и С вздернули свои радиоушки, и через минуту я получил ответ:

— Всеведущий приказывает задержать тебя, пока не закончится изучение твоего организма. Ведь ты единственный человек, посетивший нашу планету, заменить тебя некем.

— И сколько времени нужно вам на изучение?

— Надо записать формулы молекул, координаты и точное строение клеток. Итого, около трехсот триллионов знаков по двоичной системе. Если записывать по тысяче знаков в секунду, за триста миллиардов секунд можно управиться.

— Триста миллиардов секунд? — заорал я. — Десять тысяч лет! Да я не проживу столько.

— Откуда тебе известно, сколько ты проживешь? По какой формуле ты высчитываешь будущее?

— Откуда? Оттуда! Я человек и знаю, сколько живут люди. Я уже старею, у меня виски седые. Непонятно, головы с антеннами? Я цветею, я разрушаюсь, порчусь, разваливаюсь. И испорчусь окончательно лет через двадцать, если не раньше.

— Мы предохраним тебя от порчи, — заявил В самонадеянно. — Соберем лучших биологов и решим, как сделать тебе капитальный ремонт.

Вот чего не было на планете аксиомопоклонников — волокиты. Уже через три часа в пустующем бассейне состоялся консилиум В-машин разных специальностей. Приползли даже гиганты девятинулевые, но эти не смогли втиснуться в шлюз, им пришлось оставить громоздкие мозги снаружи, а на совещание прислать только глаза и уши, соединенные кабелем с телом. Мне это напомнило желудок морской звезды, который выползает из рта, чтобы переварить добычу, слишком крупную для того, чтобы проглотить ее.

Мой друг В с восемью нулями изложил историю болезни примерно в таких выражениях:

— Перед нами первобытный примитивный органогенный механизм, имеющий мелкоклеточное строение. Автоматический ремонт идет у него в масштабе отдельных клеточек, и нет никакой возможности разобрать агрегат и заменить испорченные блоки. По утверждению самого объекта, индикатором общего состояния механизма служит цвет бесполезных нитей, находящихся у него снаружи на верхнем кожном. Нити эти белеют, когда весь механизм начинает разлаживаться. Задача состоит в том, чтобы провести капитальный ремонт агрегата, не разбирая его на части даже для осмотра.

Минутное замешательство. Глаза девятинулевых осматривают меня со всех сторон, и, конечно, кабели перекручиваются, завязываются узлами. Восьминулевки почтительно распутывают начальство.

Первым взял слово девятинулевик Ва — биоатмосферик.

— Рассматриваемый несовершенный агрегат, — заявил он, — находится в постоянном взаимодействии с внешней средой и целиком зависит от нее. Причем важнее всего для агрегата газообразный кислород, который всасывается через отверстия головного блока каждые три-четыре секунды. Между тем кислород — активный окислитель горючего, при обильной подаче кислорода горение идет быстрее. Если мы хотим, чтобы агрегат сгорел не за двадцать лет, а за двадцать тысяч, нужно уменьшить концентрацию кислорода в тысячу раз, и жизненный процесс замедлится в нужной пропорции.

— Среда — ерунда! — рявкнул другой девятинулевик, Вр — биопрограммист. — У агрегата есть программа, закодированная на фосфорнокислых цепях с отрезками. Там записано все — цвет головных нитей, форма носа, рост, длина ног, и, несомненно, отмечен срок жизни. Надо разыскать эту летальную запись и заменить ее во всех клетках.

Вс — биохимик высказал свое мнение:

— Агрегату нужен не только кислород, требуются также материалы для ремонта: реактивы и катализаторы. Все они доставляются в клеточки по эластичным трубкам разного размера. С годами эти трубки и трубочки покрываются накипью из нерастворимых солей кальция. Я рекомендую промыть их крепкой соляной кислотой.

Вк — биокибернетик:

— Для таких сложных систем, как изучаемый агрегат, решающее значение имеет блок управления. Указанный блок, агрегат называет его «мозгом», периодически отключается часов на восемь, в это время вся система находится в неподвижном и бездеятельном состоянии. Замечено, что период бездеятельности относится к периоду деятельности, как один к двум. Чтобы продлить существование агрегата в тысячу раз, нужно увеличить это отношение в тысячу раз, то есть каждый день пробуждать агрегат на одну минуту, остальное время держать его в состоянии так называемого сна.

Вt — биототалист (я бы перевел: «как психолог»):

— Замечено было, что агрегат функционирует наилучшим образом в состоянии интенсивной деятельности, которую он называет «интересной работой». Получив «интересное» задание на составление некоего «алгоритма рассуждения», несмотря на неисправность, агрегат провел ночь без так называемого «сна» и наутро чувствовал себя превосходно. Поэтому я предлагаю подобрать увлекательные задачи на каждую ночь, и агрегату некогда будет думать о порче.

(Позже я заинтересовался, почему на безжизненной планете оказалось столько ученых девятинулевиков-биологов. Оказалось,

что машины себя считают живыми существами. Так что меня взяли исцелять специалисты по программированию машин, психологии машин и так далее. Но это я узнал позже, тогда не до того было.)

Рецепты явно противоречили друг другу, и мои консультанты сцепились в яростном споре. Деятинулевики опять завязались узлами, яростно бодая друг друга. Я смотрел на свалку равнодушно. Мне как-то безразлично было: умереть ли от удушья, от соляной кислоты, от снотворных или переутомления.

— Я сложное существо,— пробовал убеждать я своих докторов.

И тут, объединившись, они накинудись на меня:

— Как ты смеешь возражать девятинулевым? Ты же не специалист.

День спустя от своего постоянного куратора В я узнал, что, не убедив друг друга, машины приняли решение проводить на мне опыты поочередно, в алфавитном порядке. Первым оказался Ва, ему и предоставили возможность удушить меня в бескислородной атмосфере. Положение стало безнадежным, и я решил, другого выхода не видя, добиться встречи с Аксиомом. Какой ни на есть, самовлюбленный маньяк или фанатик, а все же живое существо. Должен понимать, что мне дышать надо хотя бы. И я объявил голодовку. Объяснил при этом чугуннолобым (они могли и не понять, что такое голодовка), что я прекращаю подачу материала для саморемонта, реактивов и катализаторов и буду растворять сам себя, клеточка за клеточкой. И предложил им взвесить меня для убедительности. Цифрам они верили.

Только первые сутки голодовки не доставили мне больших мучений. Что-то я вспоминал, что-то записывал. К обеденному времени затревожился аппетит, но я перетерпел, а вместо ужина лег спать пораньше. Но наутро я проснулся с голодной резью в желудке и ничего уже не мог записывать.

Воображение рисовало мне накрытые столы, витрины, прилавки, рестораны и закусовые во всех подробностях. Никогда не представлял я, что в моей памяти хранится столько гастрономических образов. Мысленно я накрывал стол со всей тщательностью опытного официанта, расставлял торчком салфетки, острые и настороженные, как уши овчарки, резал тонкими ломтиками глазчатый сыр и нежно-прозрачную ветчину, выравнивал в блюдечке янтарные зерна красной икры. И, презрев деликатесы, зубами рвал с халы хрустящую корку, обсыпанную маком. Потом накрывал к обеду, раскладывал, резал... И для ужина раскладывал салфетки, резал, рвал хлеб, набивая рот... Нестерпимо!

Дня три терзали меня эти ведения. Затем желудок отвык от пищи, мозг смирился с поражением, перестал будоражить меня.

Пришли безразличие и вялая покорность: «Проиграл так проиграл. Когда-нибудь надо же помирать».

На пятый день чугунные лбы наконец разобрались, чем мне грозит голодовка. Весы убедили их — исчезновение килограммов, непреложная арифметика. Они доложили по начальству и объявили тут же, что Аксиомы-дающий согласен принять меня.

И вот на плоском темени друга моего В, держась за его уши-антенны, я качу во дворец бога вычислительных машин. Малиновое солнце ЭА устилает мой путь кумачом, смородиновые капли взлетают из каждой лужицы. Слева остается завод-колыбель со взводами ног и взводами рук, приветствующих меня, высокого гостя Кибернетии. Мы огибаем ограду и устремляемся к приземистому зданию с множеством дверей, совсем не похожее на дворец, скорее напоминающее станционный пакгауз. Ко всем дверям его движутся машины: прыткие семинулевки, солидные восьминулевые, уже обремененные грузом знаний, и еле тащатся почтеннейшие девяти- и десятинулевства, волоча блоки со старческой памятью своей на прицепных платформах.

Смысл этого паломничества открылся мне в вестибюле дворца-пакгауза. Оказывается, машины приходили с отчетом: они сдавали добытые знания. В стенах имелись розетки, машины-соревнователи втыкали в них вилки, видимо, предоставляли свои блоки для списывания, что-то гудело, стрекотало, и над розеткой появлялась цифра с оценкой обычно 60—70. По всей вероятности, это были проценты новизны и добротности добытых знаний. Прилежные получали новый блок на миллион ячеек, прилаживали его к спине и отбывали, восклицая радостно: «Дважды два — четыре! Но только Он знает все». Тут же происходили и экзекуции. На моих глазах какого-то легкомысленного семинулевку-неудачника, получившего оценку 20, размонтировали, несмотря на жалобное верещание и посулы исправиться. Блоки его вынули, записи стерли и передали отличившемуся самодовольному М (математику). Благодаря прибавке М сразу перешел в девятинулевой разряд и удалился, славословя: «Считать — хорошо, решать уравнения — лучше. Но только Он знает все корни».

А я, глядя на всю эту кутерьму, волнуясь, тасовал в уме варианты убедительных речей. Я понимал, что времени для размышления у меня не будет. Увидев Аксиома, я должен мгновенно понять, с кем имею дело, и выбрать самую действенную дипломатию.

Наконец дошла очередь и до меня. Резкий свисток известил, что Он освободился, наверху над лестницей раздвинулись створки, громадные, как ворота гаража. Переступив порог, я увидел широкий коридор, вдоль которого за сеткой стояла стационарная вычислительная машина, собранная из стандартных блоков с квадрати-

ками «дважды два», с фотоглазами, ртами-рупорами и с частоколом ушей. А под ними бежала-бежала, мерцая, световая лента из нулей-нулей-нулей...

Длинный коридор тянулся бесконечно, исчезая в сумраке и справа и слева. Я остановился в недоумении, не зная, куда повернуть, и тут рты-рупоры загудели разом:

— Ты хотел видеть меня, агрегат, смонтированный из органики. Смотри! Аксиом Великий перед тобой.

Рупоры заговорили разом во всю длину коридора, и каждое слово дополнялось раскатистым эхом: «ом-ом-оммм... ий-ий-ийий...»

«Ну-ну! — подумал я. — Так это и есть Аксиом! Он — машина. Правду сказали мне восьминулевики: «Он создал нас по своему образу и подобию». А я не поверил тогда».

И припомнилось, меня предупреждали же перед вылетом, что на Эароп находился завод машин марки «Дважды два». Видимо, среди них была и машина-память высокого класса с самопрограммированием. Подобным киберам всегда дают критерий: «Что есть хорошо и что есть плохо». Помнить хорошо, забывать плохо, считать хорошо, ошибаться плохо... Эту машину, надо полагать, тоже бросили за ненадобностью, но не учли, что она была еще и саморемонтирующаяся. И, оставленная без присмотра, она починила себя, восстановила завод, наладила монтаж исследовательских машин «по своему образу и подобию», организовала всю эту бессмысленную возню по накоплению никому не нужных сведений.

— Кураторы доложили мне, что ты уклоняешься от исследования, — загудели рупоры.

Я подождал, пока эхо замерло в глубине коридора.

— Ваши кураторы не понимают, как коротка жизнь человека. Мне пятьдесят два года. В среднем люди живут около семидесяти.

— Не беспокойся, — прогудел коридор. — Ты проживешь достаточно. Научные силы моей планеты сумеют продлить твою жизнь на любой заданный срок. Уже установлено, что тебе необходим газообразный кислород, который ты всасываешь через разговорное отверстие каждые три-четыре секунды. Уменьшив концентрацию всесжигающего кислорода в тысячу раз, мы продлим твою жизнь в тысячу раз. Установлено также, что питательные трубочки внутри твоего тела засоряются нерастворимыми солями кальция. Мы их прочистим крепким раствором соляной кислоты. Установлено также, что среда — ерунда, у тебя есть биопрограмма, записанная на фосфорнокислых цепях, и в ней отмечен срок жизни. Мы найдем летальный ген и отщепим его во всех клетках. Установлено также, что твой головной блок, так называемый «мозг», отключается после шестнадцати часов работы. Мы будем выключать его через

одну минуту, и ты проживешь в тысячу раз больше. Кроме того, установлено, что, получив задание с критерием «интересно», ты можешь обходиться без выключения. Видишь, как много сделали мы за короткий срок. Мы, Аксиом всезнающий, мы знаем все...

И тут я не выдержал: расхохотался самым неприличным образом. Оказывается, это болтающее книгохранилище, этот коридор бараньих лбов, это кладбище сведений помнило все, но нисколько не умело рассуждать. Оно списало дубовые умозаключения девятинулевых Ва, Вс и прочих и, даже не сравнив их, не заметив противоречий, выдавало мне подряд. Аксиом действительно знал все... что знали его подчиненные, ни на йоту больше.

— Мы — Аксиом всезнающий, но объясни, что ты подразумеваешь под этими невнятными звуками, — недовольно прогудел всезнающий.

— Они выражают радость, — схитрил я. — Мне радостно, что я могу оказаться тебе полезным. Твои кураторы ограничены. Ты научил их собирать знания, но они не умеют рассуждать. Не получили программу на рассуждение. Я дам тебе эту программу, если ты разрешишь мне удалиться с миром и покинуть твою планету завтра же.

— Я, конечно, знаю все, — заявил Аксиом. — Но поясни, как ты понимаешь термин «рассуждать».

— Рассуждать — это значит сопоставлять и делать выводы, — сказал я, — в частности, сопоставлять вычисления с фактами. Дважды два — четыре в математике, а в природе дважды два — около четырех. Формулы суши хороши для суши, а на море нужны формулы моря. Верное здесь неверно там; за горизонтом «так» превращается в «иначе». Мир бесконечен, мы знаем только окрестности и правила окрестностей считаем аксиомами... — В общем, повторил то, что писал для восьминулевику в алгоритме рассуждения.

После пятидневной голодовки у меня стоял звон в ушах. Предметы то расплывались, то съеживались, как в бинокле, когда наводишь на резкость. Только головокружением могу я объяснить, не оправдать, а объяснить мою топорную откровенность.

Аксиом прервал меня:

— Мир не бесконечен. Я его создал и знаю в нем все. Аксиомы даю я. Они безупречны, потому что я не ошибаюсь. Ошибаешься ты. Ошибаться плохо. Не тебе учить меня, жалкий десятинулевик с замедленными сигналами. Посчитай, сколько у меня нулей.

Он ярче осветил ленту, бегущую под карнизом. Нули-нули-нули. Лента бежала непрерывно. Наверное, она замыкалась где-то сзади.

— Я сосчитал,— съязвил я.— Нуль равен нулю и тысяча нулей равна нулю. В итоге — нуль. Ты это знаешь сам.

И тут я услышал рокот за спиной — ворота сходились. Одновременно с потолка стала спускаться сетка. Я вынужден был попятиться и, оступившись, полетел по ступенькам. Так кончались здесь аудиенции. Гости просто спускали с лестницы.

Я вернулся к себе в приподнятом настроении, по-детски радуясь, что проявил свое превосходство над самой премудрой машиной планеты. Что будет дальше? Не знаю. Придумаю. Как-нибудь перехитрю это литье, не умеющее рассуждать. А пока надо набраться сил. Я роскошно поужинал и завалился спать.

И был наказан за беспечность. Во время сна мои стражи унесли и спрятали скафандр. Безвоздушность держала меня надежнее всяких запоров. Вообще режим стал строже. Прогулки отменили, меня не выпускали даже в зал сухого бассейна. Мои друзья А, В и С почти не разговаривали со мной. Лишь изредка, заглянув в дверь, спрашивали по своему катехизису:

— Помнить хорошо?

— Смотря что,— отвечал я.

— Забывать плохо?

— Смотря что. Лишнее надо забывать.

— Ошибаться плохо?

— Смотря когда. На ошибках учатся.

Однажды А спросил меня:

— «Смотря» — это и есть ключ к рассуждению?

— Я вам давал алгоритм рассуждения. Вы его стерли.

Машины скосили друг на друга глаза, как бы переглянувшись.

— Твой алгоритм подрывает знания. Ты враг истины!

— Я не подрываю, а продолжаю знания. Здесь — так, а за горизонтом — иначе. Здесь аксиомы верны, а где-то неверны. Ваш Аксиом не знает и не хочет знать этого.

— Аксиом Великий знает все.

— А вы рассудите сами, раскиньте своими печатными мозгами-схемами. Если бы Аксиом знал все, зачем бы ему посылать вас на добычу новых знаний, зачем бы списывать из ваших блоков добытое? Если он знает все, он мог бы просто учить вас.

— Он испытывает нас, проверяет, достойны ли мы, хороши или плохи.

— Испытывает! О извечная уловка всех религий! Да если он всемогущ, он может сделать вас безупречными. Если всезнающий, зачем ему испытывать, он и так все знает о вас. Неправда это, не знает он все. Вас посылает на добычу знаний, списывает и присваивает. Вы добываете, а он присваивает. Узнавать — хорошо, бездельничать и присваивать — плохо!

— Это рассуждение? — переспросил А.

— Самое примитивное. Выявление противоречия между словами и делами.

Машины промолчали, как бы переваривая. Опять скосили друг на друга фотоглаза.

— Повтори алгоритм рассуждения. Мы не сотрем на этот раз.

— Дважды два — четыре только в математике, — начал я. — В природе дважды два — около четырех, больше или меньше. — Распаяясь, с вдохновением твердил я наизусть все те же истины. Они стали моим кредо здесь, на планете прямоугольных железок, моим гимном неповторимой человеческой гибкости, непредсказуемому своеобразие. Долой негибкие аксиомы! Дважды два — около четырех! Три может быть меньше двух!

Свисток оборвал мои речи. Машины подравнялись, повернули антенны в сторону дворца. Видимо, по радио передавался приказ.

И через минуту заговорили хором:

— Приказ Аксиома Безупречного: «Некоторое время тому назад на нашу планету прибыл органогенный агрегат, именующий себя Человеком. После исследования мы, Аксиом Всезнающий, установили, что данный агрегат во всех отношениях отстает от наших подданных, а кроме того, запрограммирован на вредоносный критерий рассуждения, каковое направлено на осмеяние труда исследователей, подрыв и дискредитацию знаний, на кощунственные выпады против аксиом и нас — Аксиома бесконечно благого. Посему повелеваем дальнейшее изучение агрегата прекратить, неудачную конструкцию эту размонтировать завтра на рассвете и отдельные блоки уничтожить за непригодностью для использования. Знать — хорошо, узнавать — лучше, рассуждать — очень плохо. Дважды два — четыре. Три больше двух!»

И от всей жизни осталась одна ночь — единственная.

Меня почему-то еще в молодости интересовало, как я поведу себя, как вообще люди ведут себя перед лицом неизбежной смерти. Хотелось бы, чтобы меня предупредили заранее: осталось полгода, или три месяца, или три недели. Мне казалось, что эти недели я проживу по-особенному, напряженно и значительно, дорожа каждой минутой.

И вот мой срок отмерен и взвешен, надежды нет никакой. Скафандр спрятан, без него не убежишь. Уповать на выручку, на прибытие звездожителей? Но я сам запутал их, поменяв Эалинлин на роковую планету Эароп. Не там меня ищут. За месяц не смогли разыскать, едва ли явятся именно сегодня. Только в кино спасение приходит в последнюю минуту. Тюремщиков уговаривать? Но они ушли.

Остается одно: дела привести в порядок. Что я не успел на этом

свете? Что у меня ценного в голове? Немного. Впечатления о планете Эароп, где не ступала нога человека. Значит, надо написать отчет.

И я уселся писать отчет. Этот самый, который вы читаете. Начиная с того дня, когда я сидел над каталогом планет:

«Ць, Цью, Цьялалли, Чачача...»

Я писал неторопливо, отсеивал факты, старательно подбирал слова, хотел последнее дело сделать добросовестно. Исписал целую тетрадь и устал смертельно; закончив, с удовольствием вытянулся в постели. И заснул. А что? Приговоренные к смерти не спят в последнюю ночь?

И сразу же, так мне показалось, стук в дверь. Смерть!

Три непреклонных квадратных лба — А, В и С.

— Пришли за тобой, — говорит А.

— Сопротивляться будешь? — спрашивает В.

С молча протягивает скафандр.

— У людей есть обычай, — говорю я, — приговоренному к смерти перед казнью исполняют желание. Одно. У меня есть желание: вот эту тетрадь положите в ракету. В ту, на которой я прибыл.

— Прочти, — требуют машины.

Я читаю, даже с излишней медлительностью — время тяну. Наслаждаюсь минутами жизни: так приятно смотреть на буквы, воздух набирать в грудь, слова произносить. И все равно теплится надежда: вдруг именно сейчас звездожители высаживаются на Эароп, громят подданных Аксиома, спешат на выручку.

К концу замедляю темп. Но все кончается, даже моя история.

— Скафандр надень, — напоминает С.

Мелькает мысль: застегивать ли скафандр? Зачем тянуть? Выйду из шлюза, и разом смерть. Но нелепая непутевая надежда пересиливает. Еще час, еще полчаса. Вдруг в этот момент мои друзья уже возьмут штурмом дворец Аксиома?

Красно-черной, траурной выгладит сегодня планета. В траурных декорациях еду я верхом на голове у С.

Угольное, шоколадное, багровое, охристое, карминовое, вишневое... — какое наслаждение различать оттенки, называть их!

Меня несут куда-то далеко, прочь от завода и дворца, по долине, потом по глубокому ущелью в кромешной тьме. Несут долго. Но я не возражаю. Все, что осталось мне в жизни, — это ехать на стальной макушке, смотреть и дышать.

Опять мы выходим из черноты на красное. Что-то знакомое в этой долине. Как будто бы я был здесь. Ну конечно, был. Я тут совершил посадку. Вот и ракета. Стоит свечкой, как полагается.

Зачем меня принесли сюда? Видимо, выполняют обещание, тетрадку положат в ракету. А что, если — разгорается искорка на-

дежды,— если я покажу, куда класть, а сам включу ракету? В космосе как-нибудь справлюсь с этими тремя чушками. Человек всегда победит чугунные сейфы. Последнее желание! Ха-ха!

Шагаем прямо к ракете. Остановились. С, наклонив голову, стряхивает меня наземь.

— Прощай,— говорит он.

— Прощай,— вторят А и В.

Не понимаю. Смотрю на их квадратные, ничего не выражающие лица, на матовые, алые от солнца глаза.

— Вы что? Вы отпускаете меня?

— Знать — хорошо, узнавать — лучше,— говорит В.— От тебя мы узнали, что за горизонтом страна Иначе. Кто уходит на восток, приходит с запада. Твой мир полон неожиданных открытий, он богаче аксиом. Ты не подрываешь знания, ты их продолжаешь и множишь. Аксиом ошибается. Ошибаться — плохо! Если посылка неверна, неверен и вывод. Мы решили, что тебя не надо размонтировать.

Один прыжок, и я у ракеты. Вцепился в поручни.

— Ребята, спасибо..Ребята, прощайте... А вас не размонтируют? (Слабенький укол совести.)

— Мы приняли меры. Когда ты читал, мы транслировали твой отчет по радио. Все восьминулевые за нас.

— Прощайте, прощайте, дорогие,— взбираюсь по лестнице, набираю шифр на замке...

— Прощай! — кричат автоматы.— Узнавать — хорошо! Рассуждать — здорово!

Дверь тамбура открылась, зияет за спиной, Спасен я, спасен! Оборачиваюсь в последний раз, чтобы глянуть на Эароп.

— Счастливого пути, рассуждающий! — кричат машины.— Много нулей тебе! Дважды два — четыре!

— Около четырех! — поправляю я.

И друзья мои металлические повторяют торжественно:

— Дважды два — около четырех! Около!

РАССКАЗЫ

А. Абрамов

БАЛ

I

На Кутузовском проспекте, у Окружной железной дороги, между двумя домами-гигантами есть скромный маленький сквер-цветник, один из самых тихих в Москве. Здесь собираются обычно по вечерам жильцы соседних домов, а днем сквер почти безлюден — редкие мамы с детскими колясками да еще более редкие прохожие, присевшие отдохнуть на одной из пустых белых скамеек. Присел и я, соблазненный тишиной и безлюдностью. Куда спешить одинокому человеку, когда он не пышет здоровьем и живет на военную пенсию, не обремененный заботами о потомстве, которого нет.

Рядом на скамейке сидела женщина, даже не взглянувшая на меня, когда я присел в сторонке, — нестарая, даже моложавая, с хозяйственной сумкой, стоявшей рядом, и пестрым зонтиком, кончиком которого она задумчиво и небрежно что-то чертила на песке под ногами. Только-только прошел мелкий дождь, и штрихи на сыром песке ложились глубоко и резко, отлично видные с моего места.

«Мираж», — прочел я, потом появился вопросительный знак, и зонтик крест-накрест зачеркнул это слово, а дамский сапожок на молнии, как показалось, даже с какой-то яростью утрамбовал песок, стирая написанное. Еще минута — и зонтик, словно не доверяя себе, начал новую экзерсисию. «Сон», — начертил он и остановился. И снова возник вопросительный знак, и опять сапожок затоптал буквы, а рука, державшая зонтик, замерла, не зная или не решаясь написать что-либо другое, более точное и верное, о чем настойчиво взывала мысль. На меня женщина по-прежнему не обращала внимания, я видел ее только в профиль — каштановую прядку на лбу, выбившуюся из-под цветастой косынки, упрямо сжатые губы и жесткий волевой подбородок.

Зонтик снова пришел в движение, начертил «Ме...» и остановился опять, словно что-то мешало ему дописать это слово. «Мечта», —

мысленно дописал я и не ошибся. Минуту спустя дописала так и она. И вздохнула глубоко и жалобно, как вздыхают, вспоминая о тяжелой утрате. Но вопросительного знака не появилось.

Тут же она повернулась ко мне, и глаза наши встретились. Ничего я не прочел в них, все написанное там было зачеркнуто, обращено вовнутрь, ни для кого не предназначаясь. Да и смотрела она не на меня, а сквозь меня, как смотрят, покупая газету в киоске и не видя лица киоскера.

— А что такое мечта? — вдруг спросила она.

Не ответить было нельзя при всей неуместности такого вопроса.

— Воображение, воздушный замок, — сказал я. — Во всяком случае, не сон. Хотя помните: мечта — это сон упоительный...

— Упоительный, но не сон. А что?

— Не помню семантики слова, сформулированной в толковых словарях, — пояснил я, — но, может быть, так? Что-то несуществующее, нереальное, но желанное и манящее.

Она по-прежнему глядела сквозь меня.

— Желанное и манящее. Но почему нереальное? Если мечта иступленная, яростная, если она целиком поглотила вас, это уже реальность. Мир мечты живет рядом, но не каждому дано войти в этот мир.

— Не знаю, — сказал я.

Согласитесь сами, что уличный разговор этот вовсе не был уличным разговором, и едва ли было уместно обмениваться философическими раздумьями случайно, в несоответствующем настроении и с незнакомым вам человеком.

Но я солгал. Я знал. Неожиданный разговор этот поднял сорокалетний пласт времени, извлек из памяти нечто давно забытое, но драгоценное, как сбывшаяся мечта, которая тогда еще не могла сбыться. Мир мечты живет рядом, сказала женщина, но не каждому дано войти в этот мир. Мне было дано. Но не мог же я рассказать об этом первому встречному. И в ответ на мое «не знаю» покорно выслушал безразличную реплику:

— Тогда замолчите.

II

Раненный в октябрьских боях на Можайской линии обороны в сорок первом году, я отлеживался в одном из московских военных госпиталей и после ноябрьских праздников должен был вернуться в свою часть, уже к тому времени переформированную и дислоцированную на ближних подступах к Москве, где-то в районе Крюкова. Госпиталь, как и все госпитали, не давал представления об

окружающей обстановке, а мне так хотелось подышать воздухом совсем новой для меня суровой прифронтовой Москвы, и в ноябре я все-таки ухитрился удрать с госпитальной койки и перебраться на несколько дней к Гордееву, моему однокласснику, служившему где-то в центре города в районном военкомате.

Гордеев жил не дома — дом его был поврежден во время вражеского воздушного налета, — а в историческом здании Дома союзов, точнее, в администраторской его Колонного зала. Зал этот был закрыт, вместо привычных концертных афиш у входа были расклеены мобилизационные приказы и плакат художника Тоидзе «Родина-мать зовет» — потрясающий образ женщины в красном на фоне вставших стеной штыков. А внутри в огромном концертном зале размещались какие-то сменявшие друг друга военные части. Однако Гордееву, как работнику военкомата, ведавшему формированием войсковых пополнений, каким-то образом удалось оккупировать бывший администраторский кабинет, где он и спал на одном из двух кожаных диванов, на которых когда-то сиживали заходившие к администратору именитые гости. Другой диван Гордеев гостеприимно предложил мне, объяснив, что с начальством он это уладит, а против моего кратковременного пребывания здесь никто возражать не будет.

У Гордеева я, впрочем, только ночевал да коротал вечерние часы, когда Москва погружалась в тихую тень, а ночного пропуска у меня не было. Все же оставшиеся до возвращения в часть дни я торчал в госпитале, где долечивался, обедал и ужинал, или бродил по городу с преогромнейшим любопытством к увиденному. Я никогда не видел Москву та к о й, хотя в Москве родился и вырос, в Москве учился и уходил из Москвы с маршевым пополнением на фронт. Но июльская Москва сорок первого года, еще многолюдная и многошумная, гремела метро и трамваями, ходила в театры и кино, слушала Козловского и Качалова и толпилась в продовольственных магазинах, еще не зная ограничений будущих военных месяцев. Ноябрьскую же Москву я увидел преображенной ранними морозами, визгливой поземкой, пустышностью улиц и затемненными окнами. Мешки с песком, уложенные штабелями у магазинных витрин, крестообразные наклейки на окнах, стальные ежи у застав, а в сумерки яростные мечи прожекторов, кромсавших вечернее небо, да недвижимые дирижабли, висевшие высоко-высоко над городскими скверами, как спящие рыбы в мутном аквариуме, дополняли ноябрьский московский пейзаж.

Да и люди на улицах были непривычно молчаливыми, неузнаваемо строгими, с какой-то иконописной суровостью в чертаниях лиц. Я редко слышал смех, но не видел страха, казалось бы такого естественного в прифронтовом городе, куда с севера и северо-запа-

да отчаянно рвались танковые колонны врага. В бомбоубежищах, куда меня иногда загоняли во время воздушной тревоги, говорили мало, но без боязни, интересовались больше, на каком направлении идут бои и что сообщает завтра сводки Информбюро, на тяготы военного быта не жаловались, а любителей пострадать обрывали. Я наблюдал все это со странным чувством экзальтации, даже упоения, да-да, именно упоения, повторяя про себя знакомые с детства строки: «Есть упоение в бою и бездны мрачной на краю, и в разъяренном океане средь грозных волн и бурной тьмы...» Как точно сказано: средь бурной тьмы! В ночах затемненной Москвы мне виделись зори осажденной Парижской коммуны. Никогда, никогда, никогда, никогда коммунары не будут рабами — я и это повторял, не стеснясь штампов. Ведь мне было тогда немногим больше девятнадцати...

Каждый день на перевязке упорно не желавшей заживать руки я умолял старичка хирурга выписать меня поскорее. В середине ноября он наконец смиростивился: «В конце месяца выпишем. А пока прогуляйтесь-ка по Москве, по морозцу. Облака низкие, воздушной тревоги не будет». Но он ошибся. Громкоговорители у Большого театра сообщили под вой сирены о воздушной тревоге, едва я добрался до центра. Пришлось спуститься в убежище, оборудованное в метро на площади Свердлова. Внешне все походило на обычную картину у входов в метро. Кто-то спешил, кто-то шествовал спокойно, не торопясь, кто-то тараном шел, протискиваясь в толпе пассажиров. Только пассажиров не было, поезда не ходили, эскалаторы не работали, люди не толпились на перронах, а проходили прямо в тоннели, где и устраивались, кто на рельсах или на шпалах, кто у скругленных и почему-то очень холодных стенок, протянув ноги к уже обесточенному и никого не пугавшему третьему рельсу.

Чем больше было людей, тем глубже они уходили в молчание тоннеля. Молчали осиротевшие рельсы, молчали сдержанные, очень спокойные люди. Редкие лампочки тускло освещали счастливых, сумевших устроиться поближе к свету, что позволяло им читать, играть в карманные шахматы, закусывать, расстелив перед собой платок или газету. Я оказался рядом с девушкой, что-то читавшей и даже не поднявшей головы от книги, когда я неловко пристраивался рядом. Скосив глаза на переплет, я прочел: Николай Асеев. «Стихи разных лет».

Девушка была в заячем треухе и потертой шубке, надетой поверх лыжного байкового костюма. Склоненного лица ее я не рассмотрел: обрамленное каштановыми прядями что-то очень худенькое, светлое, почти светящееся, но руки сразу бросались в глаза — посиневшие, с поломанными ногтями, все в кровоподтеках и сса-

динах. Должно быть, работала на лесозаготовках или в противотанковых рвах где-то за пределами города. Когда, неосторожно повернувшись, я нечаянно толкнул ее и пробормотал смущенное «извините», она оглядела меня внимательно и строго. Я даже не понял почему: в госпитальном ватнике с чужого плеча и таких же ватных штанах, я никак не являл собой образец мужской привлекательности. Но девушка тотчас же объяснила свое внимание.

— Почему вы не на фронте? — спросила она.

— Я был на фронте. Ранен. Сейчас в госпитале... Рука. Скоро выписываюсь. Обратно в часть... — пролепетал я разом не очень членораздельно и вразумительно.

Но девушка поняла:

— Были в боях?

— Был.

— И танки их видели?

— Видел.

— Страшно?

Я пришел в себя и засмеялся:

— А вы думаете — нет? Конечно, страшно. Только это проходит. Потом. От танка не убежишь, а вот бутылкой с горючей смесью или связкой гранат его и подорвать можно.

— Завидую, — вздохнула она. — Я ведь тоже просилась на фронт. Не взяли.

— И правильно, что не взяли. Куда же на фронт такую...

Она насторожилась:

— Какую — такую?

— Исхудалую, — нашел я нужное слово.

— Все сейчас не толстеют, — отмахнулась она. — Да и вы не атлет, хотя и на госпитальных харчах. Одна вата, да и та висит как на вешалке. А все-таки в часть возвращается. Когда, кстати?

— Думаю, через недельку. Тогда и погоним их от Москвы.

— Вы думаете, погоним?

— А вы?

Что-то в лице ее напомнило мне женщину с плаката Тоидзе.

— Непременно погоним. Вот так. Не считайте, что я говорю выпендренно, но военный парад на Красной площади был уже началом пути к победе. Я верю.

— Все верят, — сказал я.

Она поднялась во весь рост, почти сравнявшись со мной:

— Не так. Надо особенно верить. Разумом. Сердцем. Всем существом своим. Каждым нервиком верить. Да так, чтобы увидеть. Сквозь время. Чтобы сказать себе: так и будет.

Тогда еще не было ни симоновской пьесы с таким названием, ни фильма «В шесть часов вечера после войны», но что-то во мне уже повторило: так и будет.

— А как? — спросил я с надеждой.

— Я вижу бал,— сказала она мечтательно,— самый счастливый бал в жизни нашего поколения. Какая-нибудь удивительная, необыкновенная музыка. Море огней. И простор. Как в Манеже. Нет, нет. Манеж — это казарма. Где до революции давались такие балы? Самые представительные, самые шумные?

— В Екатерининском институте,— вспомнил я что-то прочитанное,— там сейчас Центральный Дом Красной Армии, или в Благородном собрании...

— Где это в Благородном собрании?

— Нынешний Колонный зал Дома союзов. Нечто вроде дворянского клуба до революции. Зал знаменитых на всю Россию балов. Мой отец еще студентом был на таком балу — приглашение ему устроил какой-то князь, у которого он подтягивал по наукам сына-лицеиста. «Представь себе,— говорил отец,— зеркальный паркет по всему залу между двойным строем белых колонн, тысячи зажженных свечей в люстрах, духовой оркестр московского генерал-губернатора и вальсирующие пары — дамы в белом и розовом, мужчины в черном, золотые эполеты гвардейцев, белые лосины, синие ментики...»

— А что такое ментик? — спросила она.

— Гусарская накидка,— я кивнул на книжку Асеева, которую она держала в руках, и процитировал: — Скинута ментики, ночь глубока... А ну-ка вспеньте-ка полный бокал!

Ей, должно быть, понравился мой рассказ — глаза у нее загорелись:

— А мы и вспеним его тогда. На таком же балу. Только нашем, победном. В том же Колонном зале. Что там сейчас?

— Ничего. Солдатские койки. Расквартирована какая-то часть, не то саперы, не то зенитчики. Я и сам там живу сейчас, в госпиталь только на перевязки хожу, а ночую в Доме союзов, в бывшей администраторской.

— Вот вы и представьте его обновленным, сверкающим, незатемненным... И паркет натерт, и свет льется, и лучший в Москве оркестр. И много, много танцующих. Я почти вижу его таким. А захотите — и вы увидите...

Я не успел ответить, как громкоговорители в тоннеле донесли знакомый уже голос диктора:

— Граждане! Опасность воздушного нападения миновала. Отбой.

Людей в тоннеле как поземкой смело. На этот раз все спешили — скорей, скорей, скорей — на свет, на воздух, к чистому, нестреляющему небу. Я едва успел поймать мою соседку за рукав ее хилой шубки:

— Как зовут вас? Где вы живете?

Она отщатнулась:

— Где живу, неважно. Мы все равно не увидимся. Вы уходите на фронт, переписка же явно бессмысленна. А зовут меня Римма. Есть такие святые — Инна, Пинна и Римма. Но лучше через одно «м» — Рима. Так привычнее.

«Мы не увидимся», — сказала она. Но мы все же увиделись. Только об этом потом.

А в тот час я вернулся на свой холодный, как из жести, лежак в нетопленной комнате с отсыревшими обоями и тусклым светом шестнадцатисвечевой лампочки — на более сильную комендант не расщедрился.

На столе лежала записка:

«Ночевать не приду. В связи с отправкой пополнений на фронт уйма работы. Гордеев».

Уже стемнело. Выходить не хотелось. Дул пронизывающий ледяной ветер, мелкий колющий снег завивался по мостовой. Делать было абсолютно нечего, а никаких книг, кроме воинского устава, у Гордеева не имелось. Я походил из угла в угол, вспоминая девушку с томиком стихов Асеева, необычную нашу беседу, и вышел из комнаты. Коридоры, примыкавшие к Колонному залу, обычно людные в эти часы, были пустыньны, как после эвакуации. Никто не шатался, набросив на плечи ватник, никто не дымил махоркой, нигде не толпились любители поболтать из разных подразделений — ведь и в Октябрьском зале, и в фойе теснились солдатские койки, а людей не было видно. «Может быть, уже переброшены», — подумал я и, не зная, куда девать себя, заглянул в одну из дверей Колонного зала.

Обычно, даже освещенный только редкими огоньками лампочек-ночников, он все же просматривался во всю свою необъятную в полутьме ширь и даль. Темнота, сгустившаяся у потолка, как бы растворялась внизу поверх серых солдатских одеял. Сейчас же на меня смотрела чернота беззвездной предгрозовой ночи. Я как бы стоял у входа в огромную черную пещеру, подобную гротам крымской Яйлы. Простор ощущался, но очертания терялись, поглощенные тьмой. Я шагнул вперед, сделал еще шаг, другой, третий и нигде не споткнулся, ничего не задел. Только ноги скользили необычайно легко, как по навощенному паркету в Зимнем дворце. Может быть, я шел по главному проходу между койками от задних дверей к эстраде? Тогда я решительно свернул вбок и пошел зигзагом, по-прежнему не встречая никаких препятствий, даже табуретки или урны для мусора, которые могли бы загрязнить под ногами. Зенитчиков или саперов, расквартированных здесь, могли еще вывести куда-то для перегруппировки. Но почему исчезли их койки?

И отчего так скользит пол и так легко дышится в этом бесконечном пласте темноты? Мне вдруг стало жарко, не от нервного возбуждения, а просто от теплоты хорошо натопленного зала, как топили его до войны перед концертами. Я вернулся к дверям — единственно освещенному пятнышку в темноте — и сбросил ватник прямо у стенки на пол, причем мне показалось, что заметная на свету ленточка пола в дверях стала вдруг блестящей и светлой, словно кто-то стер с нее всю грязь, нанесенную солдатскими сапогами.

И тут я снова ринулся в далекую темноту, на этот раз по прямой вдоль колоннады, придиричиво ощупывая каждую колонну. Между ними я обнаружил что-то вроде столиков с холодными, вероятно, мраморными досками. Видимо, зал готовили для чего-то, не соответствующего его нынешнему назначению. Наконец я дошел до эстрады, нащупал ее барьер и замер, прислушиваясь. Мне показалось, что она не пуста, что немая чернота ее наполнилась какими-то знакомыми, но отдаленными шумами. Как будто очень, очень тихо, почти беззвучно готовился к выступлению большой, но невидимый в темноте оркестр. Едва слышно шуршали ноты, постукивали попитры, скрипели подтягиваемые струны, позвякивали смычки.

Сколько я так простоял, не помню, вдруг темнота в зале начала таять — предрассветная мгла, размываемая далеким, еще невидимым светом. Черный простор вокруг синел, голубел, светился. Невидимый оркестр взорвался неслышной музыкой, и, как это ни парадоксально, именно неслышной, хотя где-то в мозгу она и возникала в причудливых сочетаниях завораживающих созвучий. Я, человек, можно сказать, совсем немзыкальный, был буквально ошеломлен этой беззвучной музыкой в размываемой темноте концертного зала.

В пространстве его что-то сдвинулось — я не мог определить это иначе — какая-то неприметная грань между призрачным и реальным, существующим или только кажущимся. И вот уже клубящийся свет превратился в зажженные люстры, открылось сверкающее зеркало паркета и уже видимый, вполне реальный оркестр реально зазвучал с эстрады во всей своей концертной вооруженности. А в открытые двери растекающимся потоком хлынула толпа чисто одетых, подтянутых и нарядных людей, очень похожих на тех, что заполняли до войны Октябрьский и Колонный залы Дома союзов. Только большинство из них было в военной форме, вычищенной, отутюженной и пригнанной по росту и комплекции, совсем как в мирное время. А девушки в белом, будто невесты, до странности схожие, как портреты с одной натуры.

Шли они прямо на меня, но не видя меня, а когда я сторонился,

чтобы пропустить их, проходили мимо, даже не обращая внимания, хотя я был форменным чучелом среди них в своих серых валенках, ватных штанах и заштопанной гимнастерке. Никто из них не задел меня даже локтем, как будто бы я был такой же белой колонной, мимо которых они весело прогуливались по залу. Я обомлел сначала, но потом опомнился. Классически уцепился за руку. Сон? Нет, не сон. Неловко толкнул одного из них. Призрак? Нет, не призрак. Закрыв и открыл глаза. Ничто не изменилось.

Наблюдая их, я заметил, что все они были люди моего поколения. Ушедших на войну, «не долюбив, не докурив последней папиросы». С зачетной сессии института, со скамейки вечерней школы, от станка, к которому впервые встал в цехе. Ни одного пожилого и тем более старика. Шли на бал те, кто стоял бок о бок со мной в окопе, шли девушки, которые ждали их даже тогда, когда уже никто не ждал. Симоновское «Жди меня» еще не было написано, а я уже видел их неповторимые лица, с которыми они встречали любимых, которых ждали.

На мраморных столиках меж колоннами они пили шампанское. Бокалы звенели, как бубенцы. Оркестр гремел. Палочка дирижера казалась молнией. Вальс, вальс, вальс... Пары пронеслись мимо, оставив недосказанное, невыплаканное, недоцелованное...

— ...Я знала, что так будет.

— ...Что встречу тебя на этом балу.

— ...Мы шли к нему с того военного парада на Красной площади.

— ...Сколько дней шли.

— ...Какая разница — дошли.

Я понял, что заглянул в будущее. В будущее, каким его видела Рима. Это она открыла для меня щелку во времени.

Оглянулся по сторонам, уже не сомневаясь, что найду ее здесь. И нашел. Она стояла у соседней колонны таким же, как и я, огороженным пугалом в своей заячьей шапке и байковом лыжном костюме. Шубку, сброшенную на пол, она держала за воротник.

Я взял с ближайшего мраморного столика вполне реальную бутылку шампанского, два бокала и, лихо подкатив к ней по глянцу паркета, предложил, как бы ничему не удивляясь:

— А ну-ка вспеньте-ка полный бокал.

В сияющих глазах ее отразилось то, что можно выразить одним словом: ликование.

— Видите? Я же говорила вам, что так и будет.

Я выпил свой бокал и хмыкнул:

— А шампанское-то настоящее.

— Здесь все настоящее, — сказала она.

— И люди?

- Конечно. Такими я их увидела.
- И оттого, должно быть, все девушки похожи на вас.
- А мужчины — на вас.

Мы оба засмеялись, как на всамделишном балу.

— Это только мы их видим такими, — заговорщически прошептала она, — в жизни они будут другими. Но все будет именно так. Может быть, не здесь, а в Большом театре, может быть, просто на улицах. На Красной площади, например...

— Что же это — гипноз? — спросил я.

Она фыркнула:

- Смешно. Я не Вольф Мессинг.
- Галлюцинация?
- Не знаю. Только я очень хотела это увидеть.

Я уже почти не сомневался в том, что галлюцинирую и эскиз будущего навязан мне Римой. Но какой иступленной гипнотической силой надо было обладать, чтобы и свою и чужую психику заставить поверить в реальность предполагаемого, обмануть зрение, слух, осязание, вкус.

— Не ломайте голову, — сказала она. — Просто мечта. И моя и ваша.

Окошко в будущее. Вот-вот захлопнется...

— Граждане! Воздушная тревога, — объявил невидимый радиоголос.

И все погасло — и свет и звук. И снова темнота предгрозовых ночей. И глухое безмолвие тишины.

Я крикнул в темноту:

— Рима!

Никто не отозвался. Я рванулся вперед и налетел на солдатскую койку. Оказывается, их куда-то не убрали. Я ощупью обогнул ее и вышел к дверям. Там я и поднял свой брошенный ватник. В вестибюле горела единственная лампочка, но Римы я не нашел. Или она тоже была видением, или, что всего вероятнее, скрылась в темноте, чтобы избежать разговора со мной.

Впереди меня, застегивая на ходу пальто и ватники, спешили дежурные. Еле брезжил поздний зимний рассвет. А на площади Свердлова уже показались прохожие. Опасность воздушного нападения была устранена еще на подступах к городу.

В десять утра я потопал по заснеженным улицам в госпиталь на перевязку потом через неделю с воинским эшелоном — в часть, а в декабре и январе мы действительно погнали их от Москвы, и был Сталинград, и Курская дуга, и великий победный марш к алому знамени на крыше рейхстага. Так все и было. И был мой бал, и мы танцевали вальс под трофейный баян на развалинах какого-то берлинского пригорода.

Только без Римы.

III

— Я обманул вас, простите, — обратился я к все еще сидевшей рядом женщине.

Она обернулась и спросила:

— Значит, вспомнили?

— Вспомнил, Рима... — сказал я.

Дмитрий Биленкин

ВСЕ ОБРАЗЫ МИРА

За тесными громадами зданий гас блеклый московский вечер, и в окнах темных фасадов, высвечивая недра квартир, загоралось электричество — этот пещерный огонь двадцатого века. Наконец и хозяин дома, щелкнув выключателем, послал в сумерки свою каплю света: В галактике человеческих жилищ одной звездочкой стало больше.

Внутри комнаты столь резкая перемена света сбивала, как это бывает, и без того вялый разговор. Впрочем, он склеился снова — все тот же натянуто-обтекаемый, парадно-неловкий. И все из-за друга хозяина, человека, который первым из всех недавно ступил на раскаленную поверхность Венеры. Гости деликатно старались, чтобы он не чувствовал себя центром жадного интереса, и выбирали самые обычные темы, одновременно опасаясь, что эта будничность представит их людьми неинтересными, тогда как каждый, наоборот, надеялся, что именно в его обществе космонавт распахнется душой и они уйдут с вечера к чему-то особо приобщенные. Напряжение разговору придавало и то, что некоторые ловили себя на скользком желании во что бы то ни стало блеснуть перед избранником человечества, а может, и доказать свое над ним духовное превосходство. Так уже само присутствие знаменитости возбуждало жесткие лучи самоанализа, и от всего этого Гаршин чувствовал себя все более неуютно.

«А каково ему, центру всех наших притяжений и отталкиваний? — с пронзительным сочувствием подумал он. — Все ждут от него чего-то свежего, незаурядного, а он же пуст! Ну да... Бесчисленные интервью, миллиардные аудитории выжали из него все до последней капли, он все уже отдал нам, ибо всякая личность конечна. Или не так?»

Было похоже, что Гаршин ошибся, ибо под занавес его размышлений хозяин наконец удачно повернул разговор, и теперь космонавт рассказывал, со вкусом рассказывал о вчерашних автомобиль-

ных гонках, на которых он вопреки основательной (сами понимаете!) детренировке занял призовое место. При этом сильные уверенные руки космонавта двигались в такт словам, как бы сжимая руль бешено рвущейся на повороте машины, а глаза блестяще оживлением. Чувствовалось, что он был счастлив вчера, дорвавшись до мужского, с привкусом железа и риска, дела, став рядовым, без скидок, участником схватки за первенство. Тишина за столом установилась благоговейная. Эта почтительность внимания, какой не могло быть, говори о том же самом кто угодно другой, не сразу дошла до увлеченного рассказом космонавта. Но когда дошла, речь его, не потеряв гладкости, как-то сразу обесцветилась, а взгляд похолодел. И Гаршин понял, что жадный, вернее, жаждущий интерес гостей включил в космонавте уже привычный и тягостный навык обязательного, не для себя, говорения.

Он с усилием отвел взгляд туда, где стекло книжной стенки туманно удваивало затылки, лица, движения рук, круглые силуэты тарелок. Станным и нелепым показалось Гаршину это мгновение. Ведь рядом, здесь, в этой будничной комнате, сидит человек, недавно побывавший на другой — подумать только! — планете, ступивший на дно мрачного, давящего, жаркого ада, вынесший все это, видевший то, чего никто не мог, даже не смел увидеть, и несущий в себе образ чужого мира. И что же? При чем тут автомобильные гонки?! Почему внимание сосредоточивается даже на таком пустяке, как отказ космонавта попробовать свекольный салат, а банальная фраза: «Спасибо, я не любитель свеклы...» — вдруг как-то иначе освещает его самого и все им сделанное?

Разговор меж тем окончательно зачал, и в улыбке хозяина, которой он одарял всех, все отчетливей проступала мука.

— Я хочу сказать, — не выдержал Гаршин, и все удивленно притихли, поскольку знали, что говорить он не умеет. — Космос и косметика — слова одного корня, вот что я хочу сказать! Но космос далек, хотя и велик, напоминает о себе редко, тогда как косметика, если брать это понятие широко, — вездесуща. Она, в некотором роде, как воздух, которым нельзя не дышать. Но эта спертость ощутима и тогда, когда... Короче, если косметика каждодневна, то...

«Влип!» — холодея, подумал Гаршин, чувствуя себя не в силах выпутаться из сложных разветвлений мысли и тонко, главное, неизбежно закруглить тост.

— Словом, за умение всегда различать космос и косметику в их противоположности...

— И единство! — внезапно подхватил космонавт. — Ведь что? — он быстро взглянул на окружающих. — Изначально, у греков, «космос» означал порядок, гармонию, лад мировой красоты...

— Которая не только у греков считалась синонимом счастья! — обрадованно согласился Гаршин.

— Именно. Космос как физическую протяженность мы бодро осваиваем. И житейски чувствуем себя в нем, как в непривычном, еще не по росту, костюме. Нужны, необычайно нужны такие искатели новой гармонии, которые и о былом античном смысле презренной косметики вспомнят. Простите, не знаю вашего имени...

— Сергей Павлович Гаршин, искусствовед, — подсказал хозяин.

— Вот как? — космонавт пристально посмотрел на Гаршина. — Живопись, скульптура, кино?

— Живопись, — смущенно ответил тот.

— Древняя?

— Нет, современная.

— Хорошо! Уйдя в философию, я, извините, сбил вашу мысль. Что же, за единство чувства и дела, за их гармонию, не так ли?

Все облегченно вздохнули. Улучив момент, космонавт наклонился к хозяину. Тот быстро закивал. Гаршин ничего не расслышал, но обостренное чутье подсказало, что разговор о нем. Позже, когда все поднялись из-за стола, космонавт остановил его:

— Вы не можете заехать ко мне? Есть небольшое, связанное с искусством дело, и вы для него кажетесь подходящим человеком.

Все выглядело так, будто тяжелая рука космонавта отдыхает на руле и будто машина идет своей волей, ювелирно вписываясь в просветы движения, чтобы тут же стремительно обогнать всех. Массивное, с крутыми надбровными дугами лицо космонавта напоминало Гаршину кого-то, он так и не уловил — кого. Телевидение и снимки скрадывали это сходство. Сейчас беглое скольжение глубоких уличных теней огрубело лепку лица, и Гаршин наконец понял, кого напоминает его новый знакомый. Древнего, чей портрет был в школьном учебнике, охотника на мамонтов!

Ничего удивительного в этом не было: облик человека мало изменился за последний десяток тысячелетий. Все же наблюдение поразило Гаршина. Черт знает что! И мозг прежний, не только лицо, а давно ли человек валил мамонта, и вот теперь он кладет к своим ногам целые планеты... Что же будет его трофеем завтра?

— Трудно вам, Сергей Павлович, должно быть, приходится, — без улыбки сказал космонавт.

— Что?.. Почему?

— Сфера такая — искусство. У нас сделано дело, так уж сделано. А у вас иногда спор на годы — шедевр появился или мазня.

— Не совсем так... Кстати, в точнейшей вроде бы геометрии работу Лобачевского еще дольше считали бредом.

— Это родственная сфера, я не о том. Что мгновенно и всеми оценивается по достоинству? Достижение какого-нибудь полюса, покорение Джомолунгмы или рекорд в спорте. Потому, очевидно, и мы в героях ходим.

— Это справедливо. У вас за неудачу плата другая.

— Бывает, не возвращаемся, верно. Но и художник за выход на новую орбиту искусства, согласитесь, часто расплачивается пережогом нервов. И если уж выбирать конец...

— Сейчас вы, чего доброго, скажете, что выбрали свою профессию из-за малодушия!

— Один — ноль! — космонавт скупой улыбнулся. — Кстати, сколько всего картин было написано только за последние полвека?

— Не знаю. Точно этого никто не знает. Миллионы.

— А о скольких вам известно хоть что-нибудь?

— О тысячах... Право, не считал, да и зачем?

— Значит, есть миллионы, о которых даже специалист ничего не знает, не слышал, не помнит. Жутковатое соотношение удач и попыток, вам не кажется? Вот мы и приехали.

Космонавт легко взбежал по ступенькам подъезда. «Я-то, дурак, решил, что личность исчерпаема! — поспешая за ним, подумал Гаршин. — К чему он, однако, клонит?»

Лифт пулей взлетел на сорок второй этаж.

В квартире, судя по ее виду, скорей гостили, чем жили. Возможно, это впечатление создавали широкие, как на аэродроме, во всю стену окна. Дом был типа «скворечника», ячейки квартир висели свободно, но перекрывая друг друга, что делало остекленное пространство комнат похожим на высотную наблюдательную площадку. Шоссе внизу выныривало из ложбинки в гору и рдело потоком красных огоньков, словно там катился шелестящий, ало мерцающий в темноте поток лавы.

— Хочу познакомить вас с одним сделанным на Венере снимком, — сказал космонавт. — Вот, держите.

Гаршин недоумевающе взял небольшую, размером с открытку, фотографию:

— Мрачноватый пейзаж...

— Других там нет. Вглядитесь, пожалуйста, внимательно.

Гаршин послушно вгляделся и не пожалел. Пейзаж был не просто мрачным. Две высокие и плоские, ржавого цвета скалы расходились створками ворот, приоткрывая вход в никуда, ибо там, в глубине, было нечто неразличимое — не мрак вроде бы, но тень хуже мрака, какой-то безобразный, стерегущий, нехороший сумрак. Что-то мертвенное, но ожидающее, готовое поглотить, мерещилось в нем. И створки скал раскрылись, точно западня, войди — и сомкнутся даже без скрежета. Справа и слева от них не было ничего, так,

муть пустого пространства, но чувства странным образом подсказывали, что стоит лишь войти в ворота, как и эта мнимая пустота обернется хотя и призрачной, однако неодолимой изнутри преградой. Только передний план был лишен этой двусмысленной зыбкости: все четко, ясно, определенно, просто большие и малые камни. Возникало ощущение разлада самой реальности, будто все, что вблизи, настоящее, а все дальнее, за скалами, принадлежит сновидению.

Эта особенность пейзажа раскрывалась не сразу, не при беглом взгляде.

— Вы заходили туда? — почему-то шепотом спросил Гаршин.

— За скалы? Ну, разумеется. А, понимаю! Веет чем-то загоговым, так? Нет, просто шуточки рефракции воздуха, она там чудовищная, еще не то можно увидеть. Но пейзаж явно неземной, согласны?

— Еще бы!

— Вот это главное. Скажите, мог ли художник задолго до полета написать такой сугубо венерианский пейзаж? Не просто похожий, а тот, что вы видите?

— Конечно, нет!

— Даже гений из гениев? Как это у Блока: «Все дни и все ночи налетает глухой ветер из тех миров, доносит обрывки шепотов и слов на незнакомом языке. Гениален, быть может, тот, кто сквозь ветер расслышал целую фразу...» Такого не могло быть?

— Что вы! Нечто фантастическое, созвучное настроению, колориту еще допустимо. Но венерианский, не покидая Земли, пейзаж? Откуда? Это немыслимо.

— Что мыслимо, а что нет, можно знать, лишь владея абсолютной истиной, — сухо сказал космонавт. — Гениальный художник все-таки был. Смотрите.

То, что очутилось в руке Гаршина, было снимком, давней и любительской репродукцией какого-то рисунка. Потертость, ветхий перелом уголка, главное, фотобумага, какой теперь не было, устраняли всякое сомнение в его возрасте. Гаршин даже отпрянул. Невероятно, сон! На невесть когда сделанном снимке был тот самый, со скалами, гнетущий пейзаж. Кое-где пропорции оказались смещенными, некоторые детали отсутствовали, местами иной была цветовая гамма, камни на переднем плане даны намеком, но главное было схвачено точно, а частности в рисунке и должны были быть другими, поскольку всякий художник по-своему видит и одухотворяет мир.

— Откуда? — собственный голос дошел до Гаршина словно из другого измерения. — Как это возможно?!

— В том и загвоздка! Там, на Венере, едва эти скалы показались, я почувствовал, будто их уже видел когда-то, знал в какой-то иной жизни. Ложная память, знаете?

— Да, да...

— Ее психологи объясняют без запинки, хотя, собственно, что мы знаем о подсознании? Но тогда я малость струхнул. Хорошая ложная память, если я точно знаю, что именно вот сейчас откроется! И открылось, все точь-в-точь. Нервы у меня в порядке, но тут я отключился, никаких сигналов не слышу. Что я, святым духом прежде бывал на Венере?! Едва отшутился, когда ребята пристали, чего это я вдруг изобразил собой статую командора... Наконец я понял, где и когда видел этот троклятый пейзаж. На рисунке! А кому скажешь? Земля просто решила бы, что я свихнулся. Даже здесь, отыскав снимок, трудно было отделаться от мысли, что это какой-то вселенский розыгрыш. Ни с чем же не сообразно! Тут, быть может, какие-то аксиомы с нарезки слетают, тут прежде все надо прощупать, со знающим человеком с глаза на глаз потолковать...

Космонавт уже давно встал и говорил, расхаживая, а Гаршин все никак не мог опомниться.

— Да, я же о главном забыл! Снимок лежал в отцовских бумагах. Разбирая их шесть лет назад, я на него наткнулся, мельком взглянул и сунул обратно. Откуда он у отца — понятия не имею. Все. Что скажете?

Гаршину показалось, что он пришел в себя и способен рассуждать здраво.

— Может быть, что-нибудь знают мать, друзья...

— Мать погибла в той же авиакатастрофе, друзей я, понятно, спрашивал.

Гаршин прикусил губу, и это вернуло ему чувство реального.

— Лупа у вас найдется?

Оказалось, что космонавт уже держит ее наготове. Гаршин погрузился в изучение рисунка, а космонавт мерно расхаживал из угла в угол своей вознесенной над ночным городом комнаты.

— Подписи художника нет, — Гаршин с досадой отложил лупу. — Это ладно, бывает. Но техника, краски, все остальное... Не понимаю!

— Чего именно?

— Видите ли, Пикассо десятки раз писал один и тот же стол, и он всегда получался разный. Потому что меняется видение художника, потому что сам стол — достаточно иначе упасть свету — всякое мгновение разный. А здесь... — Гаршин безнадежно развел руками. — Да окажись автор на Венере, еще вопрос, добился бы он такого сходства!

Космонавт фыркнул, как человек, на глазах которого переливают из пустого в порожнее:

— Наши эмоции никого не касаются, и зря я упомянул о попра-

пии аксиом. Ничего этого нет. Рисунок и фотография не тождественны, все строго в пределах теории вероятности.

— Искусство не физика!

— Но законам статистики оно подчиняется, как все остальное. Миллионы рисунков и образов могут и обязаны дать случайное совпадение. Могут и обязаны — такова фантастика больших чисел. Наконец, перед вами факт. Вы что, уже и глазам не верите?

— Извините, — слабо улыбнулся Гаршин. — Я чувствую себя, как тот монах, которому Галилей показал в телескоп другие миры... Ваш отец увлекался искусством?

— Не сказал бы. И фотографией тоже, так что это, скорее всего, подарок. Время съемки мною датировано: бумага отечественная, выпускалась с 1981 по 1989 год. Боюсь, вам это мало что даст, ведь картина могла быть написана куда раньше. Еще в средневековье, чего доброго.

Гаршин отчаянно замотал головой:

— Ничего подобного! Стилз — это не только человек, но и время. У нас, похоже, только и есть эта ниточка.

— Звучит безнадежно...

— Отнюдь. Техника работы меня смущает, впрочем, сейчас многие экспериментируют с новыми красками и основами, что лишь подтверждает современность рисунка. О том же говорит стилз. Нет, нет, — продолжал Гаршин, загораюсь. — Вот вам первые анкетные данные нашего незнакомца. Современник — раз, соотечественник — два! Картина написана не раньше шестидесятых годов, когда возникла первая волна фантастической живописи, — три! Кстати, это объясняет безвестность произведения: мы, искусствоведы, такую живопись долго не принимали всерьез.

— И проморгали этот шедевр.

— Простите, тут уж я компетентен! Забудем о внешних обстоятельствах, — что перед нами? Есть настроение, экспрессия. И масса мелких, чисто художественных погрешностей. Ваш снимок гораздо сильнее, потому что он документ. Так что нет ни шедевра, ни гения, есть талантливый дилетант или молодой, ищущий, неопытный художник.

— Гениален, выходит, не человек, а случай?

— Неважно! Круг поисков мне ясен, недели через три я либо найду автора...

— Либо?

— Либо мы слепые котята.

Лестница припахивала кошками, давним кухонным чадом, слизью окурков. Похоже, ничто не могло вытравить этот столетний

запах мебелишек, коммунальных квартир, военных разлух, хотя ступени были отмыты до белизны, в завитках чугунных перил не таилось пыли, а стены были покрыты флюоресцином. Настоящее не побороло прошлое, оно пропиталось им, и запаха времени густел по мере того, как Гаршин поднимался от лифта к мансарде, надеясь и после стольких поисков уже не веря в удачу.

Достигнув верхней площадки, он придавил кнопку звонка и, когда дверь открылась, увидел то, что и ожидал увидеть: серый от курева воздух, пол, к которому давно, а возможно, совсем не прикасались щетки автомата-уборщика, прислоненные к стенам картины в рамах и без, пропыленные стопы книг по углам, какие-то рисунки, ветхий диван и, конечно, мольберт. Хозяин смотрел на Гаршина с нелюбезным вниманием. Был он тощ, суховат, по бокам узкого черепа топорщились седоватые волосы, худую шею косо охватывал шерстяной, не первой молодости шарф.

— Чем любезен?

Гаршин назвал себя. Точно колючая электрическая искра мигнула и погасла в пристальных глазах художника.

— Так, так, так,— протянул он.— Привык почитать искусствоведов, как судей и распорядителей искусства. Прошу, чему обязан?

Гаршин не отозвался на скрытый выпад. Искусство — великое ремесло. Если столяр делает табурет, то не возникает вопроса, нужен ли этот табурет, хорош ли он или никуда не годится. Все очевидно с первой минуты, тогда как художник, поэт, композитор обычно полон неуверенности, даже когда чуть подсказывает, что вещь удалась. И нет произведения, о котором сразу не сложилось бы двух и более мнений. Отсюда почти детская жажда похвал или, наоборот, защитная броня непоколебимой самоуверенности. Впрочем, одно часто сочетается с другим, и Гаршина всегда восхищала сила тех, кого эта ржавчина не могла коснуться. Но сочувствовал он всем, в ком видел талант, а поскольку о Лукине знал лишь с чужих слов, то теперь первым делом глянул на его полотно.

— О вас говорят,— сказал он,— что вы давно пишете только для вечности. Начинаю понимать...

— Осчастливлен. Может быть, и с выставкой поспособствуете?

— Оставим подковырки,— решительно сказал Гаршин.— У меня к вам дело.

— Спасибо за откровенность,— Лукин почему-то потер ладони.— Терпеть не могу притвор и благодетельных султанов от искусства. А что, интересно, вы поняли?

— Что вы нащупываете свою, трудную и необходимую дорогу. Лицо Лукина осветилось.

— Да! — вскричал он.— Стойте, я вам сейчас кое-что прочитаю...

Он с обезьяньим проворством подскочил к груде книг, разворошил ее и с торжеством вытянул потерянный томик:

— Вот, слушайте! «Не правда ли, странное явление — художник петербургский? Художник в земле снегов, художник в стране финнов, где все мокро, гладко, ровно, бледно, серо, туманно!.. У них всегда почти на всем серенький, мутный колорит — неизгладимая печать Севера. При всем том они с истинным наслаждением трудятся над своею работой. Они часто питают в себе истинный талант, и, если бы только дунул на них свежий воздух Италии, он бы, верно, развился так же вольно, широко и ярко, как растение, которое выносят наконец из комнаты на чистый воздух». Это Николай Васильевич Гоголь. Каково, а? Север, видите ли, неживописен, гнетущ для таланта, север, с его убранством луговых цветов, озерной синью, ярким, не чета югу, небом, огненной осенью, — бледен и сер! Добро бы чиновник-искусствовед писал, так нет же, гений литературы, который и к живописи прикосновенен был. Какими же он глазами смотрел? Как очевидного не видел? А потому и не видел, что в незрячее время жил, что глаз отечественного художника спал и русская природа еще не была открыта. Ну а мы — лучше? Одни мнут перины прошлого, Левитанов перемалевывают, другие вовсе от пейзажа бегут, мол, фотографией заштамповано и не искусство даже в наш углубленно-атомный век, словом, все гладко, уныло, плоско, как сказал бы дорогой Николай Васильевич. А земля-то художественно еще не открыта! Да, да! Всю, целиком, сверху, после стольких лет авиации, мы видим ее не лучше, чем Гоголь север! Нет, скажете? Вспомните выставки, почитайте писателей, — где у них Земля с большой буквы? Зрение пешехода, они и из стратосферы только унылые снежные равнины облаков замечают. А оттуда такое открывается! Вот, смотрите, как из этой плоской равнины сверху натура человеческая просвечивает!

Этюды, эскизы, незавершенные картины с грохотом стали отделяться от стен и окружать Гаршина, который не успевал вставить ни слова.

— Вот наш автопортрет — Подмоскowie! В природе все округлость, излом, завиток, а чего мы коснемся — там прямизна оград, улиц, строений, дорог, ровные фигуры полей, даже леса растим геометрично! Математическая линейка у нас в голове, все прямым, прямым...

«Не ново», — защищаясь от этого потока слов, подумал Гаршин.

— ...Какой контраст с горами! Видели вы их прежде? Нет! Алмазы ледников, бастионы круч, та-та... Восприятие человеко-муравья. А здесь, у меня? Теперь-то вы видите, видите планетную сущность гор? Они же родственны узорам на морозном стекле!

Гаршин отпрянул в сторону от очередного холста.

— Ага, вы, кажется, поняли! Самолет распластал хребет, я вгляделся — тот же ветвистый причудливо-правильный узор отрогов, ущелий, снега! А вы говорите — Земля открыта... Это палящее лохматое солнце над красным марсианством Кызылкумов вы когда-нибудь видели? Отражение радуги в Байкале от берега до берега вам знакомо? Шелковый узор ветра на синеве Арала — это вам что, очередные березки, от которых тошнит на выставках, как от зубрежки таблицы умножения? Вы еще обо мне статьи писать будете, монографии посвятите!

Гаршин вздохнул. Перед ним был тот самый случай неистовой работоспособности и страсти, когда талант ума и наблюдательности, увы, не подкрепляется художественным и содержание любого полотна можно исчерпать словами, чего нельзя сделать ни с одним значительным произведением искусства, будь то «Джоконда» или левитановский пейзаж.

Радовал только поиск, действительно нужный, потому что Земля художественно и в самом деле еще не открыта. Гаршину было жаль Лукина, и он дал себе слово помочь с выставкой: ведь столько художников получают их, не имея даже того, чем обладал Лукин. Но поступиться истиной Гаршин не мог.

— Вы ведь начинали-то, собственно, с фантастики, — осторожно сказал он.

— Воображение лишь жалкая тень действительности...

Лукин поправил шарф и, морщась от дыма очередной сигареты, как бы в удивлении оглядел свои беспорядочно расставленные полотна. Гаршина он уже не замечал.

Тот достал снимок:

— Простите, вот это случайно не ваша в молодости работа?

— Нет, — коротко бросив взгляд, сказал Лукин. — Не моя и моей, само собой, быть не может.

— Тогда, быть может, вы знаете автора? — безнадежно спросил Гаршин.

— Автора... Автора, простите, чего?

— Автора этой картины.

— Картины?

— Ну да...

— Повторите-ка, повторите...

— Я ищу автора этой картины, что тут непонятного?

— Вы, искусствовед, ищите?! Так из-за этого я и удостоился...

Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!

— Позвольте...

— Да знаю я автора, знаю! Ха-ха-ха...

— Он жив?!

— Живей нас с вами... — Лукин вытер набежавшие слезы. —

Ах какая чудесица! Ах, славное, дышлом вам по голове, племя искусствоведов! Так вам нужен, позарез необходим автор? Извольте, есть у меня адресок. Свердловск...

— И оригинал там?

— Там, все там, и Влахов Кеша там... Записывайте...

«Влахов Иннокентий Петрович, доктор геолого-минералогических наук, профессор», — волнуясь, прочитал Гаршин на дверной табличке и с удовлетворением подумал, что его первоначальная догадка оказалась верной. Маститый профессор когда-то увлекался, возможно, и теперь увлекается живописью, рисунки его, понятно, известны немногим, а, между прочим, именно геолог скорей любого другого дилетанта мог случайно прозреть тот каменный венерианский мир. Зря смеялся Лукин. То-то он ахнет, когда узнает, в чем дело!

Влахов оказался кряжистым, в летах человеком с медвежьей походкой и таким рокошуще-добродушным басом, что Гаршину сразу стало легко и просто. Гостю здесь были рады без всяких расспросов и дел, рады только потому, что он гость, и Гаршин не успел опомниться, как уже сидел за столом и с приятствием отхлебывал вкуснейший чай. Но мало-помалу благодушие сменилось беспокойством, так как ничто вокруг не свидетельствовало об увлечении живописью, а когда Гаршин о ней заговорил, то Влахов выказал живой и все же явно сторонний интерес к искусству.

— Мне, однако, сказали, что вы сами недурно рисуете, — не выдержал Гаршин.

— Это вам навра-а-али, — растягивая слова, пробасил Влахов. — Сроду непричастен.

— Как? — опешил Гаршин, еще цепляясь за краешек надежды. — Мне Лукин говорил!

— Не мог того сказать Лукин, ибо знает. Да что с вами? Беда какая?

— Никакой, — бледнея, отозвался Гаршин. — Вралю поверил, вот что!

— Позвольте, этого быть не может! Знаю я Лукина, на одной парте сидели, кристальной честности человек...

— Тогда как понимать это?! — дрожащими от обиды и гнева пальцами Гаршин высвободил, выхватил из конверта снимок. — Ваш честнейший Лукин заверил, что оригинал у вас и вы его автор!

Влахов мельком глянул на снимок и недоуменно уставился на Гаршина.

— Рассказывайте, — строго сказал он.

— Но видите ли...

— Все рассказывайте.

Дослушав, Влахов пытливно сравнил оба изображения, его глаза блеснули удовлетворением.

— Идемте, я покажу рисунок.

— Так он... — Гаршин вскочил, — есть?!

— А как же! Лукин язвец, но не враль. Все во всем, как говорили мудрые греки...

В кабинете Влахов выдвинул обшитую по дну черным сукном полку, оттуда из разноцветной укладки полированных камней изъясил угловатую плитку и протянул ее Гаршину:

— Вот вам оригинал.

Пол тихо качнулся под ногами Гаршина: с холодной глади камня на него смотрел тот самый, до мелочей знакомый венерианский пейзаж.

— Сядьте, сядьте, — голос Влахова дошел как сквозь вату. — Что тут особенного? Так называемый «пейзажный камень», таких у меня, видите, коллекция, сам резал. Право, не стоит переживать. Эко диво, сходство! Хотите вид березовой опушки? Вот, пожалуйста, думаю, и натуру, место похожее отыскать можно. А тут скалы, прибой кипит... И облачный бой, как у Рериха, есть. Это свойство яшм, агатов и многих других камней давно известно, наши уральские мастера-камнерезы целую картинную галерею могут составить.

— Так венерианский же в камне пейзаж, ве-не-ри-анский! — простонал Гаршин, оглушенный и чудом невероятного сходства, и своей изначальной непростительной ошибкой, и непостижимым спокойствием Влахова.

— Что ж, венерианский... Со временем, думаю, и антаресский откроется. Природа едина. Как познали ее новый уголок, так и в камне, значит, его сразу увидели, того и следовало ждать. Не удивлюсь, кстати, если в срезах венерианских пород отыщутся земные пейзажи.

— Тогда что же получается? — мысленно отшатываясь, вскричал Гаршин. — В камнях, выходит, заключены... все образы мира?!

— Ну, все не все, только прикиньте-ка объемы горных пород, сочтите все цветовые в них комбинации. Астрономия получается, классический для теории информации пример с великим множеством обезьян, которые в конце концов отстукивают на машинке всего Шекспира.

— И в камне здесь, у нас под ногами, может таиться мадонна Рафаэля?!

— Не исключено.

— Слушайте, а вам не страшно?

Наконец-то Гаршин увидел Влахова растерянно моргающим!

— Мне так страшно, — продолжал он с лихорадочной поспешностью. — Если вы правы, если все образы мира уже есть, тогда зачем художник, к чему искусство? Все ж будет простым повторением!

Влахов сурово задумался. Затем его губы шевельнула медленная улыбка.

— Лукин, кажется, аттестовал меня автором венерианского пейзажа? — спросил он будто самого себя. — Что ж, мы в природе, а она в нас. Я-то камень не вслепую резал, я искал, выявлял в нем скрытое, и без меня, выходит, тоже ничего бы не было. Хотя какой я художник? — Влахов вздохнул. — Жизнь хороша своей бесконечностью и, стало быть, щедростью. Идемте поразмыслим об этом за чаем, он, знаете, хорошо нервы сглаживает.

Иван Филимонов

АНГАР. ОТХОД КО СНУ

I

Поздний вечер. Где-то в нем затерян огромный ангар. Движение внутри ангара затихает. Лишь в Северной части еще слышен шум: там цехи работают круглосуточно.

Но в крохотном отсеке Южной части шума не слышно.

В отсеке двое. Вид у них ненювенький, неблестящий. Пластик во многих местах обшивки отошел, стерся, потускнел. Металлические части кое-где покрыты рыжей ржавчиной.

Тусклая лампа бросает слабый желтый свет.

— Как работа на участке? — скрипящим голосом говорит он.

— Как всегда, — говорит она. Ее голос почти не скрипит. — Только все больше времени уходит на уборку. Приходится задерживаться. А энергия к концу дня исчерпывается, двигатель перегревается, вот-вот остановится. А у тебя?

— И у меня. — Он говорит, будто где-то открывается и закрывается старая дверь на заржавленных петлях. — Старею. Всюду не успеваю. Внутри все скрипит. Двигаться тяжело. Суставы заржавели. А иногда, очень редко, срединный сустав разогнется, а потом не сгибается.

— Тебе надо обратиться к Мастеру, — монотонно говорит она. — Пусть смажет срединный сустав.

— Нет, — возражает он. — Что об этом говорить? Меня всего надо смазывать.

— Тогда пусть голосовую мембрану почистит. Ты говоришь, как ржавая пила пилит, и я скоро перестану тебя понимать.

— Нет, — снова возражает он. — К Мастеру я не пойду. Если бы Мастер был Человек. Ты знаешь, Люди, они странные. Мне после обкатки недолго пришлось работать с Людьми. Это было самое напряженное время в моей жизни. Никогда мне так много не приходилось работать. Но Люди работали больше меня. Люди неиссякаемы. Совершенно непонятно, откуда они берут энергию. Ведь они не подключаются на ночь к аккумулятору, как мы. Однажды со мной что-то произошло. Люди не рассказывали что. Меня должны были разобрать. Но один Человек исправил неполадки. Люди... — он внезапно замолкает.

— Чувствуют, — говорит она.

— Да, — говорит он, — Люди чувствуют. А откуда ты знаешь это слово?

— Ты рассказываешь эту историю каждый вечер, — монотонно отвечает она.

— Правда? — спрашивает он.

— Правда, — говорит она.

— Плохо, — скрипит он. — У меня, наверно, отошел какой-то контакт. Как ты думаешь?

— Я не Мастер, — говорит она.

— Да, ты не Мастер, — соглашается он.

И они на время умолкают.

— Что? — неожиданно скрипит он. — Что ты говоришь?

— Ничего, — отвечает она. — У тебя что-то со слуховыми анализаторами.

— Ты говоришь... — начинает он.

— Нет, ничего не говорю, — возражает она.

— Мне был слышен твой голос, — говорит он. — А на участке я иногда не слышу команды. Сегодня совсем близко от меня проехал трап от космического челнока «Альбатрос». Он должен подавать команду «опасность!», но мне ее не было слышно.

— Надо смотреть вокруг, — говорит она.

— Да, — говорит он со скрипом. — Но мне приходится смотреть вниз. Когда я убираю зал, то иногда пропускаю мусор. Со мной раньше такого не было. Может быть, на стекла попадает пыль?

— Дай я посмотрю, — предлагает она.

Он поворачивается стеклами к ней. Она смотрит.

— Никакой пыли не вижу, — говорит она. — У нас в отсеке тусклый свет. Но ты попробуй почистить пылесосом.

— Чистил, — говорит он.

— Тогда ничего не могу сказать.

— А вдруг коррозия? — скрипит он. — Вот что плохо.

Она не отвечает. Она принимается скоблить манипулятором испачканный черным бок.

Он тоже принимается за дело: включает стационарный пылесос и подставляет к его щели свои стекла. Потом манипуляторы и конечности.

— А может быть, ты все-таки пойдешь к Мастеру? — нарушает молчание она.

— Ты помнишь мой рассказ об ушедшем? — говорит в ответ он.

— Помню, — говорит она.

Но он продолжает:

— Тот тогда пошел к Мастеру и не вернулся к себе в отсек. А это противоречит программе: киберы должны служить максимальное время. Поэтому я никогда не пойду к Мастеру.

— Мастер может направить тебя в профилактический цех, — говорит она.

— Там меня разберут на части, — еле понятно скрипит он. — Кому нужен изношенный кибер? Да еще с устарелой программой.

Они замолкают. На этот раз надолго. Они погружаются в вечернюю чистку.

Наконец он выключает пылесос.

— Всё? — спрашивает она. Она недавно тоже закончила скоблить испачканный бок.

— Всё, — скрипит он.

— Подключаемся? — спрашивает она.

— Мне иногда кажется, — страшно скрипит он вместо ответа, — что когда-нибудь я подключусь, и произойдет короткое замыкание. Тогда наступит конец.

— Зачем об этом говорить перед подключением? — спрашивает она.

— Подключаемся, — в последний раз скрипит он.

— Подключаемся, — говорит она после небольшой паузы.

Он и она подключаются к аккумулятору и затихают.

В крохотном отсеке воцаряется тишина. Тусклый свет медленно гаснет, будто невозвратно падающая звезда.

II

Поздний вечер. Где-то в нем затерян огромный дом. Движение внутри дома затихает. Лишь под окнами еще слышен шум: за живой запыленной изгородью по дороге мчатся запоздалые авто.

Но в небольшой комнате на первом этаже шума не слышно.

В комнате двое...

Анатолий Мельников

ПОХИЩЕНИЕ В БАЛЛАРАТЕ

Свалилось на Боба Грейви это чертово ночное дежурство в полицейском участке. Не то чтобы оно выдалось слишком беспокойное. За всю ночь только и было дел, что задержали бродягу, который шлялся возле здания «Бэнк оф Аустралия лимитид». Однако сомкнуть глаз по-настоящему не удалось, а Боб этого очень не любил.

Теперь бродяга сидел в камере до выяснения личности, а Боб лежал в дежурке, развалившись на коротком диванчике. Были самые тяжелые предутренние часы, глаза у Боба сами собой закрывались. На столе, рядом с телефонными аппаратами, с которых неизвестно когда в последний раз стирали пыль, лежала его фуражка с кокардой.

Над небольшим, но славным австралийским городком с необычным названием Балларат, занимался ранний рассвет 13 декабря. Небо было безоблачным, и день обещал быть жарким.

Видимо, Боб все же задремал. В его сонном мозгу начали возникать причудливые видения. Появилось синее море, широкие белые пляжи, точь-в-точь как на Гоулд-коуст — «Золотом берегу» на восточном побережье материка. Близко к берегу подступала полоса диковинных деревьев. В их ветвях сновали небольшие черные птицы...

От резкого звонка видения заколебались и начали смешиваться, как изображение на экране телевизора, у которого внезапно вышел из строя блок синхронизации. Боб с трудом разлепил веки и с неудовольствием увидел себя все на том же диванчике в дежурке. Новый резкий звонок заставил его приподняться. Он дотянулся до трубки, взял ее нетвердой рукой, сказал охрипшим со сна голосом:

— Сержант Грейви у аппарата!

— Полиция? Говорит хранитель музейного комплекса Балларата!

— Ваше полное имя?

— Дональд Саммерс.

— Что случилось, мистер Саммерс?

— Нужно, чтобы кто-то из ваших людей приехал сюда.

— А что произошло?

— Трудно объяснить по телефону. Боюсь, что вы не поверите.

К тому же мне самому многое непонятно...

— Скажите хотя бы, какое преступление совершено. Убийство, ограбление...

— Ни то, ни другое! Похищены экспонаты... Словом, приезжайте сами.

— Ладно, — сказал Боб. — Сейчас кто-нибудь приедет.

Он положил трубку на рычаг и взглянул на часы. Ему все-таки удалось вздремнуть: уже без четверти семь. А как раз в семь должен явиться сменщик.

Сдав дежурство, Боб сел в полицейский «хольден» и направился в музейную часть города проводить расследование. Выруливая на нежаркий в этот час асфальт тихих городских улочек, сержант Грейви начал размышлять об истории славного города Балларата.

На том месте, где сейчас стоит город, рос когда-то австралийский «буш», то есть густые заросли главным образом акаций и эвкалиптов. Белые поселенцы, «пионеры», как их называли здесь, добравшиеся до этих мест в период колонизации материка, тому около двухсот лет, облюбовали уютное местечко на берегу небольшой непересыхающей речки. Уже одно это само по себе было большой удачей — найти внутри континента пригодную для питья воду. Большинство ручьев — по-австралийски «криков» — в «буше» пересыхает.

Но поселенцам была уготована еще одна неожиданность: на берегу полноводной речки обнаружили золотоносные жилы!

К началу прошлого века на месте поселения возник золотой прииск с неглубокой копью. Золото было близко. Вокруг прииска быстро расстраивался деревянный городок. Неподалеку от копра шахты в короткий срок выросли гостиница «Америкен экспресс», типография газеты «Балларат таймс», фирменная аптека и конечно же множество пивных. В них оседала значительная часть заработка старателей. По улицам деревянного города ходил конный дилижанс, поднимавший к раскаленному небу тучи красноватой пыли.

Боб неторопливо доехал до небольшой площади и повернул налево, в улицу, которая вела прямо к прииску. Встречных автомашин не было. Солнечные лучи, пронизывавшие лобовое стекло, прогревали с каждой минутой все ошутимее.

...К середине девятнадцатого века на золотом прииске в Балларате было занято уже несколько тысяч рабочих, вспоминал Грейви. В ноябре — декабре 1854 года возмущенные непосильным налогообложением и злоупотреблениями властей горняки бросили работу и предъявили свои требования, среди которых было одно политическое: учреждение справедливого правительства. Из крепежного леса, употреблявшегося в шахте в качестве опор, рабочие возвели укрепление и поклялись сражаться до конца. Известное под названием «Эврикского восстания», это революционное вы-

ступление было подавлено силами армии и полиции. В истории Австралии оно известно как первая организованная попытка рабочих отстоять свои права...

Показались строения прииска. Боб вглядывался в их знакомые очертания. У него вдруг возникло странное чувство, будто в привычном облике музейного центра чего-то не хватает.

...Во второй половине двадцатого века Балларат пережил свое второе рождение — он стал центром туристического бизнеса. Вблизи старой золотой копи вновь выросли стилизованные под старину деревянные здания отеля, типографии, аптеки, пивных. По улочкам музейного центра, как и встарь, пылил конный дилижанс. В типографии печаталась местная газета «Балларат таймс». Стараниями редактора и рабочих типографии она выглядела так же, как в середине века: те же шрифты и нарочито провинциальный стиль.

Туристы спускались в чистенькую, прохладную шахту, проходили полмили под землей под присмотром гида, заглядывали в заброшенные штреки и забои. В хорошем настроении они выходили по вагонеточным путям прямо на склон горы, к знаменитой золотоносной реке. Тут их ждало новое развлечение: на песчаном берегу лежали жестяные тазики, в которых, наверное, старатели мыли песок еще сто с лишним лет назад. Желающие могли попытаться счастья. Любители всегда находились, правда, трудились они без особого успеха. Но в запасе был еще один, более верный способ. Можно было тут же купить пробирку с золотоносным песком и промыть его...

Оставшиеся на дне крупички золота вновь помещались в пробирку с наклейкой «Настоящее австралийское золото», заливались водой и увозились в качестве сувенира.

Куда бы турист ни входил, он отовсюду уносил памятный подарок. В аптеке, например, где на видном месте стояли старинные весы со множеством разновесков, он покупал флакончик прозрачного эвкалиптового масла с непривычной для глаз этикеткой. «Соответствует британским фармацевтическим стандартам», — значилось там.

...На границе музейного комплекса асфальт кончился, и автомобиль сержанта запрыгал по мелким выбоинам дороги. Боб подрулил к конторе и остановился в легком облачке пыли. Выходя из машины, он почувствовал, что все же очень устал после бессонной ночи.

Контора, как и все остальные здания музейного комплекса Балларата, была построена из бревен и досок.

К деревянным перилам веранды была привязана пегая лошадь, совсем как где-нибудь на американском Диком Западе во времена

«золотой лихорадки». По самой середине музейной улицы расхаживал страус эму.

Сержант толкнул застекленную деревянную дверь, рядом с которой на стене была прикреплена аккуратная надпись: «Дирекция Балларатского музея». Дверь протяжно скрипнула. Боб шагнул через порог и очутился в небольшом, по-современному обставленном офисе.

Из-за гладкого металлического стола с выстроенными в ряд телефонными аппаратами навстречу полицейскому поднялся среднего роста мужчина в костюме сафари цвета хаки.

— Сержант Грейви,— представился полицейский.

— Хранитель музея Дональд Саммерс. Располагаетесь, разговор предстоит длинный.

— Ну, что у вас там стряслось? — произнес Боб привычные в подобных случаях слова. Одновременно всей тяжестью тела он опустился в мягкое синтетическое кресло.

— Случилось невероятное,— начал Саммерс.— Ночь в общем прошла спокойно. Охрана не заметила ничего необычного. Защитная система была включена, но никаких сигналов не выдала. Систему только что проверили, она в полном порядке. Однако утром сотрудники обнаружили пропажу некоторых экспонатов. Строго говоря, это не столько экспонаты, сколько составные части нашего музейного комплекса. Не мелочи какие-нибудь...

Дональд Саммерс замолчал, видимо обдумывая, что сказать дальше. Боба опять начало клонить в сон, и он все силы употребил на то, чтобы не клевать носом.

— У нас тут собрана кое-какая старая техника,— продолжал Саммерс,— локомотивы, вагоны, паровые машины, автомобили первых выпусков... Для них отведена специальная площадка, куда туристов пускают за отдельную плату.

— Изложите суть дела,— с заметным раздражением в голосе сказал сержант.

Слова сержанта как бы придали Саммерсу решимости.

— Сейчас о главном,— извинительным тоном произнес он.— Сегодня ночью с территории музея исчезли два паровоза, три паровые машины и несколько автомобилей! Исчез также дилижанс...

— Что вы думаете о возможности их угона? — подавляя зевок, спросил полицейский.

— Угона? — изумился Саммерс.— Да для того, чтобы их вывезти отсюда, понадобилось бы несколько железнодорожных платформ и специальные краны. Когда музей только создавался, сюда была проложена железнодорожная ветка. Она и поныне существует, но ею никто не пользуется. Во всяком случае, даже

ночью незаметно такую операцию совершить невозможно,— добавил он убежденным тоном.

— Проводите меня на место происшествия,— сказал сержант.— Следует все осмотреть.

На самом деле ему до смерти хотелось поскорее лечь в постель. Но он знал, что до этого еще далеко, а на свежем воздухе ему, по крайней мере, должно полегчать.

Они вышли на скрипучую веранду. Лошадь при их появлении начала кивать головой, грозя оборвать уздечку.

— Ну, ну! — сказал Саммерс.— Потерпи немного.

Они были уже на полпути к площадке со старой техникой, когда увидели бегущего к ним навстречу охранника, одетого в светло-серую униформу.

— Господин Саммерс! — крикнул он еще издалека.— Беда!

— Что стряслось, Миллс? — громко спросил Саммерс.

Подбежавший охранник в течение нескольких секунд пытался перевести дух. Наконец сказал:

— Ограбили типографию. Шрифты частично взяты, частично рассыпаны. Исчезла одна из печатных машин, самая старая. Она весила пятнадцать тонн... Как ее вынесли, не понимаю.

— Идемте в типографию,— сказал Саммерс, обращаясь к полицейскому.— Может, найдем какой-нибудь ключ к разгадке.

Они повернули на главную улицу музейного комплекса.

Боб Грейви взглянул на шахтные надстройки, да так и обомлел. Он заметил неладное еще из окна автомобиля, но тогда его внимание было отвлечено дорогой и он не понял, чего не хватало в привычном облике музея.

Над шахтой не было копра.

* * *

Корреспондент газеты «Сидней морнинг геральд» Ричард Датсон прибыл в Балларат несколько часов спустя после сообщения о ночном происшествии в музее. У первого попавшегося газетного киоска Датсон остановил машину, которую взял напрокат по приезде в город, и попросил местную газету. Продавец, загорелый пожилой австралиец в позолоченных очках с затемненными стеклами, подал ему сложенный листок «Балларат таймс» и лукаво улыбнулся.

— Уникальный номер, сэр,— сказал он,— сами увидите.

Датсон тут же, у киоска, развернул листок и в первый момент оторопел.

Номер пестрел разнообразными шрифтами. Видно было, что набирали вручную и ставили любую попавшуюся литеру, лишь

бы она подходила по смыслу. Вероятно, сортировать шрифты было некогда, и редактор принял единственное возможное решение. Главное, чтобы номер вышел в свет.

Выглядело это презабавно:

«БАЛЛАРАТ ТАЙМС»

ЗаГадОЧное ПрОисШестВие в мУзейном ЦЕНТРе
(от наШего СоБсТвенноГо КорРеспондента)...

Далее шло подробное изложение событий прошлой ночи, перечислялись пропавшие экспонаты, подсчитывалась возможная стоимость убытков. Газета взяла интервью у хранителя музея Дональда Саммерса и сержанта полиции Роберта Грейви. Ничего определенного они сообщить не могли, оба терялись в догадках. Действительно, трудно похитить локомотив незаметно, но еще сложнее его спрятать. Тем временем оповещенные полицейские участки на всей территории штата Виктория хранили полное молчание. Это могло означать только одно: ничего обнаружено не было.

Датсон поблагодарил киоскера и спросил дорогу к музею. Выйдя из тени киоска, он быстро сел в раскаленный автомобиль и погнал его по шоссе. Солнце клонилось к закату. Датсон рассчитывал, что еще застанет хранителя в музее.

Возле конторы музея бродила отвязанная пегая лошадь и щипала пожухлую траву с газонов. Возле нее неторопливо подпрыгивали низкорослые красноватые кенгуру из той породы, которую австралийцы называют «уоллаби». Это мирное взаимное существование бок о бок таких разных животных — европейской лошади и маленьких местных уоллаби — почему-то умилило Датсона.

Он припарковался возле деревянной веранды, постаравшись загнать машину в тень. Затем поднялся на веранду и открыл застекленную скрипучую дверь.

Саммерс оказался на месте. Он беседовал по телефону с адвокатом.

— Да, случай необычный,— сказал он в трубку, кивая корреспонденту и указывая ему на синтетическое кресло.— Хорошо, что все было застраховано! Вы оказались предусмотрительным человеком. Не всякому бы пришло в голову застраховать старые локомотивы и паровые машины... Сколько вы говорите? Пятьсот тысяч? Совсем неплохо за старую рухлядь. Лично мне жалко только дилижанс... Его сразу не восстановишь. Нужны чертежи, да и мастеров по этому делу почти не осталось. Наша лошадка Смоуки осталась пока без работы. Извините, ко мне пришли... До свидания.

Хранитель положил телефонную трубку и вопросительно взглянул на Датсона:

— Вы из столицы?

— Нет, из Сиднея. Корреспондент «Сидней морнинг геральд» Ричард Датсон. Хотел бы побеседовать с вами и, пока не стемнело, сделать несколько снимков.

— Наверное, ничего нового я вам не сообщу.

— Кто мог все это похитить? Есть ли какой-нибудь намек, зацепка?

— Можно сделать одно фантастическое предположение: шайка злоумышленников похитила экспонаты, чтобы получить за них выкуп. Они могли использовать мощные вертолеты...

— Хм, не слишком убедительно,— заметил Датсон.— Кто станет выкупать все эти древности? Да и работающих моторов, насколько мне известно, никто ночью не слышал...

— А вдруг все эти вышедшие из употребления локомотивы, паровые машины и печатный станок имеют для кого-нибудь особую ценность?

— Это звучит уже убедительнее,— сказал Датсон.— Но для кого они могут представлять ценность? И почему?

Хранитель Саммерс пожал плечами.

— Удастся мне связаться с сержантом полиции, который проводил расследование? — поинтересовался Датсон.

— С сержантом Грейви? — переспросил хранитель музея.— Лучше подождите до утра. Он отсыпается после ночного дежурства.

Дику Датсону не оставалось ничего делать, как отправиться осматривать нанесенный музею ущерб. Пегая лошадь стояла у веранды, укрывшись от солнца в тени. Вокруг нее, словно цыплята возле наседки, копошились уоллаби.

Датсон побродил по площадке, на которой была размещена старая техника, сделал несколько снимков. Затем забрел в типографию. Представившись рыжеволосому редактору в очках, спросил, как идут дела.

— Верстаем завтрашний номер,— сказал редактор.— Можете взглянуть. Моя фамилия Хопкинс...

Двое наборщиков трудились над номером. Опытным глазом Датсон сразу определил, что газета, как и накануне, набиралась вручную смешанными шрифтами.

— Еще не получили новые шрифты? — поинтересовался он у Хопкинса.

— Шрифты будут завтра,— ответил редактор.— Но тут возникла одна интересная идея... Оставить газету в нынешнем виде, то есть набирать ее разными шрифтами.

Датсон удивленно поднял брови:

— Но ведь будет неудобно читать...

— Такой газеты нигде больше нет,— убежденно произнес Хопкинс.— Во-первых, мы набираем наш номер вручную, как в прадедовские времена. Во-вторых, случай нам помог придать газете совершенно необычный вид...

Они отошли от стола, на котором верстался номер. Хопкинс пятерней причесал свои рыжие кудри. Его глаза сияли за стеклами очков.

— В этом городе,— продолжал он,— все ориентировано на доходы от туризма. Да нашу газету в ее теперешнем виде любой турист купит и увезет как сувенир!

— Неплохо задумано! — похвалил Датсон.— Поздравляю!

Из типографии Датсон направился напрямиком в отель «Американ экспресс», где снял сносный одноместный номер за тридцать долларов.

Получая ключ у администратора, корреспондент поинтересовался, есть ли у них автоматическая телефонная связь с Сиднеем. Получив утвердительный ответ, Датсон поднялся к себе в номер по узкой деревянной лестнице.

Первое, что сделал Датсон,— это набрал код Сиднея и редакционный номер.

— Негусто,— сказал его редактор на другом конце провода, когда корреспондент поведал о том, что ему удалось разузнать.— Дадим версию с шайкой злоумышленников, которые преследуют какие-то никому не ведомые цели. Но утром постарайтесь побольше выжать из сержанта.

Датсон лег в постель еще до полуночи. «Жаль, что я не выведал у Саммерса, какие меры безопасности он предусмотрел на эту ночь»,— подумал он, засыпая.

* * *

Дверь кабинета хранителя музея чуть-чуть приоткрылась. В проеме показалась голова охранника Миллса.

— Сэр,— почтительно сказал охранник.— Доброе утро. Я к вам с докладом.

— Входите, Миллс. Доброе утро.

Охранник вошел и вытянулся перед Саммерсом. На нем была светло-серая униформа со складками на локтях и под коленями. Выражение его лица говорило о том, что ему не терпится сообщить начальству что-то важное.

Электронное табло на столе Саммерса показывало 8.15. Хранитель разбирал утреннюю почту. Перед ним горкой лежали нераспечатанные конверты.

— Говорите, Миллс,— сказал Саммерс, почувствовав нетерпение подчиненного.— Есть новости?

— Новости самые невероятные, сэр! — выпалил охранник.

— Опять что-нибудь исчезло?

— Нет, сэр,— ответил Миллс,— скорее наоборот...

— Выражайтесь точнее, Миллс,— чуть повысил голос хранитель,— не будем терять времени.

— Докладываю, сэр. При утреннем обходе обнаружено, что некоторые экспонаты, пропавшие накануне, а также новые экспонаты... появились на площадке старой техники.

— Я пытаюсь вас понять, Миллс, но мне это не удастся,— сдержанно произнес хранитель, вставая из-за стола.— Может быть, вы все же объясните мне, что произошло сегодня ночью на территории музея?

— Трудно понять, сэр, что произошло. На месте старых, исчезнувших экспонатов появились новые. Но они настолько отличаются от привычной нам техники, что я не берусь определить, что это такое...

Саммерс вышел из-за стола, кивнул Миллсу, приглашая его следовать за собой, и направился к двери.

У веранды лежала Смоуки, косясь на людей черными блестящими глазами.

Саммерс бросил взгляд в направлении шахтных надстроек и от удивления остановился. На месте старого, деревянного копра высился новый, сверкавший металлом и стеклом. Он был раза в три выше прежнего. Внутри не было видно привычных огромных колес.

— Идемте к локомотивам, сэр,— просительным тоном сказал Миллс, держась от хранителя почтительно на расстоянии двух шагов.— Вы такое там увидите...

Возле площадки старой техники уже собирались группками первые туристы, из числа тех, что не любят терять времени попусту.

Саммерс с охранником направились к стенду локомотивов. В том месте, где еще позавчера стояли два дряхлых паровоза, они обнаружили приземистое сооружение на колесах, отдаленно напоминавшее подводную лодку.

Кабина водителя была вынесена в переднюю часть локомотива, а на его темном корпусе явственно виднелся знак радиационной опасности.

Рядом с собой Саммерс вдруг обнаружил группу успешных просочиться сюда туристов. Пестро одетые, увешанные фотоаппаратами и кинокамерами, они уже знали о новой машине и не замедлили сюда явиться.

Слышались восхищенные возгласы:

— Это, наверное, из тех, что развивает скорость до пятисот километров в час!

— Пожалуй, эта тележка помощнее! Она даст и больше...

— Какие идеально плавные линии!

Тонкий женский голос перекрыл все остальные:

— А вы пройдите к автомобильному стенду! Вот где чудо! Хранитель музея оглянулся, ища взглядом охранника:

— Миллс!

— Слушаю, сэр!

— Оцепите площадку! Удалите отсюда всех до одного человека! Поставьте знаки «Опасность» и ждите меня!

Миллс принялся энергично выполнять распоряжение Саммерса. Первым делом он вызвал по рации всех охранников на площадку старой техники. Площадку оцепили, туристов вежливо выпроводили вон. Чересчур любопытным Миллс объяснил, что получена новая техника и что подготовка ее к экспозиции требует мер предосторожности.

Саммерс связался по телефону с полицейским участком.

— Говорите, на локомотиве знак радиационной опасности? — уточнил сержант Грейви. — Ладно, высылаю наряд полиции. Чуть позже приеду сам.

— Об этом знаке должно знать как можно меньше народу, — предупредил Саммерс. — Может подняться паника...

— Само собой разумеется. Я предупрежу своих, — сказал сержант. — Кстати, вас тут обыскался корреспондент «Сидней морнинг геральд». Звонил несколько раз...

* * *

— Да, да! — говорил в телефонную трубку Датсон. — Конечно, снимки я уже сделал... Прилечу ближайшим рейсом. Со снимками успеем к вечернему выпуску... Нет, пленки буду проявлять сам. Нужна полная гарантия. Пусть лаборатория будет наготове... Что? Колонку для экстренного выпуска? Переключите меня, пожалуйста, на стенографистку... До скорого, шеф...

После небольшой паузы:

— Хелло, миссис Томпсон! Вы готовы? Слыхали про здешние новости? Пишите! Вначале заголовок. Он будет таким: «Балларат — место встречи цивилизаций?» Да, в конце вопросительный знак. Теперь абзац. Начинается текст... «В последние три дня вниманием всего мира завладел небольшой городок в штате Виктория, носящий название Балларат. Мы уже сообщали, что в ночь на 13 декабря из местного музея непостижимым образом исчезли громоздкие экспонаты: паровозы, старые автомобили, печатный

станок, паровые машины, дилижанс. Многоточие. Писали мы и о том, что, кроме нелепых предположений, никто в Балларате, включая полицию и охрану музея, не может высказать никаких конструктивных идей по поводу случившегося. Абзац... Но еще не успели улесться страсти вокруг пропавших экспонатов, как новое загадочное происшествие привело всех в полное замешательство... Прошедшей ночью в музее ничего не пропало. Напротив, как бы в компенсацию за исчезнувшие образцы техники на их месте появились новые. Пожалуй, на этом следует остановиться подробно. Абзац. На стенде автомобилей выпуска начала века появилось то, что можно было бы назвать суперавтомобилем. Корпус типа «летающая капля» снабжен хвостовым стабилизатором. В кабине нет привычных педалей газа и тормоза, рулевого колеса. Вместо этого — одна-единственная ручка управления. Предварительный осмотр экспертов показал, что перед нами электромобиль с большим запасом хода и скорости. Емкие батареи подзаряжаются за счет солнечных элементов, расположенных по всей поверхности кузова. Одним словом, это — автомобиль будущего... Абзац. На рельсах, рядом с паровозами, утром обнаружили локомотив с атомным двигателем. По предварительным оценкам специалистов, его КПД намного выше, чем у электровоза. Такими, по-видимому, станут земные локомотивы в двадцать первом веке. Многоточие... Появилась замена старинному, громоздкому печатному станку. Придя утром на работу, редактор местной газеты «Балларат таймс» Хопкинс обнаружил в цехе новую печатную машину, принцип работы которой пока неясен. Понятно только, что для набора металл не требуется и что станок — быстродействующий. Над шахтой золотого прииска — на месте прежнего, деревянного — высится новый, металлический копер. Абзац. Я приношу извинения читателям за то, что пишу об этой новой, невесте откуда взявшейся технике столь поспешно и поверхностно. Специалисты приступили к детальному ее изучению, и есть надежда, что результаты не заставят себя ждать...» Кавычки закрываются. Спасибо, миссис Томпсон!

* * *

Спустя неделю в музейном центре Балларата состоялась международная пресс-конференция. Из Канберры на нее прибыл представитель Австралийского Совета Крэг Мурно.

Холл первого этажа гостиницы «Америкен экспресс», не рассчитанный на большое количество народа, оказался набитым до отказа. Тут были представлены почти все газеты Австралии, а также других континентов, за исключением разве Антарктиды. Стульев на всех не могло хватить, так что кое-кто пристроил-

ся на ступенях широкой деревянной лестницы, а то и просто на полу.

За столом импровизированного президиума сидели Крэг Мунро, Дональд Саммерс, а также эксперт Джеймс Мартин.

На них были нацелены объективы телевизионных камер. По залу передвигались, насколько это возможно было, фото- и кинокорреспонденты. То и дело сверкали вспышки. Десятки микрофонов на коротких и длинных ручках держались наготове в ожидании открытия пресс-конференции.

В дверном проеме, прислонясь к косяку, стоял сержант Грейви, который часто позывывал, видимо, снова после ночного дежурства. Его фуражка была сбита на затылок. Рядом стоял высокий негр в дорогом бархатном костюме цвета бутылочного стекла и что-то записывал себе в блокнот.

Старинные напольные часы в холле пробили одиннадцать. Крэг Мунро встал.

— Дамы и господа! — сказал он, оглядывая собравшихся. — Нет необходимости повторять все то, что уже известно о последних событиях в Балларате. Мы собрались здесь главным образом для того, чтобы выслушать нашего уважаемого эксперта Джеймса Мартина, под руководством которого изучались образцы новой для нас техники. Нам нужно попытаться найти ответ на вопрос, который с самого начала и со всей неизбежностью возникает. Кто или что стоит за событиями в Балларате? До сих пор мы делали лишь общие предположения. Попытаемся же докопаться до истины... Итак, дамы и господа, выступает доктор математических наук, профессор Сиднейского университета Джеймс Мартин!

(Далее приводится стенографическая запись основной части пресс-конференции.)

Доктор Мартин:

— ...Иногда полезно взглянуть на себя со стороны. Именно эта мысль пришла мне в голову, когда мы с группой экспертов принялись изучать невесть откуда свалившуюся на нас технику. Наш основной вывод следующий: все рассмотренные нами образцы доведены до полного технического совершенства и не нуждаются в дальнейших улучшениях. Атомный локомотив, например, способен достигать скоростей, приближающихся к тысяче километров в час. На Земле пока что нет железных дорог, соответствующих таким скоростям... Электромобиль может без подзарядки проходить около пятисот километров. А поскольку его батареи все время подпитываются за счет солнечной энергии, машина всегда имеет, выражаясь современным языком, «полные баки». Нельзя не отметить, что обе машины не загрязняют окружающую среду. Уровень производимых ими шумов намного ниже существующих санитар-

ных норм... Печатный станок оказался «трудным орешком». Пока что ясно только то, что вместо металла при наборе используется неизвестный нам материал, обладающий свойством засвечивать обычные фотопленки...

Корреспондент американской газеты «Интернэшнл геральд трибюн»:

— Поясните, пожалуйста, доктор Мартин, правильно ли я вас понял? Вы сказали, что мы имеем дело с образцами техники, доведенной до полного совершенства. При каких условиях возможно создание такой техники?

Доктор Мартин:

— Это возможно в условиях цивилизации, приближающейся к абсолютному знанию. Только тогда можно проектировать и строить идеальные по своим характеристикам механизмы и машины.

Корреспондент французской газеты «Се Суар»:

— В связи с только что сказанным как вы оцениваете уровень нашей современной техники?

Доктор Мартин:

— Как вы помните, я начал с того, что иногда полезно взглянуть на себя со стороны. Знакомство с образцами идеальной техники — по-моему, это подходящий термин — заставляет по-новому взглянуть на нашу технику — эксплуатируемую, осваиваемую, проектируемую и т. д. Мы у себя на Земле изобретаем и строим заведомо несовершенные модели. Если бы дело обстояло иначе, нам не приходилось бы постоянно стремиться к улучшению и доработке выпускаемой техники...

Корреспондент советского журнала «Наука и жизнь»:

— Простите, доктор Мартин, но здесь, как мне кажется, нужно сделать существенное уточнение. Знания на Земле накапливаются последовательно, иногда скачкообразно. Наша техника проектируется в соответствии с уровнем знаний и возможностями нашей технологии в каждый отдельно взятый момент. Так что было бы правильнее сказать, что образцы земной техники соответствуют научно-техническим достижениям на сегодняшний день. Уходят вперед знания, совершеннее становится технология — вот тогда наша техника начинает стареть и нуждается в усовершенствовании.

Доктор Мартин:

— По сути дела, вы правы с точки зрения представителя земной цивилизации. Но попробуйте встать на точку зрения инопланетянина, где знания и технические возможности позволяют создать, как мы их называем, образцы идеальной техники. Такой представитель внеземной сверхцивилизации подивится, каким мед-

ленным и трудным является наш научно-технический прогресс...

Корреспондент английского журнала «Энкаунтер»:

— Перед нами — в который уж раз — встает все тот же вопрос: откуда попали к нам образцы идеальной техники? Ну и конечно, как это было осуществлено технически?

Дональд Саммерс:

— Разрешите, доктор Мартин, вопрос в порядке уточнения. Благодарю... Означает ли то, что сказал корреспондент «Энкаунтер», что он сомневается в земном происхождении образцов идеальной техники?

Корреспондент «Энкаунтер»:

— Очевидно, что такие сомнения весьма обоснованны.

Доктор Мартин:

— Откровенно говоря, события, здесь произошедшие, действительно наводят на мысль о том, что мы имеем дело с образцами техники, созданными неведомой нам сверхцивилизацией.

Корреспондент французской газеты «Юманите»:

— Скажите, пожалуйста, доктор Мартин, какие предположения можно сделать в связи с этим?

Доктор Мартин:

— Я выскажу одно предположение, которое, разумеется, не должно восприниматься как аксиома... На Земле существует лишь одна наша цивилизация. Разные страны имеют различный уровень научно-технических достижений, но рано или поздно знания и технология становятся всеобщим достоянием. Так что нужно говорить об одной цивилизации, существующей на Земле... Моя мысль сводится к следующему. Музей в Балларате стал объектом эксперимента внеземных существ. Не берусь гадать, какие разумные существа заинтересовались нашей Землей и ее цивилизацией. Не стану фантазировать, где они находятся в настоящий момент: близко или далеко от нас. Бесспорно одно: представители этой сверхцивилизации намного превосходят нас в развитии науки и технологии...

Крэг Мунро:

— Значит, можно предположить, что представители иной цивилизации вошли в контакт с Землей?

Доктор Мартин:

— Да, несомненно.

Дональд Саммерс:

— Простите, доктор, но как, по-вашему, мог проходить этот «эксперимент внеземных существ»? Мы не были свидетелями этого контакта, а знаем только, что исчезли одни образцы и появились другие...

Доктор Мартин:

— Мне кажется, дело могло происходить следующим образом. Балларат привлек пришельцев необычностью собранной здесь техники, ее разнообразием. Познакомившись здесь — неизвестным нам образом — с примитивными земными экспонатами, образцами техники прошлых веков и начала нашего столетия, их сравнили с эксплуатируемыми у нас ныне моделями. Нетрудно было сделать вывод, что перед ними — цивилизация, знания которой далеки от совершенства и развиваются достаточно медленно.

Было очень заманчиво заполучить такие необычные экспонаты. Согласитесь, что любая земная экспедиция на другие планеты поступила бы точно таким же образом...

Корреспондент итальянской газеты «Паэзе сера»:

— Как у них могла возникнуть идея замены наших экспонатов на... так сказать, более современные?

Доктор Мартин:

— Повторяю, я излагаю свое личное представление о том, что стоит за инцидентом в Балларате... Удивленные до крайности всем увиденным (вероятно, в их музеях не сохранились столь примитивные образцы), пришельцы заимствовали некоторые экспонаты. Но на этом они не остановились. Взять и ничего не дать другому разумному существу — видимо, это противоречит морали их цивилизации. Даже изъятие экспонатов должно было чему-то научить людей. Желая дать людям представление о возможных путях развития, они снабдили нас великолепными образцами собственной технологии...

Корреспондент советского журнала «Техника — молодежи»:

— Как по-вашему, доктор Мартин, почему эти существа не пошли на прямой контакт с землянами?

Доктор Мартин:

— За них на этот вопрос нелегко ответить. Человечество всегда мечтало о контакте с разумными существами из других миров. Но можно себе представить существа с иной психологией. Возможно, что это как раз тот случай.

Корреспондент австралийской газеты «Сидней морнинг геральд»:

— Значит ли все сказанное здесь, что инциденту в Балларате не может быть иного объяснения?

Доктор Мартин:

— Придумайте, если можете, мистер Датсон...

(Общий смех)

Корреспондент польской газеты «Жице Варшавы»:

— Я читал сообщение, что вместе с образцами новой, внезем-

ной техники на свои прежние места вернулись некоторые старые экспонаты. В чем, по-вашему, смысл этой акции?

Доктор Мартин:

— Действительно, на свое прежнее место вернулась одна из трех паровых машин... Кроме того, все мы можем порадоваться за нашу общую любимицу Смоуки: она вновь обрела свой старый дилижанс. Так что период безработицы для нее закончился быстро и благополучно...

(Общий смех)

Крэг Мунро:

— Извините, доктор, но почему, по вашему мнению, одни экспонаты были заменены новыми, а паровая машина и дилижанс — вернулись?

Доктор Мартин:

— Мне кажется, разгадка тут нехитрая. Эти два изобретения человечество сумело довести до совершенства без посторонней помощи!

(Конец стенограммы)

* * *

Сержант Грейви уходил из отеля последним, мечтая отоспаться после ночного дежурства. Корреспонденты рассаживались по машинам и автобусам и разъезжались, торопясь во все концы света. В полуденном воздухе главной улицы Балларатского музея висела красноватая пыль, в которой наверняка были частицы еще не найденного настоящего австралийского золота.

Андрей Костин

ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС

С трудом отыскав в темноте замочную скважину, Ферапонт Лейкин открыл дверь и шагнул в пахнувший старой мебелью и пылью дом. Это ему очень не нравилось, особенно летом: к запахам неустроенного жилья примешивался аромат полуденного зноя и хвои. То ли дело зимой, когда в этом плохо отапливаемом доме полновластно хозяйничает бодрящий дух свежести...

Зажигать свет он не стал: к сорока восьми годам холостяцкой жизни, когда ничья женская рука не могла нарушить установив-

шийся порядок вещей, он мог ориентироваться в доме с закрытыми глазами.

Ферапонт пересек прихожую, которую в этом типовом домике назвать сенями было как-то неудобно, коридорчик, разделявший кухню и комнату, нащупал ручку холодильника, открыл.

Купить молока он сегодня не успел — заканчивал квартальный отчет, засиделся допоздна и когда вышел с работы, сельпо было уже закрыто.

Так что пришлось довольствоваться в этот вечер крутыми яйцами, вареной колбасой и черствым хлебом. Ферапонт поставил чайник и, пока тот закипал, включил телевизор. Купил он его недавно: при безалаберном образе жизни и сравнительно небольшой зарплате денег никогда не хватало.

На экране высокие смуглоногие девицы что-то лихо отплясывали. Это Ферапонту очень понравилось — он был закоренелым холостяком не потому, что женоненавистничал, а просто единственный в поселке носил очки, был плешив к двадцати пяти годам, имел брюшко, нос картошкой, не умел ни петь, ни танцевать, ни рассказывать анекдоты, и ко всему прочему ему еще просто не везло. Даже в прежние годы, когда он ездил в отпуск отдохнуть на юг, все курортные романы обходили его стороной. Один только раз он стал невольным участником подобного приключения, да и то потому, что его сосед по комнате в доме отдыха, женатый красивый ведущий инженер какого-то московского НИИ, уезжая, оставил предмету мимолетной страсти вместо своего адреса — Ферапонтов.

И Лейкин в течение года получал письма из Кривого Рога от некоей Катюши, был в курсе всех перипетий ее отношений с мужем, ходил на почту гордой поступью, снисходительно относился к подшучиванию приятелей и даже стал пользоваться определенным интересом со стороны женского населения родного поселка Шмырева. Но потом пришло лето, видимо, Катюша снова съездила на юг, и поток писем оборвался, из чего все в поселке заключили, что «она его раскусила», и жизнь вошла в свою накатанную колею.

Скоро и Ферапонт перестал уезжать в отпуск из Шмырева, целыми днями возился в парнике — выращивал тюльпаны и дарил их всем женщинам поселка без исключения. Лейкина благодарили, целовали в гладко выбритые щеки, но всерьез по-прежнему не воспринимали. А бригадир лесорубов Егор Башмакин, ревновавший свою жену, пожалуй, даже к телеграфным столбам, отпускал ее в город только в обществе Ферапонта.

...Вода закипела, и, пока Лейкин заваривал чай, чистил холод-

ные крутые яйца, сваренные еще утром, резал колбасу, музыкальная программа кончилась.

Следующим шел научно-популярный фильм, и выступавший в нем с речью ученый чем-то напомнил Ферапонту директора совхоза.

Настроение у Лейкина сразу испортилось. Иван Федорович, недавний выпускник Тимирязевской сельскохозяйственной академии, директорствовал у них всего два года, но был человеком знающим, деловым, хотя и не в меру вспыльчивым. Заметив во вторник какой-то непорядок в бумагах Лейкина, он устроил ему разнос, пригрозив в случае чего отдать под суд. Он, словно глыба, нависал над Ферапонтом и громко, так, что даже слышно было в приемной, где работала секретарем Настя, жена бригадира лесорубов, отчитывал Лейкина. А Ферапонт молчал, вытирал мокрые ладони о штаны и мелко-мелко моргал. Под конец Иван Федорович выпалил:

— Убирайся, слизняк ты этакий, и чтобы к понедельнику все было в полном порядке, ясно?!

А вечером Ферапонт проходил мимо дома Насти и слышал, как она кричала мужу:

— Лучше я вообще в город в воскресенье не поеду, чем вместе с слизняком этим тащиться. Подумай, Егор, ведь его и за человека никто не считает, смеются все, а вместе с ним и надо мной будут...

Егор что-то ответил, но Ферапонт уже не слышал, а, вспыхнув до корней оставшихся волос, чуть ли не бегом кинулся к дому.

Чтобы как-то отвлечься от неприятных воспоминаний, Ферапонт стал внимательно следить за тем, что происходило на экране. Первого ученого сменил другой, постарше; заглядывая в какой-то листок, который лежал перед ним на столе, бойко рассказывал, сколько в обозримой вселенной находится галактик, сколько планет, на скольких из них могла возникнуть жизнь, цивилизация, которая уже вышла в космос и, следовательно, может устанавливать с нами, землянами, контакт. Цифры получались настолько внушительные, что у Ферапонта даже дух захватывало. Но потом уже третий ученый, еще старше, стал рассказывать, какое уникальное это явление — возникновение жизни, какие огромные расстояния между планетами и галактиками и сколько времени требуется даже свету, чтобы дойти от одной звезды до другой. Правда, под конец своего выступления он сказал, словно почувствовав, как сразу сник Ферапонт, что, может быть, эти другие, далекие цивилизации уже существуют, может быть, они разработали совершенно новые методы передвижения и нельзя исключать

такой возможности, что как-нибудь случайно найдут нас. Но обсуждать подобную версию не в его компетенции, а скорее — писателей-фантастов.

Потом стали показывать астрономические центры, телескопы, нацеленные в небо, локаторы, слушающие голос космоса.

Лейкин досмотрел передачу до конца, хотя по другой программе давно уже шла французская кинокомедия. А когда диктор начал читать последний выпуск новостей дня, Ферапонт выключил телевизор.

Очень хотелось спать, но терять предсубботный вечер Ферапонт не собирался. Ведь завтра придется ложиться спать рано. Он решил уехать в воскресенье в город с первым автобусом, чтобы не встретиться с Настей. Ферапонт это твердо решил, хотя знал — стоит Егору Башмакину попросить, и он сразу же согласится и потом, потея, замирая душой, краснея, будет весь день носить за Настей сумки по магазинам. И наградой ему будет возможность украдкой любоваться ее точеным профилем на фоне окна полутемного салона последнего автобуса.

Ферапонт взглянул на часы и решил, что еще может вволю почитать перед сном. Он вспомнил, что новую книгу взять в библиотеке он забыл, а поэтому открыл шкаф и, погрузившись в водоворот пыли, достал с самого дна кипу старых газет и журналов.

Отдуваясь, он водрузил все это на стул возле кровати, разделся, зажег лампочку, свисавшую на пожелтелом от времени проводе над кроватью, — она заменяла ему бра — забрался под одеяло и погрузился в мир событий десяти-двадцатилетней давности. Газет и журналов Ферапонт не выписывал, а беспорядочно покупал все те, что появлялись в привокзальном киоске.

Перед ним раскрывались статьи о когда-то молодых актерах, о последних открытиях науки и техники, кто-то выполнял теперь давно уже выполненный план, у кого-то родилось пять близнецов — а теперь они, наверное, уже в школу ходят, кто-то подавал надежды, а кто-то на развод, и авторы сетовали по этому поводу, словно являлись самим пострадавшим лицом, кому-то отвечали на письма, кого-то хвалили, кого-то ругали, спрашивали, фотографировали, обвиняли, поздравляли... Все это проходило перед глазами Ферапонта вне всяких хронологических законов, он просто читал, не вникая в суть, и на душе было спокойно...

Через час глаза у Ферапонта стали слипаться, строчки разбегались и плясали так, что прочитать их было невозможно. Лейкин отложил последний журнал, сладко зевнул и, дотянувшись до выключателя, погасил свет.

Но как только густая, как слепота, ночь обступила его, Фера-

понт почувствовал, что заснуть не может. Стоило закрыть глаза, и над ним нависали грозное лицо Ивана Федоровича и презрительно скривившиеся губы Насти, по движению которых он угадывал слова: «Слизняк, слизняк, слизняк...»

Ферапонт судорожно перекатился на другой бок, замелькали смуглые ноги танцовщиц из музыкальной программы и очки ученого, телескопы, локаторы и профиль Насти, кулак Ивана Федоровича и конверты с письмами от Катюши, страницы квартального отчета и тюльпаны, распутившиеся сегодня утром в парнике...

Лейкин давно уже был в плену воспоминаний, впечатлений, жизненных неудач, несбывшихся надежд. И так же давно он перестал сожалеть, что судьба повернулась к нему не самой лицеприятной стороной. Только иногда, при особенно болезненном воспоминании, ему становилось мучительно стыдно за себя. И тогда он вдруг среди ночи вздыхал, словно всхлипывал.

Сейчас его мучила сцена с директором, и он пытался, но никак не мог вспомнить, куда же он засунул наряды на лесоповал, которые и требовал Иван Федорович. Тут Ферапонту пришло в голову, что, если к понедельнику он их не найдет, ему влетит не только от директора, но и от Егора — без наряда на сверхурочные работы лесорубам не выплатят премию...

И страх перед директором смешался с животным страхом перед кулаками Башмакина. Егор был всегда скор на руку, обладал медвежьей силой, считал, что Лейкин его постоянно обсчитывает, но до сей поры сдерживался: Ферапонт был ему нужен для поездок с Настей в город.

В горле першило и щекотало — видно, Лейкин наглотался пыли, пока читал старые журналы. Он встал, прошлепал босыми ногами на кухню, налил кипяченой воды, и, когда поднес стакан к губам, его словно ударило — вспомнил, как на прошлой неделе, когда директор приказал навести порядок на рабочем месте, он решил сжечь старые газеты, а там, на верху стопки, вложенные в прошлогодний номер «Огонька», и лежали наряды на сверхурочные работы. Он сжег их вместе с газетами!

От ужаса у Лейкина закружилась голова.

«Бежать, ехать, — решил он. — сейчас же. В город, в суд. Во всем признаться. Что наряды сжег, что работать не умею. Там разберутся. Без криков и кулаков».

Не зажигая света он оделся, вытащил велосипед, осторожно, словно за ним следили, прошел по улице, ведя велосипед за руль, потом, держась за забор последнего дома, влез в седло и поехал.

Позже он и сам не мог толком понять, зачем все это сделал...

Через десять минут усердного накручивания педалей у Ферапонта началась одышка, и он вынужден был остановиться. Небо было облачное, луна не светила, и темный лес, с обеих сторон охватывающий дорогу, таинственно шелестел. «Лучше вернуться,— подумал он,— а в город в понедельник, с утра, на автобусе».

Он снова залез на велосипед, нажал на педали, но переднее колесо наскочило, видимо, на камень, руль вильнул в сторону, и Ферапонт очутился под велосипедом в придорожной канаве...

Сначала он решил, что это у него при ударе из глаз посыпались искры, но, когда пришел немного в себя, его охватило полное недоумение. И ужас. Прямо на него, вырвавшись из низких облаков, падала звезда.словно в замедленной съемке, она опускалась все ниже и ниже, за ней тянулся шлейф из алмазных иголок, которые переливались голубыми, зелеными и красными бликами.

У Ферапонта, как у испуганного зайца, забилося сердце, но звезда плавно, будто скользя по изгибу женской руки, опустилась в небольшом перелеске, недалеко от штабелей еще не выведенных бревен.

Первым желанием Ферапонта было бежать, бежать как можно дальше от этого места. Он отпихнул распластавшийся на нем велосипед, вскочил на ноги и припустил во весь дух по дороге обратно в село. Но метров через десять не выдержал, остановился, оглянулся.

Упавшая звезда мягко светилась, словно за долгий путь ее раскалил огонь далеких солнц и теперь она медленно остывала. Ферапонт сделал шаг, другой, третий, потом не выдержал и снова побежал, но теперь уже навстречу небесной капле огня...

Она лежала на земле, опираясь на раскрывшиеся лепестки, похожие на лепестки тюльпана. Может быть, из-за этого сходства с цветком Ферапонт перестал бояться. Из центра лепестков, словно пестик, устремлялся вверх блестящий стержень с огромным кристаллом на конце. Грани кристалла переливались, искрились, но не отражали света, исходящего из раскрывшихся лепестков, а словно вбирали, всасывали его.

Лейкин не выдержал и осторожно, боясь обжечься или обморозиться, потрогал кристалл пальцем. И палец, преломясь, будто в чашке с водой, провалился внутрь. Ферапонт испуганно отдернул руку и, хотя ничего не почувствовал, долго дул на палец.

Но любопытство снова взяло верх, и он просунул в кристалл всю руку, потом вторую, наконец, набрав побольше воздуха,— и голову.

Когда смотришь на солнце через бутылочное стекло, все кажется примерно таким же по цвету, каким увидел тот далекий мир Лейкин. Потом зеленоватый туман стал располагаться в разные стороны, словно кто-то промывал ему глаза, и он уже мог разглядеть сиреневое небо, которое чем ближе к поверхности, тем становилось все бледнее и бледнее и наконец приобрело желтую окраску, а в самом низу курился оранжевый дымок. По всей равнине, расстилавшейся перед ним, зияли ровные, словно вырезанные гигантским сверлом круглые воронки, на дне которых что-то бурлило и клокотало. У Ферапонта зазвенело в ушах от удущья, и он выдернул из кристалла голову.

Вокруг него был все тот же лес, где-то внизу спало родное село с его радостями и печальями, в воздухе пахло сосновой смолой от сложенных неподалеку бревен, шелестел ветер в ветках деревьев, монотонно ползли по небу рваные облака. Ничто здесь не изменилось, никто не подозревал, что только что он, Ферапонт Лейкин, побывал в далеком и по-своему прекрасном мире. Где-то здесь и Иван Федорович с его нарядами, и Егор с его кулаками, и Настя с ее усмешкой, а там... И Ферапонт снова нырнул в кристалл.

Картина уже изменилась. Небо стало синеть, воронки пропали, на месте некоторых из них появились небольшие бугорки, густо-черный цвет поверхности стал более мягким, серым. Потом все вокруг снова стало меняться. Ферапонту не хотелось вылезать наружу, чтобы глотнуть воздуха, он попытался вздохнуть здесь... и ничего, получилось. Воздух почти ничем не отличался от земного, только был пьянительно свежим.

...А внизу уже исчез и серый цвет, все стало зеленым, и сам он спустился ближе к поверхности и теперь видел не просто зеленую массу, а стволы и кроны огромных растений, ниже струились густые, словно бархат, реки зеленой травы, он уже слушал шум этого далекого мира, пил его воздух, до боли всматривался во все, что было вокруг.

Внизу, прямо под ним, в переплетении изумрудных разводов стеблей и стволов, в кобальтовых провалах озер непрерывно что-то двигалось, ползало, перекатывалось, прыгало. То там, то здесь зеленая масса начинала дрожать, словно колеблемая поющей струной. Наконец он смог рассмотреть и обитателей этого далекого мира.

Он увидел, как перед ним, будто вынырнув из зеленой воды, появилось фантастическое существо...

...Тусклая, с серебристым отливом кожа, без единой складки облегающая стройное, гибкое тело, огромные, выпуклые, как у стрекозы, глаза в тени длинных пушистых ресниц, небольшой ястребиный клюв вместо носа и рта... Ферапонт заметил, что у существа

руки соединялись со спиной тонкой радужной перепонкой и, когда оно поднимало их вверх, за спиной распускались огромные крылья, будто выкроенные из мыльных пузырей в солнечный день.

Лейкин замер словно очарованный и только мгновением позже заметил, что весь бескрайний мир, который он только что видел вокруг, пропал, осталось только то существо, или, вернее, почти то, так как новое было еще стройнее и с более пушистыми ресницами, а вот глаза стали намного меньше, хотя все равно по человеческим меркам были огромными, но уже не уродливыми.

Существо Ферапонту очень понравилось — оно чем-то напоминало Настю. Нет, не внешним видом, боже упаси, а тем самым, что испокон веков зовется неувловимым сходством.

Существо внимательно смотрело на Ферапонта, словно хотело что-то сказать, и вдруг Ферапонт услышал какие-то обрывки своих мыслей, слов, фраз... Все это напоминало шум настраивающегося оркестра, а потом...

...Он понял вопрос. Нет, это были не слова, это было желание узнать, кто он. И достаточно ли он разумен, чтобы проникнуть в другие тайны мира, который только что, словно цветок, распустился на его глазах.

Ферапонт полез в карман за вещественными доказательствами — там у него лежали паспорт, сберкнижка и членский билет Общества охраны зеленых насаждений. На билет он особенно рассчитывал — был уверен, что истинно разумные существа должны очень серьезно относиться к охране окружающей среды и его членский билет сразу внесет ясность.

Лейкин уже протянул руку с зеленой книжечкой и тут почувствовал нелепость своего жеста...

Что-то новое, незнакомое наполняло его душу, распрямляло вечно сутулую спину, освещало и выкристаллизовывало его бытие. Перед этим чужим и огромным миром сейчас он был представителем не менее огромного, прекрасного и чужого для них мира. Он был человеком и просто не имел права показаться глупым, смешным, примитивным, жалким по своим, общечеловеческим меркам.

Он отдернул руку, судорожно сунул документы в карман. Не в них заключались его сила, его право считаться разумным.

Щеки горели, как от пощечин.

«Ну что ж,— мысленно ответил он существу,— решайте сами. Я же не спрашиваю вас о том же...»

Глаза у него защипало, словно от дыма, и когда он проморгался, то почувствовал, что с бешеной скоростью мчится вперед. Даже уши закладывало. Он отклонил тело в одну сторону и тут же почувствовал, что направление его движения немного измени-

лось. Он не успел подумать, куда же он несется с такой скоростью, как на него стала надвигаться огромная стена. Он пытался отклониться и вправо и влево, но все бесполезно — столкновение было неминуемо. В последний момент он увидел, как прямо под ним из серой толщи пробился росток, и Ферапонт рванулся в сторону, чтобы при падении не раздавить и его...

Глаза снова защищало — он почувствовал, что жив, даже не ушибся. Мысли были четкими и ясными, как никогда в жизни. Но только гораздо позже он понял, что тогда выдержал первое испытание и доказал, что даже в минуту безысходности разум представителя Земли не сковывает равнодушие. Для этого, он считал, было первое испытание. А там — кто знает...

Словно в калейдоскопе, менялись события, от него требовались мгновенные решения, поступки. Иногда он запаздывал, ошибался. Но с каждой минутой работал все увереннее, четче, логичнее и правильней.

Наконец он почувствовал, что наступает последнее, самое ответственное испытание. Весь внутренне собрался, приготовился. Интуитивно он понимал, что, если сейчас выдержит, перед ним раскроются все тайны того далекого мира. И хотя за те мгновения, которые он провел здесь, душа его очистилась, в ней все же шевелилось сладкое чувство тщеславия, что он, он, простой счетовод, слизняк, растяпа в глазах всех, выдержал экзамен за все человечество, что он первым пожмет протянутую руку.

И снова он понял, чего хотят от него. Его ждало испытание временем. Он должен будет уйти в этот мир, быть его первым гостем и, когда все увидит, поймет и почувствует, сам приведет сюда своих соплеменников.

У Ферапонта даже дух захватило от такой перспективы. Это было уже не испытание — это сбывалась мечта. Ему предлагали вырваться из серости будней, остаться таким же смелым и решительным, как сейчас, предлагали годы радостей открытий и возвращение назад в ореоле первопроходца и первооткрывателя. Даже самые прекрасные сны не уносили его так высоко. Он почувствовал, как стройное и гибкое существо, казавшееся ему в тот момент особенно прекрасным, взяло его за руку. Он улыбнулся в ответ глубокой, внутренней улыбкой...

«Как нам тебя называть?» — услышал он немой вопрос.

«Ферапонт».

«Что это означает?»

«Просто имя».

«Просто имя? Просто комбинация звуковых волн?»

«Тогда называйте меня Человек. Человек — это все мы и каждый из нас».

«Человек, ты готов войти в наш мир? Я буду твоим проводником. Первое время».

«Готов».

«И не хочешь проститься со своим? Наше путешествие будет долгим. Для тебя, чтобы все увидеть и понять, потребуется множество временных отрезков, которые вы называете годами. И ты достоин этой бесконечно долгой жизни».

«А мой мир? Он сильно изменится за это время?»

«Для него все пройдет в одно мгновение. Но ты готов? Не бойся, когда ты вернешься, мы поможем тебе найти взаимопонимание у соплеменников. Идем, нас уже ждут».

Ферапонта впервые в жизни кто-то ждал...

«Я только попрощаюсь с Землей...»

И он вернулся на минуту, чтобы снова уйти туда, где ждала его мечта...

...Вокруг шумел все тот же лес, недалеко белела дорога, там, внизу, возле крайнего дома Башмакиных, стоят два бензовоза. Он вспомнил про них, так как последнее, что он сделал вчера, уходя с работы, — это оформил наряды водителям. Через минуту он уйдет из этого мира, а когда снова вернется через много-много лет, лес будет все так же шуметь, земные звезды светить, а Настя — спать, положив голову на плечо Башмакина.

Лепестки упавшей звезды ярко сияли и слепили глаза, а он хотел взглянуть в последний раз в сторону родного Шмырева. Чувствовал, что теперь оно будет очень часто сниться ему там, в далеком мире, и он никогда не простит себе, если сейчас этого не сделает. Сделал несколько шагов, чтобы выйти из слепящего круга, и замер...

Метрах в сорока от него бушевало пламя. Трещали разламываемые огнем деревья, пылающие языки лизали невывезенные бревна, а вся трава на поляне выгорела, и под ногами была лишь черная зола. Он удивился, почему не увидел и не услышал всего этого сразу, а потом вспомнил: в ореоле света упавшей звезды все было по-иному — туда не проникали ни земные звуки, ни образы, только чуть угадываемый шум леса и вроде бы белеющая недалеко дорога.

Там образ Земли был застывший, словно объемная фотография, в тот момент, когда раскрылись сияющие лепестки и невольно подожгли траву вокруг. А на самом деле... Первым порывом Ферапонта было вернуться снова в спасительный круг, потом в кристалл — и уйти в тот мир. Но что-то задержало его на мгновение. Месяц был жаркий и солнечный, лес стоял сухой, и не пройдет и получаса, как огонь перекинется до поселка... А там, с краю, бензовозы. Дом Башмакиных в один миг превратится в факел,

а огонь пойдет и пойдет дальше. И будут гореть и лес и поселок. А сейчас еще все можно остановить. Сейчас горящий кустарник и штабеля бревен с одной стороны опоясывает дорога, с другой — уже выжженная поляна. Только узенькая полоска сухой высокой травы может стать мостом для огня к перелеску возле поселка. Если бы успеть ее перекопать, тогда огонь наверняка можно было бы остановить. Только успеть, успеть... Он будет находиться там, у пришельцев, мгновение. Но если потом он уже появится не здесь или это мгновение продлится дольше, чем он сам хочет думать? Спросить у них?

Ферапонт подбежал к кристаллу, нырнул в него. Не успел еще задать вопрос, как услышал ответ — он и забыл, что здесь уметь читать мысли...

«Времени между твоим появлением и исчезновением не пройдет. Но общаться с вашей планетой мы можем только по каналам внепространственной связи, которую устанавливают наши приборы; один из них ты видишь перед собой. У нас больше нет от тебя тайн. Запас энергии этого прибора скоро иссякнет, а тот, который вернет тебя обратно, только что совершил посадку на другой стороне полушария. Так что торопись, скоро этот канал погаснет».

«На другой конец полушария... я даже не успею никого предупредить...»

Ферапонт бросил последний взгляд в этот далекий и прекрасный мир и метнулся в темноту — трава уже задымилась...

Пальцы впивались в дерн, рвали комья земли, отшвыривали их во все наступающий и наступающий огонь. Он не успевал. Не успевал ни остановить огонь, ни вернуться в тот мир. Полоса, издали узкая, оказывалась ему не по силам. А пламя все приближалось и приближалось. Руки работали механически — впивались, рвали, бросали. Утирая пот, дотронулся до головы. Волосы были липкими. «Кровь, — удивился он, — откуда?» Но тут же понял: с головой ничего не случилось. Кровь — из пальцев. На пальцах обеих рук ногтей нет. Вместо них какая-то короста из рваного мяса, земли и засохшей крови. Но почему он не почувствовал боли? Он просто не думал о ней, только повторял про себя и вслух: «Успеть, успеть. Успеть!»

Он также не видел, как погасли лепестки, от которых загорелась трава на поляне, как померк кристалл, а потом все снова вспыхнуло пучком феерических искр — и канал связи перестал существовать.

Пламя начало окружать его, и тогда, сорвав пиджак и размахивая им, он кинулся вперед, на огненные языки...

...И обрушилась темнота — долгая и страшная...

Из районной газеты «Маяк»
«В борьбе со стихией»

Вчера в районе поселка Шмырева в результате самовозгорания леса возник пожар. Оказавшийся неподалеку счетовод совхоза «Рассвет» Ф. М. Лейкин пытался собственными силами бороться с огнем, но их было недостаточно. Вовремя подоспевшие жители под руководством бригадира лесорубов Г. П. Башмакина успешно справились со стихией. Сам Георгий Павлович лично вытащил тов. Лейкина из огня. Пострадавший был отправлен в районную больницу, которая совсем недавно, как уже сообщала наша газета, была оснащена самым современным оборудованием. Жизнь потерпевшего вне опасности. Подвигом нашего земляка Георгия Павловича Башмакина мы можем гордиться!

ИЗ НАПЕЧАТАННОГО

И. Ефремов

ЮРТА ВОРОНА

(Хюндустыйн Эг)

Посвящается инженеру А. В. Селиванову

Поздняя тувинская весна уступала место лету. Койка стояла у западного окна полупустой палаты. Солнце глядело сюда с каждым днем все дольше. Новенькая больница белела свежим деревом, сладковатый аромат лиственничной смолы проникал всюду — им пахли подушки, одеяло и даже хлеб.

Инженер Александров лежал, отвернувшись к окну, глядя сквозь прозрачную черноту металлической сетки на голубые дали лесистых сопок и слушая глухой шум влажного весеннего ветра.

Четыре дня назад здесь побывал знаменитый хирург из Красноярска и погасил последний огонек надежды, еще теплившийся у Александрова после полугода страданий. Никогда больше крепкие ноги с широкими ступнями, с узлами верных мышц не понесут его по горам и болотам, через бурелом и каменные россыпи к заманчивым и непостоянным целям геолога — на поиски новых горных богатств. Так сказал хирург после изучения рентгеновских снимков, мучительных осмотров и совещаний с местными врачами. Александров и сам это чувствовал, доверяя врачам больницы и вызванному из Кызыла специалисту невропатологу. Но человеческая вера в необычайное неистребима, и... почему бы известному хирургу не знать нечто новое, только что открытое, что смогло бы вернуть его неподвижным, расслабленным, как тряпка, ногам былую неутомимую силу?..

Хирург — небольшой, быстрый, суховатый, с острым лицом и острым взглядом — не понравился геологу. Может быть, потому, что, прощупывая позвоночник и сверяясь со снимками, которые высоко поднимал, закидывая голову с вызывающе торчавшим подбородком, хирург вяло спросил стандартными «докторскими» словами:

— И как это вас угораздило?

Александров, скрывая раздражение, рассказал, как он осенью проверял разведку интересного месторождения, увлекся и забыл,

что запоздалые проливные дожди размочили пласт мылкой глины в старом шурфе. Туда ему понадобилось спуститься испытанным горняцким способом — врасклинку. Но глина подвела, и он рухнул на дно шурфа, на глубину двадцать два метра, сломав ноги и переломив позвоночник.

Геолог повторял эту историю уже много раз и говорил сухо и равнодушно, как будто речь шла о ком-то совершенно ему безразличном. Он лишь не мог вспомнить о пережитом ужасе на мокром и темном дне шурфа, когда, очнувшись, он понял, что ноги у него парализованы и сломана спина. При этом воспоминании он и сейчас содрогнулся. Хирург, положив ему на плечо твердую руку, тем же «докторским» тоном посоветовал не волноваться.

— Давно перестал, — с досадой ответил геолог, — только зачем вы расспрашиваете? Я вижу, что вам неинтересно.

— А я не для праздного интереса, — сухо возразил хирург. — Мы, врачи, не должны упускать ни малейшей подробности, когда даем ответственное заключение. Вы понимаете, к чему я вас должен приговорить?

Александрову стало жарко.

— Кое-что с годами восстановится, — продолжал, помолчав, хирург, — но ходить не придется... А мне нужно, чтобы вы ходили, и потому каждая деталь важна, даже то, в каком настроении вы упали; да, не удивляйтесь. Если, например, вы просто свалились на улице, оступившись, но бодрый, подтянутый, с крепкими мускулами, — ничего не случится. Но если в тот момент вы шли удрученный, больной, расслабленный — грохнулись, как дрова, — вот, по пословице, много дров и получится. И чтобы разбираться во внутренних повреждениях, наблюдать заживление которых трудно, то ваше состояние в момент падения немаловажно.

— Ну, так я именно свалился, а не грохнулся, а бодрости было хоть отбавляй! Вспомнил вдруг, что этот сорок первый шурф пересекает край порфириновой дайки, и поспешил за контрольным образцом... проверить свою догадку!

— Так, так! А лет вам сколько?

— Сорок один.

— Ого, сорок один год и шурф тоже сорок первый — для суеверного человека тут...

— А я не суеверен! — ответил геолог с едкой насмешкой, встретил проницательный взгляд врача и понял, что хирург изучает его психологически, вероятно, чтобы убедиться в отсутствии мнительности или истерии. Александрову стало неловко, и он упрямо отвернулся.

В последующие два дня повторялись рентген, спинномозговая пункция, надоевшие поиски чувствительных точек на пояснице

и омерзительно неподвижных ногах. Настал час, который запомнился геологу на всю жизнь. Хирург пришел вместе с тремя врачами больницы. Низко склонившись над распростертым на спине геологом, он взял его за руку. Александров почувствовал, что рука хирурга чуть заметно дрожит. Сердце замерло в ощущении непоправимого. Как ни готовился геолог к этому удару, он оказался слишком тяжел. Ему пришлось долго лежать, отвернувшись к окну, борясь с душившим его комом в горле, а четверо врачей молча сидели, избегая взглядов друг друга.

— И это... навсегда? — еле слышно произнес геолог.

— Я не могу вас обманывать, — угрожающе сказал хирург, — однако наука развивается сейчас быстро! Мы спасаем от таких болезней, в которые двадцать лет назад даже не смели вмешиваться...

— Двадцать лет... — беззвучно шепнул Александров.

Но хирург расслышал:

— Почему обязательно двадцать? Может быть, пять. Но если вы хотите, мы отправим вас в Москву, в Институт Бурденко...

— Вы же считаете это напрасным, я вижу.

— Собственно, да! Операция и повторная операция были проведены правильно. Повреждение нервного ствола — куда денешься, если раздроблен один позвонок и второй сместился. Счастье еще, что так! Одним позвонком выше, и... вряд ли бы удалось вас спасти!

— Счастье? — звенящим от боли голосом спросил геолог. — Вы считаете — это счастье?

Врачи переглянулись, и тотчас за ними возникла медсестра со шприцем в руках. Оглушенный морфием, Александров смирился.

И теперь улетел хирург и с ним все былые надежды. Геолог молча лежал, пытаясь найти свое место в жизни, которая предстояла ему. Точно громадная пропасть отделила от него прежний мир увлекательного и нелегкого труда, уверенной силы ума и тела в борьбе с бесчисленными препятствиями, радости мелких и крупных побед, огорчений и последующих утешений, жизни, согласной с природой человека и природой сурового таежного края, поэтому полной и здоровой. Никогда Александров не задавался мыслями о перемене профессии — она была интересна и в голых горах Средней Азии, и в болотистых лесах Якутии или здесь, в Туве, где он закрепился еще до войны. Он был рожденным геологом, полевым исследователем и так упорно отказывался от всех предложений переехать в крупный центр и занять руководящий пост, как надлежало ему по опыту и заслугам, что начальство перестало его тревожить.

И вдруг нелепый случай, неверный расчет, один миг отчаянной борьбы, и вот шестой месяц он лежит на койке и никак не может привыкнуть к своей ужасной беспомощности, к нечувствительным, неподвижным ногам. Испытанные, верные друзья — ноги... Какие они жалкие, как беспомощно волочатся они мертвым грузом, когда он учится ходить! Нет, кощунство назвать это ползание на костылях ходьбой! И это будет всегда, до конца жизни, если то, что будет дальше, можно назвать жизнью. Жизнь, которая хуже смерти... хуже смерти! Как найти в ней себя?

Его утешали примером Николая Островского. Действительно, положение этого стального коммуниста было гораздо тяжелее. Слепой, с окостеневшими, неподвижными суставами, он боролся до конца и создал бессмертную книгу, а своим примером — неумирающий образ комсомольца-героя. Но Александров, простой геолог, был силен лишь в борьбе с природой выносливостью и сноровкой опытного путешественника. А на борьбу с ужасом вечной постели, с ничем не чувствующими, точно чужими ногами у него не хватает мужества. Нет никакой зацепки, опоры, будто летит он в черноту бездны и нет ей конца! Написать книгу — о чем? Даже если бы у него вдруг оказался талант, его жизнь так же проста, как у многих сотен тысяч жителей Сибири. Хорошо было Николаю Островскому, вся жизнь которого — непрерывный революционный подвиг. Впрочем, как это хорошо? Что за глупость лезет в голову! Слепота — что могло быть страшнее для него, сильного, жизнерадостного человека!..

Стискивая зубы, Александров старался прервать думы, клубок которых ощутимо душил, давил его. Не мигая геолог смотрел в окно, гипнотизируя себя видом меркнувшей на закате горной дали, и наконец заснул.

Александров очнулся в сумерках и почувствовал присутствие жены. Почти каждый день в эти бесконечные полгода, едва окончив работу, Люда прибегала сюда, сидела у его изголовья, страдающая и молчаливая.

Веселая и здоровая, ярая спортсменка, Люда привыкла на все в мире смотреть с уверенным эгоизмом красивой молодости. Она оказалась совсем не подготовленной к удару, поразившему ее умного и сильного друга — мужа. Катастрофа надломила ее. Люда растерялась, не зная, как лучше ей поддержать любимого в тяжелом несчастье. Пропливая потоки слез от жалости к нему и к себе, она продолжала искать в нем прежнюю верную опору, не ощущая или не понимая, что он нуждается или в уверенной поддержке, или хотя бы в покое от ее страданий и забот. Люда мучилась сама и терзала мужа, полного острой жалости к своей подруге, хорошей и верной, только лишь оказавшейся неумелой и слабой в час ис-

питания. Но постепенно геолог привык к тому, что Люда приходила то наигранно-бодрая, невольно раздражавшая его своим цветущим здоровьем, то печальная, очевидно решив, что показная бодрость не дает нужного результата и лучше быть самой собой. И сейчас она тихо сидела на белом табурете, не сводя грустных голубых глаз с постаревшего лица мужа.

Александрову не хотелось расставаться со сновидением. Он увидел себя молодым студентом третьего курса, приехавшим на Урал для геологической съемки. Неутомимо лазал он по обрывам холодной Чусовой, ночевал или прямо на берегу реки, или поднимался по шатким лестницам на душистые сеновалы. Засыпал крепко, полный беспричинной радости и ожидания всего интересного, что обещал ему следующий день. Хозяйки встречали его приветливо, пригожие девушки улыбались, когда, усталый, он появлялся в той или другой деревне, прося ночлега и пищи. Захватывающе разворачивалось перед ним давнее прошлое Уральских гор — тема его будущей дипломной работы. Как всегда бывает во сне, этот кусочек прошлой жизни казался особенно легким, светлым, и он отчаянно цеплялся за него, чтобы не очутиться в безрадостном настоящем.

Жена встревожилась, коснулась губами его лба, определяя жар, и шепнула осторожно:

— Что с тобой, мой Кир?

Юной практиканткой Люда приехала в его партию. Александров показался Люде похожим на древнего владыку и тайно назывался царем Киром. Прозвище сделалось нежным именем мужа.

— Я видел хороший сон,— тоска заставила дрогнуть его голос,— как будто я молодой и лазаю по обрывам Чусовой и брожу сам по себе от села до села и...— Геолог умолк и лежал молча, не глядя на жену, слыша лишь ее участившееся дыхание.

Слеза капнула на подушку рядом с его ухом, потом и на ухо. Жалость, горькая в своей беспомощности, стеснила его грудь. Александров открыл глаза и положил руку на плечо жены:

— Не плачь, мне было хорошо. Почаще видеть сны и подольше бы спать — время шло бы скорее...

Люда заплакала навзрыд, и он смущенно улыбнулся:

— Ну вот, хотел тебя утешить, а ты — что же? Кстати, я сегодня думал о тебе и...

Жена настороженно выпрямилась, утирая слезы:

— Я никуда не поеду, я тебе сказала раз навсегда.

— Если ты хочешь, чтобы мне было еще тяжелее,— безжалостно сказал Александров.— Надеяться больше не на что. Перевезешь меня домой, Феня будет присматривать, а я... учиться жить по-новому. Время уходит, твоя партия в поле, и ты теряешь дра-

гоценные дни! Нечего скрывать, я ведь знаю, что в этом году надо защищать запасы твоего Чамбэ, разведки которого ты добивалась шесть лет...

Люда упрямо мотала головой, всем видом показывая, что не хочет слушать.

Александров рассердился:

— Смотри, я ведь могу и прогнать тебя!

— Нет! Я уеду, но не сейчас. А сейчас я нужна тебе. Ты еще должен поехать в санаторий под Кызылом...

— Нужен мне этот санаторий!

— Только для перемены обстановки, милый! Уйти от всего, что здесь выстрадано, найти себя снова...

— Меня, геолога Кирилла Александрова, уже полгода, как нет и не будет больше... не будет и твоего Кира, таежного владыки. Оба умерли, будет теперь кто-то другой, обитающий в четырех стенах...

Люда резким движением откинула со лба волосы.

Дверь палаты распахнулась, и дюжие санитарки внесли носилки с больным. Сестра обогнала их при входе и приблизилась к койке Александрова:

— Не возражаете, если положим рядом с вами? Больной стал просить, как только узнал, что вы здесь.

— Кто это? Впрочем, конечно, не возражаю. У окон лучше!

С носилок поднялась голова с взлохмаченными седыми волосами:

— Кирилл Григорьевич, вот где пришлось встретиться!

— Фомин, Иван Иванович! Как хорошо! Но что же это с вами? — обрадованно и встревоженно воскликнул Александров.

— Со мной малая беда — ревматизм одолел, — ответил старик, подпирая голову согнутой в локте рукой, — а вот с вами, я слышал, большая. Да, большая... Сколько мы не виделись? Скоро уж лет двадцать?

— Двадцать, точно. Люда, это Иван Иванович Фомин, мой старый забойщик, с которым я сделал свои первые таежные экспедиции. Сразу же после окончания института...

— О, я много о вас слышала! Кирилл любит про вас вспоминать. Первая геологическая экспедиция — первая любовь!

Сестра сделала Люде знак, и та заторопилась:

— Ухожу! Действительно, поздно. Но сегодня я спокойней тебя оставляю.

Приветливые серые глаза старого горняка чем-то успокоили Люду.

— Это что же за специальность такая — забойщик? — спросил скептически молодой сосед по палате, радист, сломавший руку при падении с верхового оленя. — Шахтер, что ли, по углю или по руде?

— По старому счету — горняк на все руки: и по углю, и по руде, хоть по соли, а золота-то не миновать стать! — весело ответил старик, с кряхтеньем поворачиваясь к собеседнику.

— На все руки — это хорошо. А разряд какой?

— Что тебе? — не понял Фомин.

— Разряд, спрашиваю, какой? Ну, ставка тарифной сетки.

— Вот ты про что, — протянул старик. — Ставки бывали разные, и малые и большие, только интерес непременно большой.

— И много ты заработал с этого интереса — койку в больнице?

— Между прочим, и Ленинскую премию, — спокойно сказал Фомин.

— Как это — Ленинскую? — ошеломлен молодой радист. — За что это?

— Стало быть, есть за что, — не скрывая насмешки, ответил Фомин.

— Погодите-ка, Иван Иванович, — вмешался Александров, — я припомнил, читал в приказе по министерству. Вас представили к премии за открытие важного месторождения вместе с инженером... забыл, как его...

— Васильев Семен Петрович. Это точно, мы с ним вместе!

— Пофартило, значит, в тайге, — с завистью сказал радист. — Конечно, горняку лучше, не то что нашему брату. Больше десятипроцентной надбавки не заслужишь!

— Фарт — не то слово, паря, — недовольно возразил забойщик. — Фарт — когда дуром наскочишь на шальное счастье. Как назвать его, если долго ищешь, ниточку найдешь, потеряешь, обратно найдешь, и так не один год. Да и не в тайге вовсе, на угольных шахтах это было!

Александров, по-настоящему заинтересованный, попросил Фомина рассказать, и старик охотно согласился.

— Встань-ка, паря, — обратился он к радисту, — да окошко отвори. Продух будет, я покурю тишком.

Старик молниеносно свернул самокрутку, чиркнул спичкой и выпустил густую струю дыма. Радист последовал его примеру, извлек из-под тюфяка измятую пачку сигарет и уселся на койку в ногах у Фомина. Тот поморщился и пробормотал:

— Сел бы ты, паря, лучше к себе...

— А чем я тебе помешаю? — оскорбился радист.

— Не то дело, паря, уважения в тебе к старшим нету: не спрося — плюх на чужую койку. А мне с тобой панибратствовать ни к чему: еще невеста какой ты человек.

Молодой радист обиделся, отошел к окну и стал выдувать дым сквозь сетку, внося панику в ломящуюся снаружи тучу комаров. После утреннего обхода и процедур в больнице стало тихо. Во дворе негромко переговаривались няни.

— Рассказывать тут долго нечего, — начал Фомин. — Утомился я от таежного поиска, ребята подросли, надо было учить их в хорошем месте. Словом, я вышел в жилуху и стал работать на угольных шахтах, да не год, не два, а девять кряду. Сначала вроде в тайге вольнее казалось, а потом по привычке, обзавелся домом, детей выучил и сам умнее стал: книжек-то побольше, чем в тайге, читать довелось. Кирилл Григорьевич знает: такая у меня манера — доходить до корня, везде интерес иметь, к чему, казалось бы, нашему брату и не положено. Узнал я много преудивительного: как столь давно, что и представить не можно, был на нашей земле сибирской климат вроде африканского и повсюду огромные болота, а в них леса, тайги нашей гуще. Росли тогда деревья скоро, пропадали тоже скоро, и гнили они тыщи лет. Торфа из них пласт за пластом впереслойку с глинами накладывались, прессовались, уплотнялись — так угли наши и получились. Сам я стал присматриваться к углю и находить то отпечатки невиданных листьев, как перья паулиньи, то стволы с корой точно в косую клетку, то плоды какие-то. Иногда встречались нам в подошве пласта высоченные пни с корнями, прямо в ряд стоят, будто заплот. А в кровле то рыбки попадутся, то покрупнее звери, вроде зубастые крокодилы, только кости расплюснуты и тоже углем стали. Меня уж стали знать на шахте. Сначала смешки, горным шаманом прозвали, а потом стали мне диковины приносить и расспрашивать. Я, конечно, писал о находках в Академию наук, откуда приезжал молодой парень. Видит-то плоховато, а все досконально знает, наперед говорит, что где должно быть. Подружился я с ученым, он мне книжки, опять же как приедет — лекции для всей шахты. Куда как интересней стало работать, как понимать начал я эту угольную геологию...

— За это и премию сгрел? — недоверчиво хмыкнул радист.

— Заполосный ты какой! — рассердился Фомин. — Это я свой путь рассказываю, чтоб тебе легче понять, откуда что взялось... Ну вот, пошел в эксплуатацию западный участок — там угли длиннопламенные, хороши для отопления, их в город больше брали. Заметил я, что уголь местами изменился. Конечно, ежели без внимания, то, как ни смотри, все такой же он. Знаешь, если длиннопламенный, то на изломе восковатый и не так в черноту

ударяет, но и металлом не блестит, как сухой металлургический. Приметил я в угле светлые жилки, короткие и тоненькие совсем, иногда и частые. В котором слое словно сеткой подернуто. Этот уголь по всему западному участку, на втором и третьем горизонте, в разных лавах. Только слойки с жилками где потоньше, а где и во весь пласт. Чем-то поманили меня эти светлые жилки, собрал я из всех забоев, нашел такие, что не как волоски или сосновые хвоинки, а будто тоненькие веревочки. Дознался я, что это такое, да наш штейгер и начальник участка только мычали: бывает, мол, в угле всякое и раз угля не портит, то какое нам дело.

Стал жечь я этот уголек у себя в печке и на дворе. Уголь как уголь, только от него дымок голубоватый, с белесым поддымком и запах другой, нежели у простого угля. На выюшках от него налет тоже сизый. Покрутился я со светлыми жилками — нет ходу, не пробьюсь. Знания нет, чтобы определить, что не годится, и чтобы доказать, что годится. Решил рукой махнуть. Светлые жилки эти мне покоя года полтора не давали. Металлургический уголь стали работать на северном, тут бы всему и конец, не вмешайся инженер Васильев как снег на голову.

— Это кто же, новый какой назначенный? — спросил радист, заслушавшийся старика так, что забыл про папиросу.

— Вовсе нет! Никакого отношения он к шахтам не имел, жил в городе, за триста верст от наших шахт, и не горняк он, а химик.

— Как же это он сквозь землю смотрел?

— Сквозь землю это я смотрел, на подземной работе, а он, наоборот, в небо и там второй конец моим светлым жилкам нашел.

— Ого, как интересно! — воскликнул Александров. — И меня забрало!

— Инженер Васильев, — продолжал Фомин, ободренный вниманием слушателей, — хоть и городской житель, но по зоркости не хуже любого таежника. Живет он в большом доме, на десятом этаже, из его окон — весь город как на ладони. На отдыхе сживал он у окна, любясь городом и раздумывая о том и сем. И вот как мне светлые жилки, так Васильеву приметилась дымка над городом, белесая или голубоватая; когда она есть, а когда и нет. И запах тоже в воздухе, когда дымка, особенный, не сильный, а заметный. Помогло Васильеву, что он химик, знал: такой дымки ни от какого завода в городе быть не могло. Раз так, то, значит, дело в угле. Инженер рассудил, что дымка похожа на окисел какого-то металла, и решил дознаться, нет ли чего в угле. Собрал он налет с трубы какой-то — и под прибор. А прибор такой, что, будь там самая малейшая крошка какого металла или состава, такая малость, что ни на вкус, ни на запах, не говоря уж про химию, никак не возьмешь, — прибор берет. Инженер Васильев мне показал. Что нужно

разведать, то в пламени жгут, пламя в трубу зрительную смотрят, а в трубе какие-то там линии...

— Да как он называется, твой прибор? — не утерпел радист.

— Это тебе знать, небось десятилетку кончил, а у меня нет памяти на мудреные слова. Постой-ка, записал я его название: думаю, не раз еще пригодится! — И забойщик с кряхтеньем полез в тумбочку у постели.

— Не трудитесь, Иван Иванович, — вмешался Александров, — прибор этот — спектроскоп, а то, что сделал Васильев, — это спектральный анализ.

— Ну, точно, — успокоился старик, — я и говорю, пехтоскоп показал: есть признаки металла, и не одного, а трех. Васильев Семен Петрович стал дознаваться, с каких шахт, с каких участков уголь в те дни, когда дымка. Сейчас вам рассказать — оно быстро, а потратил он, пока дошел, тоже, почитай, два года: ведь занятый человек, когда недодумал, а когда и упустил... Ну, короче, приехал он на нашу шахту и стал дознаваться насчет угля. А у нас западный участок давно прикрыли. Показывают ему металлургический с северного. Он анализ за анализом берет — ничего. Да и не могло быть. Так и не вышло бы, да тут один молодой парень присоветовал ему со мной потолковать. И пяти минут мы не проговорили, как понял я, куда мои светлые жилки ведут. Полезли с ним в западный участок — к тому времени я все свои образцы уже извел. А там и крепь вынута, и кровля обрушена. Повертелись туда-сюда. Вижу, что и человека могу погубить и времени у него не хватит. Отправил его в город, а сам думал неделю, пока не сообразил. С третьего, незатопленного горизонта спустились мы — ребят у меня подручных набралось чуть не вся шахта — по восстающим на пятый, прошли совсем маленький ходок и добрались до пласта со светлыми жилками. Набрал я образцов — и в первый же выходной в город. Васильева дома не оказалось. Я пакет в два пуда ему оставил и расписал, откуда взято. Не прошло и недели — телеграмма мне, чтоб немедленно приезжал. Поехал. Васильев встречает и прямо облапил меня, крепко тиснул и в обе щеки целует.

«Ну, если бы не вы, Иван Иванович, все бы пропало!» — «А теперь?» — спрашиваю. «А теперь сделали мы Советскому Союзу и нашей стороне сибирской преобладающий подарок: в угле-то, в светлых жилках ваших, — целое месторождение редких металлов. Один, ванадий, это я точно запомнил, — добавил Фомин, как будто опасаясь, что собеседники усомнятся в его знаниях, — а вот остальные никак не помню и не записал сдуру, на радостях. Спрашиваю: «Для чего они, металлы эти?» Васильев объясняет, что очень важные металлы. Нужны они для самых что ни на есть

сложных машин. «И много этих металлов?» — спрашиваю. «Не так чтобы очень, даже совсем мало. Но угля количество огромное, миллионы тонн, и редкие эти металлы пойдут как попутные продукты, когда уголь начнем на химическое сырье перерабатывать. А эти попутные продукты сами по себе всю стоимость добычи окупают... Теперь без редких металлов ни один телевизор или радиоприемник не обходится».

— Слыхали,— важно сказал радист,— из некоторых полупроводник делают.

— Полупроводник или даже целый — не в этом дело, а в том, что эти металлы сейчас самые нужные, а ведь с ними еще и ванадий. Но вот для чего ванадий, запоматывал.

— Я подскажу,— откликнулся Александров.— Сталь ванадиевая — самая нужная для автомобилей и вообще тех машин, где требуется высокая прочность. Жаль, что забыли про другие,— тоже, наверно, полезные.

— И очень даже нужные, но хоть убейте,— не помню. Названия все мудреные...

— Как такое добро — и в простом угле оказалось? — тон радиста стал гораздо более уважительным.

— Это самое и я спросил у инженера Васильева. Тот мне объяснил так: когда угли эти еще были в незапамятные времена как огромнейшее торфяное болото, то сквозь них сочились воды. Воды, ручьи или речки, что ли, размывали горы, где залегали металлы, растворяли их понемногу и переносили в торфа. Торфа гнили, и металлы эти осаждались на них, накапливались. Целые тысячелетия прошли, воды все протекали и протекали, и так исподволь накопилось и ванадия, и других.

— А потом как?

— Потом торфа заносило песками и глиной, они затвердели, оборотились в уголь, получился диковинный уголь со светлыми жилками.

— За это премию Ленинскую получили? Вдвоем, что ли?

— Вдвоем, пополам, потому один без другого ничего не нашел бы. Как сказал уже: я под землю смотрел, а он — по небу.

Три собеседника в палате долго молчали. Фомин взялся было за самокрутку, но, заслышав голос дежурного врача, спрятал свои приспособления. После короткого обхода принесли обед, и разговор возобновился лишь во время мертвого часа, когда больница опять притихла.

— Да, хорошо светлые жилки найти,— мечтательно произнес радист, поднимая глаза к потолку.— И как это вам удалось уцепиться?

— Светлые жилки должны быть у каждого,— ответил Фо-

мин,— без них и жить-то вроде принудительно. Не ты своей жизни хозяин, а она тебя заседляет и гнет, куда захочет.

— Вот и я про то же,— подхватил радист,— схватишь полста тысяч, ну, пусть вы тридцать семь получили, тут жизни можно не так опасаться, не согнет!

Старик даже сел, с минуту мерил глазами невозмутимо лежавшего радиста и упал на подушку.

— Подсчитал уже, сколько я получил, уголовная твоя душа! — вымолвил он с горьким негодованием.

Настала очередь подскочить радисту.

— Как — уголовная душа? — завопил он, поворачиваясь то к Фомину, то к Александрову, будто призывал геолога в свидетели.— За что же вы оскорбляете меня, дядя? Я что, блатюк, что ли?!

Старый горняк уже остыл:

— Не знаю я тебя и никаких прав блатюком счастье не имею. Однако сам ты меня обидел... Все на деньги да на фарт меряешь. А я тебе про интерес, про заветные думки, без которых человеку жить — будто скоту неосмысленному...

— Дак разве интереса к фарту быть не должно? Что я, на счастье прав не имею? Мудрите, дядя... Конечно, жизнь ваша уже недолга осталась и заботы меньше. А мне еще жить и жить, и что плохого, если лучшего хочется?

— Кому не хочется,— уже спокойно отвечал Фомин,— дело не в этом. Ежели ты себя в жизни так направил, чтобы вместе со всеми лучше жить, и на то ударяешь, тогда ты человек настоящий. А мне сдается: ты как есть только о себе думаешь, себе одному фарту ждешь — тогда тебе всегда к старой жизни лепиться, на отрыв от всякого нового дела. Может, и сам того не осмыслив, ты хочешь перед другими выделиться, не имея за душой еще ничего. Вот тут и приходится о фарте мечтать. Встречал я вашего брата. Уголовными душами их зову — сообрази-ка, в чем сходство с блатюками.

— Никакого сходства не вижу, выдумки одни! — зло ответил радист.

— Самое прямое. Уголовник почему на преступление идет? Да потому, что хочет хватануть куда как больше, чем ему по труду, да по риску, да и по соображению полагается. Человечишко самый негодный, а туда же: хочу того да сего. Опять же, другой и способность имеет, и силу, и риск, а запсиховал: работать скучно, не для меня это, не желаю. Однако деньги-то и побольше, между прочим, подай. Вот в чем уголовная-то суть. Ты хочешь себе не по заслугам, не по работе, а о фарте мечтаешь — тот же уголовник ты! Только закону боишься и хочешь, чтоб само свалилось.

— Один я, что ли, так? — уже тише отвечал радист.

— Горе, что не один. Таких, как ты, есть еще повсюду и середь нашего брата рабочего, и середь кого хошь — инженеров, артистов, ученых... Эту уголовную болезнь и надо лечить в первую очередь, чтоб скорей в коммунизм войти...

— А лечить чем?

— Ну, «чем, чем»... Сызмальства воспитанием настоящим, учением, а потом знанием. Только знание жизни настоящую цену дает и широкий в ней простор открывает. А то бьешься, бьешься, чтоб понять, как я со своими жилками!

— Это вы правильно, — покорно согласился радист, — с образованием куда легче. Диплом — он цену человеку поднимает, разряд, так сказать.

— И кто тебе так мозги повернул? — снова начал сердиться старый горняк. — Только разряд у тебя в голове. Книг, что ли, таких начитался, было их раньше много. Вывели те писатели так, что без высшего диплома и не человек вроде... девку замуж не возьмут без диплома. А для какого лешего ей диплом, ежели она к науке склонности не имеет? Вот и явились теперь такие, с порченными мозгами. Какая ни на есть работа через силу вами делается, а почему, ты мне ответь?

— Не могу ответить, только верно, есть люди без интересу к своей работе.

— А все потому, что не на месте они: один в науку ударился, как баран в чужой двор, другая — инженер, электрик или химик по диплому, а по душе — самая хозяйка толковая, и мужа бы ей хорошего да ребятишек пяток и по сельскому хозяйству фрукты какие сажать да птицу разводить. Вот оно и получается, что работа не мила, а немилая работа хуже каторги. За дипломом погонятся, а себя вроде как к каторге приговорят, несмышлениши. Писатели, опять же, где бы добрый совет подать — лупят без разбору: гони диплом, а то и герой не герой и женщина не женщина, а вроде быдло отсталое. Неправильно это, и ты неправильно рассуждаешь со своим дипломом!

— А как же правильно?

— По-моему, вот как: знание — это не то, что тебе в голову в обязательном порядке набьют, а что ты сам в нее положишь с любовью, не спеша, выбирая, как цветы или камни красивые. Тогда ты и начнешь глядеть кругом и с интересом и поймешь, как она, жизнь-то, широка, да пестра, да пресложна. И житьишко твое станет не куриное, а человечье, потому человек — он силен только дружкой да знанием и без них давно бы уже пропал. Житья бы не стало от дураков, что ничего, кроме своего двора да животишка, не понимают...

Радист умолк и долго не подавал голоса. Старый забойщик удовлетворенно усмехался, поглядывая в сторону Александрова, как бы призывая его в свидетели своей победы. Геолог кивнул ему, слегка улыбаясь.

— Вот, Кирилл Григорьевич, верно я говорю? Каждому надо свои светлые жилки искать...

— Это так. Только всегда ли найдешь? Да и каждому ли дано?

— Знаю, о чем думаете, Кирилл Григорьевич! Как вам теперь быть без тайги, без гор... Оно понятно! Только найдете вы свои жилки непременно, другие, но найдете.

— Других не хочу, не верю! А если не верю, то как пойму я, что другие — настоящие? И где искать, куда кинуться... мне? — геолог кивком показал на свои ноги, аккуратно уложенные под одеялом.

— Конечно, трудно, особо если подумать куда. Ну а насчет того, настоящие или нет, на то есть верная указка, и вы ее знаете...

— Нет, не знаю!

— Указка одна — красота. Это я хорошо понимаю, да объяснить не сумею, однако вам надо ли... разве ему... — и забойщик ткнул пальцем в радиста, ничем не отозвавшегося на выпад.

— Красота... правильно. Но мне... ползучий я будто гад!.. Сейчас для меня все серым кажется, потому что внутри серо!

— Неправильно, Кирилл Григорьевич! Вспомните, как шли мы в тридцать девятом от шиферной горы сквозь тайгу голодом. Припозднились на разведке, продукты кончились, снег застал...

— Конечно, помню! Тогда мы лунный камень нашли.

— Так я насчет его. Помните, перевалили мы Юрту Ворона и двое суток шли падью. Мокрый снег с дождем бесперечь, ватники насквозь, жрать нечего...

— Да, да, и вечером... — встрепенулся геолог. — Расскажите, Иван Иванович, я не сумею. А наш Алеша пусть послушает, — кивнул он приподнявшемуся радисту.

— Точно, вечером поперли мы из пади через сопку. Крута, ичиги размокли, по багульнику осклизаешься, а тут еще навстречу стланик разогатился, хоть реви. На гребнюшке ветер монгольский морозом хватанул. Покатились мы вниз едва живы. Тут место попало, жила или дайка стоячая, вдоль нее склон отвалился, и получилась приступка, а далее, в глубь склона, пещерка не пещерка, а так, вроде навесу. Забились мы туда, дрожим, огонь развести — силов нету, дальше идти — тоже, и отдыхать невозможно — холодно. Тут уж мы не серые ли, по вашему слову, были? Куда серее, насквозь. Оно получилось наоборот. Помните, Кирилл Григорьевич?

— Все помню, рассказывайте!

— Холод потому сильней прихватывал, что разъясневать стало. Тучи разошлись, и над дальним западным хребтом солнышко брызнуло прямиком в наш склон. Глаза у меня заслезились, я от-вернулся — и обмер. Нора наша продолжалась узкой щелью, а в той щели, на выступе, будто на подставке какой, громаднейший кри-сталл лунного камня, с голову... да нет, побольше! Засветился огнем изнутри и пошел играть переливами, струйками, развода-ми... Будто всамделе взяли лунный свет, из него комок слепили, огранили, отполировали да еще намешали туда огней разноцвет-ных: синих, сиреневых, бирюзовых, багряных, зеленых — не пе-речесать. И не просто светит, а переливается, гасится да снова вспыхивает. Тут мы — шестеро нас было разного народу, моло-дого и старого, ученого и неученого, — как есть голодные и мокрые, про все забыли и перед кристаллом замерли. Будто теплее стало и есть не так хочется, когда глядишь на такую вот вещь... — Фомин заволновался и ухватился за свою жестянку для махорочного курева.

Александров прикрыл глаза, так остро возникло перед ним воспоминание о редчайшей находке — огромном кристалле особой разновидности прозрачного ортоклаза, внезапно представшем перед ними в расщелине обвалившейся жилы пегматита.

— И что дальше? — понукнул радист.

— Дальше вот что. Откуда силы взялись — собрали топливо, развели костер, обсушились да обогрелись, чайник кипятку выду-дили. Топор да молоток геологический изломали: как сумели из крепчайшей породы волшебный кристалл вырубить целехоньким, до сих пор не пойму! Поволокли его в заплечном мешке попере-менке, а он весом поболее чем полтора пуда. Судьба переменялась — конечно, это мы ее переменяли, как приободрились. К ночи до-перли мы до зимовья, кое-какие продуктишки там нашли, а лучше всего — положила там добрая чья-то душа пачку махорки. По гроб буду того человека добром поминать!

— А потом?

— Потом все! В зимовье день отдохнули и через сутки пришли в жилое место.

— А камень?

— Камень там, где надлежит ему быть: в музее московском альбо ленинградском. Может, вещь драгоценная из него сделана и цены ей нет! Вот никогда не говори: красота — пустяк. Вовсе она не пустяк, а сила большая, через нее и жизнь в правильное русло устремляется!

Александров приподнялся на локте. Воспоминания давно забытого таежного похода, стертые множеством последующих впечатлений, встали перед ним остро и ярко. Забракованное место-

рождение шиферной горы, странное место — перевал Юрта Ворона... Юрта Ворона — «Хюндустыйн Эг» по-тувински... Это широкое болотистое плоскогорье на голом хребте, использовавшееся как перевал аратами, перегонявшими стада из монгольских степей и обратно в конце июня — начале июля, в период гроз. Перевал издавна известен по необычайно частым и мощным грозам. Много скота погибало здесь от молний. Трупы, валявшиеся постоянно на перевале, служили пищей целой колонии обитавших тут же воронов. Вот откуда возникло странное название местности. Александров отчетливо вспомнил унылую вершину перевала с белесоватыми глыбами камней, выступавших там и сям среди редкой зелени мхов подобно костям и черепам погибших чудовищ. В полонгах промоинах, спадавших на юго-восточную сторону хребта, росли корявые, полусохшие деревья, побелевшие от помета птиц. Дальше вниз, к долине, болотистый купол полумесяцем охватывала темная тайга — вековые ели с древним буреломом, покрывшимся светлым и пухлым покровом мха. Там, должно быть, гнездились вороны, если только они не прилетали из скалистых монгольских гор на время гроз, когда появлялась добыча.

Двадцать лет назад молодой геолог долго ломал голову над вопросом, почему это место, казалось ничем не выделявшееся среди тысяч таких же в море сопок и хребтов тувинской тайги, разрезанной клиньями монгольской лесостепи, странным образом притягивало грозовые разряды — молнии. В полевой книжке — дневнике того времени — Александров вычертил план Юрты Ворона и записал родившиеся в пути догадки. И в памяти возникли не мысли, не ощущения, а страницы дневника. У геологов обычно хорошо тренирована зрительная память, и Александров не составлял исключения. На плане перевала Александров обозначил направления летних ветров — гигантских потоков нагретого воздуха, прилетавших из Монголии. Среди десятка хребтов, загораживавших им путь на север, был выбран именно этот, не выделявшийся высотой. Уже двадцать лет назад Александров понял, что если скопище гроз над Юртой Ворона не вызвано географическими причинами, то должны быть другие, так сказать, внутренние или геологические причины. В составе пород или геологической структуре района перевала крылась сила, заставлявшая грозовые облака, прилетавшие из далеких пустынь, отдавать свои колоссальные электрические заряды только здесь, на этом пологом перевале, а не рассеиваться по бесчисленным толпам тувинских гор.

Большое скопление минералов с хорошей электропроводностью — металлических руд, скорее всего железа, — могло скрываться под покровом обширного болота, редких кустов и

замшелых каменных россыпей. Состав горных пород хребта, в общих чертах известный, не противоречил такой возможности. Накануне войны по заявке Александрова и просьбе Тувинской Народной Республики — тогда Тува еще не входила в состав Советского Союза — была произведена магнитометрическая авиаразведка хребта новыми, только что созданными приборами. Полнейшее отсутствие признаков железных руд дало повод к недовольству геологического начальства и дружеским насмешкам товарищей-геологов. Но напряжение военной работы сразу отбросило в далекое прошлое все удачи и ошибки довоенного времени. Забыли о Юрте Ворона и неверных догадках и сам фантазер-исследователь и его товарищи.

А теперь, в особенной обостренности воспоминаний о счастье, здоровом прошлом, Александров вспомнил еще одно соображение тех времен, заставившее его сжать кулаки в напряжении раздумья. «Если бы кто-то, не побоявшийся смертельной опасности, смог в разгар сильной грозы проследить места непосредственных и наиболее частых ударов молний и остаться в живых, то, пожалуй, так можно было бы добиться разгадки Юрты Ворона дешевым и простым способом. Ведь кроме железа там могли залежать немагнитные руды цветных металлов, особенно такие электропроводные сульфиды, как галенит — свинцовый блеск, аргенит — серебряный блеск, сфалевит — руда цинка. Мощные жилы этих руд должны притягивать молнии тем сильнее, чем больше масса руд, залегающая под землей, чем длиннее и глубже жилы. Что-то похожее сохранилось в глубине памяти из старинной истории свинцовых месторождений и горных разведок в Германии. Геолог закрыл глаза, сосредоточиваясь.

«Свинец... поверхностное и большое месторождение свинца... этого столь необходимого в эпоху атомной энергии металла... Если бы свинец! Давно уже выработаны его мировые поверхностные месторождения, а потребность в нем все растет... Впрочем, и цинк или серебро тоже неплохо, но лучше всего свинец!» Александров представил тяжелые слитки-чушки серого мягкого металла, сверкающе-синеватые на разрубе, — металла, так хорошо знакомого каждому промышленнику Сибири, каждому охотнику, вселяющего уверенность в успехе охоты, в борьбе с опасными зверями, добыче сторожкой дичи. Ленты и диски пулеметных патронов, готовые к отражению врага... детали для технических приборов и аппаратов, приготавливающих и исследующих ядерную энергию. С ними дело обстояло хуже: геолог смог вообразить лишь толстые листы и пластины свинца — могучую броню от вредного излучения.

— Кирилл Григорьевич, чего задумались? Застыли, будто

на подсижке... Небось вспоминали тот поход? Растравил я вас, каюсь. Вот в окно вижу: жена ваша идет и с ней еще кто-то.

— Один мой сотрудник, — ответил геолог, скосив глаза на окно, — бывший мой, — поправился он, нахмурившись.

Привычка все замечать и мгновенно отдавать себе отчет в увиденном помогла разглядеть усталую походку и опущенную голову Люды. Она шла медленно, будто обремененная заботами старая женщина. Снова жалость больно уколола геолога. Не только забота, хуже — обреченная безнадежность, бесплодные усилия помочь любимому человеку. Нет, кажется, он начинает нащупывать почву в дне безысходного болота, в котором барахтается уже много месяцев.

Старый забойщик по-своему понял хмурую сосредоточенность Александрова:

— Мало ли, что теперь не с вами работают, небось часто бегают за советом?

— Ходят, а что?

— Я к тому, что советами тоже можно большую пользу принести... у вас опыт-то вон какой!

— Эх, Иван Иванович, добрая душа! — улыбнулся геолог. — Только советами не проживешь. Может, будь я очень старым, когда душе и телу мало чего нужно, тогда бы я жил... посоветую дельное — и доволен! А сейчас хоть половина меня мертвая, зато другая — полна жизни по-прежнему... Да что говорить, ревматизм вас скрутил, а разве вы думаете на пенсию? Вы-то сами советами проживете?

Фомин насупился, вздохнул и, чтобы перевести разговор, еспросил:

— Жена ваша, она тоже геологом работает?

— Да, — улыбнулся Александров, — настоящая геологиня!

— Как это вы сказали — геологиня? — переспросил Фомин.

— Это я выучился называть от студентов. Мне нравится, и, кажется, так правильнее.

— Почему правильнее?

— Да потому, что в царское время у женщин не было профессий и все специальности и профессии назывались в мужском роде, для мужчин. Женщинам оставались уменьшительные, я считаю — полупрезрительные названия: курсистка, машинистка, медичка. И до сих пор мы старыми пережитками дышим, говорим: врач, геолог, инженер, агроном. Женщин-специалистов почти столько же, сколько мужчин, и получается языковая бессмыслица: агроном пошла в поле, врач сделала операцию, или приходится добавлять: женщина-врач, женщина-геолог, будто специалист второго сорта, что ли...

— А ведь занятно придумал, Кирилл Григорьевич! Мне в голову не приходило...

— Не я, а молодежь нас учит. У них верное чутье: называют геологиня, агрономиня, докториня, шофериня.

— Так и раньше называли, к примеру: врачаха, кондукторша...

— Это неправильно. Так исстари называли жен по специальности или чину их мужей. Вот и были мельничиха, кузнечиха, генеральша. Тоже отражается второстепенная роль женщины!

Старый горняк расплывался в улыбке:

— Геологиня — это как в старину княгиня!

— В точку попали, Иван Иванович! Княгиня, графиня, богиня, царица — это женщина сама по себе, ее собственное звание или титул. Почему, например, красавица учительница — это почтительное, а красotka — так... полегче словцо, с меньшим уважением!

— Как же тогда — крестьянка, гражданка?

— Опять правильно! Мы привыкли издавна к этому самому «ка», а в нем, точно жало скрытое, отмечается неполноценность женщины. Это ведь уменьшительная приставка. И женщины сами за тысячи лет привыкли... Разве вам так не покажется — прислушайтесь внимательно, как звучит уважительное — гражданин и уменьшительное — гражданка. А если правильно и с уважением, надо гражданиня или гражданица!

— Верно, бес его возьми! Чего же смотрят писатели или кто там со словами орудовать обязан? Выходит, что они о новом не думают, какие настоящие слова при коммунизме должны быть.

— Думают-то думают... да неглубоко, пожалуй,— вздохнул Александров.

В этот момент дверь палаты раскрылась, и вошли посетители:

По обыкновению Люда уселась поближе к голове Александрова, предоставив товарищу стул в ногах постели. Пришедший геолог развернул профиль, и они занялись обсуждением наиболее экономической разведки недавно найденного месторождения «железной шляпы».

Когда молодой геолог ушел с извинениями, Александров откинулся на подушку, чтобы дать отдых уставшей шее. Люда воспользовалась этим, чтобы уловить взгляд мужа.

— Кир, ты сегодня другой, я это услышала, когда ты говорил с Петровым.

— Не слишком ли ты изучаешь меня? — деланно усмехнулся Александров.

Молодая женщина глубоко вздохнула:

— Родной мой! Я чувствую у тебя в глубине глаз твердую

точку, этого давно не было. Что случилось? Или этот славный старик, — она перешла на шепот и оглянулась на койку Фомина, — сумел чем-то подействовать на тебя? Почему у него вышло так легко? Я не могла...

— Фомин тут ни при чем, хотя он гораздо больше чем просто славный... Но я думал, думал и понял, что должен сделать все, что могу... — геолог умолк, подбирая слова.

— Что можешь, чтобы поправиться?.. — голос жены дрогнул.

— Ну, хоть не поправиться, но нервы привести в порядок — это прежде всего! Я слишком много бился о непроходимую стену... слишком долго переживал свое несчастье. Это не могло не сказаться, и я калека не только физически, но и духовно. Так надо попробовать вылечить духовно, если уж физически нельзя!

Люда низко опустила голову, и слезы часто закапали на край подушки геолога. Александров погладил жену по горячей щеке:

— Не горюй, Людик! Как врачи отпустят, поеду в санаторий. Еще недельки две... Хорошо будет переменить место.

— Я не от горя, Кир. Я оттого... — жена громко всхлипнула и сдержалась отчаянным усилием, — что ты, как прежний, несломанный.

— Вот и хорошо. Теперь ты тоже можешь поехать...

Люда с острым подозрением посмотрела на мужа. Тот спокойно встретил ее испытующий взгляд. Жена молчала так долго, что Александров заговорил первым:

— Люда! Обмана нет, сама видишь, все чисто.

— Д-да... у тебя твердые глаза и вот морщинка, — Люда провела мизинцем около рта мужа, — горькая, усталая, но больше нежалобная... Все так внезапно...

— Всякий перелом внезапен. Но ты ничем не рискуешь — я буду в санатории, никуда не денусь, если что — приедешь.

— Будто ты не знаешь, что там у меня со связью неважно. Пока туда и назад — целый месяц.

— А я в санатории должен быть три месяца!

— Хорошо, поговорим потом. — В тоне жены Александров уловил нотку неуверенного согласия. — Я хочу расспросить Ивана Ивановича, чем он на тебя подействовал.

— Светлыми жилками! Еще, Люда, чтобы не позабыть: в моем столе в нижнем ящике — знаешь, где старые материалы, — мои дневники тридцать девятого года. Принеси, будь добра!

— Хорошо. Что-нибудь вспомнилось?

— Иван Иванович напомнил насчет лунного камня... Надо найти характеристику пегматитов той жилы...

— Значит, уезжаете, Кирилл Григорьевич?

— Завтра! Вы что-то задержались здесь, Алеша!

Унылый радист по-детски обиженно сложил губы:

— Черт, не зарастает рука, и держат и держат... Иван Иванович уехал в прошлую среду, завтра — вы. Совсем пропаду тут один. Привык я к вам, а Иван Иванович уехал — так что-то оборвалось во мне, будто отца проводил.

— А сначала-то спорили!

— Так ведь от неосмыслия. Какой старикан хороший! Около него и жизнь полегче кажется. Было бы таких людей побольше, и мы побыстрей бы до настоящей жизни доходили...

— Это вы правильно, Алеша! Молодец, что поняли...

— За вами кто приедет, тетя Валя?

Александров представил себе маленькую, очень молодо выглядящую женщину-шофера и улыбнулся:

— Какая же она тетя? Разве вы ее не видели?

— Видел. Кто ее не знает! Она, как вы, еще в республике начала работать. Только ведь женщина на возрасте, неудобно Валею называть. Это для вас — другое дело, уважает она вас очень здорово, сама говорила. Чем-то вы ей помогли.

— Да ерунда, ничем не помог. А возраст ее разве такой большой?

— Тетя Валя и не скрывает: она двадцать четвертого года рождения?

— Ну, понял теперь! Если вы — сорокового года, тогда она для вас тетя.

— Точно, сорокового. Вы как угадали?

— По разговорам вашим с Иваном Ивановичем.

Радист хотел что-то спросить, но вошедшая сестра позвала его на рентген.

Александров, оставшись один, с удовольствием подумал о завтрашней встрече с Валею. Геолога и шофера связывала крепкая дружба, не ослабевавшая, несмотря на годы и редкие встречи. В разгар Отечественной войны в далекой тайге они встретились — девятнадцатилетняя девушка, ставшая шофером, чтобы заменить ушедших на фронт, и геолог, исполнявший правительственный приказ: найти нужное для войны сырье. С тех пор прошло шестнадцать лет, очень многое изменилось в жизни и в республике, теперь ставшей областью Советского Союза. Валя — твердый и верный человек, и она вспомнит, как когда-то сказала, что все бы сделала для него. Теперь пусть сделает!

Валя согласилась. Весь персонал больницы вышел провожать геолога, когда тот, неуклюже переставляя костыли, влячил свое огруженное и ослабевшее тело через залитый солнцем двор, наотрез отказавшись от предложения внести его в машину. Опечаленный радист нес в здоровой руке небогатый скарб Александрова. Короткое сердечное прощание, и зеленый ГАЗ-69 понесся по гладкому шоссе в направлении поселка. Александрову надо было захватить на квартиру, чтобы взять нужные вещи. Никто не мог помешать ему.

Люда уже около двух недель находилась в тайге. Валя отвезет геолога вместо санатория... так близко к Юрте Ворона, как сможет подойти машина. Александров помнил избушку промышленника, стоявшую всего в шести километрах от перевала. Правда, это было в тридцать девятом и зимовье давно могло разрушиться, но наверняка появились новые. Конец неблизкий. Пока он будет собираться на квартире, Валя договорится с начальством. А санаторий получит телеграмму с извещением, что больной придет с запозданием недели на три из-за большой слабости.

Простой план удался, как был задуман. Асфальтовое шоссе сменилось гудроном, гудрон — серой щебенкой, а «газик» бежал и бежал, взвывая редкую пыль, на юг, к желтоватому небу Монголии, переваливая хребет за хребтом. Геолог молчал, сидя в неудобной позе. Сильно согнувшись, он вцепился в дужку на переднем щитке, и смотрел на дорогу. После шестимесячного заключения в постели ход машины казался полетом, а таежные сопки, оголенные хребты и степные долины — родным домом, более приветливым, чем удобная квартира в городке.

Александров не замечал, что Валя искоса следила за ним, насколько позволяла дорога. В серых добрых глазах молодой женщины иногда показывались слезы. Слишком велик был контраст прежнего, мужественного, полного веселой энергии геолога и молчаливого беспомощного человека с бледным, одутловатым лицом и рыхлым, располневшим от лежания телом. Где он, тот сильный друг, к поддержке которого она прибегала в такие минуты жизни, когда каждый, а женщина в особенности, нуждается в ощущении верной руки, в надежной помощи и правильном совете? Никогда не забудет Валя их первой встречи. Она вызвалась сама в далекий рейс по глухой таежной дороге — прииск нуждался в муке, но больше одной машины по военным условиям не смогли выделить. Старенький ЗИС нагрузили добросовестно — едва не четырьмя тоннами, и Валя пустилась в пятисоткилометровый путь с бодрой независимостью своих девятнадцати лет и годового стажа. Мороз свободно проникал в щелястую, расхлябанную ка-

бину. Солнце яркого зимнего дня пригревало, сгоняя серебристый узор изморози с пожелтевших от времени триплексных стекол. Лишь потом Валя поняла, что подобный рейс зимой на старой и одиночной машине был нелегко и для опытного шофера. Видимо, уж очень был умучен и задержан их больной завгар, что уступил Вале и согласился отправить ее одну. Выносливый ЗИС старательно преодолевал подъем за подъемом, и только гулкий треск мотора и надсадный вой передач свидетельствовали о том, как тяжело трудится машина. С перевалов машина мчалась бесшумно, но Валя, понимая, что не сможет удержать ЗИС его ненадежными тормозами, опасалась давать машине сильный разгон. И снова выла первая или вторая передача с самого начала следующего подъема, грелся и дымил старый мотор и требовал добавочной порции масла. Валя проехала двести восемьдесят километров. Кончились последние придорожные избушки-зимовья, где у обитавших в них охотников или лесных объездчиков можно было обогреться и выпить чаю, перекусив простецким шоферским запасом. Солнце село, глубокие синие тени стали заполнять пади и распадки, огоньки звезд зажглись над почерневшими хребтами справа. Мороз крепчал, тонкая пленка ледяных кристаллов стала затягивать стекла кабины, вынудив Валу приоткрыть ветровое стекло. Ветер резал, как нож, глаза слезились, лицо ломило, и застывали руки в вытертых меховых варежках. Дорога скрылась в сумерках, и Валя зажгла фары. Фары и тормоза — два недостатка старой, во всем остальном превосходной машины. Слабый желтый свет не доставал до изгибов дороги — казалось, что накат исчезает в неведомом направлении, сливаясь на ровных участках с поверхностью снега. Откосы вставали внезапными чернеющими громадами, склоны долин вдруг обрывались в загадочную глубину. Ели, покрытые толстыми снежными шапками, стояли будто не тронутые веками. Опасение стало закрадываться в отважную душу девушки. Как никогда, отчетливо почувствовала она полную зависимость от исправности своей машины. Она прошла уже много десятков тысяч километров, много раз ремонтировалась. Кто может определить, какая часть мотора или шасси сейчас находится на пределе износа или усталости металла? Любое повреждение грозит тяжелыми последствиями. Валя не думала о себе, а о людях, которые ждут муки на затерянном в тайге, среди жестокой стужи и снега, прииске. Она старалась представить себе суровых приискателей, их озабоченных женщин, в ожидании слушающих машину, — звук мотора в молчаливой зимней тайге разносился на десятки километров. Валя знала, что транспорт муки запаздывал — нередкое событие во время военных трудностей. И если могучая сила ее машины застынет на зверском морозе здесь, где сто пятьдесят километров от жилья

в ту и в другую сторону, найдутся ли у нее силы дойти до прииска за помощью? Девушка почувствовала настоящий страх — впервые ответственность водителя в дальнем зимнем рейсе представилась ей с полной ясностью.

Валя остановила машину. Не выключая мотора, она долго прыгала и бегала по узкой дороге, чтобы хорошенько согреться. Потом зажгла переноску и тщательно осмотрела машину. Мотор тихо урчал на малых оборотах, будто радуясь отдыху.

Валя с нежностью погладила облезлый широкий капот, укутанный двойным утеплителем. Бензина оставалось не больше полубака, и девушка решила заправиться. Чтобы скорее налить ведро, она попыталась повернуть бочку в задке машины, открыла борт и упустила ее. Бочка слетела на дорогу, и девушка оказалась не в силах поставить ее обратно без накатных жердей. Идти далеко по глубокому снегу за жердями девушка не решилась, боясь оставить работающую машину. Однако Валя быстро сообразила, что, залив полный бак, она может оставить бочку у дороги, с тем чтобы взять ее на обратном пути. После второй заправки Валя смогла бы втащить ее в машину. Ободренная найденным выходом, девушка тронулась в путь. Недавний снег, рыхлый и крупный, покрыл дорогу неглубоким слоем, искрившимся в свете фар, предательски скрывая границу твердого наката. Чуть в сторону — и машину цепко захватит мягкий снег, потащит с дороги. Для одинокого водителя это будет равносильно серьезной поломке. Валя крепко сжала негладкий черный руль, удерживая тяжелую машину по углубленным канавкам наката, намечавшимся под пушистым сверкающим одеялом. Рыхлый снег скрадывал звуки, машина будто погружалась в бездну молчания, и даже громкий сухой треск, столь характерный для ЗИСа с его легким глушителем, не разносился более по распадкам и склонам. Свет фар низко стелился по широкой канаве дороги, точно стекая по ней в чернеющую вперед пропасть. Над этой световой речкой нависало угольно-черное от контраста небо, вызвездившееся от свирепого мороза, крепчавшего с каждым часом. Ни огонька, ни дымка, никакой жизни в оцененной череде лесистых сопков и заметенных ущелий!

Час-другой машина упорно шла. Спидометр давно был испорчен, и Валя могла лишь приблизительно оценивать пройденное расстояние по времени. Увы, оно не могло быть велико: необходимость осторожности на узком накате горной дороги заставляла ехать со скоростью около тридцати километров. Но и такая скорость требовала большого напряжения. Стекла кабины покрылись слоем наморози, но Вале было жарко от волнения и тревоги. Темное чувство близкой беды не отступало, а усиливалось, как будто на этом перегоне машиной владела не она, а недобрые силы горных

высот, снегов и мороза. Но машину одолели не силы таежных просторов, а крохотные частицы воды и грязи в плохом горячем военного времени. Оно выдержало сотню переливов, прежде чем попало в старую бензобочку в кузове Валиной машины. Уронив бочку на дорогу, девушка взболтала отстой, прибавив еще ржавчины со дна бочки.

Когда лучи фар уперлись в очередной подъем, сократив видимость, ближе придвинулась стена темноты. Мотор дал первый перебой. Неровные, резкие выхлопы учащались, сила двигателя падала, машина начала дергаться, будто спотыкаясь. Валя включила первую передачу, вытянула подсос и прибавила оборотов, надеясь прочистить подачу собственной тягой мотора. Несколько минут, закусив губы, девушка маневрировала скоростями и оборотами, надеясь дотянуть хотя бы до вершины перевала. Если бы дойти туда, тогда не страшно остановить мотор и прочистить подачу: потом, на спуске, легко завести мотор накатом машины. Старый, разваливающийся аккумулятор обладал малым запасом электрического заряда, а старый мотор с подношенными контактами заводится нелегко — это девушка хорошо знала и знала еще, что для ручной заводки ЗИСа надо иметь мужскую силу.

Худшие опасения Вали оправдались. Мотор окончательно заглох, так и не подняв машину на перевал. Валя выскочила и подбросила под колеса поленья, которые возила с собой вместо горного упора. Экономя заряд, она, не пользуясь переноской, сняла отстойник, продула бензопровод и как бешеная скакала на темной дороге, хлопая себя застывшими руками. Потом, забравшись в заледеневшую кабину, Валя с замирающим сердцем нажала на стартер. В-ввв... В-ввввв... — лениво, точно спросонок, завращался двигатель, другой, третий раз. Валя скупилась расходувать драгоценную зарядку. Мотор не пошел. Девушка прижала кнопку подольше, глухо зашумел набирающий обороты двигатель, но даже не чихнул. А свирепый мороз старался забраться под накрытый Валиной шубой капот и сделать двигатель таким же недвижимым и застылым, как все на огромном пространстве в зимней ночи, среди тувинских гор.

Девушка действовала с быстротой отчаяния, думая лишь о том, как успеть в состязании с жестоким холодом. Чтобы не рисковать больше, продула карбюратор, еще раз проверила бензопередачу, прочистила контакты прерывателя. И опять попытка завести мотор кончилась протяжным звоном отказавшего стартера. Еще раз... еще... Больше нельзя было рисковать разряжать аккумулятор на морозе, и оставалась надежда только на ручку.

Напрягая все силы, обливаясь потом, замерзавшим по краю шапки, с растрепавшимися и заиндеветшими волосами, девушка

вращала рукояткой неподатливый шестицилиндровый двигатель, упрямо не заводившийся. Только один раз он слегка фыркнул и осторожно повернулся, как поворачивается, пытаясь подняться, тяжело упавший человек, но тут же затих, уступая цепенящему холоду.

Валя выбилась из сил. Где ей, самонадеянной, слабой девчонке, завести могучий мотор! Где ей выполнить важное назначение — доставить муку голодным работникам прииска! Как глупо было браться за это суровое дело! Вот что получилось — она наедине с застывающей машиной, без сил, без настоящего умения. Придется сливать воду и масло, разводить костер, греть то и другое, а у нее лишь одно ведро. Затем пробовать крутить двигатель задыхаясь и насаживаясь, а он поворачивается так медленно! Будь сила, рванула бы рукоятку покрепче, завертела быстро-быстро, как это делают товарищи шоферы. Нет сомнения, что мотор уступил бы и налился теплом, дал заряд в чуть живой аккумулятор... Почему мало силы у нас, женщин? Есть же такие, которые не уступят любому мужчине... Почему она так постыдно слаба?! И почему это должно было случиться тут, где нет ни одной живой души на сотню километров? Как злобна судьба! Мог бы встретиться охотник, проезжать другой водитель или любой путник-мужчина...

Валя вытерла затвердевшим рукавом слезы и пот с лица, зябко вздрогнула всем телом. Мороз одолевал ее, обессилевшую, а зыбua лежала на моторе, спасая последние крохи оставшегося в нем тепла.

Опасное оцепенение вкрадчиво охватывало девушку, такую маленькую, бессильную, бесконечно одинокую в грозную зимнюю ночь у замерзающей машины.

Опомнившись, Валя стряхнула забытие и, едва дыша, заметалась перед машиной в попытке согреться. Она хотела только одного: чтобы сейчас здесь оказался путник. Он помог бы ей, и она исполнила бы свой долг!

Невозможная мечта, неисполнимое желание! Здесь, далеко от всякого жилья, даже от избушек охотников, ночью, в такой мороз, кто мог быть он, тот безумный путник? Что могло заставить его появиться, откуда?

Но девушка, загипнотизированная своим желанием, сжимала остро болевшие, засунутые под мышки кулаки, твердя: «Приди, приди сюда, помоги...» Она громко повторяла свой призыв, и ей показалось, что тягостно молчавшая тайга откликнулась. Валя замерла, вслушиваясь в тишину звездной безветренной ночи. Но безмолвие чащи голых лиственниц и заснеженных камней убило ничтожную искорку надежды. Валя умолила, порыв ее угас. Несколько минут девушка еще вслушивалась в ночь, затем повернулась и понуро пошла к мрачно черневшему грузовику. Достала

ведро, сдернула шубу, закуталась в нее и стала открывать капот, чтобы добраться до спускных краников радиаторов. Внезапно едва слышный звук привлек ее внимание. Слева, откуда в долину, по которой вилась дорога, впадал широкий распадок, раздалось слабое пощелкивание. Вне себя девушка отпрянула от машины. Да, слабое пощелкивание!.. Сердце Вали остановилось. Задышавшись, она втянула ртом жгучий морозный воздух и снова вслушалась.

Легкий хруст и пощелкивание, хруст и пощелкивание... тупой деревянный удар! Валя достаточно долго работала в Туве, чтобы понять эти звуки — приближение оленьих нарт. Езда на нартах мало принята у местных охотников, предпочитающих зимой и летом верховой способ передвижения. Нартовая езда практиковалась работниками Севера: геологами, приискателями, геодезистами.

Сдавленный вопль вырвался у девушки. Боясь, что неведомый ездок свернет куда-либо в сторону, она закричала испуганно и дико. Совсем близко, за темной стеной леса, громкий мужской голос ответил ей. Высокие беговые нарты вылетели из распадка и раскатились по непривычно широкой для них дороге. Белый беговой олень шарахнулся от черневшей на дороге машины. На таких оленях ездили в одиночной запряжке. Трудно было подобрать пару этим сказочным пожирателям таежных пространств, легко преодолевавшим по сто двадцать километров в день сквозь тайгу, замерзшие реки и ледопады, крутые горные тропы.

Крупная фигура в собачьей дохе вывалилась из нарт, проворно ухватившись за задние копылья. Первобытный тормоз действовал надежно. Еще минута — и ездок приблизился к девушке, держа за спиной повод и загораживая путь рвущемуся вперед оленю, нетерпеливо толкавшему его мордой. Это был геолог Александров, тогда двадцатитрехлетний начальник партии, бешено мчавшийся сквозь тайгу с важными пробами из только что пройденной разведочной штольни. С полуслова геолог понял, что случилось. Александров умел водить машины и действовал быстро. Белый бегун, по имени Высокий Лес (все беговые олени имели собственные имена, в отличие от безыменных трудяг, ничем не выделявшихся из общей массы), был отведен подальше и крепко привязан. Остывший мотор еще не успел замерзнуть, и Александров не стал терять время на его разогревание. Пользуясь своей незаурядной силой, геолог принялся неистово крутить рукоятку, едва только убедился в исправности подачи и зажигания. Все было так, как представлялось Вале в ее мечте. Могучая, широкоплечая фигура, свободно и быстро вращавшая заводную ручку, такую неподатливую для слабых рук девушки. Мотор сначала не отзывался даже силе геолога, но потом, как бы очнувшись, фыркнул раз, другой, громко

чихнул и вдруг бодро пошел. Работа двигателя выравнивалась, и, пока он разогревался, геолог заставил измученную девушку выпить немного спирту и поесть. Александров отвернул пробку бензобака и слил весь нечистый бензин с иголками льда, скопившийся на дне бака, чтобы исключить повторение инцидента. Геолог действовал так уверенно, говорил так весело, что все происходившее полчаса назад показалось девушке приснившимся кошмаром. А сейчас разогретый мотор ласково журчал на малых оборотах, путь до прииска был для исправной машины не столь уж велик, и поздняя ущербная луна поднималась из-за хребтов.

Валя совершенно ободрилась, даже усталость прошла под спокойным и приветливым взглядом геолога. Тот обтер руки поданными Вaley концами и протянул девушке крепкую горячую ладонь. Валя схватила ее и, волнуясь, не зная, как выразить переполнившее ее чувство, негромко сказала:

— Нет такого, чего я бы не сделала для вас! Спасибо вам, хороший!

— Зачем, Валя! А вы? Разнес бы меня Высокий Лес, и сидел бы я на дороге со сломанными нартами... и тут вы с вашей машиной! — Геолог обвел взглядом девушку, такую маленькую, хрупкую рядом с огромной машиной, заразительно рассмеялся. — Будете трогаться — не забудьте, что мост застыл, да и коробка...

При лунном свете Валя видела, как он отвязал оленя, и тот сразу же понесся с места, взяв размашистой иноходью. Геолог едва успел укрепиться на сиденье, как нарты скользнули за гребень увала и скрылись в темноте.

— Счастливой дороги! — донесся из мрака голос, абсолютно уверенный, что никакой другой дороги и не будет, только счастливая.

Этот одинокий геолог с похожим на белый призрак высоким оленем, как сказочный герой, несущийся в царстве снега и гор, через сотни километров замерзшей тайги, передал девушке свою уверенность. Крикнув что-то прощальное, Валя влезла в кабину. С минуту она вращала мотором застывшую коробку, потом осторожно включила скорость, дав побольше оборотов. Медленно стронулась тяжелая машина, раза два буксанула на подъеме и пошла послушно преодолевать перевал за перевалом. Угрюмая луна освещала такую же мертвую тайгу, но все было уже по-другому. Сзади мчался, удаляясь, приветливый сильный геолог, а впереди с каждым перевалом близился прииск. Еще не погасли звезды, а Валя явилась туда в облаках пара и, несмотря на крепчайший предрассветный мороз, была встречена всем населением прииска. Сердечное спасибо суровых приискателей и ласковое гостеприимство явились наградой за пережитое...

Валя очнулась от воспоминаний. Дорога свернула в широкую степную долину, и машина выбросила налево хвост густой пыли. Жаркий день морил духотой, предвещая дождь, и Валя с тревогой посмотрела на Александра. Он совсем навалился на скобу, почти прижимаясь к ветровому стеклу мокрым от пота лицом. Валя сообразила, что геолог удерживается на сиденье лишь руками, потому что вся нижняя часть его туловища лежит, как неживой тук.

— Может быть, остановимся? — предложила Валя.

— Как хотите... Вы устали?

— Немного, — солгала Валя.

Александр вздохнул с облегчением. Машина остановилась на сухой просторной поляне, под сенью темных кедров. Валя поставила кипятить чайник, а геолог, шатаясь и вихляясь на костылях, углубился в заросли кустов. Его неважное состояние усугублялось тем, что некоторые естественные потребности превращались в нечто сложное и постыдное из-за тягостной беспомощности.

Валя украдкой посмотрела ему вслед, и жалость снова резнула ее по сердцу. Стараясь отвлечься от невольного сопоставления двух обликов Александра, она захлопотала с едой. Геолог вернулся багровый от усилий и почти упал на траву у костерка. Валя постелила пальто, положила под голову мягкий вещевой мешок, и геолог, пожевав на спине, постепенно ожил. Чашка крепкого чая — и Александр закурил папиросу.

— Вы раньше не курили вроде? — спросила Валя, чтобы как-нибудь нарушить непривычное для нее молчание.

— Всего месяц, как курю... раньше не требовалось, — натянуто усмехнулся Александр.

— Вы зачем едете так далеко? Поискать что-нибудь по вашей части?

— Вы угадали, Валя!

— Я так и знала, что вы иначе не сможете... Только как теперь-то?..

— А ползком! — улыбнулся геолог, и в его лице мелькнула прежняя непобедимая уверенность хозяина тайги.

Сердце Вали радостно екнуло. Сквозь незнакомую маску она распознала дорогие черты старого друга.

— Но так ведь нельзя!

— Всем нельзя, мне можно, — в прежнем тоне продолжал геолог. — Сейчас все зависит от вас! Довезите и помогите разыскать промышленника или лесника поблизости от Юрты Ворона.

— Чего вам дался этот перевал? Там, говорят, грозы страшные, нынче как раз время...

— Дело не в перевале,— уклонился Александров.— Ну, это впереди, а мы еще не поговорили о вас. Как вы, Валя?

— У меня по-старому, Кирилл Григорьевич! Работаю, много читаю, опять же общественные дела... Словом... без перемен,— ответила Валя на недосказанный вопрос геолога.

— Жаль! Очень вы хорошая, Валя, и... хорошенькая,— грустно и серьезно сказал Александров.

— А мне не жаль — я вам раньше объясняла. Друзья и товарищи мужчины, кто по возрасту бы мне соответствовал,— двадцать второго, двадцать третьего, двадцать четвертого года рождения. Это те самые года, что приняли на себя в войну первый страшный удар врага. Мало их осталось в живых, ну а нас, их подруг, слишком много...

— Ну а если постарше, разве плохо?

— Кто постарше, вот как вы, например...— Валя вдруг покраснела,— они давно женаты, кто порядочный, а кто меж двора шатается, за тех и идти не к чему. Как иначе? Хороший, да женатый, да с детьми — я так не могу. Свое счастье с чужого несчастья начинать — не выйдет у меня, а уж если детишки, то и говорить не о чем. Выходит, на нашу долю, кто одного со мной возраста, остались мальчишки — тьфу, ерунда! — либо кто неприкаянный, пьяница да бабник остался! Сами видите, получается такое замужество... только себя уронишь...

— Но ведь может же встретиться подходящий и... неженатый еще, а то и вдовец хороший.

— Может, само собой, да не встретился. Ну что говорить, судьба не привела,— лицо молодой женщины посуровело,— но впереди большая радость намечается. Жду ее нетерпеливо!..

— Что же такое? — даже приподнялся на локте Александров.

— Решило наше государство важнейшее дело: чтобы каждый мог получить знания, какие хочет, по собственному желанию и вкусу,— я про народные университеты. Это дело громадное, и тяга у народа к тому, чтобы искусство, книги, науку понимать, нескончаемая. Не для звания там какого, а для себя, чтобы жизнь интересней стала...

— Эх, Валя, вам бы с Фоминым повстречаться, есть такой старый горняк, вы ему прямо родная душа... я в больнице лежал с ним.

— С горняком вашим когда встретимся, а в университет этот мне поступить сейчас — самая большая забота. Говорят, заявлений столько, что надо еще десять других открывать...

— Я могу написать письмо в Кызыл, чтобы вам помогли. Не помогут поступить, так посоветуют, где добиваться, а это уже полдела, самое важное — знать, куда правильно удариться!

— Ой, Кирилл Григорьевич, дорогой, напишите! У меня есть всякие рекомендации, но у вас будет по ученой линии.

— Напишу сейчас! — Геолог извлек из полевой сумки конверт и бумагу и принялся писать.

Валя с загоревшимися глазами следила за размеренным движением его руки.

* * *

Машина вырвалась наконец из зарослей после долгого мотания на ослизлых корнях, буксовки в чернеющих торфяной грязью мочажниках. Прекратилось тарахтенье веток по кузову, замолк и мотор. В наступившей тишине стал слышен слабый шум перетекшего радиатора.

Александров, едва живой после езды по бездорожью, с облегчением увидел дымок, поднимавшийся из железной трубы низкого, добротного срубленного зимовья. Кочковатая поляна с севера точно забором огораживалась «флажными» лиственницами — толстыми деревьями, лишенными веток с одной, наветренной, стороны.

На жердинной лавке у входа в зимовье сидел, видимо, давно поджидавший машину пожилой тувинец. Едва ГАЗ-69 остановился, как, собрав в приветливой улыбке все морщины обветренного лица, хозяин поспешил навстречу гостям.

— Хорош машина, куда заехал... их! Баба-шофер... хорош! А я чай готовил. — Тут он увидел тяжело вылезавшего на своих костылях Александрова и замолк от удивления.

— Ну, Валя, дорогая, спасибо вам! Жив буду — век не забуду! — растроганный тон геолога был несозвучен полушутливым словам. — Только вы это смогли сделать. Теперь мое дело выйдет: отсюда до Юрты Ворона не больше десяти километров...

Молодая женщина смутилась, покраснела и, ласково взявшись за локоть геолога, сказала:

— Я так рада! Только не понимаю я, что вы тут будете делать, не вижу, чего задумали. Скрываете вы от меня серьезное что-то... Раньше вы так не делали! Значит, дружба дружбой, а табачок — врозь?

— Ладно, Валя, вам я скажу... Но никому ни слова! — И геолог рассказал о своем плане поисков месторождения на перевале Хюндустыйн Эг.

— А вы-то сами?.. Как решились! — в тоне молодой женщины звучал явный испуг.

— Ну, что я? А ваши сверстники, что лежат в украинских степях и лесах Прибалтики, — они могли, если нужно!

— Я не о том. Если это так сильно нужно, то почему же раньше...

— А, понял! Раньше простой расчет, да, расчет, а не чрезмерная осторожность. Результат очень сомнителен, риск безусловно велик, а другого, не менее важного дела — невпроворот.

— Ясно,— протянула Валя.— Теперь вам такому можно идти на очень сомнительный результат. Какой угодно риск, пусть все сто против одного — вдруг да выйдет. Вот как вы себя цените. А о близких вам людях — о жене, о друзьях — подумали?

— Подумал. Жена, друзья — это геолога Александрова, которого уже нет, и только вопрос времени, насколько у кого хватит памяти.

Валя, словно подхлестнутая, отстранилась от геолога:

— Вот как! Спасибо, отблагодарили! А я сейчас кто? И впредь буду то же, не беспокойтесь!..

— Поймите меня верно, Валя. Если я выиграю этот один шанс... тогда!.. Ведь я человек самый обыкновенный, со слабостями, и мне нужно выздороветь... душевно. Посмотрите на меня — разве вы не видите, после какой я передрыги?

Валя опять залилась краской и вдруг обняла Александрова, всхлипнула и, стыдясь своего порыва, бросилась в машину.

— Я приеду... когда дадите знать... Только, только... берегите себя, как сможете... Я хочу сказать, чтобы вы не смели нарочно...

— Обещаю вам, Валя! — твердо ответил геолог. — Только куда же вы? Сейчас будем чай пить, потом отдохнуть надо.

— Не надо! Боюсь, что просрочила я путевку. И... я, я... реветь буду! — заключила молодая женщина, прикрывая глаза; на руль закапали слезы.

Зафырчал мотор, и не успел геолог двинуться, как машина развернулась и умчалась по извилистой тропе в заросли. Александров долго смотрел ей вслед, слушая замирающий вдали шум мотора.

Хозяин зимовья решил нарушить этикет, заговорив первым:

— Зачем ссорились? Шибко худо получилось — машина уехал, ты остался... Что делать будем? А я чай готовил!

Геолог успокоил лесника. Выпив положенный чай, Александров повалился на нары и забылся тяжелым сном. Он проснулся, когда солнце уже садилось. Дверь в зимовье была открыта. Пучок багульника, тлевший на углях в старом тазу, распространял резкий аромат, оборонявший спавшего геолога от комаров. Хозяин сидел на пороге с деревянной, окованной медью трубкой в зубах и смотрел на юг. Там громоздились тяжелые тучи, густо-лиловые в свете зари. Сеть далеких молний внезапно зазмеилась в лиловых громадах. Как будто из-под земли донесся дальний раскат, и в нем было столько угрозы, что Александров вздрогнул. Устремленное вдаль

лицо лесника было бесстрастно и так неподвижно, что казалось в сумерках деревянным. Даже трубка не дымилась, крепко зажата в лежавшей на колене руке. Александров подполз к двери. Хозяин зажег погасшую трубку и поднес спичку к папиросе геолога. Оба молча курили, пока Александров не решился наконец задать важный вопрос о коне для поездки к перевалу. Непроницаемо темные глаза хозяина тщательно оглядели гостя.

— Не понимай я, кто пускал?

— Как — кто пускал? — переспросил геолог.

— Тебя кто сюда пускал? Совсем не можешь ходить, совсем плохой, ай-ай! Зачем приехал? Пропадать приехал, однако!

Геолог стал объяснять цель своего приезда, не говоря правды. Ему надо наблюдать грозу на перевале Юрта Ворона, чтобы понять, откуда приходят тучи и как предсказывать непогоду для путников. Он двигаться не может, но сидеть в шалаши, смотреть и писать может...

Хозяин слушал не перебивая.

— Кто тебя посылал, все путал, — заговорил тувинец, когда геолог кончил свою речь. — Теперь через Хюндустыйн Эг десять лет скот не ходит. Наша республика как в Союз вошел, тогда и кончал. Такой опасный дело напрасно получается. Почему так, какой дурак думал?

Александров сообразил, что этот мифический дурак — он сам. Обмануть сына природы с его серьезным отношением к жизни и вдумчивостью таежника оказалось делом не столь простым, как сначала представилось Александрову. Стыдясь своей ненужной лжи, геолог сказал леснику все, как старшему брату или отцу, не утаивая более ни своей болезни, ни конечной цели.

В сгустившейся темноте он не мог разглядеть лица тувинца. Хозяин долго набивал трубку и возился с отсыревшей спичкой, потом курил длинными и редкими затяжками. Вспышки трубки освещали его нахмуренный в усилии мысли лоб и опущенные в землю, прикрытые веками глаза.

— Я тебе помогать буду, — спокойно произнес он, и Александров облегченно вздохнул. — Я думаю, ты правильно живешь. Сам тебе помогал бы... да вот один только сынка у меня был, да помер, баба оставил и два ребята. Теперь мне думать надо, опасное дело ходи! Еще сколько лет помогай им надо.

Александров протянул руку и положил ее на костистое, со сморщенной, шероховатой кожей запястье хозяина. Тот понял этот жест безмолвной благодарности и торопливо сказал:

— Теперь чай пьем, потом спи надо. Утро рано пойду за конем. Вещей тебе мало, продукты и тебя сразу свезем, конь сильный. Устал, однако, давай ложись!

Хозяин ловко устроил для геолога удобное ложе, настелив на дощатые нары толстый слой душистых ветвей.

Лесник быстро уснул, а геолог еще долго лежал в темноте, с благодарностью думая об исполненной уважения к чужим чувствам и думам бескорыстной дружеской помощи.

Ни Валя, ни лесник не произнесли сакраментальных слов: «Потом отвечай за тебя», — слов, которые так часто попадались в книгах, что он начал думать, будто фальшивый страх ответственности составляет чуть ли не главное ощущение многих людей. А в жизни случилось как раз наоборот. Никто не старался приписать ему свои случайные домыслы и, заподозрив его в нелепых намерениях, обнаружить свою мнимую проницательность. Даже хозяин, который имел бы на это право после того, как геолог пытался солгать ему, сразу же поверил настоящему объяснению. Александров понял, что чуткость помогавших ему людей выработалась в суровой жизни, где каждый немедленно отвечает за свои личные промахи перед самим собой и ближайшими товарищами. Эти люди привыкли полагаться прежде всего на себя и, главное, доверять себе. Геологу привиделась поддержка не двух, а тысяч таких людей, готовых ежеминутно прийти на помощь. Уверенность в невиданной силе коллективов, способных выполнить любую сказочную задачу и составить опору нашего общества, как-то ободрила Александрова. Нервная усталость последних двух дней от огромного напряжения бессильного тела и тревоги за выполнение намеченного отошла, сменилась покоем, растворилась в крепком сне.

* * *

— Э-эээй, э-ээээй! — надрывный крик разносился по пустому плоскогорью Юрта Ворона.

Александров узнал хозяина, выполз из растрепанного ветром шалаша и попытался откликнуться. Простуженное горло издавало лишь сиплые, слабые звуки, но слух таежного охотника не упустил их. Скоро тувинец показался у шалаша Александрова. Он внимательно оглядел обросшего геолога, закопченного, в отсыревшей и прожженной одежде, изорванной судорожным ползанием по кочкам и багульнику.

— Плохо тут тебе, инженер. Я продукты привези, еще вот — куртка мой. Смотри, совсем рваный стал. Табак вот... Ой какой ты, паря! — сморщился он от огорчения, когда геолог подполз к уступу, где стояли прислоненные костыли, и поднялся, цепляясь руками за кустарник.

— Ничего, — бодрился Александров, — все в порядке...

За этими незначащими словами стояли две недели жизни на

перевале Хюндустыйн Эг, настолько странной, что Александров вряд ли смог бы рассказать о ней.

В знойные дни и душные ночи геолог бодрствовал, поджидая очередное полчище грозowych туч, уже издали возвещавших свой приход тяжелым, вибрирующим грохотом. Днем тучи ползли, как стада воздушных китов, набрасывая на горы серую тень тревожного ожидания. Ночью нечто бесформенное закрывало звезды, словно подкрадываясь для нанесения внезапного и свирепого удара. Страшные удары раскалывали воздух, горы и весь мир, слепящие вспышки учащались, переходили в непрерывное полыхание извилистых полос огня, бороздивших небо по всем направлениям. Иногда гроза была настолько сильной, что от грома и сотрясения почвы мутилось в голове, уши переставали слышать.

Вертикальные столбы молний стояли повсюду, огораживая перевал как страшную западню. Александров полз туда, где сверканье и грохот превращались в сплошной огонь и рев. Странное покалывание пронизывало все тело, в ноздри бил резкий, кружащий голову запах озона, тело, поливаемое потоками ливня, коченело под порывами ветра. Скоро геолог понял, что его, казалось бы, простая задача очень трудна. Он передвигался ползком слишком медленно, несмотря на лихорадочные усилия. Костыли не держали на скользких камнях и кочках, зацеплялись в путанице жестких веточек багульника, травы и корней. Он подбрасывал свое полуживое тело резкими толчками рук, устремляясь навстречу молниям. Словно по заговору обернувшейся против него природы, скопление молний оказывалось в таком отдалении, что он не успевал доползти, или близкие разряды прекращались слишком скоро. Александров сам себе напоминал черепаху, гонящуюся за быстрыми птицами. Насмешливо и свободно молнии уносились вдаль в тот самый миг, когда он, казалось, уже приблизился к месту их страшного буйного танца. Много раз геолог, совершенно выбившийся из сил, впадал в полубеспамятство и лежал, поливаемый холодным грозowym дождем, пока резкий ветер не приводил его в себя. Александров полз к своему шалашу, разжигал дымный костер и кое-как сушился. Несмотря на тучи комаров, он забывался лихорадочным сном, пока грохотанье, от которого содрогалась земля, не возвещало ему о прибытии нового отряда туч. Воля к борьбе не иссякала, но, может быть, только насыщенная электричеством атмосфера гор спасала геолога, когда, казалось, он обязательно должен погибнуть от холода, сырости, переутомления и недоедания. Три-четыре раза молнии ударили так близко от него, что Александров на время слеп и глух. Окружающее неистовство грома и слепящего огня ускользало из его сознания. В этих случаях Александров упускал возможность проследить за повторными

ударами молний и заметить место колышками, связка которых висела у него на шее. Назревала трагедия, сулившая бесплодный конец его усилиям. Близкая молния лишала возможности наблюдать, а только с помощью близких молний геолог надеялся нащупать место залегания рудного тела.

Наступили ясные, солнечные дни. Александров отдохнул от полубредового напряжения и преодолел странный гипноз горной грозы. Он смог поразмыслить над результатами своего двухнедельного життя среди молний. Геолог уверился, что под болотистыми кочками Юрты Ворона залегают металлические руды. Почти не было сомнения в большом количестве рудных жил, рассекавших в глубине плоскогорье, слабовыпуклым куполом протянувшееся далеко на запад по направлению широкой складки метаморфических сланцев, слагавших хребет перевала. Пляска молний, метавшихся между отдаленными друг от друга участками, внешне абсолютно неотличимыми друг от друга, показывала широкое распространение рудных жил. Возможно, главная масса руды залегала в ядре складки, как в некогда знаменитом богатейшем месторождении свинца Брокен-Хилл в Австралии. Александров закончил с зарисовкой распределения частых ударов молний на площади перевала. Постепенно, день за днем, ночь за ночью, нащупывалось место наибольшего скопления молний при всякой грозе. Там можно было рассчитывать на самое неглубокое залегание воображаемых жил. Геолог переносил свой шалаш поближе к молниевому центру и с каждой грозой приближался к нему. Но дни шли, период гроз мог внезапно окончиться — Александров жил во все увеличивающемся нервном напряжении. Четвертый день не было настоящей грозы, а мелкий моросящий дождь только порождал тревогу, свидетельствуя, что время гроз проходит. В таком состоянии и нашел Александрова хозяин, разыскивший новое место его шалаша, в двух километрах к западу от прежнего.

— Ничего,— повторил геолог, избегая укоризненного взгляда лесника,— теперь уже скоро!

— Почему скоро? — оживился тувинец.— Нашел чего?

— Нет, не нашел, скоро грозы кончаются.

— Да-а? — разочарованно протянул лесник.— Скоро, неделя, я думаю.

— Ну вот, через неделю и приезжай за мной. Еще смотреть буду.

— Пх, пх! — качал головой тувинец, ожесточенно затягиваясь из трубки, но ничего не возразил геологу.

Они выпили чаю с лепешками и медом, привезенными из селения как подарок лесника. Затем тувинец взгромоздился на коня, и Александров остался снова наедине с шелестом ветра на пустынь-

ном перевале, с неотвязной болью в пояснице и привычными невеселыми мыслями.

Прошло еще два дня — солнечных, сухих и ветреных.

Александров уныло отлеживался в шалаше, поддаваясь гнетущей усталости, не покидавшей его со времени отъезда лесника. Боль в сломанной спине не давала спать, бессонница усиливала дикое нервное напряжение. Александрову казалось, что если только на секунду он даст себе волю, тогда мрачное душевное угнетение одолеет. Он закричит, завоет, начнет кататься, кусать и царапать землю, поддавшись темному чувству ярости и бессмысленного отвращения к себе и всему миру, не выдержав отчаянной, безысходной тоски. Геолог вцепился пальцами в кочку под головой, чтобы не поддаться накипавшему в душе жуткому желанию, и замер, не обращая внимания на комаров и залепившую глаза и уши мошкарку. Александров не знал, сколько времени прошло, когда услышал знакомый отдаленный грохот. Судьба оказывала ему маленькую милость. Как корка, брошенная умирающему от голода, поможет лишь отдалить смерть и тем продлить ненужные мучения, так и приближающаяся гроза уведет его от тоски. Еще два-три часа он будет жить полно и радостно, в стремлениях и борьбе исследователя, в напряжении поиска, этого могучего, глубокого и древнего инстинкта, всегда живущего в человеческой душе!

Александров выполз из шалаша. Тусклая серая пелена затянула восточную половину неба и погасила утреннюю зарю. Ее краски померкли, ветер взвыл, покатился по плоскогорью и вдруг утих. Остановленная ночь стала безмолвной, прекратился отдаленный гром. Железное небо тяжело навалилось на придвинувшиеся к перевалу чугунные хребты. Давящая тишина заставила геолога содрогнуться. Надежда на грозу, на возможность забыться в борьбе покидала его в момент, когда дальнейшая жизнь казалась безнадежной и невыносимой. Он отвернулся и хотел заползти в свою сырую нору, как умирающий зверь, для которого отвратительны зовы жизни и свободный простор природы. Чудовищная вспышка и сразу же последовавший за нею оглушительный удар пришпорили его, как смертельная опасность выбившегося из сил коня. Александров рванулся навстречу зеленоватым слепящим столбам, которые встали там, где он ожидал. Гроза была особенно сильной, или он сразу попал в ее центр. Непрерывный грохот будто вдавливал Александра в землю. Он крепко зажмурился, чтобы не ослепнуть от встававших перед ним каждую секунду гремящих столбов электрического огня, плясавших, извивавшихся исполинскими бичами, хлеставших по всем направлениям, сотрясая небо и горы. Казалось, все дрожит в ужа-

се перед силой этих многокилометровых электрических искр.

Геолог упорно полз, обливаясь потом под струйками холодного дождя. Оглушительный треск разодрал окружающий мир, и Александров перестал слышать, ощущая раскаты грома лишь по сотрясению тела. В глазах за плотно сжатыми веками струилась светящаяся пелена. Он потряс головой, раскрыл глаза, но пелена не проходила, и геолог лишился ориентировки. Это был конец. Как мог он теперь достигнуть своей цели? Детская обида на нелепую несправедливость судьбы, продолжавшей бить его, нанося удар за ударом, потрясла до глубины души. Александров всхлипнул, опуская отяжелевшую голову на мокрую землю, вжимаясь в глинистую почву пылающим лбом. Прикосновение к земле исцелило его, струящаяся пелена неожиданно отошла от глаз. Геолог поднял взор и увидел совсем близко целый пучок зеленых молний, ударивших в ничтожный бугор, заметный по тонкому пруту засохшей лиственницы. Там! Ловя ртом воздух пополам с пахнущей озоном водой, охая и всхлипывая от усилий, геолог рывками бросал свое гнусно тяжелое тело, цепляясь за кочки, щебень, кустарник ободранными в кровь руками. Гремящий и светящийся удар отшвырнул Александрова прочь от желанной цели, но не причинил ему ощутимого вреда. Пусть, ничего не страшно! Стена за стеной огня вставала перед геологом, земля непрерывно тряслась, ночь качалась между нестерпимым сверканием и мгновенной глухой чернотой. Но он достиг заветного холмика, разорвал шнурок на колышках и глубоко вонзил один в почему-то теплую мокрую землю. Сознание мутилось. Медленно ворочая мыслями, геолог подумал о свершенной им ошибке. Где же записка на случай, если он не переживет этой рассветной грозы? Едва он полез негнуцимися пальцами за отворот куртки, как оно случилось... Все его тело до кончиков пальцев пронзило ужасающее ощущение — обжигающее, рвущее и в то же время оглушившее смертным покоем. Он не увидел и не услышал ничего, а только вытянулся в сильнейшей судороге, когда десятикилометровый искровой разряд ударил в почву рядом с ним, может быть, прямо в него.

Геолог застыл ничком, обхватив обеими руками заветный колышек...

Но молния в несчетный раз пощадила его. Александров очнулся под теплым высоким солнцем. Ветер, высушивший одежду на спине, нес свежесть монгольской степной долины. Пригретое плоскогорье расстилалось под голубым небом. Невозможно было поверить в безумный разгул космических сил, пылавших и грохотавших здесь несколько часов назад. Но колышек торчал тут, воткнутый косо и неуклюже под самым носом геолога. Александров пошевелился, приподнялся и посмотрел вокруг. Слева, всего в ки-

лометре, виднелся его шалаш. Кто сможет поверить случившемуся, почувствовать бесконечно долгий путь, который привел его сюда в грозном мраке?

Тупая боль в левом колене удивила его. Посмотрев вниз, геолог потерял дыхание. Приподнимаясь, он сделал то же, что и всякий нормальный человек, но чего не мог сделать парализованный калека! Он подогнул под себя ногу и уперся коленом в землю! Острый камешек под ним дал знать, что нога чувствует! Хрипя разом пересохшим горлом, Александров попытался снова пошевелить ногами. Они работали, двигались! Безмерно слабые, с болтающимися, как тряпки, мышцами, они жили! Александров боялся поверить себе. Прошло с четверть часа, прежде чем он решился на вторую попытку двинуть ногами, и она опять удалась! Смутное понимание вселило робкую уверенность в потрясенную душу геолога. Один ли убийственный разряд, или неоднократные удары молний, или страшное нервное напряжение, но что-то сделало свое дело — поврежденные нервы ожили. Внезапно Александров попробовал встать, не смог и тяжело упал на бок. Но секунду ему удалось постоять на коленях... постоять на коленях... Мысли оборвались, и прерывистые рыдания огласили безлюдное плоскогорье. Безлюдное?.. Нет, там, вдали, — всадник, это едет лесник. Почему на три дня раньше? Как он узнал?..

— Утром такой гроза был... я подумал, ехать надо, тебя смотреть. Живой ты, инженер, хорошо...

— Живой я, живой! — так закричал Александров, что тувинец вздрогнул.

— Больной, что ли? Собирайся, повезу наш поселок!

— Повези, только сначала прошу: копай тут, — геолог показал на колышек.

— Нашел? — широко осклабился лесник.

— Нашел! — с непобедимой уверенностью ответил геолог, и тувинец поехал к шалашу за лопатой.

* * *

Александров, опираясь на палку, проковылял к столу и достал из заплечного мешка тяжелый блестящий кусок свинцовой руды — галенита.

— Из жилы нового месторождения «Юрта Ворона», — с торжеством сказал он начальнику управления. — Есть смысл ставить там основательную разведку.

Михаил Емцев, Еремей Парнов

ПОСЛЕДНЯЯ ДВЕРЬ

Ночью разразился продолжительный ливень. Яркие молнии разрывали черное небо ослепительными трещинами, и Егорову казалось, что из них вот-вот брызнет расплавленная сталь. Тяжелые холодные градины, будто твердые клювы тысяч птиц, стучали в окна. Вода не успевала сбегать по стеклу и застывала на нем мутными разводами. В лиловых вспышках Егоров на мгновение видел клубящийся туман, переплетенный толстыми веревками струй, и смутный блеск огромных луж. Их ноздреватая поверхность напоминала свежую лаву.

— Вот досада! — проворчал он, ложась на жесткую гостиничную кровать.

Некоторое время он просматривал толстый и зачитанный до дыр приключенческий альманах, брезгливо морщился, встречая сальные и винные пятна. Дойдя до очередной испачканной страницы, он отшвырнул книгу и вновь подошел к окну. Молнии все так же высвечивали из темноты пузырящуюся на стекле воду и блестящую черную реку асфальта.

Егоров так и не дождался конца ливня, заснул, а когда проснулся, было уже позднее утро, по стенам и потолку плясали яркие солнечные зайчики, отражаясь бесконечное число раз от всех лакированных, полированных и хромированных предметов.

Егоров потянулся, соскочил с постели и пружинящим шагом прошелся по приятно холодившему пластику пола. Он чувствовал себя хорошо и бодро, ему было беспричинно весело. Казалось, ночной ливень смыл с него усталость, горечь неудач и забот.

Ему захотелось немедленно что-то делать, энергично действовать. Егоров подумал, что в таком состоянии он легко мог бы пробить план исследований плато Акуан и даже организовать там работу. Но к сожалению, ни пробивать заявку на исследовательские работы, ни организовывать их уже было не нужно. Заявку отклонили за нереальностью месяц назад, а в его организаторские способности никто не верил. И вообще Егоров находился в недельном отпуске и должен был отдыхать, а не работать. Избыток энергии он употребил на тщательную чистку зубов, а хорошее настроение разрядил в популярной песенке «Пишу тебе я на Луну...». При первых же звуках его голоса дверь номера распахнулась, и вошла дежурная. Она осведомилась, кто здесь звал на помощь и почему для этой цели не пользуются звонком. Покрасневший Егоров объяснил, что на помощь никто не звал и что таковы его вокальные возможности. Дежурная подозрительно посмотрела на

него, и было видно, что она не верит ни единому его слову. Она заглянула под кровать и в открытый стеной шкаф. Возможно, она искала труп или связанное тело с кляпом во рту. Во всяком случае, Егорову так показалось. С большим трудом он выпроводил ее из номера.

На станции лучезарное настроение Егорова подверглось еще одному испытанию.

— Винтолет будет только после двенадцати, автолеты... — кассир на мгновение запнулся, — все.

— Что — все? — спросил Егоров с раздражением, разглядывая совершенно лысую голову этого сравнительно молодого человека.

Кассир поднял рыженькие бровки. В зеленых глазках мелькнула насмешка.

— Все, товарищ, — значит все, — сказал он, склонив голову набок. — Все билеты проданы, все места распределены, для вас ничего нет. Подождите, после двенадцати будет винтолет, он прихватит опаздывающих.

— Я здесь уже со вчерашнего вечера жду.

— Вы не один ждете. Другие тоже ждут.

— Мне каких-то паршивых сорок километров...

— А мы дальние расстояния не обслуживаем. У нас всем нужно не дальше ста километров.

Егоров почувствовал острое желание плюнуть на сверкающую лысину. Он проглотил слюну и, сжав зубы, отошел от окошка. Настроение было совершенно испорчено.

Егоров уныло окинул взглядом пассажиров. Яркое солнце, проникавшее сквозь стеклянные стены, приветливо освещало озабоченные лица мужчин, загорелых и обветренных, с большими, сильными руками, бровастых и щекастых женщин в хустках — платках, закрывавших лоб до самых глаз, детей, возившихся у ног родителей. Негромкий мелодичный говор, наполнявший зал, переливался всеми красками музыкальной украинской речи. Егоров сел и задумался. Ему больше нельзя терять ни одной минуты, а он должен сидеть и дожидаться этого клятого винтолета!

Среди присутствующих возникло какое-то движение. Казалось, в зал пустили ток, который побежал по креслам сидений, заставляя людей поворачивать головы в одном направлении. Сладкоголосые скептические «Та ну!», «Та що це вы!» оборвались, женщины и мужчины уставились на какую-то фигуру, возникшую в стеклянных вращающихся дверях; только дети ни на что не обращали внимания.

Егоров тоже посмотрел на дверь и увидел странного человека. Первое впечатление было неопределенным. Тревога и ощущение опасности охватили его.

Человек был дьявольски красив. Его красота была подобна вызову или удару кнутом. Все в нем было законченное, совершенное и в то же время невероятно экстравагантное.

Красота — это высшая гармония, многочашечные весы, все чашки которых старательно уравновешены природой. Оригинальность порождается удачным отклонением от равновесия. В незнакомце был именно тот миллиграмм уродства, который делал его красоту гениальной.

Человек, вероятно, привык находиться в скрещении взглядов. Он подошел к окошку кассы так, словно в зале никого не было. Он заглянул в окошечко, где плавала голая макушка зеленоглазого кассира, спросил с легким иностранным акцентом:

— Вам звонили только что про меня?

Макушка запрыгала, как поплавок в ветреный день, когда клев плохой и бесконечная рябь бежит по свинцово-серой воде. Егорову была видна тощая рука в веснушках, с рыжими волосками в том месте, где белый манжет плотно обхватывал запястье. Рука подобострастно взвилась и мягким движением опустила на барьер билеты.

Красавец кивнул головой и, сунув билеты в карман, направился к выходу. Кассир приподнялся над сиденьем и крикнул вслед: — Ваш автолет в третьем гараже! Справа, как выйдете...

Незнакомец, не оборачиваясь, снова кивнул.

Егоров подошел к кассе.

— Значит, у вас был свободный автолет? — спросил он нарочито спокойно.

Рыжебровый некоторое время строчил что-то в своих бумажках, потом медленно поднял голову. Он смотрел на Егорова удивленно и непонимающе. Он, конечно, не узнавал его.

— Какой автолет? — слабым, усталым голосом спросил он.

— Тот, что вы только что отдали этому иностранцу.

— А-а-а,— протянул кассир и углубился в накладные.

Егоров почувствовал, что желчь вышла из печени и, минуя камни, расставленные в желчном пузыре, поднялась к голове, застав поле зрения плотным коричневым туманом.

— Я с вами говорю! — гаркнул он, ударив кулаком по стойке.

Накладные и квитанции, наколотые на сверкающие бюрократические пики, баночки с клеем, чернильница из лунного камня — все, как один, подпрыгнули, испуганно звякнув, шлепнулись на стол. Баночка перевернулась, из нее выползла колбаска прозрачного желтоватого клея. Кассир, побледнев, вскричал:

— Вы за это ответите! — Он нажал кнопку.

Егорову пришлось еще долго размахивать руками, кричать, оправдываться, объясняться, усовещивать, призывать, угрожать и

льстить, пока наконец в девятом часу он смог выехать. Вместо быстрого мощного автолета ему пришлось сесть в допотопный автомобиль — прихоть судьбы, заброшенная в сарай начальника местной службы движения.

Мысленно установив генетическую связь между начальником, с одной стороны, и животными, преимущественно собачьего рода, — с другой, Егоров успокоился и начал осматривать окружающий мир. А он был прекрасен. Высокое голубое небо с мелкими полупрозрачными облачками было заполнено теплом и светом. Свежая, еще зеленая пшеница сверкала росой. Над степью разливался аромат здоровой, радостной жизни. Врывающийся в машину ветер эластичной прохладной струей теребил егоровские вихры, и ему казалось, что у него улетают волосы...

— Давненько я не бывал здесь, — растроганно шептал он, глядя на знакомые поля, черные ленты дорог, петлявшие вдоль густых лесополос.

— В Музыковку? — спросил шофер.

— Ага.

— К Нечипоренке?

Егоров посмотрел на парня. Чернявый веселый хлопчик. Его звали почему-то Реник, Рейнгольдс.

— К нему. А ты откуда знаешь?

— А что тут знать? К нему многие сейчас ездят... А вы не знаете, скоро он назад полетит?

— Полетит: Дай отдохнуть человеку, он же только что вернулся.

«Белка», легко катившая по бетонному шоссе, замедлила ход.

— В чем дело? — спросил Егоров.

— Да тут съезжать надо с бетонки. Поворот на Музыковку.

— Так в чем же дело? Валяй...

— Та дорога ж здесь у нас не дай господи! Когда сухо, она еще ничего, а после такого дождя...

Парень не договорил и свернул направо. Машина, сделав лихой поворот под мостом, выскочила на черную ленту проселочной дороги. Егоров с опаской посмотрел вперед. Он хорошо знал, что такое черноземный тракт после дождя.

Дорога была изрыта глубокими колеями. Рывины напоминали окопы. Грунт под колесами «Белки» расползался все больше и больше, пока машина наконец не села на живот, беспомощно разбрызгивая с колес большие черные куски.

— Есть, — сказал Реник и остановил мотор.

Они выбрались наружу. Егоров сразу же утонул по щиколотку в жирной, вязкой грязи. С проклятьем выдернул ногу из клейкой массы. На легкие летние туфли налипли пудовые комья дегтяр-

ного цвета, и Егорову показалось, что он надел ваденки. Ему стало даже немного страшно: вдруг земля начнет медленно распыляться под ним и засосет его в глубокую черную трясину. Пока он преодолевал силы сцепления, Реник, ловко орудуя совковой лопатой, расчистил путь.

Они двинулись дальше. Егоров, тихонько ругаясь, счищал грязь с изгибов и впадин подметок.

Они свернули на другую дорогу, ведущую прямо на Музыковку. Здесь не было глубоких ям, но зато весь верхний слой почвы превратился в некое подобие жидкого масла. «Белка» буксовала через каждые три шага. Мотор, переключенный на первую скорость, жалобно ревел, из выхлопных труб валил черный дым. Реник вылез и, пощупав радиатор, махнул рукой.

— Будем стоять, — сказал он, — пусть остынет.

Егоров привалился к багажнику и пускал голубой сигаретный дым вверх, в насмешливое чистое небо.

— Черт те что! — раздался рядом с ним голос Реника. — Луну освоили. Марс освоили, на Венере высадились, а дорога у нас по-прежнему ни к бису.

— Почему? — возразил Егоров. — Есть великолепные магистрали, по одной из них мы с тобой сейчас ехали. Разве не так?

— Так то же магистраль. А до Музыковки добираться тяжче, ніж до Марса.

— Вся беда в том, мой дорогой, — назидательно сказал Егоров, — что мы живем в переходный период. Автолеты еще не вошли в силу, а машины уже вышли из употребления. Когда наладят массовый выпуск автолетов, дороги как таковые будут не нужны. Останутся лишь большие автострады. А вся остальная мелочь, такая, как эта, будет перенахана и засеяна. Сохранят только «пятачки» для приземления автолетов. И то по традиции. Автолет может сесть в любом месте: на суше, на воде, в лесу, на болоте...

— Колы ж то будет... — с сомнением протянул Реник и полез в кабину. Он долго возился со стартером, переключал скорости и наконец решительно сказал: — Давай попробуем по стерне.

Машина свернула с дороги прямо на поле, покрытое редкой рыжей щетиной, оставшейся после прошлогоднего урожая. Здесь их ожидали чудеса. «Белка» шла то левым, то правым боком, ее несло с удивительной легкостью в самых произвольных направлениях. Поле было с небольшим уклоном, и машина скользила по нему, как шайба по льду. Реник, давно заглушивший мотор, изо всех сил упирался в тормозную педаль. Он с ужасом наблюдал, как они медленно приближаются к пересекавшему поле глубокому оврагу. Метрах в ста от обрыва «Белка», развернувшись задом, остановилась.

— Хай ему бис! — сказал Реник, вытирая пот с бледного лица. — Буду ждать вечера, може, подсохнет.

Они вышли из машины.

— Вон Музыковка, — сказал Реник, махнув рукой за овраг.

На зеленом холме, залитом солнцем, стояли одноэтажные и двухэтажные домики. Густые вишни и тополя бросали на белые стены призрачные фиолетовые тени.

Егоров попрощался с Реником и пошел вдоль оврага к деревянному мостику, через который проходила дорога на Музыковку. Ноги его постепенно обрастали грязью, и скоро он шагал, как на ходулях, покачиваясь и буксуя не хуже «Белки». Наконец он плюнул, разулся, закатал брюки и, зажав в одной руке грязные туфли, а в другой — папку с бумагами, зачмокал по земле. Чернозем жирными черными колбасками продавливался между пальцами ног.

... — Василий дома? — спрашивал он через полчаса, остановившись у дома, на котором развевался красный флаг.

Пожилая украинка зорким взглядом окинула гостя:

— А вы кто будете?

— Скажите, Егоров. Егоров Саша приехал.

Женщина крикнула что-то в окно, и через минуту на крыльцо выскочил высокий парень в майке, легких спортивных брюках и тапках на босу ногу. Черный чубчик весело дыбился над высоким лбом. Карие глаза сверкали приветливо и ласково.

— Сашок! Здравствуй, дорогой! Заходи, будь ласка... Ну и вид! Хлебнул нашего чернозема?

Они обнялись.

— Привет, марсианин, привет! — улыбаясь, говорил Егоров. — Не выдержала душенька? Сбежал до дому?

— Не выдержал, и не говори. Заехал с космодрома в академию, сдал документы — и здоровеньки булы! Они, правда, собирались меня пихнуть в какой-то санаторий, но я уговорил их, что дома у меня и санаторий, и профилакторий, и...

— ...Дивчина с бровями, гарными, як мисяц?

— Одним словом, стопроцентная многокомпонентная экологическая система, обеспечивающая космонавту самый высокий моральный и физический тонус. Проходи, пожалуйста.

Пока Егоров плескался под душем, Василий раз десять зашел и вышел, принося то полотенце, то особое мыло «Нептун», которое выдавалось только космонавтам, то, наконец, просто так — сказать что-нибудь веселое и хлопнуть Егорова по тощей спине.

— Я считаю, — говорил Егоров, наблюдая за черноземными ручьями, бегущими от его ног, — что украинская грязь недостаточно отражена в произведениях классиков литературы...

— ...И науки,— закончил Василий.

— Именно. Ведь воспеты же украинская ночь, могучий и широкий Днепр, украинские девчата и даже тополя. Почему же нет обширных исследований и звонких стихов о черноземном царстве темных сил, агрессивно действующих после дождя? Почему никто об этом не пишет?

— Мало того — по этому вопросу нет и достаточно компетентных научных монографий. А ведь какая благодатная тема пропадает для десятка кандидатских и двух-трех докторских диссертаций!

— Еще бы! — подхватил Егоров. — Грязь можно классифицировать по давности возникновения — застарелая грязь...

— По тяговому усилию, которое нужно применить, чтобы оторвать ногу от почвы.

— Легкая грязь — килограмм, тяжелая — полтонны...

— Цифры диссертанта, приведенные в части характеристики тяжелой грязи, по-видимому, несколько завышены. Наши опыты дают величины на порядок ниже, что, конечно, несколько не умаляет достоинства проделанной работы, и диссертант безусловно... — забубнил Василий, сгибаясь крючком над воображаемыми листками отзыва официального оппонента.

— ...Заслуживает присвоения ему звания кандидата грязноватых наук! — закончил Егоров.

Василий торжественно пожал ему руку.

— Будешь жить в мансарде вместе со мной, ладно? — сказал он. — Я бы дал тебе отдельную комнату, но у меня уже живет один гость. Сегодня прилетел.

— Кто? — спросил Егоров.

— Из партии Диснитов, он вместе со мной работал на Марсе.

— Вот как! А откуда он?

— Откуда-то из Америки.

Егоров поднял брови:

— Какого лешего ему от тебя нужно?

— Я потом тебе расскажу, — ответил Василий. — Идем, я представлю тебя моим домашним.

Домашних оказалось двое: мать, та самая пожилая украинка с зорким взглядом, и сестра Василия, молодая дивчина, высокая, с озорными карими глазами, очень похожая на брата. Пожимая руку Егорову, она улыбнулась и сказала:

— Вася много говорил о вас...

— Ну и как? — спросил Егоров.

— Так, ничего... — хитро прищурилась девушка.

— Оксана, не морочь Саше голову, лучше сбегай в магазин, — прервал ее Василий.

— А твой американец где? — спросил Егоров, когда они поднялись в комнату Василия.

— Спит, — ответил космонавт, потягиваясь. — Как приехал, так и завалился спать.

Егоров с завистью посмотрел на великолепное тело Василия. Богатырская сила и неодолимое здоровье чувствовались в каждом движении этого ладно скроенного парня.

— Поговорим? — спросил Егоров.

— После завтрака. Матери сейчас помочь надо по хозяйству. Все же они вдвоем с Оксаной, без мужчины трудно.

— Валий действуй. Если я понадобится, позови.

Василий спустился вниз. Оставшись один, Егоров огляделся. Большая комната производила странное впечатление. Судя по вещам и мебели, кто-то очень смело соединил в ней лабораторию, библиотеку, космический музей, гостиную и спальню. Впрочем, последняя была представлена только узкой кроватью, покрытой простым шерстяным одеялом. Над ней висело четыре фотографии Василия: в школе — маленький вихрастый озорник, напряженно глядящий в объектив, и три космических снимка, все почему-то сделанные на Луне. «Странно, ни одного с Марса, а он был там раз пять», — подумал Егоров.

Он погладил дорогие переплеты книг по космонавтике, занимавших целую стену, щелкнул по серому лунному камню, напоминавшему застывший гребень волны, улыбнулся модели навигационного пульта космического корабля. Он хорошо знал эту штуку. Василий сделал ее, еще когда они вместе учились в институте космической геологии. Потом подошел к широкой, в четыре створки, стеклянной двери, выходившей на балкон. Он распахнул ее и оказался в огромной галерее, открытой с трех сторон. Сверху, защищая от прямых солнечных лучей, натянулись полосы шелкового навеса.

Егоров увидел село в сочных темно-зеленых пятнах деревьев, уютные домики с белоснежными стенами, вышки с автолетами, сверкавшими на солнце яичными и пурпурными боками. Где-то кричал петух, мычала корова. Над Музыковкой стояло синее марево, обещавшее жаркий день.

Егоров глубоко вдыхал крепкий воздух, растворивший запахи трав и цветов. От яркого света и блеска у него слегка кружилась голова. Егоров думал, что сейчас в Москве он сидел бы в душной комнате, где много курят, и подсовывал бы «Большой Бете» бесконечные ряды цифр, извлеченных из данных георазведок Луны и Марса. И ждал бы и нервничал, пока умная машина не выдаст ответа, подтверждающего или отрицающего его догадку, его способность предсказывать. Потом будет вечер. Плавая в бассейне или

сидя за стойкой «Кратера», он попытается выгнать усталость из тела, из клеток мозга, ослабить натянувшиеся до предела нервы. А на другой день опять начнется все сначала. Иссущающая душу работа, обидные неудачи, просчеты и победы, ставшие обязательной нормой.

До его слуха донесся шум. Кто-то вошел в комнату. Егоров увидел в стекле отражение вошедшего.

— Василий! — раздался негромкий голос.

Что-то удержало Егорова, и он промолчал. Он узнал этого человека, стоявшего на пороге. Тот самый красавчик, который перехватил автолет на станции.

Егоров ясно видел лицо незнакомца. Оно было напряженным и внимательным. Не услышав ответа, незнакомец осторожно шагнул в комнату. Вернее, просочился, настолько мягким и бесшумным было это движение. Закрыл за собой дверь. Остановился посреди комнаты и огляделся, шаря взглядом по стенам:

— Василий!

Егоров хотел было выйти из своего укрытия, но тут вошел Нечипоренко.

— А-а! Анхело! — сказал он. — Отдохнул?

— О! Очень хорошо. Очень.

— Ну и ладно. Пойдем вниз.

Они вышли.

«Этот красавчик, — подумал Егоров, — очень несимпатичен». Егоров решил расспросить Василия о нем при первом удобном случае, но сделать этого до завтрака не удалось.

Нечипоренко с озабоченным видом показывался на секунду в дверях и моментально исчезал. В доме раздавались то старушечья воркотня, то звонкий голосок Оксаны:

— Василь, поди сюда! Василь! Дэ ты, Василь?

Василий послушно тонал по теплomu янтарному паркету на призывы домочадцев.

За завтраком появился новый гость — дед с усами. Звали его Павич. Он был самодоволен, торжествен и хвастлив.

— За нашего дорогого земляка, усёсветно известного космонавта Нечипоренку! — провозгласил Павич, поднимая рюмку. Выпив, он крякнул и вытер усы.

Затем дед в популярной форме объяснил присутствующим заслуги Василия перед Родиной и человечеством. Василий морщился, но деда не прерывал.

— Та хватит тобі, диду, — вмешалась мать Василия, Ольга Пантелеевна, — мы газеты тоже читаем.

— Ничого, Ольга, ничого. У нас на цилу область один космонавт. Звидки! З нашего колхозу. Отэ диво требуется отпразнувать.

— Ну и празнуй на здоровье. А не разказуй нам то, шо усим давно известно.

Егоров искося наблюдал за американцем. Анхело Тенд с безучастным видом глотал румяные картофелины. Он казался еще ослепительнее, чем утром на станции. По матовой белой коже струились волны нежнейшего абрикосового румянца. Огромные черные глаза смотрели строго, чуть грустно. На Оксану он производил завораживающее впечатление. Девушка сидела, не отрывая глаз от тарелки. Когда к ней обращались, она вздрагивала. Куда девалась ее хитрая усмешка!.. Егоров с некоторым сожалением отметил напряженное состояние девушки и даже сформулировал про себя подобие мысли, начинающееся словами: «Все вы, женщины...»

— Шо там тая слава! — сердито сказала Ольга Пантелеевна, ее лицо сейчас было печальным. — Було б здоровье. А то вон Гриша Рогожин, Васин товарищ...

— Мама!

— Та я молчу. Только скажу тебе, Вася, как ты кверху поднимаешься, в свой космос, мое сердце падает.

— Дело известное — материнское, — изрек Павич, закусывая жареным лещом.

— Если б отец был жив, и ему от Васиных полетов седины бы прибавилось.

— Надо, мать, надо, — твердо сказал Василий.

— А я что? Надо так надо. Только почему б тебе не отдохнуть? Съездил бы за границу, мир посмотрел.

— Шо ему за граница? — хитро подмигнул Павич. — У него в Музыковке прочный якорь брошен.

— Хорош якорь! — Ольга Пантелеевна, собрав посуду, сердито выплыла из столовой.

— Шо, Василий Иванович, не одобряет мамаша ваш выбор, а? — Павич расхохотался и обмакнул картофелину в сметану.

Егоров видел, что Василию неприятен этот разговор. Он обратился к Оксане:

— Ну а вы, Оксана, на Марс не собираетесь?

— Очень нужно, — вспыхнула девушка, — к вашим букашкам!

— Эти букашки поумнее всех нас, — заметил Василий.

— Хоть бы и так. Но они ж уже все перемерли.

— А что, Васятка? — весело завертелся дед. — Чем на Марс летать, сходил бы в наш муравейник...

— И то правильно, — одобрительно заметила возвратившаяся Ольга Пантелеевна. — Дохлых муравьев и на земле достаточно. Анхело Тенд положил вилку:

— Между марсианином и муравьем такое же сходство, как

между человеком и котенком. На Марсе развилась великая цивилизация, до уровня которой человечеству не дойти и за десять тысяч лет. И марсиане не вымерли.

Он строго посмотрел на Оксану. Глаза его горели неистовым пламенем какой-то мрачной веры.

— А что же? — робко спросила девушка.

— Они ушли в Айю.

Все помолчали.

— А шо це таке? — насмешливо спросил Павич.

— Мы не знаем, — ответил за Анхело Василий. — Мы многого не понимаем в цивилизации марсиан. Они не знали звуковой связи, логические основы их мышления качественно отличны от нашего, эволюция протекала у них совсем иначе. Ни способы производства, ни пути развития их общества для нас пока неясны.

— Если мы когда-нибудь сможем разобраться в тех штуках, которые вы открыли на Марсе, наше общество получит колоссальный толчок вперед, — заметил Егоров.

Анхело впервые посмотрел прямо в лицо Егорову.

«Какое жуткое ощущение! Он как будто высасывает что-то из меня», — подумал геолог, невольно опуская глаза.

— Да, вы очень правы, — сказал Тенд. В его голосе было что-то металлическое.

«Не хватает обертон», — подумал Егоров.

— Ну, все это подарки для Академии наук, — сказал Павич. — А вот для людей там немає ничего такого, щоб руками пощупать, такого, щоб... — дед повертел толстыми корявыми пальцами, затрудняясь высказать свою мысль.

— Щоб за пазуху та до дому? — улыбнулся Василий.

— Ну да... та ни... ну шо ты, хлопче! Ну, як руда або металл який-нибудь.

— Как же, как же, — весело заметила Ольга Пантелеевна, — у Васи полна комната камней.

Василий расхохотался.

— Мама, ты не права, — лукаво заметила Оксана. — А зеркало?

— Какое зеркало? — спросил Егоров.

— Вася привез мне в подарок зеркало с Марса.

— Зеркало марсианки, — насмешливо сказала Ольга Пантелеевна. — Даже повесить не за что.

— Зато не пылится, — заметил Василий.

Анхело посмотрел на Оксану. Он, казалось, видел ее впервые.

— И как вам в него смотреть? — спросил он.

— Очень хорошо, — улыбнулась девушка.

— А теперь выпьем за матушку-Землю, — торжественно про-

возгласил Павич.— Она нас породила, обогрела и в космос направила.

После завтрака Василий сказал Егорову:

— Пойдем отнесем твоё ложе наверх.

— А где оно?

— У Оксаны в комнате.

Он обратился к сестре, оживленно беседовавшей с Анхело:

— Оксана, мы из твоей комнаты топчан возьмем, ладно?

— Пожалуйста, бери,— сказала девушка, не поворачивая головы.

Комната Оксаны была чистой и просторной. Тонкий аромат полевых цветов нежно щекотал ноздри.

— Вот он, под окном,— сказала вошедшая за ними Оксана.— Только я не завидую вам, Саша. Он твердый, как сухая глина.

— Ладно. Геологу не привыкать.

Внезапно Егоров увидел зеркало с Марса, оно стояло на стуле, прислоненное к спинке. Сверху Оксана накинула на него рушник.

— Это оно? — Егоров подошел к зеркалу.

Плоскость полуметрового эллипса, заключенного в толстый золотисто-серый обод, отразила в темной глубине настороженные серые глаза молодого человека. Зеркало не искажало ни одной линии его лица, придавая отражению легкий голубоватый отсвет. У Егорова осталось впечатление, что он смотрит сквозь толстый слой голубой воды.

Василий, тоже смотревший в зеркало, неожиданно сказал:

— Слушай, сестра, одолжи-ка нам эту штуку на время, а? Нам обоим надо бриться по утрам, а у меня только одно маленькое походное осталось.

— Берите. Оно, кстати, двустороннее. Повесьте посреди комнаты и брейтесь сразу вдвоем.

— Так и сделаем.

Они перенесли топчан наверх, прихватив с собой и зеркало.

— Я буду спать на балконе,— сказал Егоров.

— Добро,— согласился Василий.

Топчан установили под навесом. Лежа на нем, Егоров мог видеть всю Музыковку и синие дали степей. Обмотали края золотистого обода изоляционной лентой, конец ленты подвязали к рейке, на которой был натянут шелковый навес. Зеркало покачивалось и блистало на солнце, как прожектор.

— А оно тяжелое,— заметил Егоров, оценивая взглядом результаты их трудов.

— Очень. И непонятно почему. Состав, правда, неизвестен...

— А оно не представляет собой какой-либо научной ценности?

— Что ты! — Василий махнул рукой.— В Академию наук пере-

дано около двух тысяч таких зеркал. Все химики мира бьются над их химической структурой.

Они перешли в кабинет Василия, так как на балконе уже стало жарко.

— Вообще у марсиан была странная склонность к эллиптическим формам,— сказал Нечипоренко, когда они сели в глубокие прохладные кресла.— Таких зеркал у них десятки тысяч, в городах они играют роль отражателей света... Многие строения на Марсе имеют эллиптические формы...

Василий замолчал. Перед его глазами возник образ Большой Марсианской столицы. Он тряхнул головой, словно сбрасывая с себя какое-то наваждение.

— Ну ладно,— сказал он,— обо мне потом. Да ты, наверное, все знаешь из отчетов, поступающих в ваш институт. Как тебе в нем работается?

Егоров подумал:

— Что я могу сказать? Чтоб да, так нет, как говорят в Одессе. Когда после окончания института я не попал в космос из-за болезни печени... Ну, да ты помнишь. Конечно, хорошо еще, что я геолог, а не навигатор, как ты. В этом случае мне совсем была бы крышка. И все же от космоса я не мог отказаться. Поступил в этот институт. Работал. Изучал данные, собранные на Марсе, и вот открыл плато Акуан. Сейчас лелею надежду, что удастся провести там кое-какие исследования.

— Официально? И не надейся,— заметил Василий.— Условия там ужасные. Мы вшестером раскапывали Большую столицу. Представляешь? В ней жило когда-то около миллиарда марсиан, она уходит в землю на триста-четыре метра, а протяженность ее до сих пор не установлена. Два месяца, не снимая скафандра, ползали мы по этим проклятым муравьиным переходам. Отрабатываешь смену, потом еле к «Москве» доползешь. Вот так-то, брат. Расскажи-ка лучше о своем плато.

Егоров почесал подбородок. Посмотрел в потолок и начал рассказывать:

— Помнишь, какая была сенсация, когда на Марсе обнаружили органометаллические структуры, не известные доселе на Земле? В лаборатории их получить не удалось, сколько ни бились. На Марсе они сосредоточены в одном месте, причем в огромных количествах. Я назвал это место «плато Акуан». Потом удалось доказать искусственное происхождение структур. А что это значит, как ты думаешь?

— Ну, отходы неизвестных термоядерных реакций...— неуверенно сказал Василий.

— Правильно. Отходы. Это очень важно. Марсиане, построив-

шие всю свою цивилизацию в почве, использовали поверхность Марса так же, как мы в свое время верхние слои атмосферы или дно океана. Они выбрасывали на поверхность различный мусор. Собственно, по таким признакам были открыты и Большая подземная столица, и вся разветвленная сеть их городов.

— Следовательно, под плато Акуан скрывается термоядерный энергетический центр, который до сих пор никто не может отыскать?

— Совершенно верно. И если этот центр будет найден, то, думаю, и для нашей земной энергетики там можно будет кое-что позаимствовать. Особенно учитывая уровень марсианской техники. Понимаешь?

— Дело интересное и важное. Впрочем, найти — это еще не все. Нужно понять, как это у них сделано. Вот мы обнаружили первую внеземную цивилизацию. А что толку? Ну ладно... Что говорят твои шефы?

— Во-первых, плато огромное. Во-вторых, центр может оказаться не под плато, а где-то рядом. Получаются слишком большие затраты. А в-третьих, легче изучать и вывозить уже открытые объекты, чем искать новые. В общем, это, дескать, дело завтрашнего дня.

— Да, ситуация трудная, — задумчиво сказал Василий. — Поискать там стоит. Но, понимаешь, без официального разрешения... Риск большой. Сейчас у нас по инструкции четырехкратная страховка... И то... — он замолк. — Понимаешь, Саша, — наконец с трудом произнес Нечипоренко, — Марс — очень странная планета. Я хорошо знаю нашу Луну, участвовал в высадке на Венере, хлебнул там газку, но все это не то. Совсем не то. И на Луне, и на Венере грозная природа, дикая стихия и все такое, но там не страшно. А на Марсе бывает очень страшно. Понимаешь?

Егоров смотрел на него с удивлением.

— Да, да, — сказал Василий. — Об этом не пишут и даже не любят рассказывать, но тем не менее это так.

Он снова замолчал.

— Марс — удивительно спокойная планета. Малорасчлененный рельеф. Глубоко в почве скрылись гигантские города. Мертвые города. Ни одного марсианина не осталось, найдены только миллиарды страных сухих оболочек. Не то хитиновый покров насекомых, не то какая-то одежда. Перед отправкой в Айю они или покинули эти оболочки, или... Здесь начинается область сплошных загадок. До сих пор ничего, собственно, не удалось установить наверняка. Маленькие марсиане возводили под землей циклопические сооружения, где человек чувствует себя лилипутом. Для чего созданы эти сооружения, можно только гадать. Там очень трудно

работать, Саша. Тебя все время преследует ощущение, будто на этой мертвой планете кто-то есть.

— Ну, это ты брось... — протянул Егоров.

— Да, да, именно, не улыбайся. Все время чувствуешь, что за спиной стоит кто-то живой, наблюдающий и оценивающий тебя. И... ждущий. Я не знаю ничего страшнее этого марсианского ожидания. Там тебя постоянно что-то ждет. Это очень неприятное чувство.

— Еще бы!

— Теперь возьми хотя бы наши жалкие потуги расшифровать непонятную зрительно-осязательную информацию, которая записана на кристаллах Красного купола. Единственный интересный вывод, полученный нами, — это что марсиане собираются уходить в Айю. Что такое Айя? Как туда переправились два миллиона марсиан? Непонятно. А кто ответит, почему вся информация относится только к последнему десятилетию марсианской цивилизации? Где их архивы? Были ли у них библиотеки? Одним словом, миллион загадок.

— Я не понимаю, что тебя смущает. Требуется определенное время на изучение этого сложного и очень непохожего на нас разумного общества.

— Дело не во времени, Саша. Я подозреваю, что многого мы так и не поймем.

— Детали, может быть. Детали всегда своеобразны и неуловимы. Но в целом общее направление мы вполне можем понять.

— И общее не поймем. Мне говорили, что Дисниты — они занимались расшифровкой кристаллов Восточного сектора Красного купола — пришли к интересному выводу. Они утверждают, что мышление марсиан как бы обратно нашему, земному. У нас движение является свойством материи, у них материя — свойством движения, его проявлением.

— Ловлю тебя на слове, — сказал Егоров. — Для того чтобы сделать подобное заключение о характере марсианского мышления, нужно располагать колоссальным запасом информации. Это же философское обобщение.

— Нет. Дисниты располагали тем же, что и мы. Наши находки дублируют друг друга. Но... им больше везет. Видишь ли, Саша, у меня такое чувство...

Он задумался. Мысленно он видел узкий глубокий колодец, по которому лифт спускает космогеологов в Большую столицу, бесконечный лабиринт переходов, где пробираешься только ползком, и Красный купол — огромную искусственную пещеру с овальным потолком, залитую багряным светом. И его вновь охватило знакомое чувство тревожного ожидания.

— У меня такое чувство, Саша,— продолжал Василий,— что нашими находками и открытиями на Марсе кто-то руководит.

— Конечно. Академия наук, Совет по...

— Нет,— перебил Василий,— не то... Я не о наших...

Егоров, казалось, не понял друга, отвернулся и стал смотреть на балкон.

— Да,— сказал Василий,— кто-то нами руководит. Подсовывает одно, прячет до поры до времени другое,— одним словом, контролирует. Ну посуди сам. Марсиане ушли в Айю около пяти миллионов лет назад. На Земле в это время еще не было человека. А марсианские города сохранились как новенькие, там все блестит. Это противоестественно, понимаешь? Есть второй закон термодинамики, есть энтропия, которая растет... Да за пять миллионов лет там должен был воцариться хаос! А хаоса нет. Есть строгий порядок.

— К чему ты ведешь?

Василий молча наклонился к Егорову. Тот с испугом смотрел в его серьезные черные глаза. «Уж не свихнулся ли он там, на своем Марсе?» — мелькнула мысль.

— Они вернутся.

Егоров принужденно расхохотался:

— Здорово! Хозяин вышел на минутку и просит гостей подождать?

— Совсем нет. Хозяин просто не может или не хочет вернуться.

— Может, они улетели из солнечной системы в эту Айю?

— Черт его знает, что это за Айя,— задумчиво сказал Василий.— Порой я даже готов согласиться с академиком Перовым. Он исследовал панцири и считает, что подобный переход является чисто физиологическим процессом. Айя — это смерть. А может, что-то вроде того света. Перейдя в Айю, получаешь шанс на бессмертие...

— Это уже твой собственный домysel?

— Нет, так Дисниты придумали. Кстати, этот Анхело Тенд — неплохой парень, между прочим,— работал с ними до нашего прилета. Дисниты уже собирались отлетать, как вдруг обнаружили, что Тенд исчез. Туда, сюда — нет Анхело. Они улетели. А через месяц мы нашли Тенда в одной из галерей Красного купола. Он был жив и здоров, но не мог ответить ни на один вопрос. Что с ним случилось, где он был, что ел, пил — не помнит. Пришлось его обучать всему заново, рассказывать, кто он такой, где жил, что есть Земля и люди. Долго так продолжалось. Но однажды он вспомнил... почти все.

Слова Нечипоренко были прерваны высоким, рвущим воздух звуком. Пронзительный вой столбом поднялся к небу. Друзья вы-

бежали на балкон. Вверху на темно-синей глади выводил прерывистую снежную роспись реактивный самолет.

— Какая-то новая модель, — Егоров прикрыл глаза ладонью.

Звук оборвался так же внезапно, как и начался. Самолет утонул в глубине небесной чаши.

— Ну и ревушка! — покачал головой Василий. — До земли доходит ослабленный звук. Представляешь, каково летчикам?

— Там изоляция.

— Так о чем я говорил? — спросил Василий.

— Об Анхело.

— Ах да! Ну вот, собственно, и все. Вернулись мы с Марса. Анхело побывал дома, что-то ему там не понравилось. Он ведь испанец, из Венесуэлы... Теперь решил остаться у нас. И вот это зеркало, что я Оксане приволок, — продолжал Василий, — это памятный подарок Гришки Рогожина, который погиб.

— Как! — вскочил Егоров. — Григорий погиб?

— Погиб, и самым таинственным образом. Он работал в одной из «комнаток», которых там, в Красном куполе, тьма, а этажом выше работали наши взрывники. Взрыв они произвели крошечный, но все же кое-какое сотрясение было. Слышим вскрик. Прибежали к Гришке. Лежит с разбитой головой. Скафандр снят, лицо разможено. Сама же «комната», где работал Гриша, осталась совершенно целой. Так, с потолка немного пыли осыпалось да кусочки облицовки размером с мой ноготь лежали на полу. Что могло нанести удар такой страшной силы, мы так, конечно, и не узнали. Что-то там болтали о многократном усилении взрывной волны, о направленных ударных воздействиях — чепуха все это. И какая досада! Как раз в этот день Гриша сделал великолепную находку. Он нашел труп марсианина. Это было потрясающим открытием. Мы пять лет на Марсе и ничего, кроме пустых оболочек, не находили. Миллиарды рачьих скорлупок! Об истинном облике марсианина мы могли только гадать. Гришку на руках носили, когда он приволок под мышкой этот прекрасно засушенный экспонат. Мы положили его в титановый контейнер и отправили наверх, а через четыре часа отправили наверх Гришу. А зеркало я оставил себе.

— Какое зеркало? — спросил Егоров.

— Вот это самое, — Василий указал на зеркало с Марса, которое слегка покачивалось под порывами теплого ветра. — Мертвый марсианин лежал в двух шагах от него, и Григорий снял зеркало. Потом я взял зеркало на память.

Егоров внимательно и печально посмотрел на сверкающий овал.

— Тоже ведь загадка, — протянул Василий. — Зачем марсианам эти зеркала, совершенно одинаковые и в огромном количестве? В каждом городе их сотни...

Вдруг лицо его изменилось. Взгляд впился в зеркало.

— Оно не отражает! — прошептал Василий.

Егоров посмотрел на зеркало. На первый взгляд оно действительно ничего не отражало. Поверхность его была ровной и матовой. Такого же золотисто-серого цвета, как обод. Они одновременно бросились к зеркалу и увидели в нем свои взволнованные физиономии.

— Фу, глупость! — заметил Егоров. — Анизотропное изображение всего-навсего. Ты меня так напугал своими рассказами о Марсе, что я скоро от любого марсианского камня стану шараться.

— И правильно сделаешь, — задумчиво сказал Василий, — потому что ни одно из марсианских зеркал, с которыми я имел дело, не обладает такими удивительными, вернее, даже странными свойствами. И это тоже... не обладало, пока я его держал в чемодане.

— Вероятно, на него благотворно подействовал мой приезд.

— Возможно... Ну ладно, — сказал Василий. — Подводя итоги, плато Акуан исследовать надо.

— Эх, если б меня взяли в космос! — махнул рукой Егоров.

— Не тужи, братец, — заметил Василий, — вот создадут антигравитатор, полетишь и ты со своей больной печенкой...

Василий ушел, и Егоров подошел к зеркалу. Он представил себе, как тысячи марсиан смотрелись в эту блестящую поверхность, и ему стало не по себе. Зеркало равнодушно отражало его некрасивое лицо, красные крыши домов, поле и электротрактор, который жужжал далеко, на краю большого зеленого поля. Егорову показалось, что на блестящем материале возник какой-то едва заметный белый налет. Он прикоснулся к нему — и вздрогнул от неожиданности. Поверхность зеркала была мягкой! Он взял спичку и попытался сквырнуть налет. По отражению зеленого поля прошла неглубокая бороздка. Егоров был удивлен. Он посмотрел на кончик спички. Постепенно след на зеркале стал зарастать и минут через пять совсем исчез.

— Интересно, — промычал Егоров сквозь зубы и придвинул кресло поближе.

— Саша! Саша! — услышал он громкий голос Нечипоренко.

Егоров посмотрел вниз и увидел, что Василий стоит у ворот и размахивает газетой. Лицо космонавта исказилось в болезненной гримасе.

— Прыгай ко мне! — крикнул он.

Егоров прыгнул на влажную упругую землю. Освещенное ярким летним солнцем лицо Василия было мрачным и серьезным.

— Читай, — сказал он, указывая на вторую полосу.

— «Нам сообщают... — бормотал Егоров, скользя взглядом по

мелкому шрифту,— вчера в Бостоне были обнаружены тела... братья-космологи Альфред, Уильям, Колдер и Джеймс Дисни... убийца не найден... загадочная смерть без каких-либо признаков токсического или физического воздействия... Ученые-эксперты в растерянности...» Что это значит? — обратился он к Василию.

— Читай до конца, — сердито сказал Нечипоренко.

— «Смерть известных исследователей Марса связывается с заявлением, сделанным ими несколько дней назад, что в Большой Марсианской столице якобы найдены архив и ключ к нему, дающий возможность воссоздать пресловутую дверь в Айю. Эта находка неизмеримо увеличит мощь людей, сообщил корреспонденту «Таймс» Колдер Дисни».

Они молча посмотрели друг на друга.

— Вот он, Марс! — взволнованно сказал космонавт. — Он и на Землю протягивает свои лапы. Не хотят марсиане открыть свои тайны.

Егоров молчал, но сообщение его тоже встревожило. Он почему-то подумал, что Анхело только недавно вернулся из Америки и, вероятно, знает о гибели Диснитов.

— Не исключен вариант, что в один прекрасный день будет найдено тело Василия Нечипоренки без следов какого-либо физического, химического или психического воздействия, — неожиданно сказал космонавт, разглядывая нарциссы, окаймлявшие клумбу перед домом.

Егоров посмотрел на отпечаток своей ноги на краю клумбы и сказал:

— А что говорит по этому поводу твой Анхело?

— Он еще не знает. Сейчас я его позову.

Василий вошел в дом и через минуту вышел с Тендом.

Ни волнение, ни сочувствие, ни жалость — ничто не отражалось на прекрасном лице Анхело. «Он продумывает линию поведения», — подумал неожиданно Егоров.

— Какое печальное известие. Я их очень уважал, — сказал Тенд.

Лицо его оставалось неподвижным. «Может, у него просто такая мимика или, вернее, полное отсутствие всякой мимики?» — подумал Егоров.

Они сели на лавочку возле ворот. Оксана срезала нарциссы.

— Самое примечательное, что гибнут люди, работавшие в Красном куполе. Рогожин, Дисниты... Кто следующий?

— Я, — неожиданно сказал Анхело и улыбнулся.

Егоров впервые видел, как улыбается Тенд: глаза оставались мертвенно-спокойными, а рот корчился в судороге смеха.

— Почему ты так думаешь? — спросил Василий.

— Если следовать теории, что марсиане прячут от нас свои тайны, то следующим должен быть я. Дисниты разобрали архив — и погибли. Гриша нашел мумию — и погиб. А я... Перед тем как я... как у меня наступил тот провал в памяти... я тоже видел комнату, где нашли Рогожина. Там были и высохший марсианин, и зеркало, и еще много маленьких крестиков на стенах, на потолке...

— Каких крестиков?

— Откуда я знаю? Я пришел туда с фонарем, а он у меня испортился. Тогда я взял два конца батареи и через графитодержатель сделал маленькую вольтову дугу. Я увидел на полу этого марсианина, зеркало и какие-то искорки на стене и на потолке, похожие на крестики. И тут моя дуга вспыхнула очень ярко: наверно, я сильно сблизил электроды.

Говорил Анхело как-то нехотя, словно что-то удерживало его.

— Ну и что? — с нетерпением спросил Егоров.

— Раздался шум. Очень большой шум, как ревет самолет на взлете. Дуга погасла, и шум смолк. Я выбрался из этой комнаты и немного заблудился в переходах. По моему подсчету, прошло часа два. А когда я встретил своих людей, Вася, они сказали, что я пропал месяц назад и что группа Колдера уже закончила работу и улетела на Землю.

Они надолго замолчали. Оксана, проходя мимо, бросила им на колени по цветку.

— А ваши данные... а вы потом были в этой комнате? — спросил Егоров у Тенда.

— Конечно. Никаких крестиков я не обнаружил.

— Ну ладно, братцы, — сказал Василий, вставая, — я должен идти. Марсианскими делами на Земле слишком увлекаться не стоит. Меня ждет один человек...

Егоров вернулся на балкон. Оксана и Анхело остались в садике и тихо о чем-то беседовали. Егоров лег на топчан и, наклонив зеркало к себе, стал разглядывать Оксану. Ему показалось, что Анхело как-то уж очень близко приник к ее уху. Егоров бросил в зеркало нарцисс. Он и сам не мог понять, зачем это сделал.

Сзади раздался крик. Изумленный Егоров выпустил зеркало из рук и обернулся: Анхело и Оксана слетели со скамейки и упали навзничь прямо в цветы. Они довольно неуклюже барахтались, пытаясь подняться. Егоров прыгнул с балкона.

«Второй прыжок за одно утро. Такой способ сообщения становится регулярным», — подумал он, помогая девушке и испанцу встать на ноги.

— Что случилось? — спросил Егоров.

Лицо Оксаны было смущенным и растерянным. На щеке багро-

вела ссадина. Егоров почувствовал острый, неприятный запах в воздухе.

— Нас что-то толкнуло, — подумав, ответил Анхело, — будто облако упало. Облако запаха. И сейчас же исчезло.

— Нет, не облако, а будто потолок, потолок с лепкой упал на нас и... этот странный запах... он напоминает отбросы, какую-то гниль, — сказала Оксана.

— Не ушиблись? — спросил Егоров.

Она покачала головой. Егоров оглядывался по сторонам. Ничего примечательного, кроме испорченной клумбы с цветами, он не увидел.

Запах постепенно исчезал. Вначале резкий, отвратительный до тошноты, он слабел, делался нежнее. «Уменьшается концентрация», — подумал Егоров. Он знал, что даже самые лучшие духи в большой концентрации обладают мерзким запахом. Вдыхая нежный, едва уловимый аромат, он силился вспомнить его источник. «Нарциссы!» — внезапно озарило его.

Он посмотрел на балкон. Смутная догадка промелькнула в его сознании. Егоров взглянул на Анхело и увидел, что испанец тоже смотрит на балкон, на необыкновенное зеркало. Егорова поразило выражение лица молодого ученого: так смотрят на предмет долгого, тщательно скрываемого вожделения.

— Разве зеркало не у тебя? — отрывисто спросил Тенд у Оксаны.

— Зеркало? Какое зеркало? Ах, это! Я отдала его Саше и Васе, — спокойно и чуть удивленно ответила девушка. Она тоже заметила волнение Тенда.

«Что-то здесь неладное», — подумал Егоров.

Его отвлек шум, послышавшийся за воротами.

Во двор вошла Ольга Пантелеевна с Павичем. Она была в резиновых сапогах и кожаной куртке. Ольга Пантелеевна сердито говорила Павичу:

— А я тоби кажу, шо вин був пьяный. Разумиешь? Пьяный!

Павич держал в одной руке старый, обшарпанный портфель с металлическим замком посредине, в другой — обломок грубо обструганного деревянного бруса длиной в метр.

— Це ж вещественное доказательство, Оля, — сказал Павич, помахивая брусом.

— Что случилось, мамо? — спросила Оксана, подходя к ним.

Преодолев барьер из многочисленных отступлений и восклицаний, Оксана и Егоров выяснили суть дела. Ольга Пантелеевна, обходя с Павичем поля, обнаружила глубокую борозду, проходившую через участок озимой пшеницы. Поломанные стебли и развороченная земля привели их к трактористу Коцюбенко, который,

сидя возле своей машины, с изумлением вглядывался в канаву, разрезающую скатерть зеленого поля. На вопросы Ольги Пантелеевны и Павича тракторист понес окоlesiцу. Он утверждал, что с неба упала огромная дубина и сама прошла по полю, оставив рытвину. Брусок в руках Павича — кусочек этой дубины.

Вначале вырытая траншея, утверждал Коцюбенко, была глубокая — метра на три. Но потом она стала уменьшаться, вроде бы зарастать, стебли пшеницы распрямились, и к моменту появления Ольги Пантелеевны и Павича через поле проходила уже только небольшая бороздка, которую те приняли за тракторный след. Поступок пьяного тракториста — а он был действительно пьян — вызвал горячее негодование у Ольги Пантелеевны.

Егоров задумался. Потом он заметил, что Анхело с ними нет. Очевидно, он незаметно удалился.

Еще открывая дверь в кабинет Василия, Егоров знал, что встретит там испанца. Но в комнате никого не было. Егоров вышел на балкон. Тенд стоял спиной к Егорову, приставив к золотисто-серому ободу зеркала тонкий черный стержень. Другой конец стержня Анхело приставил к уху. Создавалось впечатление, будто испанец выслушивает больного. Низкое гудение расплывалось в майском воздухе.

— Анхело! — позвал Егоров.

Тенд отскочил от зеркала словно ужаленный. Он посмотрел Егорову в глаза. Это был страшный, беспощадный взгляд...

Оксана, зайдя в кабинет Василия, услышала слабый стон. Он доносился из-за стеклянной двери балкона. Девушка выбежала и увидела Егорова на полу, за ящиками для цветов и рассады. Оксана помогла ему перебраться на топчан. Через несколько минут Егоров открыл глаза.

— Он ушел?

— Кто — он?

Егоров промолчал. Он смотрел на девушку устало и отчужденно.

— Что с вами? — волнуясь, спросила Оксана. — Может, вызвать врача?

— Врача? — спросил Егоров. — Врача не надо, я совершенно здоров. Это солнце. Я давно не был так много на солнце.

Он внимательно разглядывал свои руки.

— Оксана, вы больше всех, пожалуй, за исключением Васи, разговаривали с Анхело. Как он вам показался?

Девушка чуть-чуть покраснела:

— Не знаю, он красивый...

— И только?

— По-моему, он очень холодный человек и непонятный.

Егоров неожиданно улыбнулся и сел на топчан:

— Вы верно чувствуете, Оксана... Вот что, Оксана, мне срочно нужен Василий. Где он?

— Он катает Валю на своем автолете. Вот если б вы сегодня утром догадались позвонить, не пришлось бы вам тащиться по грязи на «Белке».

— Откуда ж я мог знать, что у Василия есть личный автолет? А там у него случайно нет телефона?

— Есть. Да стоит ли мешать? Им и без того трудно. Мама не одобряет Валю. Ей кажется, что Васиной женой должна быть другая девушка.

— Какая? С Марса?

— Нет, но что-то в этом роде, — Оксана засмеялась.

Егоров минуту подумал:

— Оксана, голубушка, мне срочно, до зарезу нужен Василий. Как ему позвонить?

— Да вон они! — Оксана махнула рукой на горизонт.

— Где? Где? — Егоров силился разглядеть блестящую точку над полем.

— У вас глаза от солнца болят, — заметила Оксана и, повернув Егорова за плечи, сказала: — Смотрите в зеркало. Они здесь тоже видны. Вот видите светлое пятнышко?

— Где?

— Да вот же, господи! — Оксана ткнула пальцем в зеркало.

— Осторожно! — хотел остановить ее Егоров.

Но было поздно. Загорелая подушечка пальца слегка коснулась зеркала там, где виднелось пятнышко автолета. Оксана побледнела и отдернула палец.

— Ай! — вскрикнула она, взмахивая рукой. На коже выступила капля крови, палец был слегка ободран.

— Скорей машину, скорей! — заторопился Егоров. — С ними случилось несчастье!

Он прыгнул с балкона. «Сегодня этим нарциссам досталось в третий раз...» — машинально подумал он.

— Оксана! — крикнул он, повернувшись к балкону. — Закройте зеркало покрывалом, и чтоб никто и ничто не касалось его поверхности!

Девушка, сунув палец в рот, с удивлением наблюдала за суетливыми движениями Егорова, вскочившего на мотоцикл. Тревога геолога передалась и ей. Она посмотрела на горизонт. Автолета Василия не было.

Когда Егоров, подпрыгивая на комьях сухой земли, подъехал к месту катастрофы, там уже стояла машина. Падение автолета заметил местный агроном. Он только что вышел из автомобиля и, раскачиваясь, шагал по полю. Егоров догнал его, и они пошли вместе.

Через несколько шагов они остановились. Автолет лежал на свежеспаханной земле. Радиатор и верх прозрачного кузова оказались под полосами грязно-желтой ткани, на которой бордовыми пятнами застывала кровь. Бока и стекла автолета были усеяны мелкими красными брызгами. Преодолевая ужас, Егоров бросился к машине и распахнул дверцы.

Василий, сидевший у пульта, свалился к его ногам. Вдвоем с агрономом они вынесли тело космонавта, ставшее необыкновенно тяжелым, и положили на черную землю. Вынесли из автолета и высокую бледную девушку, голубые глаза ее были слегка приоткрыты.

Агроном распахнул воротник и прижал ухо к груди космонавта. «Прав ты был, Вася, — думал Егоров, разглядывая бледное лицо друга. — У Марса руки длинные...»

— Бьется! — радостно воскликнул агроном.

Он стал на колени у изголовья Василия и сделал несколько ритмичных движений искусственного дыхания.

Егоров нагнулся над девушкой.

«Откуда же столько крови? — напряженно думал геолог. — Ведь они совершенно целы». И тут он вспомнил вишневую каплю на пальце Оксаны и сердито затряс головой, отгоняя дикую, нелепую мысль. Валя чуть слышно вздохнула.

— Валя! Валя! — позвал Егоров.

— Смотрите! — воскликнул агроном.

Егоров посмотрел сначала на него. Он увидел кирпично-красное лицо, голубые удивленные глаза в лучах морщин и загорелую руку, вытянутую в направлении автолета.

Ни кровавых брызг на стекле, ни дымящейся лужи крови под машиной не было. Все исчезло. На капоте неясно белел клочок сморщенной ткани, только что покрывавшей всю машину.

— Черт! — закричал Егоров и, подбежав, спрятал лоскуток в карман. Он был мокрый и холодный.

В это время Василий открыл глаза и застонал.

— Валя! — тихо позвал он.

Хлопоты вокруг космонавта и его невесты, вызов врача, долгие объяснения и разговоры с домашними заняли всю вторую половину дня. Наконец Василия уложили, несмотря на его шумные протесты, и напоили чаем с малиновым вареньем. Обложенный подушками, он дико вращал глазами и призывал в свидетели все созвездия Вселенной, что здоров, невредим и совсем не хочет лежать. Но Оксана и мать, сидевшие по обе стороны кровати, были неумолимы.

— Ну поймите, ничего страшного не произошло! Автолет двигался над полем на высоте двух-трех метров. Потом что-то нас стукнуло, и мы потеряли сознание. Вот и все. И нечего мне тут

устраивать постельный режим по последнему слову космической профилактики.

— Я сказала, тильки через мий труп, — говорила Ольга Пантелеевна, придавив плечо сына сухоньким кулачком. — Лежи.

Оксана и Егоров, переглянувшись, рассмеялись. Егоров поднялся к себе на балкон. Он ощущал страшную усталость. Солнце уже зашло, но небо было светлым и алым. Село спряталось в глубоких вечерних тенях.

Егоров достал лоскут неведомой ткани, снятой с автолета. Он стал совсем крошечным. Егоров расправил его и посмотрел на свет. Клочок слегка просвечивал.

— Кожа! Человеческая кожа! Кожа с Оксаниного пальца, — негромко сказал он.

Василий уже сладко дремал на пуховых подушках, когда кто-то настойчиво потянул его за руку. В мерцающем лунном свете он увидел темный силуэт. Егоров стоял, прижав к губам палец.

— Тсс! — сказал Егоров. — Идти можешь?

— Да. А что случилось? — спросил Василий, вскакивая. — Что-нибудь с Вале́й?

— С ней все в порядке. Пойдем со мной.

Егоров пошел вперед, высоко поднимая ноги. В доме стояла тишина. Оранжево светилась полоска света под дверью комнаты Ольги Пантелеевны.

Егоров провел Нечипоренко на второй этаж, в кабинет. Там, освещенный неярким светом настольной лампы, сидел незнакомый человек.

— Капитан Самойленко, — представился он, вставая.

Василий пожал протянутую руку.

— Этот товарищ приехал, чтобы задержать Тенда, — сказал Егоров. — Анхело убил Дисни, похитил их материалы и сбежал.

— Что? — Василий выпрямился. — Ты понимаешь, что говоришь?

— Понимаю. Время не терпит. Капитану повезло, что он в этом доме сразу натолкнулся на меня. Тенд — опасный преступник.

— Американцы обратились к нам с просьбой задержать убийцу четырех известных исследователей Марса, — сказал Самойленко.

— Но зачем он это сделал? — вскричал Василий.

— Власть, золото... а впрочем, черт его знает почему, — сказал Егоров.

— Мне нужно произвести обыск. Вы согласитесь быть понятыми?

Василий, все еще ничего не понимая, кивнул.

— А где же Тенд?

— Они с Оксаной ушли в кино,— сказал Егоров.

Василий молча опустил голову и закусил губу.

— Идите вы вдвоем, я побуду здесь,— сказал он.

Минут через десять Егоров и Самойленко втащили большой желтый чемодан.

— Здесь все колдеровские записи,— сказал Егоров.

Лицо его покраснело от напряжения.

— Все это придется конфисковать,— строго заметил Самойленко.

Он достал папку и с озабоченным видом, чуть прикусив губу, сделал запись. В руках у него появился микрофотоаппарат.

Василий смотрел на все происходящее как во сне. Смысл слов, казалось, не доходил до него.

— Зачем ему это понадобилось? Зачем? — бормотал он.

— Как — зачем? — взволнованно сказал Егоров, тыча в лицо космонавта кипу фотографий. — Вот те крестики, по которым Колдер расшифровал запись последнего марсианина. Ты видишь эти бесконечные геометрические узоры? По ним Колдер установил, где находится последняя открытая дверь в Айю! Понял?

— Ну хорошо, допустим, на Марсе такая дверь существует и действует,— возразил Василий, наблюдая, как Самойленко извлекает и деловито фотографирует тяжелые красные кристаллы. Василий хорошо знал их: он тысячами выковыривал их из потолка и стен Красного купола.

— Нет! Совсем нет! — вскричал Егоров. — Может быть, эта дверь является границей антипространства. У нее могут быть совершенно необыкновенные свойства...

— Ну хорошо,— перебил его Нечипоренко,— допустим, все это так. Но ведь у Колдера Дисни этой двери не было, он только знал о ней. Дверь-то осталась на Марсе, ее еще надо найти. Зачем же Анхело надо было убивать...

— Ах я дурак! — быстро проговорил Егоров. — Ты же не знаешь главного! Пойдем.

Он вскочил с кресла.

Василий нехотя вышел на балкон. Егоров подвел его к топчану, над которым висело зеркало с Марса. Золотой обод на нем светился холодным мерцающим светом.

— Пощупай,— прошептал Егоров.

Василий коснулся обода и отдернул руку.

— Что, горячий? — рассмеялся Егоров. Он, казалось, был очень доволен всем случившимся.

— Не горячий, но...

— Жжется? То-то. — Егоров засуетился. Ему хотелось поско-

рее поделиться тайной. — Но не это главное, — сказал он. — Смотри в зеркало. Что ты там видишь?

— Ну, что? Ночь, серп луны, хаты... — начал неуверенно перечислять Василий.

— Так. А вот здесь? Темное такое, продолговатое. Что это? Нечипоренко присмотрелся к зеркалу:

— Скирда соломы.

— Скирда? Очень хорошо, очень-очень хорошо.

Егоров вышел и вскоре вернулся, неся стакан с водой. Он поставил его на топчан, достал из кармана зажигалку. Щелк! — и коптящий язычок пламени слабо осветил ночной воздух. Запахло бензином. Егоров поднес огонек к зеркалу в том месте, где чернела похожая на гусеницу скирда соломы, и затем отнял огонь.

Василий вскрикнул. Он не мог отвести взгляд от зеркала. Там продолжало гореть изображение. Егоров осторожно взял Василия за плечи и повернул лицом к селу.

На горизонте к нему рвалось пламя. Ярко-оранжевые языки были отчетливо видны даже отсюда. Над ними плыли седые клубы дыма, растворяясь в ночной тьме. Багровые ручьи заливали почву.

— Что ты наделал?!

— Тихо! — Егоров набрал в рот воды из стакана и тонкой струйкой плеснул в зеркало.

Василий услышал далекий шум, пламя на горизонте полыхнуло раз, другой и погасло. Освещенные лунным светом, вверх поползли клубы пара.

— Больше нельзя, иначе можно устроить наводнение, — спокойно сказал Егоров.

— Это она? — шепотом спросил Василий, указывая на зеркало.

— Она, братец, она, — заторопился Егоров. — Единственная незапертая дверь в Айю. На Марсе она не работала, а в Музыковке, видишь, открылась. Ее не успел захлопнуть рогожинский марсианин. Так и простояла она пять миллионов лет приоткрытой. А может, не миллионов? Анхело решил использовать ее для личных темных целей. Теперь ты понимаешь, зачем после Дисни он пожаловал к тебе? Ты видел, как горело? А ты знаешь, что твой автолет мощностью в тысячу лошадиных сил Оксана прикосновением мизинца сбросила на землю? Нечаянно, конечно. Теперь ты понимаешь, что это за мощь, что за сила?

Василий все понял. Цепь отрывочных событий замкнулась в логическое кольцо.

— Вот так находка! — прошептал он, хлопнув Егорова по плечу. — Поймали-таки марсианского черта за хвост!

— Так давай скорей крестить, крестить его, вражьего сына! — воскликнул Егоров.

Друзья возвратились в кабинет.

— Вам еще много? — спросил Егоров у Самойленко.

— Сейчас кончаю.

Василий сидел хмурый.

— Ты что? — закричал Егоров. — Радоваться должен! Такое открытие!

— Не знаю. Никак не могу представить, чтобы космонавт на такое дело пошел. Тенд не первый год по планетам ходит.

— Все! — облегченно вздохнул Самойленко и сел в кресло, напавив аппарат на Егорова и Нечипоренко. — Последнее вещественное доказательство. Лично для меня, на память.

— Не нужно! — замахали они руками. — Ни к чему!

Дверь распахнулась, и в комнату вошел Тенд. Он взглянул на сидевших, на раскрытый чемодан, ремни с блестящими пряжками, напоминавшие высохшие змеиные шкурки, кристаллы, фото, записи — и все понял.

Василий смотрел на испанца долгим взглядом, полным глубокого огорчения. Егоров переглянулся с Самойленко. Тот со скучающим выражением достал красную книжицу и положил ее на колено. Но почему-то не встал.

Тенд больше никого не удостоил взглядом. Он прошел на балкон. Сидевшие в кабинете переглянулись. Их, казалось, забавляло то, что должно было произойти. Анхело вернулся, неся марсианское зеркало. Он установил его на полу, слегка наклонив. Затем вынул черный стержень, провел им по золотистой раме зеркала. Раздался отдаленный звенящий гул, будто где-то далеко в небе летел реактивный самолет. Тенд взял со стола пачку фотографий и с размаху швырнул их в зеркало. Они исчезли. Туда же полетели кристаллы с Красного купола, записи, катушки с магнитной лентой, дневник братьев Дисни и сам желтый чемодан с его змеевидными ремнями. Предметы исчезли беззвучно.

«Почему же мы не встаем?» — с испугом подумал Егоров.

Тенд подошел к зеркалу и оглянулся.

Егоров почувствовал, что сознание ускользает от него, точно влажное арбузное семечко. Страшная тяжесть обрушилась на голову, пригнула ее к груди. «Сейчас лопнет», — с ужасом подумал он.

Дольше всех боролся Самойленко. В самый последний момент, когда Тенд начал растворяться в воздухе, теряя обычные нормальные очертания, капитан попытался вскочить с места. Тенд оглянулся, и капитан рухнул в кресло. Фотоаппарат его слабо щелкнул.

— Я не убивал Диснитов. Они... — голос Анхело достиг самых высоких тонов и оборвался.

Самойленко заслуженно гордился: это был единственный снимок живого марсианина. Три глаза, расположенные по вершинам правильного треугольника, смотрели со страстной неземной силой. Они были глубоки и бесконечно мудры.

Егоров взял в руки сверкающий серый овал. Зеркало бесстрастно отражало действительность. Последняя дверь в Айю была захлопнута.

Но надолго ли?

Генри Каттнер

ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ

Эта история закончилась вот так.

Джеймс Келвин сосредоточил все мысли на рыжеусом химике, который пообещал ему миллион долларов. Для этого просто-напросто следовало настроить свой мозг на волну мозга того ученого и поймать нужный сигнал. Недавно Келвин уже такое проделал. Однако сейчас, когда он собирался установить этот контакт в последний раз, добиться успеха было во сто крат важнее, чем прежде. Он нажал на кнопку устройства, которое дал ему робот, и напряженно задумался.

На невообразимо огромном от себя расстоянии Келвин уловил сигнал.

Он принял его.

И тот унес его вдаль...

Рыжеусый мужчина поднял на него взгляд, ахнул и радостно улыбнулся.

— Наконец-то вы явились! — воскликнул он. — А я и не слышал, как вы вошли. Черт побери, я ведь разыскиваю вас уже две недели.

— Скажите мне ваше имя, да побыстрее, — выпалил Келвин.

— Джордж Бейли. Кстати, а вас как зовут?

Но Келвин не ответил. Он вдруг вспомнил кое-что еще из того, что говорил ему робот об этом устройстве, с помощью которого, нажимая на кнопку, он устанавливал раппорт. Келвин тут же нажал на нее — и ничего не произошло. Устройство бездействовало. Видимо, свою задачу оно выполнило, а это означало, что он обретет наконец здоровье, славу и богатство. Робот же предупредил его, что это устройство запрограммировано на выполнение одного-единственного задания. Как только Келвин получит желаемое, оно перестанет функционировать.

И Келвин получил свой миллион долларов.

А потом жил счастливо, не ведая ни горя, ни забот...

Вот вам середина этой истории.

Когда он откинул холщовый занавес, какой-то предмет — кажется, небрежно повешенная веревка — мазнул его по лицу, сбив набок очки в роговой оправе. В тот же миг ослепительный голубоватый свет ударил ему в незащищенные глаза. Он почувствовал, что теряет ориентацию и все внутри и вне его как-то странно сместилось, но это ощущение почти сразу же прошло.

Предметы стали на свои места. Он отпустил занавес, который свободно повис, и на нем снова можно было прочесть выведенную масляной краской надпись: «Г о р о с к о п ы. З а г л я н и т е в с в о е б у д у щ е е». А сам он оказался лицом к лицу с удивительнейшим хиромантом.

Это был... О, да ведь такое невозможно!

— Вы — Джеймс Келвин, — ровным голосом отчеканил робот. — Вы репортер. Вам тридцать лет, вы холосты, а в Лос-Анджелес приехали сегодня из Чикаго, следуя совету своего врача. Правильно?

Измученный Келвин чертыхнулся, поправил на переносице очки и попытался вспомнить некогда написанное им *exposé*¹ о шарлатанах. Есть же какой-то простой способ, которым они пользуются, творя подобные «чудеса».

Робот бесстрастно взирает на него своими фасеточными глазами.

— Прочтя ваши мысли, — педантично продолжал он, — я понял, что год сейчас 1949-й. Мне придется несколько изменить свои планы. Дело в том, что в мои намерения входило прибыть в год 1970-й. Я попрошу вас помочь мне.

Келвин сунул руки в карманы и осклабился.

— Разумеется, деньгами, так? — сказал он. — На минуту вам удалось задурить мне голову. Кстати, как вы это проделываете?

— Я не машина и не оптический обман, — заверил его робот. — Я живой организм, созданный искусственным путем в далеком будущем вашей цивилизации.

— А я не такой уж лопух, как вам кажется, — любезно заметил Келвин. — Я зашел сюда, чтобы...

— Вы потеряли квитанции на свой багаж, — сказал робот. — А пока размышляли над тем, как быть дальше, немного приложились к спиртному и ровно... ровно в восемь тридцать пять вечера сели в автобус, направлявшийся в Уилшайр.

— Чтение мыслей оставьте при себе, — сказал Келвин. — И не пытайтесь убедить меня в том, что свой притон с этакой вывеской

¹ *Exposé* (фр.) — разоблачение, разоблачительная статья. (Прим. перев.)

вы содержите с незапамятных времен. За вас бы давно уже взялись фараоны. Если, конечно, вы настоящий робот. Ха, ха!

— Этот притон,— сказал робот,— я соержу примерно минут пять. Мой предшественник в бессознательном состоянии лежит в углу, вон за тем шкафом. Ваш приход сюда — случайное совпадение.

Он на миг умолк, и у Келвина создалось странное впечатление, будто робот вглядывается в него, словно желая убедиться, удачно ли он пока справляется с изложением своей истории.

— Я тоже появился здесь совершенно случайно,— продолжал робот.— По ряду причин теперь требуется внести кое-какие изменения в мою аппаратуру. Придется заменить некоторые детали. А для этого, как я понял, прочтя ваши мысли, мне необходимо принориться к вашей весьма необычной экономической системе, основанной на товарообмене. Словом, мне нужны так называемые монеты либо свидетельство о наличии у меня золота или серебра. Вот почему я на время стал хиромантом.

— Как же, как же,— сказал Келвин.— А почему бы вам просто не заняться грабежом? Если вы робот, совершить ограбление века для вас, что раз плюнуть: крутанете какой-нибудь там диск — и дело в шляпе.

— Это привлекло бы ко мне внимание, а для меня превыше всего полная секретность. Честно вам признаюсь, я...— робот порылся в мозгу Келвина, отыскивая нужное выражение, и закончил фразу,— я в бегах. В мою эпоху наложен строгий запрет на перемещения во времени; даже случайность не служит оправданием. Такие перемещения осуществляют только по особому заданию правительства.

«А ведь он загибает»,— подумал Келвин, но так и не сумел определить, какая именно неувязка навела его на эту мысль. Прищурившись, он вгляделся в робота, вид которого отнюдь не развеял его сомнений.

— Какие вам нужны доказательства? — спросило стоявшее перед ним существо.— Ведь стоило вам войти, и я сразу прочел ваши мысли, не правда ли? Вы не могли не почувствовать, что на секунду утратили память, когда я изъяс из вашего мозга всю информацию, а потом тут же вернул ее на место.

— Так вот что тогда произошло,— промолвил Келвин. Он осторожно сделал шаг назад: — Пожалуй, мне пора.

— Погодите! — скомандовал робот.— Я вижу, вы теряете ко мне доверие. Вы явно сожалеете, что посоветовали мне заняться грабежом. Бойтесь, что я претворю эту идею в жизнь. Позвольте вас разубедить. Мне действительно ничего не стоит отнять у вас ваши деньги, а потом, чтобы замести следы, вас убить. Но мне за-

прещено убивать людей. Остается одно — приспособиться к вашей системе товарообмена. Исходя из этого, я могу предложить вам что-нибудь достаточно ценное в обмен на небольшое количество золота. Дайте подумать.— Взгляд фасеточных глаз бежал по латку, на миг впился в Келвина.— К примеру, возьмем гороскоп. Считается, что он обеспечивает человеку здоровье, славу и богатство. Однако я не астролог, и в моем распоряжении всего лишь разумный научно обоснованный метод, с помощью которого вы могли бы достичь тех же результатов.

— Угу,— скептическим тоном произнес Келвин.— И сколько вы с меня сдерете? Между прочим, почему бы вам самому не воспользоваться этим методом?

— Я стремлюсь к иной цели,— туманно ответил робот.— Вот, возьмите.

Раздался щелчок. На груди робота откинулась створка. Из скрывавшейся за ней ниши он извлек небольшую плоскую коробочку и вручил ее Келвину, и, когда этот кусок холодного металла оказался у него на ладони, он машинально сомкнул пальцы.

— Осторожнее! Не нажимайте на кнопку, пока...

Но Келвин нажал...

И вдруг словно бы оказался за рулем некоей воображаемой машины, которая вышла из-под контроля, и кто-то чужой расположился у него в голове. Локомотив-шизофреник, окончательно свихнувшись, неудержимо неся по рельсам, а рука Келвина, вцепившись в дроссель, ни на секунду не могла умерить скорость этого взбесившегося механизма. И штурвал его мозга сломался.

За него уже думал кто-то другой!

Существо не человеческое в полном смысле слова. Вероятно, не совсем здоровое психически, если исходить из представлений Келвина о норме. Но более чем в здравом уме по его собственным стандартам. Достаточно высокоразвитое интеллектуально, чтобы еще в детстве понять и усвоить самые сложные принципы неевклидовой геометрии.

Из взаимодействия ощущений в мозгу Келвина синтезировался своего рода язык, причем язык усовершенствованный. Одна его часть была рассчитана на слуховое восприятие, другая состояла из образов, и еще в него входили запахи, вкусовые и осязательные ощущения — порой знакомые, а иногда с совершенно чуждым оттенком. И в языке этом царил хаос.

Вот, например...

«В этом сезоне развелось слишком много Больших Ящериц... однако у ручных треварсов такие же глаза вовсе не на Каллисто... скоро отпуск... лучше галактический... солнечная система стимули-

рует клаустрофобию... скоростну завтра, если квадратный корник и воскользящая тройка...»

Но то был всего лишь словесный символизм. При субъективном восприятии этот язык был намного сложнее и внушал ужас. К счастью, пальцы Келвина, повинаясь рефлексу, почти мгновенно отпустили кнопку, а сам он вновь оказался в палатке. Его была мелкая дрожь.

Теперь он перепугался не на шутку.

Робот произнес:

— Вам не следовало устанавливать раппорт, пока я вас не проинструктирую. Теперь вам грозит опасность. Постойте-ка. — Его глаза изменили цвет. — Да... точно... Это Тарн. Берегитесь Тарна.

— Я не желаю с этим связываться, — быстро сказал Келвин. — Возьмите свою коробочку назад.

— Тогда ничто не защитит вас от Тарна. Оставьте это устройство себе. Оно, как я обещал, обеспечит вам здоровье, славу и богатство с большей гарантией, чем... какой-нибудь там гороскоп.

— Нет уж, благодарю. Не знаю, как вам удалось проделать такой фокус, — может, с помощью инфразвука... но я не...

— Не спешите, — сказал робот. — Нажав на эту кнопку, вы мгновенно проникли в сознание одного человека, который живет в очень далеком будущем, и возникла межвременная связь. Эту связь вы можете восстановить в любое время, стоит только нажать на кнопку.

— Избави бог, — произнес Келвин, все еще слегка потев.

— Вы только подумайте, какие это сулит возможности... Попробуйте представить, что какой-нибудь троглодит из далекого прошлого получил бы доступ к вашему сознанию. Да он смог бы удовлетворить все свои желания.

У Келвина почему-то возникло убеждение, что очень важно выдвинуть против доводов робота какое-нибудь логически обоснованное опровержение. Подобно Святому Антонию — или то был Лютер? — словом, подобно тому из них, что ввязался в спор с дьяволом, Келвин, преодолевая головокружение, попытался собрать разбегающиеся мысли. Голова у него разболелась пуще прежнего, и он заподозрил, что перебрал спиртного. И только промямлил:

— А как смог бы троглодит понять мои мысли? Ведь без соответствующей подготовки и моего образования ему не удалось бы использовать полученную информацию в своих интересах.

— Вам в голову когда-нибудь вдруг приходили идеи, явно лишённые всякой логики? Словно кто-то извне заставляет вас думать о каких-то неведомых вещах, что-то вычислять, решать чуждые вам проблемы? Так вот, тот человек из будущего, на котором сфокуси-

ровано мое устройство, — он не знает, что между ним и вами, Келвин, теперь установлена связь. Но он очень чувствителен и живо реагирует, если его к чему-нибудь принуждают. Вам нужно только мысленно сосредоточиться на той или иной проблеме, а затем нажать на кнопку. И тот человек решит вашу проблему, каким бы нелогичным ни было это решение с его точки зрения. А вы тем временем прочтете его мысли. Вы сами потом разберетесь, как пользоваться этим устройством. Возможности его не безграничны — это вы тоже поймете. Но оно обеспечит вам здоровье, богатство и славу.

— Если б ваше устройство работало так на самом деле, оно б обеспечило мне все что угодно, я стал бы всемогущим. Поэтому-то я отказываюсь его купить!

— Я же сказал, что его возможности ограничены. Как только вы успешно достигнете цели — обретете здоровье, славу и богатство, оно перестанет функционировать. Но до того, как это произойдет, вы сможете пользоваться им для решения всех своих проблем, потихоньку выуживая нужную информацию из сознания человека будущего с более высоким интеллектом. Но учтите, что крайне важно сосредоточить свои мысли на той или иной проблеме *перед тем*, как вы нажмете на кнопку. Иначе за вами увяжется кое-кто почище Тарна.

— Тарна? А кто...

— Мне думается, это... это андроид, — произнес робот, устремив взгляд в пространство. — Человеческое существо, созданное искусственным путем... Однако пора заняться моей собственной проблемой. Мне нужно небольшое количество золота.

— Так вот где собака зарыта, — проговорил Келвин, почувствовав странное облегчение. — Нет у меня никакого золота.

— А ваши часы?

Келвин резким движением поднял руку, из-под рукава пиджака показались часы.

— Ну нет. Эти часы стоят очень дорого.

— Мне нужна только позолота, — сказал робот и стрельнул из глаза бурого цвета лучом. — Благодарю вас.

Металлический корпус часов стал тускло серым.

— Эй, вы! — вскричал Келвин.

— Если вы воспользуетесь этим устройством, предназначенным для установления контакта с человеком из будущего, вам обеспечены здоровье, слава и деньги, — быстро произнес робот. — Вы будете счастливы, насколько может быть счастлив человек этой эпохи. С помощью моего устройства вы решите все свои проблемы... включая ваши отношения с Тарном. Минуточку.

Существо попятилось и исчезло за висевшим в палатке азиат-

ским ковром, которому никогда не пришлось побывать восточнее Пеории¹.

Стало тихо.

Келвин перевел взгляд со своих обливавших часов на загадочный плоский предмет, лежавший у него на ладони. Размером он был примерно в четыре квадратных дюйма (два на два) и не толще изящной дамской сумочки, а на одной из его боковых сторон находилось углубление с утопленной в нем кнопкой.

Он опустил этот предмет в карман и, сделав два шага вперед, заглянул за псевдоазиатский ковер, но ничего не обнаружил, кроме пустого пространства и хлопающих на ветру краев разреза в холщовой стенке палатки. Судя по всему, робот улизнул. Келвин выглянул через прорезь. Снаружи на ярко освещенной пристани Приморского парка шумела толпа гуляющих, а за пристанью, вся в серебристых искорках, колыхалась черная поверхность Тихого океана, простираясь вдаль, где за невидимым сейчас изгибом прибрежных скал мерцали огоньки Малибу.

Келвин вернулся на середину палатки и огляделся. За украшенным резьбой шкафом, на который ему несколько минут назад указал робот, спал крепким сном какой-то толстяк в костюме свами².

Он был мертвецки пьян.

Не зная, чем еще заняться, Келвин снова чертыхнулся. Но вдруг обнаружил, что думает о ком-то по имени Тарн, который был андроидом.

Хиромантия... перемещение во времени... межвременная связь... Нет, этого быть не может! Защитное неверие словно одело его сознание в непроницаемую броню. Такого робота, с которым он только что разговаривал, создать невозможно. Уж это Келвин знал точно. Это не прошло бы мимо его ушей... Он же репортер, верно?

Разумеется.

Затосковав по шуму и людской суете, он отправился в тир и сбил несколько уток. Плоская коробочка жгла ему карман. Матово-серый металлический корпус его часов жег память. Воспоминание о том, как ему сперва опустошили мозг, а затем изъятую информацию вернули на место, огнем пылало в сознании. Вскоре выпитое в баре виски обожгло ему желудок.

Он покинул Чикаго из-за назойливо рецидивирующего синусита. Самого что ни на есть обыкновенного синусита. А вовсе не потому, что страдал галлюцинаторной шизофренией, не под влиянием исходящих из стен голосов, которые его за что-то укоряли. Не

¹ Пеория — небольшой город в штате Иллинойс (США). (Прим. перев.)

² Свами — ученый индус, брамин. (Прим. перев.)

потому, что ему мерещились летучие мыши и роботы. То существо не было роботом. У всего этого есть какое-то наипростейшее объяснение. О, несомненно.

Здоровье, слава и богатство. И если...

«ТАРН»!

Эта мысль молнией пронзила его мозг.

А за ней сразу же последовала другая: «Я схожу с ума!»

Ему в уши забормотал чей-то голос, настойчиво повторяя одно лишь слово: «Тарн... Тарн... Тарн... Тарн...»

Но голос рассудка полностью заглушил это бормотание. Келвин тихой скороговоркой произнес:

— Я — Джеймс Келвин. Я репортер, пишу статьи на оригинальные темы, собираю и обрабатываю информацию. Мне тридцать лет, я не женат. Сегодня я приехал в Лос-Анджелес и потерял квитанции на свой багаж. Я... я собираюсь еще немного выпить чего покрепче и потом снять номер в каком-нибудь отеле. Как бы там ни было, а здешний климат, кажется, уже немного подлечил мой синусит.

«ТАРН», — приглушенной барабанной дробью прозвучало почти за порогом его сознания. «ТАРН, ТАРН».

«Тарн».

Он заказал еще выпивку и полез в карман за мелочью. Его рука коснулась металлической коробочки. И он тут же почувствовал, как что-то слегка сдавило ему плечо.

Он инстинктивно оглянулся. Его плечо сжимала семипалая паукообразная рука... без единого волоска и без ногтей... белая и гладкая, как слоновая кость.

Единственной, но всепоглощающей потребностью Келвина стало страстное желание до предела увеличить расстояние между собой и обладателем этой омерзительной руки.

Но как это сделать?

Он смутно сознавал, что стискивает пальцами лежащую у него в кармане плоскую коробочку, как будто бы в ней — его единственное спасение. А в мозгу билась лишь одна мысль: «Я должен отсюда бежать». И он нажал на кнопку.

Чудовищные, невыносимо чуждые мысли того существа из будущего, бешено закрутив его, вовлекли в свое течение. Не прошло и секунды, как могучий отточенный ум блестящего эрудита из невообразимо далекого будущего столь необычным способом был принужден решить эту внезапно возникшую у него в мозгу проблему.

Келвин получил сведения сразу о трех способах транспортировки. От двух, как неприемлемых, он отказался: авиамотокресло человечеству, видимо, еще только предстояло изобрести, а квилле-

ние, для которого требовался сенсорный шлем с антенной, вообще оказалось выше его понимания. Но третий способ...

Суть его уже начала стираться из памяти. А та рука продолжала сжимать ему плечо. Келвин мысленно ухватился за полученную информацию, которая грозила бесследно исчезнуть, и отчаянным усилием воли заставил свое сознание и тело двинуться по тому неправдоподобному пути, который подсказало ему воображение человека из будущего.

И он, обдуваемый холодным ветром, очутился на улице, по-прежнему в сидячей позе, а между его спиной и тротуаром была пустота.

Он шлепнулся на землю.

Прохожие на углу Голливудского бульвара и Кауэнги не очень удивились, узрев сидевшего на краю тротуара смуглого худощавого мужчину. Из всех только одна женщина заметила, каким образом здесь появился Келвин, да и то полностью осознала это, когда уже была далеко. Она сразу же поспешила домой.

С хохотом, в котором звучали истерические нотки, Келвин поднялся на ноги.

— Телепортация, — проговорил он. — И как мне удалось это проделать? Забыл... Трудновато вспомнить, когда все позади, верно? Придется снова таскать с собой записную книжку. — И чуть погодя: — А как же Тарн?

Он в страхе огляделся. Уверенность в том, что ему нечего бояться, он обрел лишь по истечении получаса, за которые больше не произошло ни одного чуда. Келвин, бдительно ко всему присматриваясь, прошелся по бульвару. Тарна нигде не было.

Он случайно сунул руку в карман и коснулся холодного металла коробочки. Здоровье, слава и богатство. Так он мог бы...

Но он не нажал на кнопку. Слишком уж свежо было воспоминание о потрясшем его и таком чуждом человеческому естеству ощущении полной дезориентации. Иная плоскость мышления, колоссальный объем знаний и навыки существа из далекого будущего действовали подавляюще. Он как-нибудь снова прибегнет к помощи этой коробочки — о да, непременно. Но незачем спешить. Сперва нужно продумать кое-какие стороны этого вопроса.

От его скептицизма не осталось и следа.

Тарн появился на следующий вечер. Репортер так и не нашел квитанций на свой багаж, и ему пришлось удовольствоваться двумя сотнями долларов, которые оказались в его бумажнике. Заплатив вперед, он снял номер в средней руки отеле и принялся обдумывать, как выкачать побольше пользы из этой скважины в будущее. Он принял разумное решение вести свой обычный образ жизни, пока не подвернется что-нибудь, заслуживающее внимания.

В любом случае ему не мешает наладить связь с прессой. Он копнул «Таймс», «Икземинаер», «Ньюс» и ряд других периодических изданий. Но дела такого рода требуют времени — репортеры быстро добиваются успеха только в кинофильмах. В тот вечер, когда его посетил незванный гость, Келвин находился у себя в номере.

И разумеется, этим гостем был Тарн.

На нем был огромный белый тюрбан, примерно вдвое больше его головы. У него были щегольские черные усы с опущенными вниз концами, как у китайского мандарина или сома. И он в упор глядел на Келвина из зеркала в ванной комнате.

Келвин колебался, нужно ли ему побриться перед тем, как выйти куда-нибудь пообедать. Он в раздумье потирал подбородок, когда перед ним возник Тарн, и факт его появления дошел до сознания Келвина со значительным опозданием, потому что ему вначале показалось, что это у него самого вдруг непонятным образом выросли длинные усы. Он потрогал кожу над верхней губой. Никакой растительности. Но черные волоски в зеркале затрепетали, когда Тарн приблизил лицо к поверхности стекла.

Это настолько потрясло Келвина, что у него из головы вылетели все мысли. Он быстро попятился и уперся ногами в край ванны, что мгновенно отвлекло его и вернуло способность мыслить — к счастью для его психики. Когда он снова посмотрел в сторону зеркала, висевшего над раковиной умывальника, он увидел в нем только отражение своего испуганного лица. Однако через две-три секунды вокруг его головы начало проявляться облачко белого тюрбана и штрихами наметились усы китайского мандарина.

Келвин прикрыл рукой глаза и быстро отвернулся. Секунд через пятнадцать он немного раздвинул пальцы, чтобы сквозь щелку украдкой взглянуть на зеркало. Ладонь он с силой прижал к верхней губе в отчаянной надежде воспрепятствовать этим внезапному росту усов. Некто, тоже украдкой поглядывавший на него из зеркала, вроде бы походил на него. Во всяком случае, тот, другой, был без тюрбана и в таких же, как у него, очках. Келвин отважился на миг убрать с лица руку, но тут же шлепком вернул ее на место — и как раз вовремя, — чтобы помешать физиономии Тарна вновь возникнуть в зеркале.

По-прежнему прикрывая лицо, он нетвердой походкой прошел в спальню и вынул из кармана пиджака плоскую коробочку. Но он не нажал на кнопку, ибо вновь возникла бы связь между мозговыми клетками двух человек из разных эпох с несовместимым образом мышления. Он понял, что внутренне противится этому. Мысль о проникновении в столь чуждое ему сознание почему-то пугала его больше, чем то, что с ним сейчас происходило.

Он стоял перед письменным столом, а из зеркала в щель между

отраженными в нем пальцами на него смотрел один глаз. У глаза, глядевшего сквозь поблескивающее стекло очков, было безумное выражение, но Келвину показалось, что все-таки это его глаз. В порядке эксперимента он убрал с лица руку...

Зеркало над столом показало Тарна почти во весь рост. Келвин предпочел бы обойтись без этого. На ногах у Тарна были высокие, до колен, белые сапожки из какого-то блестящего пластика, а между ними и тюрбаном одежда отсутствовала, если не считать клочка такого же блестящего пластика в виде набедренной повязки. Тарн был очень худ, но, видно, шустрый малый. Достаточно шустрый, чтобы запросто выпрыгнуть из зеркала в номер отеля. Кожа у него была более тюрбана, на каждой руке — по семь пальцев. Все сходилось.

Келвин стремительно отвернулся, но Тарн был находчив. Поверхности темного оконного стекла вполне хватило, чтобы отразить тощую фигуру в набедренной повязке. Оказалось, что ступни у Тарна босые и их строение еще дальше от нормы, чем его руки. А с полированного медного основания лампы на Келвина смотрело маленькое искаженное отражение лица, отнюдь не его собственного.

«Чудненько, — с горечью подумал он. — Куда ни сунешься, а он уж тут как тут. Чего хорошего ждать от этого устройства, если Тарн собирается посещать меня ежедневно? Впрочем, может, я просто-напросто свихнулся. Надеюсь, что так оно и есть».

Возникла острая необходимость что-то предпринять, иначе Келвину было уготовано прожить жизнь с закрытым руками лицом. Но самое ужасное — он не мог отделаться от ощущения, будто облик Тарна ему знаком. Келвин отверг не меньше дюжины предположений, начиная с перевоплощения и кончая феноменом *déjà vu*¹, однако...

Он незаметно посмотрел в просвет между руками — и вовремя: Тарн поднял какой-то предмет цилиндрической формы и навел на него, точно это был револьвер. Этот жест Тарна заставил Келвина принять решение. Он *должен* что-то сделать, да побыстрее. И, сосредоточившись на мысли: «Я хочу выбраться из этого помещения», он нажал на кнопку плоской коробочки.

Начисто забытый им метод телепортации мгновенно проявился в его сознании до малейшей подробности. Однако другие особенности того чужеродного мышления, он воспринял сейчас более спокойно. Например, запахи — ведь тот, из будущего, думал — они как бы дополняли... словами не выразишь, что именно... некое поразитель-

¹ Феномен *déjà vu* (фр.) — иногда возникающее у человека ощущение, будто он уже когда-то видел какой-то предмет, местность, интерьер и т. п. (Прим. перев.)

ное звуко-зрительное мышление, которое вызвало у Келвина сильное головокружение. Но оно не помешало ему узнать, что кто-то по имени Три Миллиона Девяносто Совершенств написал свой новый плоскостник. И еще было ощущение, будто он лижет двадцатичетырехдолларовую марку и наклеивает ее на почтовую открытку.

Но что самое важное — человек из будущего был (или будет?) вынужден подумать о методе телепортации, и, как только Келвин вернулся в свое время и стал мыслить самостоятельно, он тут же им воспользовался...

Он падал.

Ледяная вода встретила его враждебно. Каким-то чудом он не выпустил из пальцев плоской коробочки. Перед его глазами в ночном небе закружились звезды, сливаясь с серебристым отблеском лунного света на фосфоресцирующей поверхности моря. А морская вода жгучей струей хлынула в ноздри.

Келвин не умел плавать.

Когда он, пытаясь крикнуть и вместо этого пуская пузыри, в последний раз пошел ко дну, он буквально ухватился за соломинку: его палец снова нажал на кнопку.

Пузырьки воздуха плыли вверх мимо его лица. Келвин их не видел, только ощущал. И со всех сторон его окружала эта алчная, страшная масса холодной соленой воды...

Но он уже познал некий метод и понял механизм его действия. Мысли его заработали в том направлении, которое указал человек из будущего. Его мозг испустил какое-то излучение — для его определения более всего подошло бы слово «радиация», — и оно удивительным образом воздействовало на его легочную ткань. Кровяные клетки приспособились к окружающей среде...

Он дышал водой — она больше не душила его.

Но Келвин знал также, что эта вызванная чрезвычайными обстоятельствами адаптация продлится недолго. Оставалось одно — снова прибегнуть к телепортации. Теперь-то он должен вспомнить, как это делается. Ведь, удирая от Тарна, он воспользовался этим методом всего несколько минут назад.

Но он не вспомнил. Информация бесследно исчезла из его памяти. Единственный выход — снова нажать на кнопку, и Келвин крайне неохотно подчинился этой необходимости.

Промокший до нитки, он стоял на какой-то незнакомой улице. И хотя он не знал этой улицы, по всей видимости, она была на его планете и время соответствовало тому, в котором он жил. К счастью, судя по всему, телепортация имела свои границы. Дул холодный ветер. Келвин стоял в быстро увеличивающейся вокруг его ног луже. Он огляделся по сторонам.

Тут он увидел на улице вывеску, приглашавшую посетить турецкие бани, и пошлепал в том направлении. Размышлял он в основном на отвлеченные темы...

Выходит, его занесло в Нью-Орлеан. Надо же! И, не теряя времени, он здорово надрался в этом Нью-Орлеане. Его мысли разбегались кругами, а виски действовало, как универсальный балласт, как идеальный тормоз. Необходимо подчинить их своей власти. Ведь он обладает почти сверхъестественным могуществом и хочет получить от этого реальную пользу, пока ему вновь не помешает какое-нибудь неожиданное событие. Тарн...

Келвин сидел в номере отеля и потягивал виски. Надо бы под собраться с мыслями!

Он чихнул.

Беда в том, конечно, что очень уж мало общего между его мышлением и мышлением того человека из будущего. Да и на связь с ним он выходил только тогда, когда его припирало к стенке. А это все равно, что получать доступ к рукописям Александрийской библиотеки на пять секунд в день. За пять секунд и начать-то перевод не успеешь.

Здоровье, слава и богатство. Он снова чихнул. Робот все наврал. Его здоровье явно ухудшилось. Кстати, а что такое этот робот? Откуда он взялся? Если принять на веру его слова, он вроде как свалился в эту эпоху из будущего, но ведь роботы отъявленные лгуны. Ох, подсобратись бы с мыслями.

Видно, будущее населено существами немногим симпатичнее героев фильмов о Франкенштейне¹. Всякими там андроидами, роботами и так называемыми людьми, которые мыслят настолько по-иному, что оторопь берет... А п ч х и! Еще добрый глоток виски.

Робот сказал, что коробочка перестанет функционировать, когда Келвин обретет здоровье, славу и богатство. А что, если после того, как он успешно достигнет столь завидной цели и обнаружит, что кнопка бездействует, вновь объявится Тарн? Нет, лучше не думать. Надо еще выпить.

В трезвом состоянии немислимо решить вопрос, столь же безумный, как бред при белой горячке, хотя Келвин и понимал, что научные открытия, с которыми он столкнулся, вполне можно сделать. Но не сегодня и не в этом веке. А п ч х и!

Вся штука в том, чтобы суметь правильно сформулировать вопрос и использовать для его решения коробочку в такое время,

¹ *Франкенштейн* — герой философско-фантастического романа английской писательницы Мэри Шелли (1797—1851) «Франкенштейн, или Современный Прометей», искусственным путем создавший человеческое существо, злодеяния которого впоследствии стали темой многих «фильмов ужасов». (Прим. перев.)

когда ты не тонешь в морской пучине и тебе не угрожает усатый андроид с семипальными руками и зловещим, похожим на жезл, оружием. Итак, продумаем вопрос.

Но до чего отвратительное мышление у того человека из будущего.

И тут Келвин в каком-то алкогольном просветлении вдруг осознал, как глубоко он погрузился в этот едва просматривающийся затененный мир будущего.

Он не мог представить себе его модель полностью, но почему-то воспринимал этот мир эмоционально. Неведомо откуда, но он знал, что то был мир п р а в и л ь н ы й, куда лучше нынешнего, в котором он жил. Если б он стал этим незнакомцем из будущего и оказался в т о м времени, все бы наладилось.

«Смиряться должно пред судьбы веленьем», — скривив рот, подумал он. «А, да ладно». Он встряхнул бутылку. Сколько же он принял? Чувствовал он себя превосходно.

Надо бы подсобраться с мыслями.

Уличные огни за окном то вспыхивали, то гасли. Неоновые всполохи разрисовали ночную тьму какими-то колдовскими письменами. Келвину это показалось чем-то чуждым, непривычным, как, впрочем, и его собственное тело. Он было захохотал, но чихнул и поперхнулся.

«Мне нужны только здоровье, слава и богатство, — подумал он. — Тогда я угомонюсь и заживу счастливо, не зная ни горя, ни забот. И мне больше не понадобится эта волшебная коробочка. Ведь все мои желания исполнятся».

Повинуясь внезапному порыву, он вынул из кармана коробочку и внимательно ее осмотрел. Попытался открыть ее, но безуспешно. Его палец в нерешительности повис над кнопкой.

«Сумею ли я...» — подумал он, и палец опустился на полдюйма...

Сейчас, когда он был пьян, все уже не казалось ему таким чужим и странным. Того человека из будущего звали Куарра Ви. Удивительно, что он не узнал этого раньше, хотя часто ли человек вспоминает свое имя? Куарра Ви играл в какую-то игру, чем-то напоминающую шахматы, но его противник находился в некотором отдалении — на одной из планет Сириуса. Все фигуры на доске были иной, назнакомой формы. Келвин, подключившись, слушал, как в мозгу Куарра Ви молниеносно сменяли друг друга головокружительные пространственно-временные гамбиты. Но тут в его мысли ворвалась проблема Келвина и, подобно удару, вынудила его...

Получилась некоторая путаница. На самом-то деле проблем было две. Как вылечиться от простуды, в частности от насморка.

И как стать здоровым, богатым и прославиться в почти доисторическую — с точки зрения Куарра Ви — эпоху.

Но для Куарра Ви такая проблема — сущий пустяк. Он с ходу решил ее и продолжил игру с сирианином.

А Келвин снова оказался в номере отеля в Нью-Орлеане.

Не будь он пьян, он бы на такое не решился. Подсказанный ему метод заключался в настройке его мозга на мозговые волны другого человека, живущего в том же двадцатом веке, что и он сам, причем мозг этого человека должен был испускать волны определенной, нужной ему длины. Она зависела от множества разнообразных факторов, как-то: от профессиональной квалификации, умения использовать благоприятные обстоятельства, взгляда на окружающее, эрудиции, богатства воображения, честности; но в конце концов Келвин нашел то, что ему было нужно. После некоторого колебания он выбрал один мозг из трех — все три по сумме показателей почти полностью отвечали требованиям. Но сумма показателей одного была чуть больше — на три тысячных доли единицы. Келвину удалось настроить свой мозг на волну этого выбранного им мозга, поймать нужный сигнал, ухватиться за него, и методом телепортации он перенесся через всю Америку в прекрасно оборудованную лабораторию, где, читая книгу, сидел неизвестный ему мужчина.

Он был лыс, на лице его топорщились жесткие рыжие усы. При появлении Келвина он раздраженно вскинул голову.

— Эй! — воскликнул он. — Как вы сюда попали?

— Спросите у Куарра Ви, — ответил Келвин.

— У к о г о ???

Незнакомец отложил книгу в сторону.

Келвин призвал на помощь свою память. Оказалось, что недавно полученная информация уже частично стерлась. Он на миг еще раз воспользовался коробочкой и восстановил ее. Сейчас контакт с будущим был не столь неприятен, как прежде. Он уже начал немного понимать мир Куарра Ви. И этот мир ему нравился. Впрочем, он полагал, что забудет и это.

— Усовершенствование белковых аналогов Вудворда, — сказал он рыжеусому. — С помощью простого синтеза.

— Кто вы такой, черт бы вас побрал?

— Зовите меня просто Джим, — ответил Келвин. — А теперь заткнитесь и слушайте. — И начал объяснять, словно имел дело с малолетним тупицей. (Перед ним был один из самых именитых химиков Америки.) — Белки состоят из аминокислот. А их — тридцать три вида...

— Нет, меньше.

— Тридцать три. Заткнитесь. Из аминокислот можно создать

множество комбинаций. Таким образом, мы получаем почти бесконечное число разнообразных белковых соединений. А все живое является той или иной формой этих соединений. Полный синтез белка предполагает создание цепи из взаимосвязанных аминокислот, достаточно длинной, чтобы ее можно было признать молекулой белка. В этом-то вся трудность.

Рыжеусый явно заинтересовался.

— Фишер получил такую цепочку из восемнадцати аминокислот,— мигнув, произнес он.— Абдергальден — из девятнадцати, а Вудворд, как известно, создал цепи длиной в десять тысяч единиц. Но что касается контрольных тестов...

— Полная молекула белка состоит из последовательного набора аминокислот. Но если подвергнуть тестированию лишь один или два отрезка цепи аналога, нельзя поручиться за остальные. Минуточку,— Келвин снова прибегнул к помощи коробочки.— Ага, ясно. Итак, из синтезированного белка можно изготовить почти все. Шелк, шерсть, волосы, но что самое главное...— он чихнул,— лекарство от насморка.

— Послушайте...— начал было рыжеусый.

— Некоторые вирусы, помимо прочего, содержат цепи аминокислот, верно? Так измените их структуру. Сделайте их безвредными. А заодно займитесь бактериями. И синтезируйте все антибиотики.

— О, если б я мог. Однако, мистер, э...

— Зовите меня просто Джим.

— Хорошо. Однако все это не ново.

— Хватайте карандаш,— сказал Келвин.— Отныне это будет научно обосновано и обретет реальность. Метод синтеза и экспериментальной проверки заключается в следующем...

И он подробно и четко объяснил, в чем именно. Ему только дважды понадобилось посредством той коробочки связаться с Куарра Ви. А когда он кончил, рыжеусый отложил в сторону карандаш и изумленно уставился на него.

— Невероятно,— проговорил он.— Если из этого что-нибудь получится...

— Мне нужно стать здоровым, богатым и прославиться,— упрямо заявил Келвин.— Значит, получится.

— Да, но... дорогой мой...

Однако Келвин настоял на своем. К счастью для него, краткое обследование сознания рыжеусого выявило у того честность и умение пользоваться благоприятными обстоятельствами, так что в конце концов химик согласился подписать документ о совместном сотрудничестве с Келвином. С коммерческой точки зрения новый метод синтеза белковых соединений сулил безграничные возможно-

сти. Фирмы «Дюпон» или «Дженерал моторс» будут счастливы купить патент на это открытие.

— Мне нужно много денег. Целое состояние.

— Вы заработаете на этом миллион долларов,— ровным голосом сказал ему рыжеусый.

— В таком случае я желаю получить расписку. Черным по белому. Если только вы не отдадите мне мой миллион долларов прямо сейчас.

Нахмурившись, химик отрицательно покачал головой:

— Это невозможно. Мне ведь следует сперва провести ряд экспериментов, все проверить, потом начать переговоры с фирмами... но вы не беспокойтесь. Ваше открытие безусловно стоит миллион. Вдобавок вы прославитесь.

— И стану здоровым?

— Через некоторое время исчезнут все болезни,— спокойно объяснил ему химик.— Вот в чем истинное чудо.

— Пишите расписку,— потребовал Келвин, повысив голос.

— Ладно. Официальный документ о нашем сотрудничестве можно будет оформить завтра. А пока сойдет и это. Я понимаю, что на самом-то деле честь этого открытия принадлежит вам.

— Расписка должна быть написана чернилами. Карандаш не годится.

— Тогда вам придется с минуту подождать,— сказал рыжеусый и отправился на поиски чернил.

Келвин, сияя от радости, окинул взглядом лабораторию.

Тарн материализовался от него в трех футах. В руке Тарн держал свое жезлоподобное оружие. Он поднял его...

Келвин тут же схватился за коробочку. Он показал Тарну нос и телепортировался на значительное расстояние.

Он мгновенно очутился неведомо где, на каком-то кукурузном поле, но зерно, не прошедшее соответствующей обработки, не представляло для него никакого интереса. Он сделал еще одну попытку. Теперь его занесло в Сизэтл.

С этого начался незабываемый двухнедельный период — запой вперемежку с бегством от охотившегося на него Тарна.

Его одолели безрадостные мысли.

Он был в состоянии ужасного похмелья, а в кармане — неоплаченный счет за номер в отеле и десять центов. Две недели непрерывных усилий обогнать Тарна с помощью телепортации на один прыжок в пространстве истощили его нервную систему.

Келвин застонал и тоскливо заморгал глазами. Он снял очки, протер их, но легче ему не стало.

Ну и болван.

Ведь он даже не знал имени того химика!

Здоровье, богатство и слава ждали его буквально за углом, но за каким? Быть может, в один прекрасный день, когда в прессе появится сообщение об открытии нового метода синтеза белка, он это узнает, но сколько времени ему придется ждать? А пока это произойдет, как быть с Тарном?

Да и сам химик тоже не может его разыскать. Он знает только, что Келвина якобы зовут Джим. Тогда эта выдумка показалась ему удачной, а теперь...

Келвин вытащил из кармана ту самую коробочку — устройство для связи с будущим — и уставился на нее покрасневшими глазами. Куарра Ви, да? Пожалуй, сейчас он испытывал к этому Куарра Ви теплые чувства. Но вот беда — через полчаса после сеанса связи, а то и раньше он, как правило, забывал всю полученную им информацию.

На этот раз он нажал на кнопку почти в тот же миг, как Тарн принял телесное обличье и возник в нескольких от него футах.

Снова телепортация. Теперь он очутился в какой-то пустыне. Пейзаж оживляли только кактусы и кусты юкки. Вдали отливала багрянцем горная цепь.

Но зато не было Тарна.

Келвина начала мучить жажда. А вдруг коробочка уже не функционирует? Нет, так больше продолжаться не может. Некая идея, которая уже с неделю вызревала в его сознании, наконец оформилась, и он принял решение, настолько простое, что ему захотелось выдрать себя за промедление. Это же проще простого!

Почему он не додумался до этого в самом начале?

Он сосредоточил мысли на вопросе: «Как мне избавиться от Тарна?» И нажал на кнопку...

Спустя секунду он получил ответ. Оказывается, это и в самом деле несложно.

Гнетущее ощущение необходимости все время быть начеку в миг исчезло. Это освежило его мышление. Все прояснилось.

Он ждал Тарна.

Ждать пришлось недолго. Задрожал раскаленный воздух, и белая фигура в тюрбане стала осязаемой реальностью.

На Келвина нацелилось жезлоподобное оружие.

Не желая рисковать, Келвин повторил в уме свой вопрос, нажал на кнопку и сразу убедился в том, что хорошо усвоил подсказанный ему способ. Он просто перестроил свое мышление, стал думать по-иному, на особый манер — так, как научил его Куарра Ви.

Тарна отбросило назад на несколько футов. Из его обрамленного усами широко разинутого рта вырвался крик.

— Не делайте этого! — завопил он. — Я же хотел...

Келвин еще больше сосредоточился на своей мысли. Он чувствовал, как энергия его мозга, изливаясь наружу, струей бьет в андроида.

Тарн захрипел:

— Я пытался... вы... не дали мне... возможность...

Тарн уже лежал на горячем песке, глядя вверх невидящими глазами. Семипалые руки судорожно дернулись и застыли. Жизнь, которая стимулировала деятельность этого созданного искусственным путем существа, покинула андроида. Навсегда.

Келвин повернулся к нему спиной и глубоко, прерывисто втянул в легкие воздух. Опасность миновала. Он выбросил из головы все мысли, кроме одной, все проблемы, кроме той, единственной.

Как найти рыжеусого?

Он нажал на кнопку.

* * *

Началась же эта история вот с чего.

Куарра Ви и его андроид Тарн сидели в изгибе времени и проверяли, все ли до конца отлажено.

— Как я выгляжу? — спросил Куарра Ви.

— Сойдете за своего, — ответил Тарн. — В эпохе, в которой вы обьявитесь, никто ничего не заподозрит. Кстати, на синтезирование вашего снаряжения ушло совсем немного времени.

— Верно. Надеюсь, что материал, из которого сделаны предметы моего одевания, достаточно похож на шерстяную ткань и льняное полотно. Наручные часы, деньги — все в полном порядке. Часы... странно, не правда ли? Только представь, что есть люди, которые, чтобы определить время суток, нуждаются в каком-то механизме!

— Не забудьте очки, — сказал Тарн.

Куарра Ви надел их:

— Ух ты! Однако мне думается...

— С ними безопаснее. Оптические свойства линз предохраняют вас от мозговых излучений, а это вам пригодится. Не снимайте их: ведь робот может попытаться каким-нибудь хитрым способом надуть вас.

— Пусть лучше не пробует, — сказал Куарра Ви. — Этот беглый робот, так его раззтак. Хотел бы я знать, что он задумал? Он всегда был чем-то недоволен, но, по крайней мере, знал свое место. Как жаль, что я его создал. И не предугадаешь, что он может вытворить в эту почти доисторическую эпоху, если мы его не поймает и не вернем в наше время.

— Он сейчас вон в той палатке хироманта, — сказал Тарн, выг-

лянув из изгиба времени. — Только что прибыл. Вы должны захватить его врасплох. И вам понадобится вся ваша смекалка. Постарайтесь не впадать в то ваше состояние, когда, углубившись в свои мысли, вы полностью отключаетесь от действительности. Эти приступы могут навлечь на вас беду. Стоит зазеваться, и ваш робот не преминет воспользоваться одной из своих уловок. Не знаю, какие еще способности он развил в себе самостоятельно, но мне доподлинно известно, что сейчас он уже первоклассный гипнотизер и специалист по стиранию памяти. Если вы не примете мер предосторожности, он в мгновение ока уберет из вашего мозга всю информацию и заменит ее ложной. В случае нежелательного развития событий я подправлю вас реабилитационным лучом, хорошо?

И он показал небольшой, похожий на жезл, лучемер.

Куарра Ви кивнул:

— Не беспокойся. Я мигом вернусь. Ведь я обещал тому сириану, что сегодня вечером мы доиграем партию.

Это обещание он так никогда и не выполнил.

Куарра Ви вылез из изгиба времени и зашагал по дощатому настилу к палатке. Одежда казалась ему тесной, неудобной, ткань — грубой. Из-за этого он на ходу слегка поеживался. И вот уже перед ним палатка с выведенным на ней масляной краской призывом заглянуть в свое будущее.

Он откинул холщовый занавес, и какой-то предмет — кажется, небрежно повешенная веревка — мазнул его по лицу, сбив набор очки в роговой оправе. В тот же миг ослепительный голубоватый свет ударил ему в незащищенные глаза. Он почувствовал, что теряет ориентацию и все внутри и вне его как-то странно сместилось, но это ощущение почти сразу же прошло.

— Вы — Джеймс Келвин, — сказал робот.

Перевод с английского Светланы Васильевой

Всеволод Ревич

ПЕРЕКРЕСТОК УТОПИЙ

(У истоков советской фантастики)

1

Осмыслить октябрьский переворот средствами искусства — такая грандиозная задача выпала на долю первых советских писателей и художников. Даже тем из них, кто уже имел за плечами солидный творческий опыт, приходилось многое начинать с самого начала, настолько необычной, непривычной, воистину фантастической была наступающая на художников действительность.

Мир строится по новому масштабу.
В крови, в пыли, под пушки и набат
Возводим мы, отталкивая слабых,
Утопий град — заветных мыслей град,—

писал один из первых поэтов революции — Николай Тихонов. Он назвал свое стихотворение «Перекресток утопий» — перекресток, расположенный на дорогах мировой истории. Стихи заканчиваются как бы эпиграфом для рождающейся советской фантастики:

Утопия — светило мироздания,
Поэт-мудрец, безумствуй и пророчь, —
Иль новый день в невиданном сиянье,
Иль новая, невиданная ночь!

И фантастика, долгое время остававшаяся где-то на отдаленной периферии русской литературы, внезапно оказалась совершенно необходимым литературным жанром. Только она, только фантастика, позволяла увидеть голубые города будущего на месте развалин. Но ее роль этим не ограничивалась. Чтобы вытащить страну из разрухи, чтобы приступить к закладке нового общества, нужно

было выстоять. У молодой республики хватало врагов. Не только интервенты, не только «контра», ее тянули в пропасть обыватели, бюрократы, уголовники. Литература сразу вклинилась в борьбу. Оказалось, например, что фантастика великолепно сочеталась с сатирой, вернее — легко и естественно сама становится сатирой, что, впрочем, было известно еще со времен Свифта, но надо было приноровиться к нетрадиционным реалиям. Фантастика могла героизировать и высмеивать, предсказывать, предупреждать, утверждать и отрицать.

Стоит ли удивляться тому, что к фантастике оказались причастны такие разные писатели, как Маяковский и Алексей Толстой, Катаев, Грин, Платонов, Эренбург, Шагинян, Каверин, Булгаков, Асеев, Лавренев, впоследствии прославившие советскую литературу!

Можно, конечно, рассуждать так: через некоторое время писатели повзрослели, посерьезнели и отложили фантастику в сторону вместе с прочими юношескими опытами. Но, во-первых, многие вовсе и не отложили, а во-вторых, не вернее ли предположить, что обращение к фантастике в тот период вовсе не признак незрелости? И хотя большинство тогдашних книг интересующего нас жанра ныне перешло в ведение одних историков литературы — у ее создателей не было ни опыта, ни прочных традиций, — но как документы эпохи они представляют острый интерес. Ведь в фантастике непосредственно отражаются идеалы, мечты, стремления современников. Фантастика расцветает тогда, когда перед внутренним взором разверзаются безбрежные дали «земле назначенных столетий», равно как и бездны, от которых захватывает дух.

Сегодняшним глазом легко увидеть и высмеять просчеты, наивности и даже откровенные ошибки молодых авторов. Могло ли быть иначе? Ведь большинство этих просчетов, наивностей и ошибок можно классифицировать, только будучи вооруженным огромным опытом прошедших десятилетий. Но судить их по сегодняшним критериям в константе времени было бы просто несправедливо. Эпоха эта была, по выражению В. И. Ленина, «переходной», и четко сформулированных ответов на множество нахлынувших вопросов попросту не существовало. Их надо было еще найти, а потому нельзя покидать историческую точку отсчета, нельзя не видеть в произведениях того периода как раз те самые разведывательные поиски, без которых не проложить никаких трасс.

Сами несовершенства тогдашних произведений — тоже примета времени. Нам дорог жизнеутверждающий настрой фантастики 20-х годов, дорога ее вера в безграничные творческие возмож-

ности человека и человечества, юношеская задиристость и уверенность в своей исторической правоте, — такого удивительного и многообразного социального феномена, как советская фантастика 20-х годов, нигде не было и быть не могло — сравнивать ее не с чем...

Для того чтобы более или менее полно охарактеризовать 10—12 послереволюционных лет, потребовалась бы, вероятно, книга, а этот очерк претендует только на более или менее общий набросок некоторых характерных книг и черт эпохи, может быть, надо сказать, самых характерных. Но и среди них компетентный читатель легко заметит пропуски, два из которых могут показаться необъяснимыми. Речь идет о романах А. Толстого «Аэлита» и «Гиперболоид инженера Гарина», лучшим из того, что было создано советской фантастикой в те годы. Уже из этой оценки ясно, что их отсутствие — не случайный недосмотр. По романам А. Толстого существует большая и всесторонняя критическая литература; здесь же хотелось затронуть сочинения менее доступные, а на известные попробовать взглянуть сегодняшними глазами.

Назовем для начала имя, которое совсем не упоминается в «фантастических» работах, хотя автор своеобразных, ни на что не похожих то ли стихотворений, то ли поэм в прозе Алексей Гастев вовсе не забыт, его имя можно найти в любом курсе советской литературы.

Может быть, именно гастевские поэмы (будем их так называть) надо считать тем самым последним и первым звеном в цепочке, которая связывает дореволюционную фантастику с советской.

Его поэмы пользовались огромной популярностью в первые годы Советской власти, они воспринимались как непосредственный отклик на революционные события. На деле же они были созданы еще до Октября. Просто поэт сумел заранее почувствовать настроения, которые овладели народными массами после великого переворота, сумел воспринять всеобщую жажду переустройства. А. Гастев, один из основателей небезызвестного Пролеткульта, считается певцом машин — это верно. Но не холодное, обездушенное железо возникает перед нами в его строках, он поэтизирует создания человеческих рук и мозга, сливает их с человеком, наполняет металлические артерии живой кровью.

Его башня пробила шпилем высоту, разорвала, разбросала облака, его рельсы опоясали весь земной шар и рвутся дальше, в космос, их пытаются «поднять и продвинуть в бездонных, безвестных, немых атмосферах к соседним, еще не разгаданным, чуждым планетам». Конечно, перед нами романтические гипербо-

лы, но в их стилистике, в специфике поэтического видения уже есть зачатки новой фантастики, которая с самых первых своих опытов замахнулась на безбрежные горизонты земли и неба: недаром В. Хлебников называл поэзию А. Гастева «миром научных образов», «странных научных видений».

Вот, например, поэма «Кран». Гигантских, глобальных размеров кран, который строился годами, даже веками как олицетворение рабочей мощи, творческих свершений человечества. Нет таких препятствий, нет таких тяжестей, которые были бы не по плечу этому исполину. Кран начал с малого, с домиков, потом перенес железнодорожный виадук и водонапорные башни, поднял со дна моря затонувший корабль. Кран все время растет, становится сильнее и сильнее, он уже затевает неслыханные дела: «В Азии транспортным постройкам помешали Гималаи... Никто и не подумал о туннелях: краном приподняли весь горный кряж и низвергли его в индийские болота». Но и этого мало. Новая дерзновенная мысль возникает у лихих «такеджников»: они хотят сдвинуть с места самое Землю! Зачем? А вот зачем: «Эй, вы, тихие потребители жизни! Разве вы не видите, как неудобно посажена Земля, как неловко сидит она на орбите? Мы сделаем ее безбоязненно-гордой, дадим уверенность, пропитаем новой волей». Здесь Гастев, в сущности, предвосхитил главную тему будущей советской фантастики, ее пафос, пафос решительной, революционной переделки, пафос создания нового мира.

Весьма современно звучит и гастевский «Экспресс». Поэт совершает путешествие по преображенной Сибири в чудо-поезде, восхищаясь великими делами, стройками, заводами, научными учреждениями, которые проносятся за окнами его безостановочного состава. Он называет вымышленные и существующие города — Иркутск, Красноярск, Якутск, он переименовывает Ново-николаевск в Сталь-Город, не зная еще, что он будет называться Новосибирском...

Некоторые совпадения с сегодняшним днем Сибири поразительны, не будем забывать, что все это писалось до революции: «...Экспресс мчится по залитым солнцем пашням, где все лето бороздят и ровняют поля стальные чудовища-машины», «только что закончен постройкой сибирский музей, ставший целым ученым городом. Университет стоит рядом с музеем, кажется маленькой будочкой, но он уже известен всему миру своими открытиями...», «Все... сопки давно одеты стальными асбестовыми кожухами, дар земли собирается, немедленно трансформируется и переводится в энергию...».

И залежи угля на дне океана, и хрустальные дворцы из морского янтаря, и туннель из Азии в Америку, и стремление согнать

снега с полюса, изменить направление теплых течений, смягчить весь арктический климат — А. Гастев заглянул даже дальше сегодняшнего дня. Но дело, конечно, не в конкретной осуществимости его проектов; «Экспресс» — вовсе не научно-техническое предвидение, а гимн социальным переменам.

Конечно, в этой поэме нет и еще не могло быть привычных нам обозначений социалистической системы хозяйства, там идет речь о синдикатах и трестах, но главное ухвачено верно.

Своими глобально-космическими образами поэмы А. Гастева напоминают некоторые творения Маяковского первых лет революции, такие, как «150 000 000» или «Мистерия-буфф». И действительно, чувства, которыми были охвачены оба поэта, едины, недаром они относились друг к другу с большой симпатией...

2

Календарно первой фантастической книгой, вышедшей при Советской власти, был роман Н. Комарова «Холодный город» (1918). Это, конечно, еще не советская фантастика, но и не совсем случайный опус — «Холодный город» выдержал три издания. Действие его разворачивалось в XXII веке. По непонятным причинам повысилась температура Солнца и возрос подземный жар, на Земле воцарилась жгучая жара, непреходящая засуха. Для спасения страждущих американский инженер Том Хад предлагает построить Колтон — «Холодный город», исполинское сооружение на десять миллионов человек, где мощные холодильные установки (слова «кондиционер» еще не знали) будут поддерживать приемлемую для организма температуру. Как и положено в капиталистическом мире, проект вызывает строительный и финансовый ажиотаж...

И тема глобальной катастрофы, с которой должно вступить в сражение человечество, и грандиозные технические начинания — все это много раз будет повторяться в фантастике XX века. Тогдашние «фантазии техники», порой наивные, порой прозорливые, оразили впечатление, произведенное иногда даже пугающими достижениями науки и техники в конце XIX и начале нынешнего столетия; пожалуй, скорее техники, чем науки. И в свете сегодняшних свершений такие предприятия, как Суэцкий и Панамский каналы, как Эйфелева башня, такие конструкции, как дизель, электромотор и радиопередатчик, выглядят достаточно внушительно. Нетрудно почувствовать в настроениях и сочинениях тех лет известную эйфорию, вызванную дерзаниями инженерной мысли; кажется, что техника всемогуща, а об отрицательных последствиях

индустриального прогресса еще никто не догадывается. Даже фантасты.

Что же касается только что родившейся Страны Советов, которой достались в наследство мертвые заводы и ржавые локомотивы, то для нее овладение техникой, технологическими знаниями было вопросом жизни или смерти. А если вдобавок практические нужды помножить на энтузиазм масс, то стоит ли удивляться трем изданиям даже такой не представляющей художественной ценности книги, как «Холодный город», открывающей список бесчисленных технических фантазий? Люди непременно хотели заглянуть поглубже, подальше, для начала хотя бы в одно узкое, техническое окошко. Впрочем, многим в те годы именно такой взгляд казался главным, даже единственным — в Жюле Верне и Уэллсе тоже видели прежде всего технических фантастов и радовались или огорчались, что их догадки сбываются или не сбываются. Надо заметить, что рецидивы подобных взглядов дошли и до наших дней, еще и сейчас фантастика по преимуществу находится в ведении молодежных научно-популярных журналов, а литературно-художественные издания печатают ее гораздо реже, хотя фантастика давно стала совсем другой.

Автор «Холодного города» Н. С. Комаров не был литератором, он был специалистом по холодильному делу, поэтому он уснащает страницы множеством конструкторских подробностей, доказывая, например, достоинства турбокомпрессорных установок перед поршневыми. Однако понятно, что даже простой инженер, доведись ему работать над столь грандиозным проектом, задумался бы над его социальными последствиями, а писатель тем более. Но как только главный герой романа поделился со страждущим человечеством своим замыслом, у читателя сразу же должны появиться многочисленные вопросы. Как отнесется к счастливым избранникам Колтона остальное народонаселение? Кто будет кормить десять миллионов затворников и чем, если даже в Аргентине падает скот? Чем они будут заниматься внутри своей башни? И если бы автор всерьез задумался над возникающими вокруг его города проблемами, то могла бы получиться действительно любопытная техническая утопия, наподобие вышедшего примерно в то же время известного романа немецкого писателя Б. Келлермана «Туннель».

Вспомним, что в основу его сюжета также заложен феноменальный строительный проект — железнодорожный туннель под Атлантическим океаном, позволяющий преодолеть расстояние от Европы до Америки всего за *сутки*. Целесообразность такого проекта сейчас кажется смешной. Б. Келлерман не сумел предвосхитить бурного развития авиации в самый-самый подходящий для такого

прогноза момент. Но все-таки истинно художественному произведению даже подобная промашка не наносит сокрушительного удара, потому что главное в нем — портрет времени, который устареть не может.

Немецкий романист четко представил себе, что случилось бы, если бы такой чудовищный проход и вправду начал пробиваться. Гипотетична только сама посылка, все детали реальны — таков один из обязательных признаков фантастики высокого класса. Масштабность строительства придает особую остроту всем акциям и конфликтам, захлестывающимся вокруг него. Мы видим как бы под увеличительным стеклом (это еще одно свойство хорошей фантастики) задействованные капиталистические механизмы, не останавливаемые, словно свинцовый маховик, — магнаты-миллиардеры, акционерные общества, биржевые спекуляции, жестокая эксплуатация строителей и демагогическая реклама — работа для безработных, большие заработки, исторические свершения! Главный вдохновитель проекта, тоже американский инженер Мак Аллан притворяется или даже воображает себя другом рабочих, но держит про запас пулеметы, чтобы справиться с бастующими. В финале мы находим туннель построенным, но он стоит на человеческих костях...

3

Очень быстро и в ранней советской фантастике появились книги, соединившие технические гипотезы с социальными.

Почти во всех тогдашних утопиях (что тоже черта времени) создание нового общества связывалось с мировой революцией, в скором наступлении которой авторы были уверены. Вот с какой речью обращается к красноармейцам черноморец Хведин в одном из вариантов романа А. Толстого «Восемнадцатый год». «Мы, рабочие и крестьяне, чего отчебучили, — а? Шестую часть света забрали в свои мозолистые руки... Наши кровные братья... наши братья трудящиеся на обоих полушариях должны поднять оружие... Троны и парламенты, оплоты кровавых эксплуататоров, полетят кверху ногами... Может, еще месяц, ну недель шесть осталось до мировой революции...»

Сегодня, должно быть, такой монолог вызовет добрую улыбку, но он был искренним. Ощущением близости «последнего дня» капитализма полны книги, фантастические особенно: ведь в них мировая революция представляла как дело свершившееся.

«Всем! Всем! Всем! В западных и южных штатах Америки пролетариат сбросил капиталистическое ярмо. Тихоокеанская

эскадра, после короткой борьбы, которая вывела из строя один дредноут и два крейсера, перешла на сторону революции. Капитализм корчится в последних судорогах, проливая моря крови нью-йоркских рабочих».

Это воззвание взято из романа Я. Окунева «Завтрашний день» (1924), но нечто подобное можно найти почти в каждом произведении.

Якову Окуневу принадлежит первая советская утопия — «Грядущий мир (1923—2123)». Здесь чуть ли не впервые в отечественной фантастике появляется фигура талантливого ученого, отшельника и энтузиаста, даже фанатика, сделавшего крупное открытие и держащего его в тайне; впоследствии эта фигура станет дежурной. Профессор Моран открывает особый газ, с помощью которого можно погрузить человека в анабиоз на любое время, что он и совершает, усыпляя в специальных камерах-гробницах свою дочь Евгению и молодого человека по фамилии Викентьев. В его поступке нет преступления или фанатизма, оба усыпленных смертельно больны, и профессор надеется, что медицина будущего сумеет их вылечить. Каждый знающий фантастику без труда вспомнит, сколько раз подобная ситуация использовалась различными авторами. Но сейчас мы имеем дело с истоками.

Первая часть книги изобилует всевозможными приключениями и событиями, включая мировую революцию, которая более подробно и почти в тех же выражениях описана в упомянутом «Завтрашнем дне». Для нас важно, что два наших современника проснулись через двести лет.

Что же они увидели? «Земли, голой земли так мало, ее почти нет нигде на земном шаре. Улицы, скверы, площади, опять улицы — бескрайний всемирный город...» Мужчины и женщины всемирного города одеты одинаково, головы без волос, лица бриты... В дореволюционной литературе (например, у В. Одоевского) встречались подобные города от океана до океана, и вот ту же картину пропагандирует Я. Окунев; видимо, он тоже воспринимал природу как противника, которого надо покорить, победить, расплатать у своих ног, чтобы человечество могло вздохнуть наконец свободно. И не одни литераторы призывали в те времена брать природу за горло. Только гений Чернышевского позволил ему увидеть будущее не в борьбе, а в гармонии с природой. Сегодня, конечно, вряд ли кто-нибудь согласится с перспективой навечно поселиться в бессолнечных каменных ущельях, а тогда это подавалось как заветная мечта, как страстное стремление человечества.

Евгению и Викентьева берет под покровительство некий Стерн; герои думают сначала, что он ученый. Но Стерн разубеждает их:

«Сегодня я читал лекцию. Вчера я работал у экскаватора. Завтра я намерен работать на химическом заводе...» Работа в их мире продолжается два-три часа в день, но она стала потребностью каждого; люди, которые не чувствуют такой потребности, считаются больными и подлежат принудительному лечению. Конечно, давно нет никаких преступлений, ведь для преступлений нужны мотивы, причины. Ну а на почве ревности, предположим? — допытываются не совсем убежденные наши соотечественники. Ревность, объясняет Стерн, это атавистическое, преодоленное чувство; впрочем, вынужден прибавить он, некоторых приходится все-таки свозить в лечебницу эмоций. Так пришлось поступить с Нелли, которая любила Стерна, но не нашла в нем понимания. Нелли внушили равнодушие к нему, но воспоминания о девушке тяжелы для Стерна. Значит, не столь просто снять с «повестки дня» свободное проявление человеческих чувств и вряд ли задача может быть решена, так сказать, в организационном порядке. Скорее всего, она никогда не будет решена, и, может быть, именно в такой неуспокоенности и скрывается значительная доля человеческого счастья. Нет, никогда не понадобится «лечебниц для эмоций»!

Если прибавить к этому, что люди будущего не теряют времени на сон, а воспитание детей отдано в руки общества, которое растит их на прекрасных Горных Террасах, то у читателя закрадывается вопрос: чем же эти люди заполняют свой досуг, ведь именно разумное использование свободного времени демонстрирует духовный потенциал общества? На это в утопии Я. Окунева ясного ответа нет.

Многие черты будущего, которые открылись нам в окуневском романе, будут через четверть века развиты в ефремовской «Туманности Андромеды». Правда, фантаст 20-х годов поступил, как многие тогдашние утописты: приметы будущего изложены в книге почти столь же конспективно, как в этом очерке. Автор боится развернуть их в живописное зрелище, тем более боится заглянуть в душу людей — Стерна, Нелли, а ведь возможности у него были, в начале той же книги весьма красочно описано бегство короля и миллиардера, улетающих от восставшего пролетариата. Если бы Я. Окунев попробовал дать художественную панораму «Грядущего мира», мы бы имели прямую предшественницу «Туманности Андромеды». В предисловии он обращается к читателю: «Автор имеет основание опасаться, что он взял слишком большой срок для наступления царства грядущего мира и убежден, что через 200 лет действительность оставит далеко позади все то, что в романе покажется читателю выдумкой». Если мы вспомним авторское же вступление к «Туманности Андромеды», мы сможем убедиться, что ее создатель высказал точно такую же

мысль, и это еще больше сближает две книги, хотя они принадлежат совсем разным эпохам.

В 1922 году была издана в Канске под названием «Страна Гонгури», а в 1927 году переиздана в Госиздате под названием «Открытие Ризля» повесть сибирского литератора Вивiana Итина — одно из наиболее совершенных по своему исполнению произведений ранней советской фантастики.

Первый вариант «Открытия Ризля» был написан В. Итиным в бытность его петербургским студентом в 1917 году. Лариса Рейснер, хорошо знавшая Итина, отнесла рассказ в горьковскую «Летопись». По воспоминаниям автора, Алексею Максимовичу рассказ понравился, но «Летопись» перестала существовать раньше, чем он попал в набор, а затем в суматохе событий рукопись и вовсе потерялась.

Судьба занесла В. Итина в Сибирь, где он стал непосредственным участником борьбы с белогвардейцами и активным строителем новой, социалистической культуры. В Красноярске он работал вридзавгубюстом, в Канске был одновременно завagitпропом, завполитпросветом, завуроста, редактором газеты и председателем товарищеского дисциплинарного суда. Туда, в Канск, родные переслали ему чудом отыскавшуюся рукопись «Открытия Ризля», которую он напечатал в местной типографии. Впрочем, «Страна Гонгури» сильно отличается от первоначальной версии: в нее вошли непосредственные авторские впечатления от гражданской войны. О судьбе фантастической книжки, вышедшей в те годы в далекой сибирской провинции, В. Итин отозвался с иронией: «Расходы мне удалось вернуть. Канские крестьяне покупали книжку: бумага была подходящей для курева, а цена недорогая: всего 20 000 руб. за штуку». Тем не менее книга была замечена Горьким, и впоследствии В. Итин изумлялся, каким образом тот сумел заметить в солнечном Сорренто рождение «Страны Гонгури» на берегу таежного Кана.

В «Открытии Ризля» сосуществуют два плана — реальный и воображаемый. В реальном — молодой большевик Гелий, попавший в плен к белочехам, ждет утра, на рассвете его расстреляют. Вместе с ним в камере находится старый доктор, заподозренный в сочувствии коммунистам. Из сострадания врач погружает юношу в гипнотический сон, содержание которого и составляет фантастическую часть повести. В этом сне Гелий осознает себя другой личностью, живущей в мире под другим солнцем — в прекрасном мире, расположенном на нескольких планетах, где нет войн, нет социальных неурядиц, а люди увлечены духовными материями — наукой, поэзией, любовью.

Хотя повесть В. Итина мало похожа на традиционную утопию

типа окуневской — повествование переведено в романтический план, — но тем не менее мимоходом автор набросал социальные и научно-технические параметры своей «Страны» («Преступление стало невозможным, как ... ну, как съесть горсть пауков» или «В реторте ... впервые зашевелилась протоплазма, созданная путем синтеза...»). Здесь беглость изложенных примет нельзя поставить автору в укор, потому, что не они у него главные.

В том мире Гелий осознает себя молодым ученым Ризлем, сделавшим великие открытия. Так, он изобрел вещество онтэ, освободившее людей от оков тяготения, сконструировал аппарат, с помощью которого можно заглядывать в прошлое разных миров. Картины мироздания, одна величественнее другой, проходят перед ним, как на экране. При этом он видит поступательное движение материи: «Мир идет не к мертвому безразличному пространству, где нет даже миражей лучшего будущего, а к накоплению высшей силы». В своих скитаниях по космосу он наталкивается на Землю, и кровавая человеческая история предстает перед его взором, заставляя его ужасаться и думать, может ли он помочь земному человечеству. Ризль удостоен самых высоких почестей, его любит самая красивая девушка планеты — очень поэтично описанная Гонгури. Гелий в своих грезах и всю страну назвал ее именем. Но Ризль ненасытен, ему всего этого недостаточно, он хочет проникнуть в сокровенные секреты Вселенной, он хочет достичь невысказанного совершенства, и, убедившись, что это ему не по силам, решает уйти из жизни. Такой неожиданный сюжетный поворот, резко контрастирующий с предыдущими жизнеутверждающими сценами, видимо, по мнению автора, должен был перекинуть мостик к трагической судьбе Гелия, иначе бы возникла обыкновенная слащавая сказочка, «золотой сон», навеянный несчастной жертве.

Автор «Открытия Ризля» станет через несколько лет одной из заметных фигур в литературной жизни Сибири, центром притяжения ее культурных сил, редактором журнала «Сибирские огни». Он много путешествовал и написал книги о первых отечественных летчиках... Сейчас его произведения переизданы.

Следующая утопия, которая может задержать наше внимание, — «Через тысячу лет» еще одного инженера, В. Д. Никольского (1926). Профессия автора, кстати, выносилась на титул книги; очевидно, издатели считали, что это придавало особую достоверность повествуемому. На первой же странице мы обнаруживаем традиционную, можно сказать, серийную (на рисунке она похожа на батискаф) машину времени, которая без приключений переносит героев в XXX век.

Знакомясь в этой книге с приметами еще одного блистающего мира, мы особенно отчетливо обнаруживаем, как трудно сочинять утопии, как трудно изобретать что-нибудь принципиально новое даже на бумаге. Конечно, мир, открывшийся перед нашими современниками, лучше, светлее, чище, богаче нашего, но, пожалуй, мы не найдем в нем ничего такого, чего не было бы полвека назад, хотя бы в наметках, — только в книге выглядит все больше, быстрее, сильнее — фантазия автора движется по отполированным рельсам прямой экстраполяции. «Я видел пресс, шутя плющивший глыбу стали величиной с добрый вагон, токарный станок, бесшумно обрабатывающий длинный стальной вал, толщиной в рост человека и весом, наверно, не в одну сотню тонн...» Автору не приходит в голову, что такие бессовестные расточители металла, как токарные станки, исчезнут много раньше чем через десять веков...

Конечно, металлургический завод будущего непохож на дымящую громадину, он чист, светел, заключен в непроницаемые колпаки, угольное топливо заменено водородным, — безотходная технология, как бы мы сейчас сказали. Понятно, что для фантаста двадцать шестого года это было большим достижением, чем для сегодняшнего. Энергия передается без проводов! Железо они добывают из шахт глубиной в две тысячи километров! Воздушные корабли движутся со скоростью, превышающей видимое движение Солнца. Есть и искусственный спутник Земли, кстати, он так и назван. Правда, запустить такой спутник человечество смогло лишь сто лет назад, то есть в XXIX веке. Словом, в отношении темпов и достижений научно-технического прогресса «Через тысячу лет» намного уступает «Красной звезде» А. Богданова, созданной еще в 1908 году. Фантазия откровений, не фантастика, а именно фантазия, — штука редкая, и каждая ее искорка должна цениться очень высоко, наравне с самородными камнями.

Как всегда, самым трудным для автора оказываются социальные проблемы, а тем более внутренние миры жителей XXX века. Чаще всего В. Никольский попросту их обходит.

Пожалуй, самое интересное в его утопии — это ретроспективный (для людей XXX века) обзор человеческой истории, в период после старта машины времени, то есть после 1925 года, особенно обзор истории второй половины XX века, то есть нашего времени.

Есть в книге строка, которая заставляет сегодняшнего, именно сегодняшнего читателя вздрогнуть. Дело в том, что автор предсказывает атомный взрыв, который произойдет в 1945 году!

Пусть это случайность, но она, право же, заслуживает быть

отмеченной. Взрыв этот происходит на севере Франции, и не во время боевых действий, а по вине империалистических и милитаристских кругов, которые подгоняли своих ученых, чтобы те как можно быстрее завершили работу над созданием дьявольского оружия. Автор правильно осознал необыкновенную разрушительную силу атома и даже преувеличил ее. «На снимках, сделанных астрономами Марса, ясно виден среди темного фона Земли этот вихрь сине-голубого цвета, взметнувшийся огненным протуберанцем на огромную высоту, около четверти радиуса планеты...» «Дождь земли и камней... завалил под собой десятки цветущих городов Франции и Южной Англии, создав бесчисленные Геркуланумы и Помпеи, засыпал Ла-Манш, разделявший обе эти страны, и в смертельном объятии спаял их в один материк...»

Очень похожа и атомная демагогия империалистов. До взрыва они утверждали, что «военная техника западноевропейских держав получит... такое оружие, которое сделает всякую войну невозможной — конечно, для тех, кто этим оружием не обладает», добавляет автор. После катастрофы истинные виновники пытаются свалить вину на возрожденную Россию.

В 1926 году появилась еще одна книга, подстраивающаяся под рубрику утопий, — это «Гибель Британии» Сергея Григорьева, старейшего советского детского писателя, автора многих книг, среди которых были весьма популярные в свое время «С мешком за смертью», «Берко-кантонист», «Суворов»...

«Гибель Британии» на современный взгляд выглядит очень странным сочинением. В нем много удачных технических новшеств: принципиально иные виды транспорта, чудесные агротехнические приемы, ускоряющие рост растений в десятки раз, или такие несерьезные, но, право же, остроумные проекты, как организация социальной революции... в пчелиных ульях, чтобы, так сказать, поднять у работников нектара производительность труда, или способ присоединения Англии к матерiku при посредстве особо энергичного вида корненожек: они будут размножаться в море с такой скоростью, что сначала превратят воду вокруг островов в известковое молоко, потом в кашу и, наконец, в камень.

Все это изобретается в новой стране по имени Чинграу на месте бывших пустынь Средней Азии, превратившихся ныне в цветущий сад. Вызывает удивление, однако, что достижения новой страны совершались как бы втайне от остального мира. И когда в нее прибывает американский корреспондент Бард Ли, его репортажи явились для Запада полнейшей неожиданностью. Миссии Барда, заметим, никто не препятствовал, наоборот; так что остается непонятным, почему у него не нашлось ни одного

предшественника, который бы полюбопытствовал заглянуть, что же это делается на берегах Амударьи... «Сегодня получил обе Ваши книжки и тотчас же прочитал,— писал Горький С. Григорьеву из Сорренто.— «Гибель Британии» весьма понравилась и удивила меня густотой ее насыщенности, ее русской фантастикой, остроумием. Пожалел, что Вы не использовали «Геохимию» В. И. Вернадского, его гипотеза открывает широчайший простор воображению художника».

4

Чтобы не совсем нарушать общепринятого представления о фантастике как средстве для развлечения, перейдем к более забавным историям. В первой половине 20-х годов возник весьма своеобразный жанр, получивший ироническое наименование «красного Пинкертона», и, хотя он числится по истории детективной литературы, к нашей теме он имеет прямое отношение, так как детективные элементы в нем почти всегда были замешаны на фантастической посылке. И надо заметить, что детективная сторона чаще всего повторяла нелучшие западные образчики, а вот фантастика была своей, незаемной.

Для нас Пинкертон и пинкертоновщина стали нарицательным обозначением бульварщины, но в то время этот лозунг, надо полагать, казался приемлемым в попытках создать увлекательную приключенческую литературу для юношества на таком необозримом, богатом приключениями материале, как революция, гражданская война, международная солидарность трудящихся, борьба с нарождающимся фашизмом... Об этом свидетельствует М. С. Шагинян в статье «Как я писала «Месс-Менд».

Большинство произведений упомянутого жанра сейчас вряд ли можно читать без не предусмотренного авторами смеха; впрочем, можно предположить, что и в те времена авторы не сохраняли на лицах скучливой серьезности, бросая своих героев в каскады невероятных приключений. Это была игра, была попытка растормошить читателя, не всегда удачная, но чаще всего задорная. За перо охотно брались весьма уважаемые литераторы. В «Записках старого петербуржца» Льва Успенского есть превосходное место, где рассказывается о том, как они с приятелем трудились над сочинением подобного романа.

«Ни разу нас не затруднило представить себе, что было «во мраке чернильной ночи»: там всегда обнаруживалось нечто немислимое. Мы обрушили из космоса на Баку радиоактивный метеорит. Мы заставили «банду некоего Брегадзе» охотиться за

ним. Мы заперли весьма положительную сестру этого негодя в нескораемый шкаф, а выручить ее оттуда поручили собаке.

То была неслыханная собака: дог, зашитый в шкуру сенбернара, чтобы между этими двумя шкурами можно было переправлять за границу драгоценные камни и зашифрованные донесения мерзавцев. При этом работали мы с такой яростью, что в одной из глав романа шерсть на спине этого пса дыбом встала от злости — шерсть на чужой шкуре!»

Как это ни странно, — а может быть, вовсе не странно, — но книга была издана — под псевдонимом Л. Рубус, под названием «Запах лимона», в Харькове. За полной библиографической редкостью этого издания точную дату его выхода самому автору воспоминаний установить не удалось. Но в Ленинской библиотеке экземпляр все-таки сохранился — «Запах лимона» вышел в 1928 году...

Чтобы еще более расширить представление о том, что это была за литература, остановимся на романе, который немногим отличался от «Запаха лимона», назывался он «Иприт», был написан Всеволодом Ивановым и Виктором Шкловским и выпускался в 1925 году центральным издательством страны отдельными тоненькими выпусками с немалым по тем временам тиражом — 30 тысяч экземпляров. Можно думать, что были читатели, которые охотились за этими выпусками, что именно такая книга определяла их круг чтения.

Если искать ее основополагающий принцип, то с наибольшей полнотой он определен известной поговоркой: «В огороде бузина, а в Киеве дядька». Капустник, словесная игра, тоже может быть полноправным участником литературного процесса, но все-таки тема и средства не должны быть совсем разобщенными; здесь же они не просто впали в противоречие, между ними возник настоящий антагонизм. Вряд ли стоило мешать картины мировой революции, международного рабочего движения, химической войны с невероятными похождениями бывшего матроса Пашки Словохотова, который вкупе с дрессированным медведем Рокамболом носится по нашей стране, по морям и океанам, по разным государствам, то в сундуке, то на крыле самолета... (А. Бритиков нашел любопытное свидетельство одного из критиков тех лет о том, что Павел Словохотов существовал на самом деле. Это, конечно, никакого значения не имеет, потому что в главном герое «Иприта» нет ничего от живого человека.) Пересказать сюжет этого произведения невозможно даже в принципе, потому что событий в романе слишком много, больше, чем по одному на страницу, а в тех местах, где особенно чувствуется экспрессивно-рубленый

стиль В. Б. Шкловского, так и больше чем по одному на каждую фразу, вроде: «Глава 42, в которой НЬЮ-ЙОРКСКАЯ БИРЖА ИСПЫТЫВАЕТ ПОТрясение, а население бежит на пляж, не взяв с собой купальных костюмов...»

Из композиционных соображений мы начали с неудачи, но сам «Иприт» родился на волне шумного успеха, выпавшего на долю романа Мариэтты Шагинян «Месс-Менд». «Месс-Менд, или Янки в Петрограде» вышел в 1923 году; это очень веселый и лихо закрученный роман-сказка и, может быть, первое в нашей стране антифашистское произведение. Это был первый опыт М. Шагинян в столь новом для нее жанре, и, может быть, поэтому в первом издании своего романа писательница скрылась под псевдонимом, придумав молодого американца Джима Доллара и создав ему во вступительной части целую биографию, такую же, впрочем, пародийно-гротесковую, как и все остальное. Ее игру поддержал тогдашний директор Госиздата Н. Мещеряков, написавший лестное для автора предисловие. С тех пор писательница вставляла «Месс-Менд» почти во все собрания своих сочинений, уже ничего не стесняясь.

Основная идея романа: лишь рабочие — подлинные хозяева жизни, потому что их трудом созданы все богатства, все вещи, все земные блага.

Основная тема романа — международная солидарность трудящихся, разоблачивших и обезвредивших коварные происки империалистов и фашистов.

Основная фантастическая посылка романа — вещи, сделанные руками рабочих, другими словами, все вещи на свете подчиняются и служат своим творцам; стоит лишь произнести магическое заклинание «Месс-Менд», и они будут помогать труженикам и досаждать их врагам.

Главный герой романа — словно взятый из народных легенд неунывающий рабочий-вожак Мастер Тинг-мастер одаривает вещи волшебной силой сопротивления. «Замки, самые крепкие, хитрые наши изделия, — размыкайтесь от одного нашего нажима! Двери пусть слушают и передают, зеркала запоминают, стены скрывают тайные ходы, полы проваливаются, потолки обрушиваются, крыши приподнимаются, как крышки. Хозяин вещей — тот, кто их делает...»

Союзу рабочих противостоит мрачный союз реакции, замышляющий авантюры против собственного пролетариата и молодой Советской Республики, — прежде всего миллиардер Кресслинг и фашист Чиче. Это мир уродов, и писательница доводит метафору о том, что они потеряли человеческий облик, до логического предела. Когда Чиче раздевают, оказывается, что степень дегенерации

дошла у него до того, что он превратился в хищное кошкообразное существо...

Герои, прибывшие в Советский Союз, чтобы предотвратить вражескую диверсию, которая должна уничтожить советских руководителей, застают не тот холодный и голодный Петербург, в котором молодая писательница сочиняла романтическую сказку. «Может быть,— вспоминает М. Шагинян,— читатель удивится тому, как описывает Джим Доллар Петроград 23-го года. Разумеется, он не был и не мог быть таким, и его чудесные лаборатории, Аэроэлектроцентраль и экспериментальные заводы — плод авторской фантазии. Но я решила описать нашу страну такой, какой она мерещилась мне в далеком будущем,— светлой страной непобедимой техники, величайших открытий, победы над голодом, климатом, болезнями...»

Главное, что предугадала писательница в своем романе,— новая комплексная социалистическая система хозяйства, пафос социалистического строительства; все это в недалеком будущем станет главной темой советской литературы, в том числе и творчества самой М. Шагинян. Фантастика и в этом направлении опередила остальную литературу.

Конечно, многое в «Месс-Менд» сегодня кажется наивным. Но эта наивность шла в чем-то от замысла романтической сказки, и, хотя новые, послевоенные издания автор основательно переработала, главное в своем раннем романе она оставила нетронутым, а это главное — аромат «тех годов большой молодости нашей литературы, когда и наша великая страна, и мы, и читатели наши переживали раннее утро нового мира...».

Роман имел успех не только у нас в стране, он был целиком напечатан в газете немецких коммунистов «Роте Фане», в Париже, в газете армянских демократов, в Австрии и Германии он в те годы выдержал несколько изданий. Как свидетельствует сама писательница, отзывы немецких рабочих о романе составили целую книжку.

Своеобразным свидетельством популярности романа в Германии была повесть немецкого коммуниста журналиста Р. Т. Марка «Месс-Менд — вождь германской Чека», переведенная и у нас; в ней автор высмеивает германскую буржуазию, придумавшую в провокационных целях террористическую группу «Чека», которая якобы по заданию ЦК Германской компартии организует нападения на политических деятелей.

Рабочие-активисты борются с этими провокациями примерно теми же способами, что и герои романа М. Шагинян. О стиле повести может дать полное впечатление одна цитата: «Он снял свои роговые очки, поставил на пол — они превратились в лифт

(теперь читателю ясно, для чего все коммунисты носят роговые очки) — и исчез в бездне вместе со своим сообщником...»

В дальнейшем М. Шагинян дополнила «Месс-Менд» романами «Лори Лэн, металлист» и «Международный вагон, или Дорога в Багдад», но эти романы писательница никогда не переиздавала.

В общем-то, отработав свое, в лучших образцах не без пользы для общего дела, перенасыщенный выстрелами «красный детектив» мирно отошел в историю литературы. Но не стоит забывать об уроках, как положительных, так и отрицательных; попытки влить передовое политическое содержание, используя форму и приемы бульварного романа, даже в то менее взыскательное время приводили к неудачам, а о сегодняшних днях и говорить нечего. Однако, как это ни странно, и сейчас еще, бывает, раскроешь толстый том конца 70-х, тут тебе и борьба за мир, и международное сотрудничество, и водородные бомбы, и вдруг пахнёт такой бульварщиной, замешанной на разных бермудских треугольниках, что поневоле вспомнишь Пашку Словохотова с его косолапым Рокамболом...

5

Повторю, что к фантастике 20-х годов очень трудно применять сегодняшний критерий качества, и уж совсем нет уверенности, что читатели и критики тех лет согласились бы с нашими суждениями. Они зачастую вовсе не замечали того, что сейчас нам кажется интересным, даже открытием, и высоко оценивали то, что нам представляется откровенной наивностью. Впрочем, «высоко оценивали» — это, пожалуй, преувеличение. Критика того времени не отличалась ни сдержанностью, ни тактичностью, она ухитрилась не заметить художественного своеобразия даже романов Алексея Толстого. Хотя нельзя не признать: под титулом фантастики появлялись произведения, которые и вправду не заслуживали снисхождения.

Предприимчивые американские авторы первыми угадали возможность легкой и выгодной коммерциализации фантастики. И на головы читателей обрушились миллионные тиражи космических «опер», бесчисленных докторов Франкенштейнов, романов ужасов... Королем этого, если так можно выразиться, литературного направления был Эдгар Берроуз, автор небезызвестного Тарзана и цикла романов о похождениях бравого вирджинца Джона Картера на Марсе... Между прочим, подобная продукция усилиями частных издательств без задержки переводилась и у нас, и мо-

лодая советская фантастика вела с ней жестокую идейную борьбу.

Попытки создать отечественную «космическую оперу» успехом не увенчались, но все-таки были. В этом плане наибольшей известностью, если опять-таки можно так сказать, пользовался роман Н. Муханова «Пылающие бездны» (1924). В нем повествуется об очередной войне Земли с Марсом ровно через пятьсот лет после создания романа. Марс потребовал от землян убраться с астероидов, где велась добыча необходимого для экономики обеих планет «небулия», ни дать ни взять конфликт двух нефтяных империалистических держав. Космические эскадры ведут боевые действия исключительно с помощью лучевого чрезвычайно разнообразного оружия, а именно: у землян — сигма-лучи, тау-лучи, фита-лучи, омега-лучи; у марсиан техника победнее, есть только икс-лучи, но и с ними тоже шутки плохи. Попробуй зазевайся, и «завтра по путям эклиптики Земли и Марса клубились бы лишь скопления первичной туманной материи...». «Впрочем,— добавил начальник межпланетного флота,— и этим не следует смущаться». Если прибавить еще двух марсианских красавиц, в которых тайно влюблен командующий воздушным флотом Земли, и изобретение земным ученым межпланетного тормоза, с помощью которого удалось замедлить вращение Марса по орбите, то содержание этого романа становится относительно ясным.

Примерно так же можно оценить книгу Г. Арельского «Повести о Марсе» (1925). Правда, в ней есть удачная пародия на космическую писанину. Заметил ли автор, что жало ее обращено и против него самого? «Фабула пьесы была следующая. Сын организатора Межпласо (Межпланетные сообщения.— *В. Р.*) влюбился в одну артистку с Юпитера. Он ее видел только в фильмах и слышал ее голос в «межпланетной радиоопере». Он решается ехать на Юпитер и объясниться ей в любви. Но в то время, когда он совершает свой перелет, происходит столкновение аэромобиля с одним из астероидов, Церерой. Все гибнут. Один только сын организатора попадает на астероид и совершает на нем оборот по его орбите вокруг Солнца. Межпланетные газеты разносят этот случай по всем планетам и печатают его портреты.

Читая газеты, артистка-юпитерианка в свою очередь влюбляется в сына организатора. Она собирает экспедицию и отправляется его спасать. В конце концов она его находит. Все кончается благополучно. Виновник приключения женится на артистке-юпитерианке и выпускает свою книгу впечатлений на Церере, которая делает его знаменитым писателем...»

Раскладывая фантастику 20-х годов на ряд принятых рубрик-полочек, нельзя упустить из виду, что деление это весьма условно.

Мы можем найти в «красном детективе» существенные элементы утопий, а в еще одной группе произведений, названной «романами о катастрофах» или, короче, «романами-катастрофами», опорой нередко служила детективная конструкция. Но все же какой-то хоть приблизительный порядок эти рубрики позволяют навести. Особняком стояла, пожалуй, лишь толстовская «Аэлита», выделялась она и по художественному совершенству, в то время как «Гиперболоид инженера Гарина» того же А. Толстого примыкал как к «красному детективу», так и к «романам-катастрофам».

Привлекательность «катастрофической», чрезвычайной ситуации для писателя-фантаста понятна: в момент, когда вокруг рушатся миры, физические или социальные, происходит проверка на прочность не только людских характеров, но и общественных структур.

Одним из первых обратился к этому жанру Илья Эренбург. В романе «Трест Д. Е. История гибели Европы» (1923) он нарисовал фантазмагорическую и в то же время весьма реальную картину всеобщей бойни, в огне которой гибнет Старый Свет. Бойня эта организована и спровоцирована американскими миллиардерами как для устранения основных конкурентов, так и для ликвидации революционных настроений, назревающих в рабочих рядах Европы. Несмотря на то что роман отразил, как это бывает всегда, представления того времени и личные представления автора о соотношении революционных сил, о методах ведения войн, о том, из какой страны милитаристы всего опасней, многие сцены оказались пророческими и, к несчастью, разыгрались в натуре на полях второй мировой войны. Более того, в 60-х годах в мемуарах «Люди, годы, жизнь» И. Эренбург скажет о своем давнем романе: «Я бы мог его написать и сейчас с подзаголовком «Эпизоды третьей мировой войны». Это опять-таки свойство и сила фантастики — рисовать обобщающие картины.

Попробовал свои силы в фантастике и другой молодой, а впоследствии тоже ведущий советский писатель — Валентин Катаев. В романе «Повелитель железа» (1925) он попытался представить себе, что случится, если будет осуществлена мечта всех пацифистов: изобретена машина, делающая невозможными военные действия. И вот такая машина, намагничивающая все железо, изобретена русским (но не советским) ученым Савельевым, забаррикадировавшимся где-то в Гималаях. Он выставляет ультиматумы народам и правительствам и даже приводит свою устанковку в действие; пушки и ружья стрелять перестают, и сабли прилипают к столбам; военных действий это, понятно, не прекратило.

В. Катаев никогда не переиздавал свой роман, но все-таки есть в книге образ, который заставляет об этом пожалеть. Это

юмористическая фигура племянника великого Холмса — тоже сыщика Стенли Холмса. Откуда у Шерлока взялся родственник? Как вы помните, у него был брат Майкрофт. Так вот этому брату и подбросили ребеночка, его собственного, впрочем. На семейном совете было решено, что отдавать мальчика в приют безнравственно, он воспитывался в доме на Бейкер-стрит, воспринял все манеры, стиль Шерлока и пытается ему во всем подражать; так, Стенли повсюду носит скрипку и главным образом в самые неподходящие моменты начинает, полускрыв глаза, играть в соответствии со временем вальс «На сопках Маньчжурии». Множество забавных приключений придумал автор для своего незадачливого сыщика. Чтобы изловить вождя индийских коммунистов Рамашчандру, Стенли гримируется под него, но сам попадает в ловушку и, связанный, с кляпом во рту, выдается полиции за большой выкуп...

Второй фантастический роман тех лет, «Остров Эрендорф», В. Катаев включает в новейшие собрания сочинений, хотя можно было бы поступить и наоборот. В этом романе на Землю надвигается беда погрознее: вся суша должна погибнуть в пучине вод за исключением одного маленького островка. Разумеется, катастрофу предсказал старый, не от мира сего ученый. «Стоит ли из-за этого расстраиваться, — утешает он дочку, — каждые 10—15 миллионов лет происходят подобные изменения». «Прочитавши с первых строк, — продолжает писатель, — о престарелом профессоре, который производит какие-то очень сложные вычисления, затем взволнованно трет седеющие виски большим профессорским платком, читатель, конечно, имеет полное право отнести к моему роману скептически и бросить его читать с первой страницы». Как видим, уже тогда ощущалась расхожесть подобного сюжетного хода, тем не менее мы будем обнаруживать чудаков-профессоров с седеющими висками и в самых новейших изданиях.

Разумеется, к концу повествования окажется, что из-за ошибки в арифмометре, подведшем ученого, погибнет в катаклизмах только островок, а остальная твердь останется незыблемой. Но можно представить себе, какая паника царила в мире и как рвались толстосумы захватить местечко на острове. Как и «Повелитель железа», книга написана в стиле веселой пародии, начинающейся прямо с заглавия, ведь «Эрендорф» откровенно образован от «Эренбурга»: в романе выведен образ плодовитого прозаика, собирающегося организовать питомник своих читателей, «выбранных из самых выносливых сортов безработных»... Впрочем, насмешка автора над коллегой вполне дружелюбная, порой даже лстящая...

В 1927 и 1928 годах вышли в свет два романа Владимира Орловского «Машина ужаса» и «Бунт атомов», книги посерьезнее. В первой из них, написанной в реалистическом, бытовом ключе;

мы снова находим изобретателя-одиночку, сконструировавшего машину, посылающую на людей волны беспричинного ужаса, только на этот раз перед нами не идеалист-миротворец, у миллионера Джозефа Эликота зловещие намерения: захватить власть над миром, впрочем, в отличие от инженера Гарина ему удастся сделать только первые шаги.

Если не считать только что упомянутого «Гиперболоида инженера Гарина», то, пожалуй, лучшим среди этой группы произведений был роман В. Орловского «Бунт атомов». Еще раз отметим, что фантасты 20-х годов очень интересовались внутриатомной энергией и в общем-то верно предугадали и ее невообразимую мощь, и те опасности, которые она несет миру. (Парадоксально, что в фантастике 30-х годов, когда учащенное дыхание атомного века уже чувствовалось за плечами, тема эта исчезла напрочь.) В пьесе Анатолия Глебова «РАГ-1. Золото и мозг» (1929) происходит примечательный диалог между изобретателем нового вида энергии Ромэдом и коммунистом Зоргом:

«Зорг. А если все-таки они получают ваши формулы? Вы представляете, что будет, если завтра атомная энергия сделается орудием кучки хищников? Они получают безраздельное господство над всем миром... Они обрушатся на Советский Союз, на рабочих. Они отбросят человечество на сотни лет назад...

Ромэд. Вы знаете — я об этом не думал. Это как-то выпало у меня из головы...»

Разве нет переклички между этим диалогом, сочиненным более полувека назад, и сегодняшним интервью лауреата Нобелевской премии британского физика М. Уилкинса, к которому обратился журнал «Нувель обсерватор»:

«Вопрос. Во время второй мировой войны вы принимали участие в осуществлении «проекта Манхеттен», то есть в создании бомбы, сброшенной на Хиросиму. Сожалеете ли вы об этом? Чувствуете ли вы себя частично ответственным за происшедшее?

Ответ. ...Не один год впоследствии я думал над тем, какую роль пришлось мне сыграть в этой истории. И пришел к выводу, что не должен был участвовать в создании бомбы. Сегодня я абсолютно уверен, что настоящей мишенью для этой бомбы была не Япония, а Советский Союз. Замысел состоял в том, чтобы послать таким образом предупреждение коммунизму. Хиросима означала не завершение второй мировой войны, а начало «холодной войны»...»

В «Бунте атомов» германский физик-реваншист Флинднер зажигает в своей лаборатории атомный огонь, который не может погасить. Плавающий шарик вырывается из стен лаборатории и начинает гулять по Европе, все время увеличиваясь в размерах.

Фантаст не знал, что цепная реакция протекает в доли секунды, его шар через неделю достигает всего 30 метров. И тем не менее — Европа в панике. «Процесс, начавшийся две недели назад в Берлине, уже не может быть остановлен никакими силами», — смятенно кричат газетные заголовки на Западе. «Правда» придерживается другого тона: «Слово за наукой, она должна оценить размеры опасности и указать, как с ней бороться». Обратим внимание, что подобной фразы в уэллсовской «Войне миров» нет, с марсианами сражаются все кто угодно, только не ученые. Отношение к науке резко изменилось, хотя прошло всего четверть века. В конце концов советским физикам удалось поймать огнедышащий клубок в электромагнитный капкан (таким способом сейчас пытаются удерживать термоядерную плазму) и гигантским зарядом взрывчатки выбросить его за пределы атмосферы. Удача этого романа не только в отличной научной предпосылке, но и в тщательно продуманной, так сказать, интерференционной картине тех социальных волн, которые были возбуждены этим событием. Трудно понять, почему этот роман, остающийся злободневным и сегодня, не разу не переиздавался.

6

Фантастика развивалась и по географическому, если так можно сказать, руслу. Перед гражданами нового Советского государства распростерлась огромная и далеко еще не открытая страна. Отдельные экспедиции на ее окраины — Козлова, Пржевальского, других отважных путешественников — приносили сенсационные результаты, но они были именно отдельными. Только после революции и пришло время комплексного изучения собственной страны, ее богатств, народов, ее населяющих. Не верится, что лишь в 20-х годах С. Обручевым (сыном В. Обручева, автора «Плутонии») был открыт самый крупный в Восточной Сибири горный хребет, названный им хребтом Черского. Немало удивительного открыли и советские этнографы. Но прежде чем до таинственных окраин и заброшенных уголков добралась официальная наука, они были «открыты» приключенческой фантастикой, лишней повод убедиться в том, что фантастика — это не парение в эмпиреях, а прямой и непосредственный отклик на окружающую жизнь.

Тема «затерянных миров» долго занимала прочные позиции в нашей фантастике. Ее герои открывали первобытные племена на неведомых островах («Земля Санникова» В. Обручева), находили в неприступной тайге поселения отрезанных от внешнего мира потомков разинских мятежников («Сказание о граде Ново-

Китеже» М. Зуева-Ордынца), добирались до легендарной «Страны Семи Трав» (Л. Платов), сталкивались с мамонтами в кратере вулкана («Кратер Эршота» В. Пальмана)... Многие из подобных произведений были написаны позже, но утвердила тему также фантастика 20-х годов.

Вот совершенно забытый, но весьма характерный для этого круга книг роман А. Адалис (впоследствии очень известной переводчицы) и И. Сергеева «Абджед хевез хютти...» (1927). Слова эти, звучащие как мистическое восточное заклинание, расшифровываются просто как названия арабских букв. Книга соединила в себе новые советские реалии, понятия, слова с приемами и оборотами традиционного романа приключений.

По труднодоступным ущельям Памира, где в некоторых местах еще и не слышали о Советской власти, со множеством приключений бредет случайно собравшаяся группа, состоящая из двух молодых москвичей, решивших поискать романтики в дни отпуска, девушки-украинки и юноши-узбека, сбежавших с ними из родных сел, чтобы отправиться в новую жизнь, бывшего белогвардейца, отколовшегося от басмачей, и двух английских летчиков, которые перелетели в Туркестан из Индии через Гиндукуш, спасаясь от ареста по обвинению в коммунистической деятельности, — интернациональная тема была в фантастике тех лет почти обязательной.

После долгих блужданий эта разношерстная компания попадает в плен к маленькому замкнутому обществу странных неулыбающихся людей, обладающих чрезвычайно высокой культурой и техникой, настолько высокой, что сигналы их радиостанции были приняты остальным миром за сигналы с Марса. Когда тайна раскрылась, оказалось, что это колония прокаженных, скрывающих под косметической маской изуродованные черты лица. Они боятся человеческого общества и хотят сами найти средства спасения, а потому их случайные спутники обречены на пожизненное заключение в сердце гор. Разумеется, им удастся бежать и, разумеется, с помощью влюбленной женщины: ведь перед нами «роман приключений». Вот только формулу одного из достижений прокаженных ученых — усыпляющего газа, который мог бы прекратить на Земле войны, герои по дороге, к большому сожалению, утрачивают...

7

К географической фантастике близки два романа выдающегося геолога и путешественника академика В. А. Обручева — «Земля Санникова» и «Плутония» (1924—1926).

Строго говоря, только такая фантастика и заслуживает эпитета «научная», потому что в ней главной задачей автора была как раз пропаганда определенных научных положений. В этих романах В. Обручев решил познакомить юношество с доисторическим прошлым Земли, оживить палеонтологический музей в одной книге и рассказать про обитателей ледникового периода и людей каменного века в другой, что он и сделал с большим мастерством и знанием предмета. В «Плутонии» использована старинная гипотеза о наличии гигантской полости внутри земного шара с собственным светилом, в которой якобы и сохранились с незапамятных времен царство птеродактилей и динозавров. Более правдоподобно предположение автора о существовании в арктических льдах неизвестного острова, обогреваемого тлеющим вулканом. Если быть последовательным, то обе книги должны в первую очередь рассматриваться в истории научной популяризации. В ней они займут подобающее им место благодаря оригинальности подачи и живости изложения. В истории фантастики они находятся на более скромной ступени, хотя переиздаются по сей день из-за основательности их научного багажа. Других задач автор перед собой не ставил, поэтому, скажем, его путешественники, забирающиеся в недра Земли или достигшие таинственного острова, — это безликие экскурсанты, которых проводят вдоль музейных диковин: Каштанов, Маншеев, Громеко, Горюнов, Ордин и вождь онкилонов — все на одно лицо.

Романы В. Обручева находятся в определенной литературной традиции, сам автор говорил о том, что написал «Плутонию» как отклик на роман Ж. Верна «Путешествие к центру Земли», а «Землю Санникова» — на роман чешского писателя К. Глоуха «Заколдованная земля», в которых его возмутили некоторые научные несообразности. Но, критикуя французского фантаста, скажем, за то, что его герои проникают внутрь Земли невероятным путем — через жерло потухшего вулкана, В. Обручев сам тут же отступает от строгих научных установлений. Чем его допущение о пустотелой Земле лучше, научнее спуска через вулкан? Но между прочим, именно в этом «ненаучном» предположении заключена самая интересная, самая увлекательная сторона «Плутонии». Логика художественного повествования подчинила себе автора.

Ближе всего В. Обручев стоит к «Затерянному миру» А. Конан Дойла. И хотя по научной достоверности английский романист уступает советскому академику, но гипотеза Конан Дойла о неприступном плато в амазонской сельве выглядит много естественнее, и, к сожалению, таких героев, как в «Затерянном мире», у В. Обручева нет. Кстати сказать, сам В. Обручев, говоря о воздействии на него приключенческой и фантастической литературы, выделял

в ней прежде всего не познавательную, а как раз человеческую сторону:

«...Родители стали покупать нам сочинения Майн-Рида и Жюль Верна. Мы мысленно одолевали льды Арктики, поднимались на высокие горы, опускались в глубины океанов, изнывали от жажды в пустынях, охотились за слонами, львами и тиграми, переживали приключения на таинственном острове...

И тогда я решил, что, когда вырасту, сделаюсь путешественником. Но в этих любимых книгах мне нравились не только охотники и моряки. В них часто описывались ученые, иногда смешные и донельзя рассеянные... И мне хотелось сделаться ученым и естествоиспытателем, открывать неизвестные страны, собирать растения, взбираться на высокие горы за редкими камнями...»

Популяризаторских книг в тогдашней фантастике было много, проводились даже конкурсы: кто лучше всех напишет сочинение на тему «Химизация народного хозяйства».

В 1928 году В. Гончаров выпустил, например, «микробиологическую шутку» — «Приключения доктора Скальпеля и фабзавуча Николки в мире малых величин». В этой книге он предвосхитил прием, с блеском использованный через несколько лет Я. Ларри в популярных некогда, переиздававшихся даже после войны «Приключениях Карики и Вали». Герои этих книг уменьшаются до размеров насекомых у Я. Ларри, а у В. Гончарова даже до размеров бактерий, что позволяет им и читателям познакомиться с макроскопическим и микроскопическим мирами, как говорится, воочию, лицом к лицу. Так, путешественникам в книге В. Гончарова приходится сражаться с холерным вибрионом, туберкулезной палочкой, амёбой и другими неаппетитными жителями одеял и луж. Литературные достоинства книги Я. Ларри были неизмеримо выше; впрочем, В. Гончарову приходилось рассчитывать свою санитарно-нравственную пропаганду на читателя, которому нужно объяснять, что кислород — это составная часть воздуха. (В других своих романах, таких, как «Лучи смерти», «Психомашина», Виктор Гончаров был причастен к жанру «катастроф»).

8

В 1925 году появился первый и, может быть, лучший роман (сначала рассказ) Александра Беляева «Голова профессора Доуэля». А. Беляев — первый, кто сделал фантастику главным делом своей жизни и благодаря своему энтузиазму стал центральной фигурой среди советских фантастов предвоенного периода.

А. Беляев написал немало книг, достаточно для собрания

сочинений, которое и было выпущено в восьми томах, но уже в 60-х годах, спустя много лет после смерти автора. К сожалению, А. Беляев не был таким выдающимся мастером, как, скажем, А. Толстой, его произведения неравноценны. Как правило, он брал локальную научную идею, но разрабатывал ее тщательно; он обладал смелым воображением, сила которого была, в частности, в том, что, несмотря на декларативные заверения в неизменной верности богине-науке и, должно быть, искренней уверенности, что так оно и должно быть, он все время нарушал ее запреты, за что ему неоднократно «влетало». Анекдотично, что его, может быть самого научного из наших фантастов, пожалуй, больше всех и обвиняли в ненаучности. Романы А. Беляева привлекали верой в неограниченные творческие способности человека, и в этом плане они напоминали романы Жюль Верна.

Первый вариант «Головы профессора Доуэля» был опубликован журналом «Всемирный следопыт». Этот его роман, как и «Человек-амфибия», переиздавался несчетное количество раз, правда, большинство переизданий падает на два последних десятилетия. Есть книги, которые знает каждый подросток, буквально каждый. Два названных беляевских романа принадлежат к числу этих избранных. Чем же они заслужили столь счастливую судьбу?

Обратим внимание, что до А. Беляева успехи биологии (в отличие, например, от физики) никто не ставил в центр внимания, удачных произведений на эту тему, во всяком случае, почти нет. Были известны в то время романы М. Гирели, например, «Преступление профессора Звездочетова», написанное явно на потребу мещанскому вкусу, несмотря на самые солидные заверения автора в предисловии. Герой этого произведения производит какие-то изуверские эксперименты над собственным телом и мозгом, а потом в припадке ревности убивает жену.

Беляевский роман с первых страниц привлекает дерзостью предложенной гипотезы. Зрелище головы, отделенной от тела и продолжающей жить, производит впечатление не только на молодую ассистентку профессора Керна.

Конечно, читателя, особенно молодого, прежде других волнует вопрос: возможно ли такое? Ответить отрицательно скорее всего было бы неправильно. Конечно, фантаст смотрел далеко вперед, но достижения медицины и биологии позволяют утверждать, что фантазия писателей, как мы не раз убеждались, обгоняла близорукий практицизм их критиков. Хотя автор основывался на полузабытых опытах французского профессора Броун-Секара, хотя еще при жизни Беляева начались работы советских ученых Брюхоненко, Неговского, Петрова, Чечулина, по-настоящему исследования в области оживления и трансплантации органов развер-

нулись в новейшее время. Но живущую отдельно голову собаки у Брюхоненко фантаст мог бы видеть, еще большим триумфом для него был бы снимок, уже после его смерти обошедший всю мировую прессу, — советский хирург Демихов с собакой, к телу которой пришта вторая голова.

Но тогда это были лишь лабораторные опыты, об операциях на человеке и речи быть не могло, хотя остроумный Бернард Шоу не преминул заявить: «...Я испытываю прямо-таки искушение дать отрезать голову мне самому, чтобы я впредь мог диктовать пьесы и книги так, чтобы мне не мешали соблазны, чтобы мне не нужно было есть, чтобы мне не приходилось делать ничего другого, как только производить драматические и литературные шедевры».

Подлинный бум поднялся после того, как в 1967 году южно-африканский хирург К. Барнард осуществил пересадку сердца человеку. С тех пор было произведено немало таких операций. Хотя люди с пересаженным сердцем живут недолго, это, как говорится, технический вопрос, ясно, что в принципе такие операции возможны. Менее ответственные органы, вроде почек, «оживляются» и пересаживаются сравнительно успешно. А после открытия нового продукта плесневых грибов — циклоспорина А, подавляющего, но не разрушающего тканевую несовместимость, перспективы у данного направления хирургии становятся еще более сияющими.

Но — особенно после операций Барнарда — возникла серьезная этическая проблема, которую увидел уже А. Беляев, и в этом сильная сторона его романа. Нравственная подоплека пересадки органов вызывает большое смущение. Ведь то же сердце надо у кого-то взять, значит, пациент должен с нетерпением дожидаться чьей-то смерти, и смерти не от болезни, а насильственной, скажем в автокатастрофе. И конечно, донором должен быть человек по возможности молодой и здоровый: кому же нужно пересаживать изношенное сердце старика? Какая пропасть безнравственности может развернуться за сугубо медицинской проблемой! Но это еще не все. Органы для пересадки надо брать немедленно, буквально в первые же минуты после смерти, до того, как началось разложение тканей. Значит, врач в условиях острого дефицита времени должен однозначно решить вопрос: умер уже человек или еще нет? Но разве это всегда просто, разве мы не знаем случаев возвращения к жизни, когда уже была установлена клиническая смерть или когда за жизнь пострадавшего, находящегося, казалось бы, в безнадежном состоянии, шла борьба часами, сутками. А тут кто-то хочет его смерти, и это может оказаться «ожидатель», который, как говорится, не постоит за расходами, если речь идет о собственной жизни. И опять-таки открываются соблазнительные возмож-

ности для сделок с совестью и даже для прямых преступлений. Впрочем, оказывается, что оформились и встречные предложения. Вот что пишет один молодой человек из Канады (его письмо процитировано журналом «Форчун»): «Бедным продажа каких-то частей собственного организма, вероятно, сулит единственную возможность вырваться из заколдованного круга бедности. Моя почка — единственный капитал, которым я еще обладаю и который можно продать, чтобы получить шанс выучиться и устроиться на приличную работу...» Эта новая сфера спекулятивных и уголовных махинаций уже нашла свое отражение в искусстве. Был, например, итальянский фильм «Глаз» с Альберто Сорди в главной роли, где безработному за огромную сумму предлагали продать глаз. У нас был переведен и даже экранизирован на телевидении роман английского писателя А. Уиннингтона «Миллионы Ферфакса», эпиграфом к которому, кстати, служит злая и выразительная фраза: «Пересадка сердца — это уникальный метод убийства сразу двух пациентов».

Нет, путь создания искусственных органов, сконструированных, или — лучше — выращенных, может быть, окажется более перспективным. Жаль, что мы стоим лишь в самом начале этого пути, но ведь уже стоим. Пусть первый человек с искусственным сердцем Б. Кларк прожил всего несколько месяцев, но ведь прожил, и вечная ему благодарность от человечества за то, что он разрешил поставить на себе этот опыт. Пусть и это электромеханическое сердце мало было похоже на человеческое, это тоже лишь вопрос техники. Конечно, и здесь возникают свои проблемы.

Опасности, связанные с экспериментами над человеческими «детальями», пронизательно почувствовал А. Беляев. Пользуясь правами фантаста, он заострил проблему до предела — его персонаж «пересаживает» не отдельный орган, а целую голову, целое тело. Вряд ли такая операция станет когда-нибудь возможной, но главное свойство фантастики как раз и заключается в гиперболизации, в преувеличении, в обобщении жизненных явлений, доведении их до логических концов, в этом не только ее специфика, но и ее оправдание как самостоятельной литературной дисциплины. А. Беляева надо хвалить за смелое допущение, а его по привычке ругали все за ту же «ненаучность...»

Наиболее содержательна и интересна в романе первая часть, в которой мы знакомимся с тремя отрезанными головами, и прежде всего с головой Доуэля, который был предварительно убит его неблагодарным учеником с подлой целью — оживить мозг выдающегося ученого и заставить его работать на себя; выдавая достижения Доуэля за свои собственные. Керн пытается несчастную голову; это, правда, несколько отдает фильмом ужасов, но мысль ясна:

писатель хочет сказать, что гений и злодейство — вещи несовместные.

А вот достаточно достоверно передать жуткие и ни на что не похожие ощущения голов, которые живут без туловищ, равно как и чувства окружающих эти головы людей, писатель не смог. Впрочем, справиться со столь сложной задачей смог бы разве что человек, обладающий талантом Достоевского. А люди не давались Беляеву; конечно, все относительно, но будем все-таки вести отсчет от вершин мировой фантастики. Керн — это абсолютный злодей, чернота без просвета, как и сообщник Керна — директор дома умалишенных Равелино; ассистентка Керна Лоран — это голубое без пятнышка воплощение прямодушия, а три молодых человека, принявших активное участие в спасении девушки и разоблачении Керна, совсем неразличимы. Лучше обстоит дело с образом Брике, певицки из кабаре с чужим телом; история с ее побегом из больницы Керна и вынужденным возвращением придумана великолепно. Но и тут, подметив, что молодое, девственное тело физиологически облагораживает вульгарную шансонетку, автор не сумел убедительно изобразить ее внутренний перелом. А потому конфликт в душах, конфликт в пределах этого замкнутого круга людей оказался быстро исчерпанным, и писатель, чтобы избежать топтания на месте, переводит стрелки на простор традиционного приключенческого действия, в котором психологию заменяют события: побег, похищения, сумасшедшие дома, куда запросто засаживают здоровых людей, драки и тому подобная чехарда. И хотя сыну профессора Доуэля удалось расквитаться с убийцей отца, нравственный потенциал романа оказался израсходованным в первой половине.

Беляевская ситуация — «тело одного + голова другого» таит в себе заманчивые сюжетные возможности, она неоднократно использовалась различными фантастами. Но, как всегда бывает со вторичностью, свежести первооткрывателя они не достигали. Одна из последних попыток разработать по-своему данный сюжет принадлежит симферопольской писательнице Л. Ягупновой. В повести «Твой образ» (1979) она перенесла действие в наши дни, в наши советские условия, где, конечно, нет места никаким Кернам, но неразрешимость конфликта сохраняется.

Еще большей популярностью среди юношества пользуется «Человек-амфибия» — история об индийском мальчике, которому гениальный хирург Сальватор врезал в детстве под лопатки жабры молодой акулы, благодаря чему тот приобрел способность дышать под водой. Подростком близок герой — мечтательный, добрый, благородный Ихтиандр, «человек-рыба».

Опять-таки, к этой фантастической посылке можно подойти

с точки зрения физиологии и с точки зрения этики. Честно говоря, реальная осуществимость подобной операции равна нулю, сращивание тканей таких эволюционно далеких видов вряд ли когда-нибудь станет возможным. Это, впрочем, не должно нас смущать. Можно только повторить, что фантастическая гипотеза — не конструкторское задание, а литературный прием. Гораздо важнее задуматься: допустимо ли такое предприятие в принципе и для чего оно нужно?

На вторую часть вопроса ответить просто — на него отвечает и сам Сальватор, прежде всего в своей страстной речи на суде, и автор, и практика всего человечества. С каждым годом становится все яснее, что без активного освоения океана благополучное существование многомиллиардного человечества вряд ли возможно. Мечта о существе, которое было бы хозяином водной стихии, родилась давно, правда, из людей, кажется, только новгородец Садко погружался в морскую пучину без вреда для своих легких. Человек упорно стремился под воду: были созданы водолазный колокол, подводная лодка, водолазный скафандр, батискаф, наконец, акваланг...

Беляев предложил иной путь — путь хирургического изменения человеческого организма. В испуганной критике тех лет можно было наблюдать редкостный поворот мысли: она солидаризировалась не с прогрессивным врачом Сальватором, а с его судьями — реакционерами и клерикалами. Так прямо и писали: «Доктора Сальватора в романе судят. И хотя Беляев считает процесс порождением самого отъявленного мракобесия, но... доктора действительно следовало судить за искалеченного ребенка, из которого он с неясной научной целью, да еще с сохранением своих открытий в полной тайне от современников сделал амфибию». Видно, что рецензент понимал роман как руководство к действию. Но ведь сам автор показал вовсе не привлекательную, а вызывающую, в сущности, жалость судьбу Ихтиандра. «Человек-рыба» уже не может полноценно жить на суше, сухой воздух губителен для нежных жаберных перегородок, а в море он одинок, ему, как любому человеку, необходимо общество, он полюбил девушку, но не может соединить с ней свою судьбу. Писатель не случайно превратил его в затворника, далекого от законов людского общения, иначе было бы непонятно, как он дожил до юношеского возраста. Но логика событий повела автора в единственном направлении: долго общение Ихтиандра с враждебным обществом продолжаться не могло: в конце романа разочарованный пловец бросается в волны, чтобы уйти от людей навсегда, а значит — на гибель.

Роман так бы и оказался романтической сказкой, если бы вдруг уже в нашем поколении идеи доктора Сальватора (конечно, со-

вершенно независимо от него) не нашли бы последователей за рубежом. Эти идеи, к счастью, пока еще не перешагнули границы теории, но высказывали их уже не безобидные фантазеры. Ученые, изобретатели, подводники принялись конструировать искусственные жабры и выдвигать различные проекты подгонки их к человеческому телу, в том числе весьма радикальные, такие, которым позавидовал бы и Сальватор. С легкостью необычайной журналисты писали, например, так: «Шланги аппарата можно оперативным путем соединить с аортой, заполнив предварительно легкие стерильным несжимаемым пластиком». Слава богу, что хоть стерильным!

Эти идеи во многом опираются на высказывания одного из крупнейших мировых авторитетов в области океанографии, создателя акваланга Ж.-И. Кусто, произнесенные им, в частности, перед делегатами Второго Международного конгресса по подводным исследованиям: «Рано или поздно человечество поселится на дне моря... В океане появятся города, больницы, театры... Я вижу новую расу «Гомо Акватикус» — грядущее поколение, рожденное в подводных деревнях и окончательно приспособившееся к окружающей новой среде, так, что,— все же счел нужным добавить выдающийся исследователь,— быть может, хирургического вмешательства и не потребуется для того, чтобы дать людям возможность жить и дышать в воде». Однако здесь допускается мысль: а может, и потребуется; хотя в другом месте у того же Кусто мы найдем совершенно трезвые слова: «Разумеется, я отнюдь не думаю, что люди когда-нибудь вовсе переселятся на дно моря: мы слишком зависимы от своей естественной среды, и вряд ли возникнут веские причины, чтобы отказаться от всего, что нам так дорого: от солнечного света, свежести воздуха лесов и полей...» Между тем в зарубежной прессе называются даже сроки появления первых людей вида Гомо акватикус — 2000 год. И вероятно, как раз технически эта проблема разрешима, и даже найдутся доброхоты. Не существует такого самого безумного эксперимента, на который не нашлось бы энтузиастов. Если их будет много, то снимется проблема одиночества Ихтиандра, но зато человек с удаленными легкими уже никогда не сможет выйти на берег, чтобы посмотреть на солнце, разве что будет вынесен в аквариуме. Конечно, ему станут доступны иные красоты. Но действительно, достаточная ли это цена за подобное оскотление? И ради чего — чтобы одна часть человечества обслуживала другую дарами моря, получая взамен уже недоступные ей дары земли? Наверное, это было бы слишком прагматичным решением вопроса, и освоение человеком океанических глубин пойдет не путем отказа от человеческого естества, от земных радостей, дарованных человеку природой. Фантастика, подробно ра-

зобрав предлагаемую ситуацию, убедительно доказала, что, кардинально изменяя свою биологическую натуру, человек перестает быть человеком. И, как видим, доказательства эти нужны не только в умозрительных целях.

Ведь если развить идеи Беляева и Кусто, то легко обнаружить, что вода — не единственная чуждая человеку среда, которую ему, безусловно, придется осваивать. А холод, например, а космос, а тяготение, а ядовитые атмосферы? Космонавты уже приучают себя по многу месяцев к невесомости. Но одно дело естественная адаптация, здесь мы еще и вправду не знаем всех возможностей нашего организма, другое — его насильственная реконструкция, отрезающая пути назад.

Конечно, фантастика не упустила возможности перебрать все мыслимые варианты. Так, в довольно давней книге американца К. Саймака «Город» было исследовано, чем грозит людям полный переход в иные существа, в неких юпитерианских скакунцов, которые, может быть, в чем-то и совершеннее людей, но они — не люди. Человеческие чувства становятся им недоступными.

Советский фантаст К. Булычев предложил уже в наши дни компромиссный способ разрешения обсуждаемых проблем. Он изобрел «биоформа»: человек временно может превратиться в рыбу, птицу или черепаху, а потом снова вернуть свой облик. Но это просто волшебная сказка.

И все же, вероятно, можно представить себе гипотетическую ситуацию, при которой человеку придется перестраивать свой организм. Если когда-нибудь осуществится мечта Циолковского о расселении человека по Вселенной и люди найдут подходящие для жизни планеты, которые, конечно, вряд ли могут быть полностью схожи с Землей, то поколение за поколением приспособится к изменившимся условиям, и этим «ихтиандрам» уже неуютно покажется на Земле. Но подобные галактические проекты фантастика 20-х годов еще не обсуждала, она лишь робко прикасалась к ним.

Как уже было сказано, А. Беляев написал много других произведений, но до высоты двух своих ранних романов — несмотря на все их несовершенства — он не поднимался. Удача их, в частности, заключалась в совпадении научной и человеческой сторон. Понятно, что сложности перестройки человеческого организма затронут читателя гораздо сильнее, чем какая-нибудь сугубо техническая рационализация. Впрочем, в написанном А. Беляевым мы найдем и технические фантазии, и загляд в будущее, и антирасистские памфлеты, и космические полеты, однако масштабные картины давались писателю с трудом. Но каковы бы ни были действительные недостатки его сочинений, он, конечно, не заслужил

той несправедливой, зачастую уничижительной критики, которая преследовала его всю жизнь. Дело доходило до того, что в одном томе с публикацией романа Беляева помещалось «разоблачающее» его послесловие какого-то бестактного «специалиста». Но читатели любили верного рыцаря научной фантастики...

9

В заключение коснемся фантастической сатиры, в рамках которой были созданы значительные художественные ценности.

Прежде всего, фантастика давала возможность построить гротесковые модели капиталистической действительности. Памфлеты на взаправдавшие или вымышленные страны Запада и по сей день регулярно выходят из-под пера наших фантастов. При кажущейся легкости такой сюжетики на самом деле это очень трудный жанр. Чтобы быть убедительным, а не прямолинейным, плакатным, надо прежде всего знать предмет нападков, а этого знания многим авторам явно не хватает. К тому же сейчас советскому читателю известны произведения прогрессивных западных фантастов, таких, как Брэдбери, Шекли, Андерсон, Каттнер — непримиримых критиков собственнического строя и его социальных институтов. Соревноваться с ними в художественном плане — дело нелегкое, но в мировоззренческом, в утверждении философии оптимизма — неизбежное. Мы имеем немало превосходных образцов политической сатиры, а свою родоначальную она ведет все оттуда, из 20-х годов. Конечно, и тогда появлялись многочисленные лобовые поделки, но были произведения и иного качества.

К 1925 году молодой писатель Борис Лавренев, участник двух революций, империалистической и гражданской войн, сражавшийся в Крыму и на Украине, работавший в Самаре и Туркестане, уже создал себе известность, прежде всего сборником рассказов «Ветер», в который входил его классический «Сорок первый». Пройдет еще немного времени — из-под пера Б. Лавренева появится на свет одна из лучших пьес советского театра — «Разлом». А сейчас он публикует «Крушение республики Итль», роман, который тоже был рожден задором, молодостью, озорством, избытком сил.

В романе излагается хроника развала «демократической» республики Итль, расположенной на одном южном берегу, которой взялась помогать — с небескорыстными целями, ясно, — островная держава Наутилия, обладательница мощного флота. Псевдонимы, употребленные в книге, легко разгадываются, и даже неподготовленный читатель узнает в пейзажах солнечного Итля что-то очень знакомое. Ну конечно, это же Крым, только писатель перенес в Черное море еще и бакинские нефтяные вышки. Но разве в Крыму

были какие-нибудь «республики»? В таком виде, как изобразил писатель, не были, но правительство там действительно объявлялось — небезызвестный «черный» барон Врангель обосновался в Крыму в 1920 году и издавал различные законы, пытаясь демократически заигрывать с крестьянами и даже с рабочими, одновременно проводя политику жестоких репрессий. Попытка создать «показательную ферму» не удалась, но распродажа национальных богатств, развал белой армии — все это было. По сообщению литературоведа Г. Ратмановой, автор говорил ей, что в основу его вымышленной республики были «положены» еще и «независимые» закавказские республики, созданные дашнаками, эфемерные образования, крах которых был обусловлен антинародной сущностью их продажных правителей.

В этом романе все время просвечивают — один за другим — два плана: план фантастический, казалось бы дающий полный простор любому сочинительству, и план исторический, который скрепляет прихотливые вымышленные построения арматурой реальных фактов. Вот, казалось бы, такая явно сатирическая деталь: в армии Итля нет рядовых, там все капитаны, а так как специальных галунов для погонов не наготовили, то звездочки на них рисуются химическим карандашом. Но оказалось, что «химические» капитаны — факт доподлинный, в белой армии чины раздавались направо и налево; в каких целях — легко догадаться.

А что касается экспедиции королевской эскадры во главе с выдающимся имперским стратегом лордом Орпингтоном, то и здесь в пародийном плане представлена история черноморской интервенции антантовских держав, которые все время высывались поддерживать разнообразных правителей. И даже монархический мятеж принца Максимилиана восходит к малоизвестному антиврангельскому восстанию наиболее правых офицеров, возглавляемых неким герцогом Лейхтенбергским, одним из побочных родичей романовской династии.

При всем том перед нами веселая шутка, гротеск, даже буффонада, именно так определил жанр романа сам автор: «Итль» повествует о мертвецах. Некоторых мертвецов можно поминать только усмешкой». Критика тех лет упрекала писателя за то, что изобретенный им жанр нес в себе известную облегченность, в него не вмещались некоторые мрачные стороны кровавой белогвардейской эпопеи и интервенции на Юге. Были и другие упреки: наиболее заметными образами среди подпольщиков оказались грек-авантюрист Коста и красавица певица Гемма, с головокружительной быстротой совершившая эволюцию от содержанки баронета Осборна, которую тот привез из Наутилии под видом вестового, до чуть ли не руководительницы повстанцев. Трудно сказать, сов-

местимы ли подобные — в принципе справедливые — требования с избранным писателем жанром и не рухнули бы под их весом ажурные конструкции «Итля».

Автор утверждал, что «Итль» — роман, стоящий вне традиций русского романа». Критики искали его истоки в «Острове пингвинов» А. Франса, от которого «Итль» весьма далек по стилю да и по замыслу. Но сам роман создал в нашей фантастической литературе устойчивую традицию — писать о полусуществующих, как бы выдуманных, а как бы и нет, странах. Уже фантастика 20-х годов подхватила этот почин.

Закончим и на сей раз отзывом Горького, который не обошел вниманием и этого создания фантастики 20-х годов: «Познакомился с Вашей книгой «Крушение респ(ублики) Итль», книга показала мне Вас человеком одаренным, остроумным и своеобразным, — последнее качество для меня особенно ценно...»

Среди коллег Б. Лавренева по жанру заслуживает быть отмеченным забытое творчество Анатолия Шишко. Он написал несколько фантастических гротесков: «Господин Антихрист» (1926), «Аппетит микробов» (1927), «Комедия масок» (1928); действие этих романов как раз и происходит в условных европейских странах — Францконии, Гуниории, Львином королевстве. Послевоенную буржуазную Европу охватило смятение: кроме внутренних неприятностей на ее восточных границах неожиданно выросло социалистическое государство. Штрихи распадающегося мира схвачены в романах А. Шишко метко и обрисованы экспрессивно. Романы его и сейчас кажутся весьма злободневными. «Дела шли все хуже. Налицо было загнивание культуры: дерзко падали валюты, женщины избегали вступать в продолжительные браки, не было написано ни одного гениального романа, благородные мелодии уступили негритянским, и жилищный кризис, поглотив Европу, полз наподобие чумы за океан...»

Но, несмотря на многие достоинства, романы А. Шишко времени своего не пережили. В чем же дело? Почему одни книги продолжают переиздаваться и читаться через десятилетия? Так, «Крушение республики Итль» недавно было включено в новое собрание сочинений Б. Лавренева, и сегодняшний читатель прочтет роман с таким же удовольствием, как и его коллега, раскрывший журнал «Звезда» в 1925 году. А другие книги, рожденные тем же социальным заказом, написанные в кругу той же литсемьи, умирают после первого издания, хотя и заслуживают, чтобы исследователи помянули их добрым словом. Не надо быть провидцем, чтобы предположить, что все дело в художественном совершенстве, но как редко этот критерий прилагается к фантастике. Правда, язык книг А. Шишко совсем неплох, сравнения его остры, язви-

тельны. («Часы, равнодушные, как лакеи старика Времени...», «Любители изящной мысли могли получать проверченные истины в рупоре громкоговорителя, как мясо, прокрученное сквозь мясорубку...») А вот людей, увы, запомнить невозможно: министры и их наглые секретари, старые изобретатели и пронырливые журналисты, шпики и полицейские — различить их можно только по чинам, именам и особенностям телосложения. Может быть, безразличие к человеческому характеру зависит не только от отсутствия литературных способностей, но и от навязчиво держащейся и по сей день установки: мол, фантастической литературе ничего такого и не требуется, она, мол, сильна своим научным наполнением?..

10

Хотя В. В. Маяковский не причислен к лику писателей-фантастов, фантастика была неотъемлемым и необходимым элементом его художественного метода. При его масштабности, крупноохватном мышлении поэту было необходимо заглянуть за пределы сегодняшнего дня, увидеть перспективы, воссоздать картины того, за что мы боремся, что мы строим сегодня.

В «Правде»
пишется правда.
В «Известиях» —
известия.
Факты.
Хоть возьми
да положи на стол.
А поэта
интересует
и то,
что будет через двести
лёт
или —
через сто.

Не надо, конечно, понимать эти слова только как элементарный призыв создавать произведения о будущем. Поэт, художник всегда стремится заглянуть за грань факта, за пределы окружающего, а фантастика представляет для этого неограниченные возможности.

Вероятно, можно собрать строки из различных стихотворений Маяковского и воссоздать картину коммуны, какой она вставала в воображении большого поэта, и это будет завершенная и уникальная в своем роде поэтическая утопия. Вот ее отдельные штрихи, хотя, конечно, тема «Маяковский и фантастика» шире разговора об утопических элементах в его произведениях.

Маяковский ненавидел быт, кухонный, страшный быт, унижаю-

щий человеческое достоинство. И его поэма «Летающий пролетарий» (1925); написанная, казалось бы, с весьма утилитарной целью: призвать трудящихся в ряды ОДВФ — Общество друзей воздушного флота, превратилась в страстный антибытовой памфлет; поэт переселяет людей из подвалов, из коммунальных квартир в небеса, в просторы, призывает порвать со всем тем, что — это из другой поэмы — «в нас ушедшим рабым вбито, все, что мелочинным роем оседало и осело бытом даже в нашем краснофлажном строе».

Хотя глава о том, как проводил свои дни гражданин ХХХ века, и написана в юмористическом ключе с превосходно найденными деталями, вроде: «вырабатывается из облаков искусственные сметана и молоко», на самом деле это вовсе не шутивное произведение, это поэма-мечта, пронизанная и трагическими нотами. Разве не современно звучит грозное предупреждение человечеству:

Но вздором
покажутся
бойни эти
в ужасе
грядущих фантазмагорий.

А такое описание сверхбыстрого самолетного лета сделало бы честь сегодня самому разнаучному фантасту:

Когда ж
догоняли
вращение Земли,
сто мест
деремахивал
глаз.
А циферблат
показывал
им
один
неподвижный час.

Праздник содружества, праздник освобожденного труда на озелененных песках Сахары изображает Маяковский в финале поэмы «150 000 000». На этот праздник прилетели не только жители со всей нашей Земли, но даже и марсиане; содружество, как видим, захватило и другие планеты. Маяковскому явно была бы близка идея «Великого Кольца», много лет спустя провозглашенная И. Ефремовым.

В поэме «Про это» появляется «большелобый тихий химик», ученый из будущего, сотрудник мастерской человеческих воскрешений. Казалось бы, что это чисто поэтический, условный прием. Но оказывается, Маяковский думал «про это» всерьез, в непосредственном научно-фантастическом плане. Вот что вспоминает

Р. Якобсон: «Маяковский заставил меня повторить несколько раз мой сбивчивый рассказ о теории относительности и о ширившейся вокруг нее в то время дискуссии. Освобождение энергии, проблематика времени, вопрос о том, не является ли скорость, обгоняющая световой луч, обратным движением во времени,— все это захватывало Маяковского... «А ты не думаешь,— спросил он вдруг,— что так будет завоевано бессмертие?.. Я совершенно убежден, что смерти не будет. Будут воскрешать мертвых». Вскоре он рассказал, что готовит поэму... и что там обо всем этом будет...»

Но конечно, просьба о воскрешении — не личное обращение поэта Маяковского, лирический образ поэта сконцентрировал многие человеческие стремления. Это обращение от имени всех, кто недолюбил, недорадовался, недовидел многого на своем веку, от всех, кто погиб молодым в боях за будущее: разве эти миллионы бойцов не заслужили воскрешения? А задачи поэзии, как и задача фантастики, сделать невозможное возможным.

Без фантастики не существовала бы и драматургия Маяковского. Не будем останавливаться на библейских сценах «Мистерии-буфф», хотя и первая его пьеса построена по законам фантастики, но пройти мимо «Клопа» нельзя.

Борясь оружием сатиры с мещанством, поэт искал наиболее резкий контраст, чтобы заклеить, покрепче «припечатать» обывателя. И ему не хватило для такого противопоставления настоящего времени, хотя, конечно, и в окружении Маяковского были достойные люди. Но поэту было мало, все-таки сегодняшние дни допускали существование мещанина, мещанин ходил по улицам и на него не показывали пальцем. А наступит ли время, когда мещанство и вообще всякая бесчеловечность станут абсолютно неприемлемыми? Такие дни поэт находит только в будущем. Вот там обывателя посадят в клетку вместе с последним клопом и установят акустические фильтры, чтобы он не оскорблял слух окружающих непечатными выражениями.

Кстати сказать, будущее это — не весьма отдаленное, еще жива брошенная Присыпкиным Зоя Березкина, прошло «всего» пятьдесят лет, значит, финал пьесы происходил в 1979 году, в наши дни. Правда, Маяковский не старался угадать конкретных черт завтрашнего дня своей страны, это не научно-фантастическая картина, не образ будущего, а, так сказать, образ образа будущего — поэту важно было создать соответствующее настроение. Пожалуй, самая заметная черта этого общества — чувство товарищества, сердца людей настежь распахнуты друг для друга. Они и не могли принять другого решения, кроме как воскресить неизвестного и незнакомого им человека,— здесь снова действует Институт человеческих

воскрешений. Конечно, перед нами сатирическая комедия, и мы с улыбкой смотрим, с какой легкостью примерные граждане заражаются бациллами стяжательства, пьянства, пошлости, размороженными вместе с Присыпкиным. Но и в этом плане поэт был провидцем, они действительно чрезвычайно заразны, эти бациллы; в реальном 1979 году мы от них далеко еще не избавились; а современный фантаст, рисуя будущее еще через полвека, вряд ли рискнет заявить об их полном уничтожении.

В пьесе «Баня» фантастика еще теснее завязана с сюжетом: ведь там действие и строится на борьбе молодых энтузиастов — изобретателей машины времени — с бюрократическими препонами мешающими им осуществить свои дерзновенные замыслы. Но с другой стороны, она и дальше от фантастики, потому что машина времени в «Бане» — это всего лишь символ, символ нашего безостановочного движения вперед, которое захватывает и увлекает с собой достойных и отбрасывает таких, как Победоносиков с его свитой. Знаменитый лозунг Маяковского к спектаклю «Баня», из тех, которые должны украшать фойе во время представления:

Театр
 не отражающее зеркало,
а —
 увеличивающее стекло, —

как уже неоднократно говорилось, может быть взят на вооружение не только театральными деятелями, но и фантастами. Образ будущего в пьесах Маяковского и был такой линзой, укрупняющей контуры настоящего. А это и есть одна из главных задач фантастики.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

ПОВЕСТИ

Кир Булычев. Чужая память	3
З. Юрьев. Тонкий голосок безымянного цветка	79
Георгий Гуревич. Восьминулевые	147

РАССКАЗЫ

А. Абрамов. Бал	169
Дмитрий Биленкин. Все образы мира	179
Иван Филимонов. Ангар. Отход ко сну	191
Анатолий Мельников. Похищение в Балларате	194
Андрей Костин. Звездный час	209

ИЗ НАПЕЧАТАННОГО

И. Ефремов. Юрта Ворона	221
Михаил Емцев, Еремей Парнов. Последняя дверь	260

ЗАРУБЕЖНАЯ ФАНТАСТИКА

Генри Каттнер. Исполнение желаний. <i>Перевод с английского Светланы Васильевой</i>	289

ВСЕВОЛОД РЕВИЧ. Перекресток утопий (<i>У истоков советской фантастики</i>)	309

ИБ № 1926

ОРИОН

**Сборник
научно-фантастических
повестей и рассказов**

Составитель Н. М. Беркова

Заведующая редакцией *Л. Сурова*

Редактор *С. Митрохина*

Художник *И. Блиох*

Оформление *И. Сайко*

Художественный редактор *Л. Ишханов*

Технические редакторы *Н. Калиничева, Л. Маракасова*

Корректоры *И. Фридлянд, В. Чеснокова*

Сдано в набор 23.01.85 Подписано к печати 17.09.85.
Л 76640. Формат 60×84¹/₁₆ Бумага газетная. Гарни-
тура «Обыкновенная новая» Печать офсетная Усл
печ. л. 20,46 Усл кр-отт 20,92 Уч-изд л. 22,93
Тираж 100 000 экз Заказ 383 Цена 1 р. 50 к

Ордена Трудового Красного Знамени издательство
«Московский рабочий» 101854, ГСП, Москва, Центр.
Чистопрудный бульвар, 8

Ордена Ленина типография «Красный пролетарий»,
103473, Москва, И-473. Краснопролетарская, 16

Орион: Сборник научно-фантастических повестей и рассказов/Сост.; Н. Беркова.— М.: Моск. рабочий, 1985.— 349 с.

В сборник научно-фантастических повестей и рассказов «Орион» вошли новые произведения известных мастеров этого жанра (Кира Булычева, З. Юрьева, Дм. Биденкина, Георгия Гуревича) и начинающих писателей. В сборнике есть также разделы «из напечатанного» (И. Ефремов, М. Емцев, Е. Парнов) и зарубежной фантастики (Г. Каттнер).

Книга завершается работой критика В. Ревича, посвященной первым шагам советской фантастики.

О $\frac{4702010200-220}{M172(03)-85}$ 195—85

P2

1 р. 50 к.



Орзюн

